


# ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР

Новости

Михаил БУЛГАКОВ

# ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР

Черновые редакции романа
«Мастер и Маргарита»



Москва, 1992

ББК 84 Р7
Б 90

Б $\frac{4702010200}{067(02)-92}$ Без объявл.

# «РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»

Эта цитата из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», которую я вынес в заглавие вступительной статьи, стала крылатой фразой. Она вошла в наш обиход естественно и быстро, подкупив емкостью и точностью, так свойственными всему творчеству Мастера. Но очень скоро мы начали постигать ее многозначительность и глубину. Изречение древних «Ars longa, vita brevis» (Жизнь — коротка, искусство — вечно), пройдя через века и границы, трансформировалось в чисто русскую стилистику: истинное Творение переживает своего Творца.

«Рукописи не горят» — этими словами я хочу начать свой рассказ об «одном-единственном литературном волке» и его «романе о дьяволе». Именно так называл Булгаков самого себя и свой роман «Мастер и Маргарита».

Итак, «за мной, читатель».

## «РОМАН О ДЬЯВОЛЕ»

Интерес к творчеству выдающегося русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова стремительно растет и в нашей стране, и за рубежом. В последние годы состоялось знакомство читателей со многими его произведениями, дневниками, письмами. Вышло много книг, брошюр и статей с разбором известных сочинений художника. С трудом, но все-таки создается летопись его жизни. Публикуется различная мемуарная литература, дневники и воспоминания современников. Поток разнообразных изданий о популярном писателе особенно усилился в юбилейный 1991 год — год столетия со дня рождения М. А. Булгакова. Важно отметить и такой факт: произведения писателя, выпускаемые огромными тиражами, расходятся мгновенно. Это свидетельство не только

яркого художнического таланта Булгакова, но и неоспоримое доказательство актуальности его творчества. Булгаков — один их самых читаемых авторов в нашей стране.

И все же справедливости ради надо заметить, что глубокое исследование объемного, многообразного, чрезвычайно сложного в своей многоплановости творческого наследия писателя только еще начинается. Достаточно указать на недавно вышедший пятитомник его сочинений, в который включена лишь часть произведений писателя. По существу — это сборник избранных произведений Булгакова. Это и неудивительно, поскольку еще не закончена работа по выявлению и атрибуции многих его очерков, рассказов, фельетонов, не говоря уже о статьях, письмах и других материалах. Не опубликованы до сих пор такие работы, как пьеса «Сыновья муллы», либретто к опере «Дружба народов» и другие. Неизвестно местонахождение принципиально важных рукописей — части текста последней редакции романа «Мастер и Маргарита», заключительной части романа «Белая гвардия», нескольких тетрадей дневников Е. С. Булгаковой...

Но я хотел бы обратить особое внимание на то, что до настоящего времени остается неопубликованной большая часть редакций и вариантов почти всех произведений Булгакова. Это — наиболее убедительное свидетельство того, что огромное рукописное богатство, оставленное нам писателем, еще не изучено. Разве можно, например, дать объективную оценку мировоззренческих взглядов писателя по опубликованному варианту романа «Мастер и Маргарита», если неизвестными остаются многочисленные предыдущие редакции и варианты? И как в этой ситуации можно проследить, например, за изменением сюжетной линии романа, над которым автор работал двенадцать лет? На эти и множество других вопросов нельзя дать достаточно убедительный ответ без тщательного исследования и сопоставления **всех** редакций и вариантов романа. А между тем чаще всего на основе именно этого главного произведения вырабатываются те или иные суждения о творческой и жизненной позиции писателя. Эти тривиальные замечания уместны по той хотя бы причине, что Булгаков относится к той категории художников, творчество которых вызывает ожесточенные споры не только среди исследователей его творчества, но и в широком кругу читателей.

Следует также указать в связи с этим на одну важную

черту творчества Булгакова: первые наброски, варианты и редакции произведений писателя зачастую представляют не меньший творческий интерес, нежели тексты, которые принято считать каноническими по дате их написания, то есть завершающими работу над сочинением. Самые первые рукописи Булгакова по своему содержанию, как правило, более созвучны авторскому замыслу, поскольку они не были еще подвергнуты самоцензуре — ни первичной, ни последующей.

Для восполнения существенного пробела в издании творческого наследия Булгакова и подготовлена эта книга — «Великий канцлер».

Выбор именно этого названия объясняется прежде всего тем, что так озаглавлен первый достаточно полный и завершенный автором рукописный текст, значительно отличающийся по структуре и содержанию как от первоначальных черновых вариантов 1928—1929 годов, так и от последующих редакций романа. Кроме того, по нему можно проследить изменения в сюжетной линии романа.

К написанию «романа о дьяволе» — так чаще всего условно называлась автором рукопись романа, получившего в ноябре 1937 года окончательное наименование «Мастер и Маргарита», — Булгаков приступил в 1928 году. Именно в этом печально знаменитом году, после запрещения пьесы «Бег», окончательно выяснилось его положение как писателя: творчество его не принималось, осуждалось, признавалось враждебным новому строю. Ему предлагалось «перестроиться», то есть превратиться в писателя «услужающего». Предложения подобного рода он отвергал, а это вызывало недовольство не только у высокого руководства и его окружения, но и у той массы чиновников, писателей и критиков, которые «услужение» почитали за норму. Для них Булгаков был живым укором. Поэтому травля писателя в этот период приобрела характер неистовой и грязной брани. После отрицательной оценки творчества Булгакова И. В. Сталиным в феврале 1929 года (правда, с оговорками, которые не меняли сути отрицательного «заключения» вождя) травля писателя в прессе еще более усилилась и приняла характер официальный. Не имея возможности подробно описать сложившуюся вокруг писателя в тот период атмосферу, мы ограничимся лишь некоторыми примерами, которые неизвестны широкому читателю.

Изощрялись в выпадах против Булгакова не только политические деятели и чиновники, литераторы и критики, но

старались вовсю и «поэты», сатирики и прочие. Так, небезызвестный поэт-сатирик А. М. Арго в своей новогодней пародии «Сон Татьяны» («Вечерняя Москва», 30 декабря 1928 года) поместил такие «безобидные» строки:

И дальше грезится Татьяне
Виденье сквозь полночный мрак:
Трусит верхом на таракане
Гробово-островный Булгак.

Еще более «известный» писатель и драматург Ф. Ф. Раскольников, возглавлявший в те годы журнал «Красная новь», напечатал в той же газете 5 января 1929 года «перспективы» работы журнала, в которых, в частности, говорилось: «Во всех своих отделах «Красная новь» будет вести непримиримую борьбу с обострившейся правой опасностью и с усилившимся натиском буржуазных тенденций и антипролетарских настроений. В одном из очередных номеров журнала будет напечатана критическая статья, вскрывающая реакционный творческий путь такого типичного необуржуазного писателя, как Михаил Булгаков».

Помимо бесчисленных ругательных публикаций в прессе имя Булгакова постоянно склонялось на различных заседаниях, совещаниях, собраниях.

Кстати, особое рвение в травле Булгакова проявляли драматурги, видевшие в нем опаснейшего творческого соперника. Один из них — В. М. Киршон не упускал ни одной возможности, чтобы не нанести удар по Булгакову. Так, 3 июня 1929 года в «Вечерней Москве» он писал: «Сезон 1928/29 года не был блестящ, но — думается мне — весьма поучителен. Прежде всего, отчетливо выявилось лицо классового врага. «Бег», «Багровый остров» продемонстрировали наступление буржуазного крыла драматургии». И тут же, в этом же номере газеты, эту «мысль» Киршона развивал мечтавший о лаврах лучшего драматурга страны Ф. Ф. Раскольников, занявший к тому времени кресло начальника Главреперткома (незадолго до этого именно Булгаков разгромил его пьесу «Робеспьер» на творческом диспуте). Раскольников определил место театра как «важнейшего орудия классовой борьбы» и назвал огромным достижением минувшего сезона тот «сильный удар, нанесенный по необуржуазной драматургии закрытием «Бега» и снятием театром Вахтангова «Зойкиной квартиры». Любопытным является высказывание и еще одного критика и драматурга, позднее

занявшего пост начальника Главреперткома, — О. С. Литовского, травившего Булгакова в течение нескольких лет. Он категорически утверждал, что «в этом году мы имели одну постановку, представлявшую собой злостный пасквиль на Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным силам: речь идет о «Багровом острове» («Известия», 20 июня 1929 года).

На этом, видимо, цитирование из альбома вырезок газетных и журнальных статей и других материалов, собранных самим писателем, следует прекратить. Замечу лишь, что к этому времени все пьесы Булгакова были запрещены, ни одной строчки его не печатали, на работу никуда не принимали. И в заграничной поездке также было отказано. Повеяло страшным холодком...

Потрясенный содеянным над ним моральным террором, писатель начал осмысливать свое положение в условиях, которые казались ему выходящими за рамки разумного человеческого общежития. И в результате мучительных размышлений Михаил Афанасьевич пришел к выводу о необходимости продолжить писательскую работу. Он приступил к разработке новой темы, которая была не менее острой и опасной, чем прежняя, а именно — к теме судьбы творческой личности, не потерявшей в условиях тирании человеческого облика и способности выражать и отстаивать свои идеи и взгляды. Булгаков принял вызов «оппонентов» и решил дать им достойный ответ: он начал писать роман о той действительности, которую наблюдал.

Конечно, не только разыгравшаяся травля послужила для писателя толчком к началу столь огромной и ответственной работы. Имеется много косвенных свидетельств, указывающих на стремление Булгакова создать большой философско-психологический роман. Известно, например, что он проявлял большой интерес к трудам Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флоренского и других русских философов. Одновременно накапливал материал о важнейших текущих событиях, о крупных личностях своего времени. Очень внимательно следил за развивающимся богоборческим движением. Характерна следующая его запись в дневнике от 5 января 1925 года: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Этому

преступлению нет цены». В течение нескольких лет Булгаков собирал материал по этой теме, и несомненно он был использован при написании романа.

На определенные размышления могло навести писателя и любопытнейшее письмо, которое он получил в декабре 1928 года за подписью «Виктор Викторович Мышлаевский». В нем говорилось: «Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу сообщить Вам свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть... Мне казалось тогда, что большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан... Но вот медовые месяцы революции проходят. НЭП. Кронштадтское восстание. У меня, как и у многих, проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета... Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид Вотяжского божка и вожделеющее на каждую машинистку. Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлеченьем... И ложь, ложь без конца... Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену. А сама идея!? Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее и красивее. Так вот-с. Остался я теперь у разбитого корыта. Не материально. Нет. Я служу и по нынешним временам — ничего себе... Но паршиво жить ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной». Весьма примечательно, что Булгаков хранил это письмо многие годы, а Елена Сергеевна сохранила его в архиве.

Так постепенно формировался материал для большого произведения. Видимо, гнев Булгакова на окружающую действительность, вернее, на ее творцов был столь велик, что он в своем романе главным героем сделал Сатану. Более того, Сатана является в Москву для ознакомления с происходящим в этой «красной столице» и осуществления каких-

то действий. Правда, Булгаков перенес события на 1943 год, но виновником тому был Нострадамус, определивший неизбежность катаклизмов в этот период времени.

Уже много лет ведется спор по очень важному вопросу — о количестве редакций романа. М. О. Чудакова насчитала восемь редакций (См. «Записки отдела рукописей», вып. 37), но Л. М. Яновская недавно опровергла это мнение: она полагает, что их — шесть! (Октябрь, 1991, № 5). Если учесть, что эти исследователи изучают творчество писателя около трех десятков лет, то у почитателей таланта Булгакова может возникнуть мысль о существовании еще одной загадки в булгаковедении.

Не вдаваясь в нюансы возникшего спора, я попытаюсь в максимально упрощенном виде и последовательно, опираясь на факты, изложить суть проблемы.

Абсолютно точной даты начала работы над «романом о дьяволе» пока не установлено. Сам автор датирует время написания романа по-разному: 1929—1931, 1928—1937 (дважды), 1929—1938. Тщательный анализ рукописей первых редакций романа и их сопоставлеиие с другими архивными материалами писателя показывают, что уже весной 1929 года работа над романом (по первоначальному замыслу) была завершена. Но об этом будет сказано ниже. Замечу лишь, что по совершенно непонятным причинам листы рукописей первых редакций, где обычно автор проставлял даты начала и окончания работы, — уничтожены. Сделал ли это сам автор — установить не удалось.

Итак, обратимся непосредственно к рукописям романа. Но перед этим коснемся вопроса о его сожжении самим писателем, иначе трудно будет объяснить происхождение нескольких редакций и вариантов.

В каком виде существовал в то время роман, что именно уничтожил Булгаков — доподлинно не известно. Ни Л. Е. Белозерская, ни Е. С. Булгакова не оставили нам точных сведений по данному вопросу, т. к. не были свидетелями этого трагического события. Вероятно, не было и других очевидцев, иначе информация наверняка просочилась бы. Следовательно, единственным достоверным источником сведений о случившемся могут быть свидетельства самого автора. Обратимся к ним, соблюдая их хронологию.

В знаменитом обращении к «Правительству СССР» 28 марта 1930 года Булгаков писал:

«Ныне я уничтожен...

18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса «Кабала святош» («Мольер») к **представлению не разрешена.**

Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы — блестящая пьеса.

...Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».

Все мои вещи безнадежны».

Из этого отрывка ясно видно, что три свои произведения Булгаков уничтожил в дни между 18 и 28 марта 1930 года. Кстати, косвенным подтверждением тому, что ранее этого срока Булгаков не уничтожал свои рукописи, может служить его письмо брату в Париж от 21 февраля того же года, в котором есть такие строки: «Я свою писательскую задачу в условиях неимоверной трудности старался выполнить, как должно. Ныне моя работа остановлена. Я представляю собой сложную... машину, продукция которой в СССР не нужна. Мне это слишком ясно доказывали и доказывают еще и сейчас по поводу моей пьесы о Мольере». Едва ли Булгаков написал бы такие слова после уничтожения рукописей. Вместе с тем он чувствовал надвигающуюся скорую беду, и последняя ниточка к спасению — пьеса «Кабала святош», по его предчувствию, должна была вот-вот оборваться. «Одна мысль тяготит меня, — сообщает он в том же письме, — что, по-видимому, нам никогда не придется в жизни увидеться. Судьба моя была запутанна и страшна. Теперь она приводит меня к молчанию, а для писателя это равносильно смерти... По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средство к спасению. Но ничего не видно. Кому бы, думаю, еще написать заявление?»

Итак, рукописи были уничтожены писателем во второй половине марта 1930 года. Но что именно он уничтожил? Ответ вроде бы дан самим автором: «...черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Но не будем пока спешить с выводами.

Спустя три с лишним года Булгаков, вспоминая страшные для себя годы («Ох, буду я помнить года 1929—1931!»), писал В. В. Вересаеву 2 августа 1933 года: «В меня вселился

бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман». Обратим внимание: уже речь идет не о «черновике романа», а о «романе».

Но наиболее важные сведения содержатся в рукописи, написанной Булгаковым в 1937—1938 годах. Читаем в главе «Явление героя»: «Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь... Покончив с тетрадями, я принялся за **машинописные экземпляры** (выделено мною. — *В.Л.*). Я отгреб гору пепла в глубь печки и, разняв толстые манускрипты, стал погружать их в пасть».

Эта дополнительная информация имеет исключительное значение, ибо здесь впервые Булгаков упомянул об уничтожении машинописных экземпляров романа, то есть как бы признал существование законченного произведения. Тогда становится понятен и такой отрывок из последней редакции романа: «Он (роман — *В.Л.*) был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в пяти экземплярах». Правда, в той же последней редакции при описании сожжения романа машинописные экземпляры не упоминаются, а лишь подразумеваются под «тяжелыми списками» романа («Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь»).

Вместе с тем очевидно, что полное отождествление героя романа и его автора невозможно, тем более что в данном эпизоде достаточно много художественного вымысла (например, появление Маргариты в момент сожжения рукописей). Но, к сожалению, никаких следов существования машинописных экземпляров первых редакций романа за многие десятилетия никому обнаружить не удалось.

Приходится признать, что возникающие сомнения не так легко опровергнуть. И тем не менее не верится, что писатель «выдумал» историю с законченным романом — слишком трагическими были для него эти события. К тому же и Л. Е. Белозерская (ее рукою под диктовку Булгакова написано несколько глав романа), и друг писателя С. А. Ермолинский, независимо друг от друга, утверждают в своих воспоминаниях, что Булгаков читал несколько раз роман о дьяволе своим друзьям на Пречистенке по машинописному тексту. Более того, Л. Е. Белозерская по памяти приводила выдержки из

глав, которых нет в сохранившихся черновиках (например, «Шабаш ведьм»). Словом, близкие писателю люди были убеждены, что Булгаков читал законченное произведение.

Но скептики тут же могут задать вопрос: «А стоит ли вообще об этом говорить, если предполагаемые машинописные экземпляры романа все равно все уничтожены автором?»

По поводу этого возможного вопроса хотелось бы заметить, что если есть хотя бы малейшая надежда для отыскания утраченных уникальных рукописей, то нужно сделать все возможное, чтобы проверить обоснованность возникшей версии.

Но вернемся к сохранившимся рукописям романа и попробуем разобраться в его редакциях и вариантах.

Как уже было сказано, к счастью, все же уцелели две тетради с черновым текстом уничтоженного романа и кусочки отдельных листов из третьей тетради (1928—1929 гг.). Кроме того, остались нетронутыми две тетради с черновыми набросками текстов (1929—1931 гг.). Тетради 1928—1929 годов не имеют следов огня, но большая часть листов с текстом оборвана.

Л. М. Яновская по этому поводу пишет: «...Булгаков рвал их (тетради. — *В.Л.*), сидя за столом, не торопясь, просматривая страницу за страницей. И видно, что сделал он это не вдруг, а в разное время, в разном настроении и, вероятно, по разным поводам... Пожалуй, это более похоже на ликвидацию ненужных автору черновиков, когда уже существует текст, переписанный набело. На ликвидацию дорогих автору черновиков, след которых, знак которых все-таки хочется оставить — для себя... Многие листы в рукописи сохранены. Случайно сохранены? Да нет, пожалуй. Сохранена неоконченная глава, сохранены требующие доработки главы...» (Л. Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 229—230). Благостная картина нарисована исследователем. По нашему мнению, она лишь в малой степени соответствует действительности.

Первая сохранившаяся тетрадь имеет авторский заголовок на обложке: «Черновик романа. Тетрадь I». В ней можно насчитать пятнадцать глав, из которых первые одиннадцать, наиболее важные по содержанию, уничтожены, а последние четыре сохранены. Четко видно, что листы захватывались пучками, причем довольно большими, вырывались рывками, в спешке и неровно. Иногда оборванные листы подрезались

под корешок, а иногда оставалась лишь узкая полоска с текстом. Чем это можно объяснить? Если последующую «обработку» наполовину уничтоженного текста осуществлял сам автор, то только с единственной целью — ликвидировать наиболее острые по содержанию куски текста, за которые он мог в те годы сурово поплатиться. Но нельзя исключить, что остатки текста уничтожались не самим автором и в более поздние сроки. Во всяком случае, если большую часть текста, оставшегося после первой его «обработки», еще можно реконструировать, то вырезанные куски оборванного текста восстановить невозможно.

Сразу заметим, что текст первой тетради представляет собой **первую** редакцию романа о дьяволе. Рукопись имела несколько заголовков, из которых ясно читается лишь один — «Черный маг». Причем встречается это название дважды: в начале текста, перед предисловием, а затем через несколько страниц — перед вторым вариантом предисловия (во втором случае оно — единственное!). Из других названий сохранились на оборванном первом листе лишь первые слова: «Сны...», «Гастроль...». Таким образом, название «Черный маг» для первой редакции романа о дьяволе является, на наш взгляд, вполне обоснованным (см. «Комментарии», с. 507. — *Ред.*).

Из материалов, уничтоженных автором в марте 1930 года, сохранилась также тетрадь, на которой написано: «Черновики романа. Тетрадь II». Оставшаяся нетронутой, надпись имеет большое значение, ибо точно указывает на последовательность работы над романом — перед нами начало его **второй** редакции. Подтверждением является сам материал тетради.

Прежде всего о названии. Первый лист тетради вырезан под корешок, а на втором, оборванном наполовину листе уничтожен кусок листа с заголовком и датой. По непонятным причинам в первой и второй редакциях романа уничтожались его начальные листы. К счастью, остался нетронутым первый лист четвертой главы данной редакции, которая называлась «Мания фурибунда». Интересен ее подзаголовок: «...глава из романа «Копыто инженера». Поскольку в данной редакции какое-либо другое название романа больше нигде не упоминается, то есть все основания назвать ее «Копытом инженера». Это удобно для соотнесения второй редакции с первой («Черный маг») и с последующими редакциями.

Из второй черновой редакции романа сохранились пол-

ностью или частично тексты с первой по четвертую главу, часть текста седьмой и пятнадцатой глав и обрывки текста из других глав романа. Анализ текстов показывает, что это самостоятельная, к сожалению сохранившаяся частично, редакция романа. (См. «Комментарии», с. 513. — *Ред.*).

Если предположить, что существовал машинописный вариант «романа о дьяволе», то необходимо констатировать его полное уничтожение самим автором, причем неизвестно, была ли это новая редакция романа или перепечатка второй редакции, также в значительной части уничтоженной.

Через некоторое время после уничтожения рукописей и известного телефонного разговора со Сталиным 18 апреля 1930 года Булгаков пытался возобновить работу над романом. Сохранились две тетради с черновыми набросками глав. Одна из тетрадей имеет авторский заголовок: «Черновики романа. Тетрадь I. 1929—1931 год». В ней содержится глава «Дело было в Грибоедове» и такая любопытная рабочая запись: «Глава. **«Сеанс окончен».** Заведующий акустикой московских государственных театров Пафнутий Аркадьевич Семплеяров. // Вордолазов. Актриса Варя Чембунчи. Маргарита заговорила страстно: —...»

Во второй тетради, не имеющей заголовка, переписана глава «Дело было в Грибоедове» (с существенными изменениями, но не завершена) и сделан набросок главы «Полет Воланда». Кроме того, была начата глава «Копыто консультанта», по содержанию соответствующая главе «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Но на этом работа над романом прекратилась. Постоянная занятость в двух театрах — МХАТе и ТРАМе, а кроме того, сильнейшее физическое и психическое переутомление не позволили ее продолжить. «Причина моей болезни, — писал Булгаков Сталину 30 мая 1931 года, — многолетняя затравленность, а затем молчание... по ночам стал писать. Но надорвался... Я переутомлен...»

Материал, сосредоточенный в этих двух тетрадях, никак не может быть соотнесен с очередной редакцией романа. Это — черновые наброски глав, которые, в зависимости от времени их написания (точные даты работы над ними установить чрезвычайно трудно), можно отнести и ко второй и к третьей редакции.

Возвращение Булгакова к «роману о дьяволе» состоялось в 1932 году. В новой тетради на титульном листе Булгаков написал «М. Булгаков. / **Роман.** // 1932». На первой странице

тексту предшествует следующая авторская запись: «1932 г. // Фантастический роман. // Великий канцлер. **Сатана.** Вот и я. Шляпа с пером. **Черный богослов. Он появился. / Подкова иностранца».** На 55-й странице тетради Булгаков вновь возвращается к названию романа и записывает: «Заглавия. // Он явился. Происшествие. Черный маг. Копыто консультанта». Поскольку в течение 1932—1936 годов писатель так и не определился с названием романа, то мы остановились на первом из набросанных автором заглавий перед началом текста — «Великий канцлер».

Всего в 1932 году за короткий промежуток времени Булгаков написал семь глав. Поскольку часть текста в тетради написана рукой Е. С. Булгаковой, ставшей женой писателя в сентябре 1932 года, то можно предположить, что Булгаков начал новую, третью редакцию романа осенью, очевидно в октябре месяце, когда супруги были в Ленинграде.

Вновь вернулся писатель к роману летом 1933 года опять-таки в Ленинграде, где он был вместе с Еленой Сергеевной в течение десяти дней. Осенью он продолжил интенсивную работу, развивая основные идеи. Так, по ходу текста вдруг появляется запись: «Встреча поэта с Воландом. // Маргарита и Фауст. // Черная месса. // — Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы. Не будешь слушать романтические... // Маргарита и козел. // Вишни. Река. Мечтание. Стихи. История с губной помадой».

6 октября 1933 года Булгаков решил сделать «Разметку глав романа», по которой можно судить о дальнейших планах писателя. Завершалась «разметка» главой со схематичным названием: «Полет. Понтий Пилат. Воскресенье». Затем началась быстрая работа, которую, читая текст, можно проследить по дням, поскольку Булгаков датировал ее. За три месяца с небольшим было написано семь глав. С февраля наступил перерыв. Булгаковы переехали на новую квартиру в Нащокинском переулке, осваивали ее, готовились к поездке в Париж.

И в третий раз возвращение к работе над романом состоялось в Ленинграде (!), в июле 1934 года, где Булгаковы находились вместе с МХАТом, гастролировавшим в этом городе. Там же был отмечен юбилей — пятисотый спектакль «Дней Турбиных». Но у Булгаковых настроение было не праздничное, ибо незадолго до этого им было отказано в поездке за границу. Писатель расценивал этот факт как недоверие к нему со стороны правительства.

В новой тетради на первой странице Булгаков записал: «**Роман.** Окончание (Ленинград, июль, 1934 г.)».

В Ленинграде писатель работал над романом на протяжении пяти дней, с 12 по 16 июля, о чем свидетельствуют записи. Затем работа была продолжена в Москве. Глава «Последний путь», завершающая **третью** редакцию, была написана в период между 21 сентября и 30 октября 1934 года.

Примечательно, что текст последней главы обрывается на полуслове, она не получает окончания. Но Булгаков незамедлительно делает новую «Разметку глав», существенно изменяя структуру романа, и приступает к работе над новой редакцией. Главная причина — стремление раздвинуть горизонты для своих новых героев, появившихся в третьей редакции, — для поэта (мастера) и его подруги. Разумеется, предполагалась переработка ряда глав, но это не меняло сути дела. 30 октября 1934 года Булгаков начинает новую тетрадь знаменательной фразой: «Дописать раньше, чем умереть». В ней он дописывает ряд глав, некоторые переписывает, начиная с главы «Ошибка профессора Стравинского». Среди вновь созданных глав выделяются две: «Полночное явление» и «На Лысой Горе». Появление мастера в палате у Иванушки и его рассказ о себе предопределил центральное место этого героя в романе. И не случайно в завершающих редакциях эта глава трансформировалась в «Явление героя». Значительно позже, в июле 1936 года, была переписана последняя глава, получившая название «Последний полет». Впервые за многие годы работы писатель поставил в конце ее слово «Конец». Тем самым была завершена работа еще над одной редакцией — **четвертой** по счету.

Строго говоря, к четвертой редакции следовало бы отнести лишь те главы, которые были вновь написаны, дополнены и переписаны с глубоким редактированием текста, начиная с 30 октября 1934 года. Но, согласно новой разметке глав и их перенумерации, большая часть глав третьей редакции вошла в четвертую, и, по существу, из них обеих сложилась **первая относительно полная рукописная** редакция.

Следующий этап работы над романом — его переписывание, но не механическое, а с изменениями и дополнениями текста, иногда весьма существенными. Изменялась также структура романа, переименовывались некоторые главы. О сроках начала этой работы сказать трудно, поскольку руко-

пись не датирована, а в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой и в письмах писателя это никак не отразилось. Предположительные сроки — первая половина 1937 года. Новая рукопись была названа просто — «Роман» (видимо, окончательно название еще не определилось) и включала написанные ранее главы: «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Золотое копье», «Седьмое доказательство», «Дело было в Грибоедове». Нетрудно заметить, что Булгаков вернулся к первоначальной структуре романа с рассмотрением истории Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата в главе «Золотое копье» в начале книги. Но при этом из масштабного «Евангелия от дьявола» была выделена его часть — сцена допроса Иешуа Пилатом (прочие сцены были перенесены в другие главы). Прекращение работы над рукописью, видимо, связано с тем, что у автора возникли новые идеи по структуре и содержанию романа. Переписанные Булгаковым три главы, конечно, не составляют новой редакции всего произведения, хотя имеют значительный интерес.

Вскоре Булгаков приступил к новой редакции романа — **пятой** (к сожалению, незавершенной). На титульном листе автором была сделана следующая запись: «М. Булгаков. // Князь тьмы. // Роман // Москва // 1928—1937». Всего было написано тринадцать глав, причем последняя глава — «Полночное явление» — была оборвана на фразе: «Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...»

О конкретных сроках написания этой редакции можно говорить только предположительно, поскольку в самой рукописи (две толстые тетради) никаких авторских помет нет. И в дневнике Е. С. Булгаковой за 1937 год первое упоминание о романе появляется в записи от 23 сентября, где отмечено удручающее настроение писателя: «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать ли роман и представить? Ничего нельзя сделать, безвыходное положение!» Затем, через месяц, 23 октября Елена Сергеевна записала: «У Миши назревает решение уйти из театра — это ужасно — работать над либретто! Выправить роман (дьявол, мастер, Маргарита) и представить». Пока еще окончательного названия мы не встречаем, но впервые упоминание Маргариты появляется как бы в наименовании романа. Очевидно, разговоры об этом уже велись. 27 октября новая запись о романе: «Уборка книг. Миша правит роман». И только 12 ноября 1937 года появляется важнейшая

запись в дневнике: «Вечером М. А. работал над романом о Мастере и Маргарите». А это означает, что, во-первых, роман получил наконец свое окончательное название и, во-вторых, Булгаков в это время уже начал работу над **шестой** редакцией. На титульном листе первой тетради этой редакции Булгаков записал: «М.А. Булгаков. // Мастер и Маргарита. // Роман. // 1928—1937». На обложке же он начертал: «Роман. // Тетрадь I». Всего же было исписано шесть толстых тетрадей, и каждая из них получила авторскую нумерацию. Шестая тетрадь завершается так: «Конец. // 22—23 мая 1938 г.». Следовательно, примерно за полгода Булгаков завершил шестую редакцию, которая стала второй полной рукописной редакцией романа. Она включает тридцать глав и по объему значительно превышает первую полную рукописную редакцию.

А через несколько дней Булгаков начал диктовать роман на машинку О.С. Бокшанской — сестре Елены Сергеевны. Весь ход этой работы отражен в письмах писателя к жене, которая отдыхала в это время в Лебедяни. 25 июня перепечатка текста была завершена. В ходе работы вносились существенные корректировки текста и дополнения — в результате родилась новая редакция романа — **седьмая.**

О последующей работе над романом хорошо известно. Она проводилась в последние полгода жизни писателя. 15 января 1940 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Миша, сколько хватает сил, правит роман, я переписываю». В последний раз Булгаков работал над романом 13 февраля. Внесенные автором в текст поправки и дополнения позволяют говорить уже о новой редакции романа — **восьмой,** правда, неполной, поскольку одна из двух тетрадей, в которые Е. С. Булгакова записывала текст под диктовку мужа, таинственно исчезла. Так что читателя, возможно, еще ждет впереди приятный сюрприз — знакомство с неизвестными текстами великого романа.

## «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОЛК»

При изучении творческого наследия выдающихся представителей литературы и искусства, к каковым несомненно принадлежит М.А.Булгаков, исследователи обычно по кру-

ницам собирают высказывания самих корифеев о своем творчестве. Есть такие высказывания и у Булгакова, особенно в письмах и автобиографических произведениях. Но почему-то исследователи-булгаковеды не акцентировали свое внимание на одном чрезвычайно важном признании писателя, раскрывающем его творческое кредо. В начале августа 1938 года Булгаков, завершив работу над предпоследней редакцией «Мастера и Маргариты», так писал Елене Сергеевне в Лебедянь: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!»

Такое признание, такая самооценка расценивается обычно на вес золота. В письме Булгакова речь шла о статье И. В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана», которая была опубликована в журнале «Литературная учеба» (1938, № 5). К счастью, этот номер журнала сохранился в архиве писателя. Статья тщательнейшим образом была проработана Булгаковым, многие фрагменты текста подчеркнуты красным и синим карандашами и помечены на полях. По существу, куски текста, отмеченные писателем в статье литературоведа, в совокупности представляют собой аргументированное мнение автора «Мастера и Маргариты» о своем романе. Приведу лишь один из них:

«От иенской школы романтизма Гофман унаследовал ее основную тему: искусство и его судьба в буржуазном обществе. Он превращает искусство в боевую вышку, с которой как художник творит сатирическую расправу над действительностью. Шаг за шагом отвлеченный субъективно-эстетический протест в творчестве Гофмана вырастает в бунт социального напряжения, ставящий Гофмана в оппозицию ко всему политическому правопорядку Германии».

Не составит большого труда заменить гофмановские реалии на булгаковские, и тогда станет понятно, почему Михаил Афанасьевич выделяет это место в статье Миримского. Перед нами в высшей степени откровенное признание писателя не только о месте и значении его «закатного романа», но и в отношении всего своего творчества.

Впрочем, Булгаков никогда свою социальную и творческую позицию не затушевывал. Наиболее ясно и твердо он говорил о ней в письмах руководству страны. Так, в июле 1929 года он писал Сталину: «По мере того, как я выпускал в

свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все бо́льшее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса... не получило ни одного одобрительного отзыва... Все мои произведения получили чудовищные, неблагоприятные отзывы». Предельно откровенно и, быть может, даже обнаженно-дерзко высказал он свои взгляды в письме правительству 28 марта 1930 года. Вот некоторые его фрагменты: «Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет... Вся пресса в СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и *с необыкновенной яростью* доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР **совершенно права**. ...Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати... Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях... в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина». И через год вновь в письме Сталину Булгаков напишет такие совершенно потрясающие по смелости слова: «...На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк (выделено мной. — *В.Л.*). Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе... Сейчас... я отравлен тоской... Привита психология заключенного».

Ни один писатель в СССР не мог позволить себе так разговаривать с властелином страны. Но в произведениях своих он был еще более ядовит и откровенен. Так, в «Кабале святош» брат Сила, член этой Кабалы, говорит такие слова:

«Зададим себе такой вопрос: может ли быть на свете государственный строй более правильный, нежели тот, который существует в нашей стране? Нет! Такого строя быть не может и никогда на свете не будет. Во главе государства стоит великий обожаемый монарх, самый мудрый из всех людей на земле. В руках его все царство... И вот вообразите, какая-то сволочь... пользуясь бесконечной королевской добротой, начинает рыть устои царства... Он, голоштанник, ничем не доволен. Он приносит только вред, он сеет смуту и пакости... Я думаю вот что: подать королю петицию, в которой всеподданнейше просить собрать всех писателей во Франции, все их книги сжечь, а самих их повесить на площади в назидание прочим...»

И если все эти тексты прочитывал «советский король», то можно представить, какие мысли у него роились в голове, когда он получал в течение многих лет сведения о том, что «голоштанник» работает над каким-то «тайным романом»...

* * *

Несколько слов о структуре книги. Основной текст рукописи под названием «Великий канцлер» (третья редакция романа) дополнен несколькими «Приложениями». Прежде всего, это главы четвертой редакции (1934—1936 гг.), в значительной степени дополняющие основную, третью редакцию. Кроме того, включены сохранившиеся уникальные тексты из двух черновых тетрадей, составляющих первую и вторую редакции, написанные Булгаковым в 1928—1929 годах и уничтоженные им в марте 1930 года. В «Приложения» включены также черновые варианты глав и отдельные наброски, написанные Булгаковым в 1929—1931 годы. И наконец, в этом разделе представлены главы из шестой (второй полной рукописной) редакции, подготовленные писателем в 1937—1938 годы. Они восполняют недостающие (уничтоженные автором в процессе работы) части текста третьей редакции.

К основному тексту романа «Великий канцлер» и к текстам, включенным в «Приложения», составлены комментарии. В них преобладающее место занимают поясняющие тексты-разночтения из других редакций и вариантов романа, не включенных в книгу. Отсыл к комментариям обозначен в тексте курсивом.

Следует отметить, что значительная часть текстов, включенных в книгу, **публикуется впервые.** Все публикуемые тексты сверены с автографами писателя, хранящимися в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

*Виктор ЛОСЕВ,*
*кандидат исторических наук,*
*заведующий сектором отдела*
*рукописей ГБЛ*

# ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР

# НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час заката на *Патриарших Прудах* появились двое мужчин. Один из них лет тридцати пяти, одет в дешевенький заграничный костюм. Лицо имел гладко выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей нелепое название «толстовка», и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка.

Оба изнывали от жары. У второго, не догадавшегося снять кепку, пот буквально струями тек по грязным щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже...

Первый был не кто иной, как товарищ *Михаил Александрович Берлиоз*, секретарь Всемирного объединения писателей *(Всемиописа)* и редактор всех московских толстых художественных журналов, а спутник его — *Иван Николаевич Попов*, известный поэт, пишущий *под псевдонимом Бездомный*.

Оба, как только прошли решетку Прудов, первым долгом бросились к будочке, на которой была надпись: «Всевозможные прохладительные напитки». Руки у них запрыгали, глаза стали молящими. У будочки не было ни одного человека.

Да, следует отметить первую странность этого вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее не было никого. В тот час, когда солнце в пыли, в дыму и грохоте садится в *Цыганские Грузины*, когда все живущее жадно ищет воды, клочка зелени, кустика травинки, когда раскаленные плиты города отдают жар, когда у собак языки висят до земли, в аллее не было ни одного человека. Как будто нарочно все было сделано, чтобы не оказалось свидетелей.

— Нарзану, — сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке.

Ноги спрыгнули тяжело на ящик, а оттуда на пол.

— Нарзану нет, — сказала женщина в будке.

— Ну, боржому, — нетерпеливо попросил Берлиоз.

— Нет боржому, — ответила женщина.

— Так что же у вас есть? — раздраженно спросил Бездомный и тут же испугался — а ну как женщина ответит, что ничего нет.

Но женщина ответила:

— Фруктовая есть.

— Давай, давай, давай, — сказал Бездомный.

Откупорили фруктовую — и секретарь, и поэт припали к стаканам. Фруктовая пахла одеколоном и конфетами. Друзей прошиб пот. Их затрясло. Они оглянулись и тут же поняли, насколько истомились, пока дошли с Площади Революции до Патриарших. Затем они стали икать. Икая, Бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нет и что спичек тоже нет.

Икая, Бездомный пробурчал что-то вроде — «сволочь эта фруктовая» — и путники вышли в аллею. Фуктовая ли помогла или зелень старых лип, но только им стало легче. И оба они поместились на скамье лицом к застывшему зеленому пруду. Кепку и тут Бездомный снять не догадался и пот в тени стал высыхать на нем.

И тут произошло второе странное обстоятельство, касающееся одного Михаила Александровича. Во-первых, внезапно его охватила тоска. Ни с того ни с сего. Как бы черная рука протянулась и сжала его сердце. Он оглянулся, побледнел, не понимая в чем дело. Он вытер пот платком, подумал: «Что же это меня тревожит? Я переутомился. Пора бы мне, в сущности говоря, в Кисловодск...»

Не успел он это подумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и из воздуха соткался застойный и прозрачный тип вида довольно странного. На маленькой головке жокейская кепка, клетчатый воздушный пиджачок, и росту он в полторы сажени, и худой, как селедка, морда глумливая.

Какие бы то ни было редкие явления Михал Александровичу попадались редко. Поэтому прежде всего

он решил, что этого не может быть, и вытаращил глаза. Но это могло быть, потому что длинный жокей качался перед ним и влево и вправо. «Кисловодск... жара... удар?!» — подумал товарищ Берлиоз и уже в ужасе прикрыл глаза. Лишь только он их вновь открыл, с облегчением убедился в том, что быть действительно не может: сделанный из воздуха клетчатый растворился. И черная рука тут же отпустила сердце.

— Фу, черт, — сказал Берлиоз, — ты знаешь, Бездомный, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинаций было... Ну-с, итак.

И тут, еще раз обмахнувшись платком, Берлиоз повел речь, по-видимому, прерванную питьем фруктовой и иканием.

Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Михаил Александрович заказывал Ивану Николаевичу *большую антирелигиозную поэму* для очередной книжки журнала. Во время путешествия с Площади Революции на Патриаршие Пруды редактор и рассказывал поэту о тех положениях, которые должны были лечь в основу поэмы.

Следует признать, что редактор был образован. В речи его, как пузыри на воде, вскакивали имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита.

Поэт слушал редактора со вниманием и лишь изредка икал внезапно, причем каждый раз тихонько ругал фруктовую непечатными словами.

Где-то за спиной друзей грохотала и выла Садовая, по Бронной мимо Патриарших проходили трамваи и пролетали грузовики, подымая тучи белой пыли, а в аллее опять не было никого.

Дело между тем выходило дрянь: кого из историков ни возьми, ясно становилось каждому грамотному человеку, что Иисуса Христа никакого на свете не было. Таким образом, человечество в течение огромного количества лет пребывало в заблуждении и частично будущая поэма Бездомного должна была послужить великому делу освобождения от заблуждения.

Меж тем товарищ Берлиоз погрузился в такие дебри, в которые может отправиться, не рискуя в них застрять, только очень начитанный человек. Соткался

в воздухе, который стал по счастью немного свежеть, над Прудом египетский бог Озирис, и вавилонский Таммуз, появился пророк Иезикииль, а за Таммузом — Мардук, а уж за этим совсем странный и сделанный к тому же из теста божок Вицлипуцли.

*И тут-то в аллею и вышел человек.* Нужно сказать, что три учреждения впоследствии, когда уже, в сущности, было поздно, представили свои сводки с описанием этого человека. Сводки эти не могут не вызвать изумления. Так, в одной из них сказано, что человек этот был маленького росту, имел зубы золотые и хромал на правую ногу. В другой сказано, что человек этот был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. А в третьей, что особых примет у человека не было. Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится.

Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, а с левой — золотые. Одет он был так: серый дорогой костюм, серые туфли заграничные, на голове берет, заломленный на правое ухо, на руках серые перчатки. В руках нес трость с золотым набалдашником. Гладко выбрит. Рот кривой. Лицо загоревшее. Один глаз черный, другой зеленый. Один глаз выше другого. Брови черные. Словом — иностранец.

Иностранец прошел мимо скамейки, на которой сидели поэт и редактор, причем бросил на них косой беглый взгляд.

«Немец», — подумал Берлиоз.

«Англичанин, — подумал Бездомный. — Ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках».

Иностранец, которому точно не было жарко, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке. Тут он окинул взглядом дома, окаймляющие Пруды, и видно стало, что, во-первых, он видит это место впервые, а во-вторых, что оно его заинтересовало.

Часть окон в верхних этажах пылала ослепительным пожаром, а в нижних тем временем окна погружались в тихую предвечернюю темноту.

Меж тем с соседней скамейки потоком лилась речь Берлиоза.

— Нет ни одной восточной религии, в которой бог не родился бы от непорочной девы. Разве в Египте

Изида не родила Горуса? А Будда в Индии? Да, наконец, в Греции Афина-Паллада — Аполлона? И я тебе советую...

Но тут Михаил Александрович прервал речь.

Иностранец вдруг поднялся со своей скамейки и направился к собеседникам. Те поглядели на него изумленно.

— Извините меня, пожалуйста, что, не будучи представлен вам, позволил себе подойти к вам, — заговорил иностранец с легким акцентом, — но предмет вашей беседы ученой столь интересен...

Тут иностранец вежливо снял берет и друзьям ничего не оставалось, как пожать иностранцу руку, с которой он очень умело сдернул перчатку.

«Скорее швед», — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Бездомный.

Нужно добавить, что на Бездомного иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— С великим интересом я услышал, что вы отрицаете существование Бога? — сказал иностранец, усевшись рядом с Берлиозом. — Неужели вы атеисты?

— Да, мы атеисты, — ответил товарищ Берлиоз.

— Ах, ах, ах! — воскликнул неизвестный иностранец и так впился в атеистов глазами, что тем даже стало неловко.

— Впрочем, в нашей стране это неудивительно, — вежливо объяснил Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге. — Улыбнувшись, он прибавил: — Мы не встречаем надобности в этой гипотезе.

— Это изумительно интересно! — воскликнул иностранец, — изумительно.

«Он и не швед», — подумал Берлиоз.

«Где это он так насобачился говорить по-русски?» — подумал Бездомный и нахмурился. Икать он перестал, но ему захотелось курить.

— Но позвольте вас спросить, как же быть с доказательствами бытия, доказательствами, коих существует ровно пять? — осведомился иностранец крайне тревожно.

— Увы, — ответил товарищ Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит. Их давно сдали в

архив. В области разума никаких доказательств бытия Божия нету и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец, — браво. Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Начисто он разрушил все пять доказательств, но потом, черт его возьми, словно курам на смех, вылепил собственного изобретения доказательство!

— Доказательство Канта, — сказал, тонко улыбаясь, образованный Берлиоз, — также не убедительно, и не зря Шиллер сказал, что Кантово доказательство пригодно для рабов, — и подумал: «Но кто же он такой, все-таки?»

— Взять бы этого Канта да в Соловки! — неожиданно бухнул Иван.

— Иван! — удивленно шепнул Берлиоз.

Но предложение посадить в Соловки Канта не только не поразило иностранца, но, наоборот, привело в восторг.

— Именно! Именно! — заговорил он восторженно, — ему там самое место. Говорил я ему: ты чепуху придумал, Иммануил.

Товарищ Берлиоз вытаращил глаза на иностранца.

— Но, — продолжал неизвестный, — посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам: во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых, умер.

— Жаль! — отозвался Иван, чувствуя, что он почему-то ненавидит иностранца все сильнее и сильнее.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот что меня мучительно беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле?

— Человек, — ответил Берлиоз.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — но как же, позвольте спросить, может управлять жизнью на земле человек, если он не может составить никакого плана, не говорю уже о таком сроке, как хотя бы сто лет, но даже на срок значительно более короткий. И в самом деле, вы вообразите, — только начнете управлять, распоряжаться, кхе... кхе... комбинировать и вдруг, вообразите, у вас саркома. — Тут иностранец

сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. — Саркома... — повторил он щурясь, — звучное слово, и вот-с, вы уже ничем не распоряжаетесь, вам не до комбинаций, и через некоторое время тот, кто недавно еще отдавал распоряжения по телефону, покрикивал на подчиненных, почтительно разговаривал с высшими и собирался в Кисловодск, лежит, скрестив руки на груди, в ящике, неутешная вдова стоит в изголовье, мысленно высчитывая, дадут ли ей персональную пенсию, а оркестр в дверях фальшиво играет марш Шопена.

И тут незнакомец тихонько и тонко рассмеялся.

Товарищ Берлиоз внимательно слушал неприятный рассказ про саркому, но не она занимала его.

«Он не иностранец! Не иностранец! — кричало у него в голове. — Он престранный тип. Но кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — любезно осведомился неизвестный у Ивана, который время от времени машинально похлопывал себя по карманам.

Иван хотел злобно ответить «Нет», но соблазн был слишком велик, и он промычал:

— Гм...

— Какие предпочитаете?

— А у вас какие есть? — хмуро спросил Иван.

— Какие предпочитаете?

— «Нашу марку», — злобно ответил Иван, уверенный, что «Нашей марки» нету у антипатичного иностранца.

Но «Марка» именно и нашлась. Но нашлась она в таком виде, что оба приятеля выпучили глаза. Иностранец вытащил из кармана пиджака колоссальных размеров золотой портсигар, на коем была составлена из крупных алмазов буква «W». В этом портсигаре изыскалось несколько штук крупных, ароматных, золотым табаком набитых папирос «Наша марка».

«Он — иностранец!» — уже смятенно подумал Берлиоз.

Ошеломленный Иван взял папиросу, в руках у иностранца щелкнула зажигалка, и синий дымок взвился под липой. Запахло приятно.

Закурил и иностранец, а некурящий Берлиоз отказался.

«Я ему сейчас возражу так, — подумал Берлиоз, — человек смертен, но на сегодняшний день...»

— Да, человек смертен, — провозгласил неизвестный, выпустив дым, — но даже сегодняшний вечер вам неизвестен. Даже приблизительно вы не знаете, что вы будете делать через час. Согласитесь сами, разве мыслимо чем-нибудь управлять при таком условии?

— Виноват, — отозвался Берлиоз, не сводя глаз с собеседника, — это уже преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее, конечно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — ответил неизвестный, — никому на голову никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам совершенно он не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?

— Сегодня вечером, — ответил Берлиоз, — в одиннадцать часов во Всемиописе будет заседание, на котором я буду председательствовать.

— Нет. Этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

Берлиоз приоткрыл рот.

— Почему? — спросил Иван злобно.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в тускневшее небо, в котором чертили бесшумно птицы, — что *Аннушка уже купила постное масло*, и не только купила его, но даже и разлила. Заседание не состоится.

Произошла пауза, понятное дело.

— Простите, — моргая глазами сказал Берлиоз, — я не понимаю... при чем здесь постное масло?..

Но иностранец не ответил.

— Скажите, пожалуйста, гражданин, — вдруг заговорил Иван, — вам не приходилось бывать когда-нибудь в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул Берлиоз.

Но иностранец не обиделся, а развеселился.

— Бывал, бывал не раз! — вскричал он, — где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое *мания фурибунда*. Так что это вы уже сами спросите, Иван Николаевич.

«Что так-кое?!» — крикнуло в голове у Берлиоза при словах «Иван Николаевич».

Иван поднялся.

Он был немного бледен.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, товарищ Бездомный, кто же вас не знает, — улыбнувшись, ответил иностранец.

— Я извиняюсь... — начал было Бездомный, но подумал, еще более изменился в лице и кончил так: — Вы не можете одну минуту подождать... Я пару слов хочу товарищу сказать.

— О, с удовольствием! Охотно, — воскликнул иностранец, — здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу, — и он сделал ручкой.

— Миша... вот что, — сказал поэт, отводя в сторону Берлиоза, — я знаю, кто это. Это, — раздельным веским шепотом заговорил поэт, — никакой не иностранец, а это белогвардейский шпион, — засипел он прямо в лицо Берлиозу, — пробравшийся в Москву. Это — эмигрант. Миша, спрашивай у него сейчас же документы. А то уйдет...

— Почему эми... — шепнул пораженный Берлиоз.

— Я тебе говорю! Какой черт иностранец так по-русски станет говорить!..

— Вот ерунда... — неприятно морщась, начал было Берлиоз.

— Идем, идем!..

И приятели вернулись к скамейке. Тут их ждал сюрприз. Незнакомец не сидел, а стоял у скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, глубокоуважаемый Михаил Александрович, что я в пылу интереснейшей беседы забыл назвать себя. Вот моя карточка, а вот в кармане и паспорт, — подчеркнуто сказал иностранец.

Берлиоз стал густо красен.

«Или слышал, или уж очень догадлив, черт...»

Иван заглянул в карточку, но разглядел только верхнее слово «professor...» и первую букву фамилии «W».

— Очень приятно, — выдавил из себя Берлиоз, глядя, как профессор прячет карточку в карман. — Вы в качестве консультанта вызваны к нам?

— Да, консультанта, как же, — подтвердил профессор.

— Вы — немец?

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, немец, — сказал он.

— Извиняюсь, откуда вы знаете, как нас зовут? — спросил Иван.

Иностранный консультант улыбнулся, причем выяснилось, что правый глаз у него не улыбается, да и вообще, что этот глаз никакого цвета, и вынул номер еженедельного журнала...

— А! — сразу сказали оба писателя. В журнале были как раз их портреты с полным обозначением имен, отчеств и фамилий.

— Прекрасная погода, — продолжал консультант, усаживаясь. Сели и приятели.

— А у вас какая специальность? — осведомился ласково Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

— Как?! — воскликнул товарищ Берлиоз.

«На т-тебе!» — подумал Иван.

— Виноват... и вас по этой специальности пригласили к нам?!

— Да, да, пригласили, — и тут приятели услышали, что профессор говорит с редчайшим немецким акцентом, — тут в государственной библиотеке громадный отдел старой книги, магии и демонологии, и меня пригласил как специалист единственный в мире. Они хотят разбират, продават...

— А-а! Вы — историк!

— Я — историк, — охотно подтвердил профессор, — я люблю разные истории. Смешные. И сегодня будет смешная история. Да, кстати, об историях, товарищи, — тут консультант таинственно поманил пальцем обоих приятелей, и те наклонились к нему, — имейте в виду, что Христос существовал, — сказал он шепотом.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз, — тут мы, к сожалению, не договоримся...

— Он существовал, — строгим шепотом повторил профессор, изумляя приятелей совершенно, и в частности, тем, что акцент его опять куда-то пропал.

— Но какое же доказательство?

— Доказательство вот какое, — зашептал профес-

сор, взяв под руки приятелей, — *я с ним лично встречался.*

Оба приятеля изменились в лице и переглянулись.

— Где?

— На балконе *у Понтия Пилата,* — шепнул профессор и, таинственно подняв палец, просипел: — Только т-сс!

«Ой, ой...»

— Вы сколько времени и Москве? — дрогнувшим голосом спросил Берлиоз.

— Я сегодня приехал в Москву, — многозначительно прошептал профессор, и тут только приятели, глянув ему в лицо, увидели, что глаза у него совершенно безумные. То есть, вернее, левый глаз, потому что правый был мертвый, черный.

«Так-с, — подумал Берлиоз, — все ясно. Приехал немец и тотчас спятил. Хорошенькая история!»

Но Берлиоз был решителен и сообразителен. Ловко откинувшись назад, он замигал Ивану, и тот его понял.

— Да, да, да, — заговорил Берлиоз, — возможно, все возможно. А вещи ваши где, профессор, — вкрадчиво осведомился он, — в «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде! — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазами по Патриаршим Прудам. Он вдруг припал к потрясенному Берлиозу.

— А где же вы будете жить? — спросил Берлиоз.

— В вашей квартире, — интимно подмигнув здоровым глазом, шепнул немец.

— Очень при... но...

— А дьявола тоже нет? — плаксиво спросил немец и вцепился теперь в Ивана.

— И дьявола...

— Не противоречь... — шепнул Берлиоз.

— Нету, нету никакого дьявола, — растерявшись, закричал Иван, — вот вцепился! Перестаньте психовать!

Немец расхохотался так, что из липы вылетел воробей и пропал.

— Ну, это уже положительно интересно! — заговорил он, сияя зеленым глазом. — Что же это у вас ничего нету! Христа нету, дьявола нету, папирос нету, Понтия Пилата, таксомотора нету...

— Ничего, ничего, профессор, успокойтесь, все уладится, все будет, — бормотал Берлиоз, усаживая профессора назад на скамейку. — Вы, профессор, посидите с Бездомным, а я только на одну минуту сбегаю к телефону, звякну, тут одно безотлагательное дельце, а там мы вас и проводим, и проводим...

План у Берлиоза был такой. Тотчас добраться до первого же телефона и сообщить куда следует, что приехавший из-за границы консультант-историк бродит по Патриаршим Прудам в явно ненормальном состоянии. Так вот, чтобы приняли меры, а то получится дурацкая и неприятная история.

— Дельце? Хорошо. Но только умоляю вас, *поверьте мне, что дьявол существует,* — пылко просил немец, поглядывая исподлобья на Берлиоза.

— Хорошо, хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково бормотал Берлиоз. — Ваня, ты посиди, — и, подмигнув, он устремился к выходу.

И профессор тотчас как будто выздоровел.

— Михаил Яковлевич! — звучно крикнул он вслед.

— А?

— Не дать ли вашему дяде телеграмму?

— Да, да, хорошо... хорошо... — отозвался Берлиоз, но дрогнул и подумал: «Откуда он знает про дядю?»

Впрочем, тут же мысль о дяде и вылетела у него из головы. И Берлиоз похолодел. С ближайшей к выходу скамейки поднялся навстречу редактору тот самый субъект, что недавно совсем соткался из жаркого зноя. Только сейчас он был уже не знойный, а обыкновенный плотский, настолько плотский, что Берлиоз отчетливо разглядел, что у него усишки, как куриные перышки, маленькие, иронические, как будто полупьяные глазки, жокейская шапочка двуцветная, а брючки клетчатые и необыкновенно противно подтянутые.

Товарищ Берлиоз вздрогнул, попятился, утешил себя мыслью, что это совпадение, что тó было марево, а это какой-то реальный оболтус.

— Турникет ищите, гражданин? — тенором осведомился оболтус, — а вот, прямо пожалуйте... Кхе... кхе... с вас бы, гражданин, за указание на четьлитровочки поправиться после вчерашнего... бывшему регенту...

Но Берлиоз не слушал, оказавшись уже возле турникета.

Он уж собрался шагнуть, но тут в темнеющем воздухе на него брызнул слабый красный и белый свет. Вспыхнула над самой головой вывеска «Берегись трамвая!». Из-за дома с Садовой на Бронную вылетел трамвай. Огней в нем еще не зажигали, и видно было, что в нем черным-черно от публики. Трамвай, выйдя на прямую, взвыл, качнулся и поддал. Осторожный Берлиоз хоть и стоял безопасно, но, выйдя за вертушку, хотел на полшага еще отступить. Сделал движение... в ту же секунду нелепо взбросил одну ногу вверх, в ту же секунду другая поехала по камням и Берлиоз упал на рельсы.

Он лицом к трамваю упал. И увидел, что вагоновожатая молода, в красном платочке, но бела, как смерть, лицом.

Он понял, что это непоправимо, и не спеша повернулся на спину. И страшно удивился тому, что сейчас же все закроется и никаких ворон больше в темнеющем небе не будет. Преждевременная маленькая беленькая звездочка глядела между крещущими воронами.

Эта звездочка заставила его всхлипнуть жалобно, отчаянно.

Затем, после удара трясущейся женской рукой по ручке электрического тормоза, вагон сел носом в землю, в нем рухнули все стекла. Через миг из-под колеса выкатилась окровавленная голова, а затем выбросило кисть руки. Остальное мяло, тискало, пачкало.

Прочее, то есть страшный крик Ивана, видевшего все до последнего пятна на брюках, вой в трамвае, потоки крови, ослепившие вожатую, это Берлиоза не касалось никак.

## ПОГОНЯ

Отсверлили бешеные милицейские свистки, утихли безумные женские визги, две кареты увезли, тревожно трубя, обезглавленного, в лохмотьях платья, раненную осколками стекла вожатую и пассажиров; собаки

зализали кровь, а Иван Николаевич Бездомный как упал на лавку, так и сидел на ней.

Руки у него были искусаны, он кусал их, пока в нескольких шагах от него катило тело человека, сгибая его в клубок.

Ваня в первый раз в жизни видел, как убивает человека, и испытал приступ тошноты.

Потом он пытался кинуться туда, где лежало тело, но с ним случилось что-то вроде паралича, и в этом параличе он и застыл на лавке. Ваня забыл начисто сумасшедшего немца-профессора и старался понять только одно: как это может быть, что человек, вот только что хотел позвонить по телефону, а потом, а потом... А потом... и не мог понять.

Народ разбегался от места происшествия, возбужденно перекрикиваясь словами. Иван их слов не воспринимал. Но востроносая баба в ситце другой бабе над самым ухом Бездомного закричала так:

— Аннушка... Аннушка, говорю тебе, Гречкина с Садовой, рядом из десятого номера... Она... она... Взяла на Бронной в кооперативе постного масла по второму талону... да банку-то и разбей у вертушки... Уж она ругалась, ругалась... А он, бедняга, стало быть, и поскользнулся... вот из-под вертушки-то и вылетел...

Дальнейшие слова угасли.

Из всего выкрикнутого бабой одно слово вцепилось в больной мозг Бездомного, и это слово было «Аннушка».

— Аннушка? Аннушка... — мучительно забормотал Бездомный, стараясь вспомнить, что связано с этим именем.

Тут из тьмы выскочило еще более страшное слово «постное масло», а затем почему-то Понтий Пилат. Слова эти связались, и Иван, вдруг обезумев, встал со скамьи. Ноги его еще дрожали.

— Что та-кое? Что?! — спросил он сам у себя. — Аннушка?! — выкрикнул он вслед бабам.

— Аннуш... Аннуш.... — глухо отозвалась баба.

Черный и мутный хлам из головы Ивана вылетел и ее изнутри залило очень ярким светом. В несколько мгновений он подобрал цепь из слов и происшествий, и цепь была ужасна.

Тот самый профессор за час примерно до смерти

знал, что Аннушка разольет постное масло... «Я буду жить в вашей квартире»... «вам отрежет голову»... Что же это?!

Не могло быть ни тени, ни зерна сомнения в том, что сумасшедший профессор знал, фотографически точно знал заранее всю картину смерти!

Свет усилился, и все существо Ивана сосредоточилось на одном: сию же минуту найти профессора... а найдя, взять его. Ах, ах, не ушел бы, только бы не ушел!

Но профессор не ушел.

Солнца не было уже давно. На Патриарших темнело. Над Прудом в уголках скоплялся туман. В бледнеющем небе стали проступать беленькие пятнышки звезд. Видно было хорошо.

Он — профессор, ну, может быть, и не профессор, ну, словом, он стоял шагах в двадцати и рисовался очень четко в профиль. Теперь Иван разглядел, что он росту, действительно, громадного, берет заломлен, трость взята под мышку.

Отставной втируша-регент сидел рядом на скамейке. На нос он нацепил себе явно ненужное ему пенсне, в коем одного стеклышка не существовало. От этого пенсне регент стал еще гаже, чем тогда, когда провожал Берлиоза на рельсы.

Чувствуя, что дрожь в ногах отпускает его, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору.

Тот повернулся к Ивану. Иван глянул ему в лицо и понял, что стоящий перед ним и никогда даже не был сумасшедшим.

— Кто вы такой? — хрипло и глухо спросил Иван.

— Ich verstehe nicht, — ответил тот неизвестный, пожав плечами.

— Они не понимают, — пискливо сказал регент, хоть его никто и не просил переводить.

— Их ферштейн... вы понимаете! Не притворяйтесь, — грозно и чувствуя холод под ложечкой, продолжал Иван.

Немец смотрел на него, вытаращив глаза.

— Вы не немец. Вы не профессор, — тихо продолжал Иван. — Вы — убийца. Вы отлично понимаете по-русски. Идемте со мной.

Немец молчал и слушал.

— Документы! — вскрикнул Иван...

— Was ist den los?..

— Гражданин! — ввязался регент, — не приставайте к иностранцу!

Немец пожал плечами, грозно нахмурился и стал уходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он, задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй... гражданин, помогите задержать преступника!

Регент оживился, вскочил.

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. — Этот? Гражданин, кричите «караул»! А то он уходит!

И регент предательски засуетился.

— Караул! — крикнул Иван и ужаснулся, никакого крика у него не вышло. — Караул! — повторил он, и опять получился шепот.

Великан стал уходить по аллее, направляясь *к Ермолаевскому переулку*. Еще более сгустились сумерки, Ивану показалось, что тот, уходящий, несет длинную шпагу.

— Вы не смотрите, гражданин, что он хромой, — засипел подозрительный регент, — покеды вы ворон будете считать, он улизнет.

Регент дышал жарко селедкой и луком в ухо Ивану, глазок в треснувшем стекле подмигивал.

— Что вы, товарищ, под ногами путаетесь, — закричал Иван, — пустите, — он кинулся влево. Регент тоже. Иван вправо — регент вправо.

Долго они плясали друг перед другом, пока Иван не сообразил, что и тут злой умысел.

— Пусти! — яростно крикнул он, — эге-ге, да у вас тут целая шайка.

Блуждая глазами, он оглянулся, крикнул тонко:

— Граждане! На помощь! Убийцы!

Крик дал обратный результат: гражданин вполне пристойного вида, с дамочкой в сарафане под руку, тотчас брызнул от Иванушки в сторону. Смылся и еще кто-то. Аллея опять опустела.

В самом конце аллеи неизвестный остановился и повернулся к Ивану. Иван выпустил рукав регента, замер.

1.VII.1933

В пяти шагах от Ивана Бездомного стоял иностранный специалист в берете, рядом с ним, подхалимски улыбаясь, сомнительный регент, а кроме того неизвестного откуда-то взявшийся необыкновенных размеров, черный, как грач, кот с кавалерийскими отчаянными усами. Озноб прошиб Иванушку оттого, что он ясно разглядел, что вся троица вдруг улыбнулась ему, в том числе и кот. Это была явно издевательская, скверная усмешка могущества и наглости.

Улыбнувшись, вся троица повернулась и стала уходить. Чувствуя прилив мужества, Иван устремился за нею. Тройка вышла на Садовое кольцо. Тут сразу Иван понял, что догнать ее будет очень трудно.

Казалось бы, таинственный неизвестный и шагу не прибавлял, а между тем расстояние между уходящими и преследующим ничуть не сокращалось. Два или три раза Иван сделал попытку прибегнуть к содействию прохожих. Но его искусанные руки, дикий блуждающий взор были причиной того, что его приняли за пьяного, и никто не пришел ему на помощь.

На Садовой произошла просто невероятная сцена. Явно желая спутать следы, шайка применила излюбленный бандитский прием — идти врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу сел в первый проносящийся трамвай под литерой «Б», как змея, ввинтился на площадку и, никем не оштрафованный, исчез бесследно среди серых мешков и бидонов, причем «Б», окутавшись пылью, с визгом, грохотом и звоном унес регента к Смоленскому рынку, а странный кот попытался сесть в другой «Б», встречный, идущий к Тверской. Иван ошалело видел, как кот на остановке подошел к подножке и, ловко отсадив взвизгнувшую женщину, зацепился лапой за поручень и даже собрался вручить кондукторше гривенник. Но поразило Ивана не столько поведение кота, сколько кондукторши. Лишь только кот устроился на ступеньке, все лампы в трамвае вспыхнули, показав внутренность, и при свете их Иван видел, как кондукторша с остервенелым лицом высунулась в окно и, махая рукой, со злобой, от которой даже тряслась, начала кричать:

— Котам нельзя! Котам нельзя! Слезай! А то милицию позову!

Но не только кондукторшу, никого из пассажиров не поразила самая суть дела: что кот садится в трамвай самостоятельно и собирается платить. В трамвае не прекратился болезненный стон, также слышались крики ненависти и отчаяния, также давили женщин, также крали кошельки, также поливали друг друга керосином и полотерской краской.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. Он поступил именно так, как и всякий гражданин, которого изгоняют из трамвая, но которому ехать нужно, чего бы это ни стоило.

При первом же визге кондукторши он легко снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы. И лишь снялся трамвай и пошел, он, пропустив мимо себя и второй, и последний вагон, прыгнул и уселся на заднюю дугу, а лапой ухватился за какую-то кишку, выходящую из стенки вагона, и умчался, сделав на прощание ручкой.

Иван бешеным усилием воли изгнал из пылающей головы мысли о странном коте, естественно напросившиеся молниеносно вопросы о коте в кооперативе, покупающем масло, о коте в сберкассе, о коте, летящем на аэроплане.

Его воля сосредоточилась на том, чтобы поймать того, кого он считал главным в этой подозрительной компании, — иностранного консультанта. Тот, проводив взором своих разлетевшихся в противоположные стороны компаньонов, не сделал никаких попыток к позорному бегству. Нет, он тронулся не спеша по Садовой, а через несколько времени оказался на Тверской.

Иван прибавлял шагу, начинал бежать впритруску, порою задыхался от скорости собственного бега и ни на одну йоту не приблизился к неизвестному, и попрежнему плыл метрах в десяти впереди его сиреневый желанный берет.

Одна странность ускользнула от Иванушки — не до этого ему было. Не более минуты прошло, как с Патриарших по Садовой, по Тверской........................ оказались на Центральном телеграфе. Тут Иванушка сделал попытку прибегнуть к помощи милиции, но безрезультатно. На скрещении Тверской не оказалось ни одного милиционера, кроме того, который, стоя у электрического прибора, регулировал движение.

Неизвестный проделал такую штуку: вошел в одни стеклянные двери, весь телеграф внутри обошел и вышел через другую дверь. Соответственно этому пришлось и Ивану пронестись мимо всех решительно окошек в стеклянной загородке и выбежать на гранитный амвон. Далее пошло хуже. Обернувшись, Иванушка увидел, что он уже на Остоженке *в Савеловском переулке*. Неизвестный вошел в подъезд дома № 12.

Собственно говоря, Ивану давно уже нужно было бы прекратить неистовую и бесплодную погоню, но он находился в том странном состоянии, когда люди не отдают себе никакого отчета в том, что происходит.

Иван устремился в подъезд, увидел обширнейший вестибюль, черный и мрачный, увидел мертвый лифт, а возле лифта швейцара.

Швейцар выкинул какой-то фокус, который Иван так и не осмыслил. Именно: швейцар, заросший и опухший, отделился от сетчатой стенки, снял с головы фуражку, на которой в полутьме поблескивали жалкие обрывки позумента, и сипло и льстиво сказал:

— Зря беспокоились. *Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть*. Сказали, что каждую среду будут ходить, а летом собираются на пароходе с супругой. Сказали, что хоть умрут, а поедут.

И швейцар улыбнулся тою улыбкою, которой улыбаются люди, желающие получить на чай.

Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой Боря, какие шахматы, не желая объяснять заросшему паршивцу, что он, Иван, не он, а другой, Иван уловил обострившимся слухом, что стукнула дверь на первой площадке, одним духом влетел и яростно позвонил. Сердце Ивана било набат, изо рта валил жар. Он решил идти на все, чтобы остановить таинственного убийцу в берете.

На звонок тотчас же отозвались, дверь Ивану открыл испитый, неизвестного пола ребенок лет пяти и тотчас исчез. Иван увидел освещенную тусклой лампочкой заросшую грязную переднюю с кованым сундуком, разглядел на вешалке бобровую шапку и, не останавливаясь, проник в коридор. Решив, что его враг должен быть непременно в ванной, а вот эта дверь и есть в ванную, Иван рванул ее. Крючок брякнул и слетел. Иван убедился в том, что не ошибся. Он попал

в ванную комнату и в тусклом освещении угольной лампочки увидел в ванне стоящую голую даму в мыле с крестом на шее. Дама, очевидно, близорукая, прищурилась и, не выражая никакого изумления, сказала:

— Бросьте трепаться. Мы не одни в квартире, и муж сейчас вернется.

Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что вляпался, что произошел конфуз и, желая скрыть его, прошептал:

— Ах, развратница!

Он захлопнул дверь, услышал, что грохнула дверь в кухне, понял, что беглец там, ринулся и точно увидел его. Он, уже в полных сумерках, прошел гигантской тенью из коридора налево.

Ворвавшись вслед за ним в необъятную пустую кухню, Иван утратил преследуемого и понял, что тот ускользнул на черный ход. Иван стал шарить в темноте. Но дверь не поддавалась. Он зажег спичку и увидел на ящике у дверей стоящую в подсвечнике тоненькую церковную свечу. Он зажег ее. При свете ее справился с крючком, болтом и замком и открыл дверь на черную лестницу. Она была неосвещена. *Тогда Иван решил свечку присвоить*, присвоил и покатил, захлопнув дверь, по черной лестнице.

Он вылетел в необъятный двор и на освещенном из окон балконе увидел убийцу. Уже более не владея собой, Иванушка засунул свечечку в карман, набрал битого кирпичу и стал садить в балкон. Консультант исчез. Осколки кирпича с грохотом посыпались с балкона, и через минуту Иван забился трепетно в руках того самого швейцара, который приставал с Борей и шахматами.

— Ах ты, хулиган! — страдая искренно, засипел швейцар. — Ты что же это делаешь? Ты не видишь, какой это дом? Здесь рабочий элемент живет, здесь цельные стекла, медные ручки, штучный паркет!

И тут швейцар, соскучившийся, ударил с наслаждением Ивана по лицу.

Швейцар оказался жилистым и жестоким человеком. Ударив раз, он ударил два, очевидно входя во вкус. Иван почувствовал, что слабеет. Жалобным голосом он сказал:

— Понимаешь ли ты, кого ты бьешь?

— Понимаю, понимаю, — задыхаясь, ответил швейцар.

— Я ловлю убийцу консультанта, знакомого Понтия Пилата, с тем чтобы доставить его в ГПУ.

Тут швейцар в один миг преобразился. Он выпустил Иванушку, стал на колени и взмолился:

— Прости! Не знал. Прости. Мы здесь на Остоженке запутались и кого не надо лупим.

Некоторые проблески сознания еще возвращались к Иванушке. Едкая обида за то, что швейцар истязал его, поразила его сердце, и, вцепившись в бороду швейцара, он оттрепал его, произнеся нравоучение:

— Не смей в другой раз, не смей!

— Прости великодушно, — по-христиански ответил усмиренный швейцар.

Но тут и швейцар, и асфальтовый двор, и громады, выходящие своими бесчисленными окнами во двор, все это исчезло из глаз бедного Ивана, и сам он не понял и никто впоследствии не понимал, каким образом он увидел себя на берегу Москвы-реки.

Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от которой поднимался резкий запах нефти. Под мостом, в углах зарождался туман. Сотни людей сидели на берегу и сладострастно снимали с себя одежды. Слышались тяжелые всплески — люди по-лягушачьи прыгали в воду и, фыркая, плавали в керосиновых волнах.

Иван прошел меж грудами одеяний и голыми телами прямо к воде. Иван был ужасен. Волосы его слиплись от поту перьями и свисли на лоб. На правой щеке была ссадина, под левым глазом большой фонарь, на губе засохла кровь. Ноги его подгибались, тело ныло, покрытое липким потом, руки дрожали. Всякая надежда поймать страшного незнакомца пропала. Ивану казалось, что голова его горит от мыслей о черном коте — трамвайном пассажире, от невозможности понять, как консультант ухитрился ..................

Он решил броситься в воду, надеясь в ней найти облегчение. Бормоча что-то самому себе, шмыгая и вытирая разбитую губу, он совлек с себя одеяние и опустился в воду. Он нашел желанное облегчение в воде. Тело его ожило, окрепло. Но голове вода не помогла. Сумасшедшие мысли текли в ней потоком.

Когда Иванушка вышел на берег, он убедился в том, что его одежды нет. Вместо оставленной им груды платья находились на берегу вещи, виденные им впервые. Необыкновенно грязные полотняные кальсоны и верхняя рубашка-ковбойка с продранным локтем. Из вещей же, еще недавно принадлежащих Ивану, *оставлена была лишь стеариновая свеча.*

Иван, не особенно волнуясь, огляделся, но ответа не получил и, будучи равнодушен к тому, во что одеваться, надел и ковбойку, и кальсоны, взял свечу и покинул берег.

Он вышел на Остоженку и пошел к тому месту, где некогда стоял Храм Христа Спасителя. Наряд Иванушкин был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее.

— *В Кремль, вот куда!* — сказал сам себе Иванушка и, оглянувшись, убедился, что в Москве уж наступил полный вечер, то есть очередей у магазинов не было, огненные часы светились, все окна были раскрыты и в них виднелись или голые лампочки, или лампочки под оранжевыми абажурами. В подворотнях играли на гитарах и на гармониях, и грузовики ездили с сумасшедшей скоростью.

— В Кремль! — повторил Иванушка, с ужасом оглядываясь. Теперь его уже пугали огни грузовиков, трамвайные звонки и зеленые вспышки светофоров.

## ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

К десяти часам вечера *в так называемом доме Грибоедова,* в верхнем этаже, в кабинете товарища Михаила Александровича Берлиоза собралось человек одиннадцать народу. *Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью.* Так, один был в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства. Это был председатель секции драматургов Бескудников. Другой в белой рубахе без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Понырев. Обувь на Поныреве

была рваная. Батальный беллетрист Почкин, Александр Павлович, почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был в защитном. Некогда богатая купеческая дочь Доротея Савишна Непременова подписывалась псевдонимом «Боцман-Жорж» и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москвой-рекой. У Боцмана-Жоржа голова была в кудряшках. На Боцмане-Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боцману-Жоржу было 66 лет.

Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облеченным в пиджак поверх майки, и в ночных туфлях.

Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом. На нем солдатская куртка и фрачные брюки. Туфли белые.

Были и другие.

Вся компания очень томилась, курила, хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл, и было понятно, что ночь не принесет вдохновения.

— Однако вождь-то наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом — Житомирский.

Тут в разговор вступила Секлетея Савишна и заметила густым баритоном:

— Хлопец на Клязьме закупался.

— Позвольте, какая же Клязьма? — холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. *И часы эти показали* ..........................

Тогда стали звонить на Клязьму и прокляли жизнь. Десять минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос врал какую-то чушь в телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец соединились с той, с какой было нужно, и кто-то далекий сказал, что товарища Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, и поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание.

Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог

позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожекторов. На первом столе — окровавленное туловище, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, на третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости, а на четвертом — груда тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками, которых к зданию морга, в десять минут покрыв весь город, примчала открытая машина с сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике.

Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать, чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Миолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо.

Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский. И в половину двенадцатого собравшиеся на заседание разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал незнакомец на Патриарших Прудах, ибо заседание величайшей важности, посвященное вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя товарища Цыганского. А председательствовать тот человек, у которого документы залиты кровью, а голова лежит отдельно, — не может. И все разошлись кто куда.

А Бескудников и Боцман-Жорж решили спуститься вниз, в ресторан, чтобы закусить на сон грядущий.

*Писательский ресторан* помещался в этом же доме Грибоедова (дом назван был Грибоедовским, так как по преданию он принадлежал некогда тетке Грибоедова. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было) в подвале и состоял летом из двух отделений — зимнего и летней веранды, над которою был устроен навес.

Ресторан был любим бесчисленными московскими писателями до крайности, и не одними, впрочем, писателями, а также и артистами, а также и лицами, профессии которых были неопределимы, даже и при длительном знакомстве.

В ресторане можно было получить все те блага, коих в повседневной своей жизни на квартирах люди искусства были в значительной степени лишены. Здесь можно было съесть порцию икорки, положенной на лед, потребовать себе плотный бифштекс по-деревенски, закусить ветчинкой, сардинами, выпить водочки, закрыть ужин кружкой великолепного ледяного пива. И все это вежливо, на хорошую ногу, при расторопных официантах. Ах, хорошо пиво в июльский зной!

Как-то расправлялись крылья под тихий говорок официанта, рекомендующего прекрасный рыбец, начинало казаться, что это все так, ничего, что это как-нибудь уладится.

Мудреного ничего нет, что к полуночи ресторан был полон и Бескудников, и Боцман-Жорж, и многие еще, кто пришел поздновато, места на веранде в саду уже не нашли, и им пришлось сидеть в зимнем помещении в духоте, где на столах горели лампы под разноцветными зонтами.

К полуночи ресторан загудел. Поплыл табачный дым, загремела посуда. А ровно в полночь в зимнем помещении, в подвале, в котором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с завитыми гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засветились, заулыбались лошади, *кто-то спел «Аллилуйя»*, где-то с музыкальным звоном разлетелся бокал, и тут же, в подвале, и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разражался громом, затем стихал, потом с тонких клавиш начинали сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушиные крики. Плясал солидный беллетрист Дорофеин, плясали какие-то бледные женщины, все одеяние которых состояло из тоненького куска дешевого шелка, который можно было смять в кулак и положить в карман, плясала Боцман-Жорж с поэтом Гречкиным Петром, плясал какой-то приезжий из Ростова Каротояк, самородок Иоанн Кронштадтский — поэт, плясали молодые люди неизвестных профессий с холодными глазами.

Последним заплясал какой-то с бородой, с пером зеленого лука в этой бороде, обняв тощую девочку лет шестнадцати с порочным лицом. В волнах грома

слышно было, как кто-то кричал командным голосом, как в рупор, «пожарские, раз!».

И в полночь было видение. Пройдя через подвал, вышел на веранду под тент красавец во фраке, остановился и властным взглядом оглядел свое царство. Он был хорош, бриллиантовые перстни сверкали на его руках, от длинных ресниц ложилась тень у горделиво-го носа, острая холеная борода чуть прикрывала белый галстук.

И утверждал новеллист Козовертов, известный лгун, что будто бы этот красавец некогда носил не фрак, а белую рубаху и кожаные штаны, за поясом которых торчали пистолеты, и воронова крыла голова его была повязана алой повязкой, и плавал он в Караибском море, командуя бригом, который ходил под гробовым флагом — черным с белой адамовой головой.

Ах, лжет Козовертов, и нет никаких Караибских морей, не слышен плеск за кормой, и не плывут отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними английский корвет, тяжко бухая над волной из пушек. Нет, нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной вазочке, и душно, и странный страх вползает в душу.

Но никто, никто из плясавших еще не знал, что ожидает их!

В десять минут первого фокстрот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил в сердце пианиста, и тотчас фамилия «Берлиоз» запорхала по ресторану. Вскакивали, вскрикивали, кто-то воскликнул: «Не может быть!» Не обошлось и без некоторой ерунды, объясняемой исключительно смятением. Так, кто-то предложил спеть «Вечную память», правда, вовремя остановили. Кто-то воскликнул, что нужно куда-то ехать. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму. Тут же змейкой порхнула сплетня и как венчиком обвила покойного. Первое — неудачная любовь. Акушерка Кандалаки. Аборт. Самоубийство (автор — Боцман-Жорж).

Второе — шепоток: впал в уклон ............................

* * *

Вариант главы «Дело было в Грибоедове» см. в «Приложениях», с. 246. — *Ред.*

## СТЕПА ЛИХОДЕЕВ

Если бы Степе Лиходееву в утро второго июля сказали: «Степа, тебя расстреляют, если ты не откроешь глаз!» — Степа ответил бы томным и хриплым голосом:

— Расстреливайте, я не открою.

Ему казалось, что сделать это немыслимо: в голове у него звенели колокола, даже перед закрытыми глазами проплывали какие-то коричневые пятна, и при этом слегка тошнило, причем ему казалось, что тошнит его от звуков маленького патефона. Он старался что-то припомнить. Но припомнить мог только одно, что он стоит с салфеткой в руке и целуется с какой-то дамой, причем этой даме он обещал, что он к ней придет завтра же, не позже двенадцати часов, причем дама отказывалась от этого, говорила: нет, не приходите.

— А я приду, — говорил будто бы Степа.

Ни который час, ни какое число, — этого Степа не мог сообразить. Единственно, что он помнил, это год, и затем, сделав все-таки попытку приоткрыть левый глаз, убедился, что он находится у себя и лежит в постели. Впрочем, он его тотчас же и закрыл, потому что был уверен, что если он только станет смотреть обоими глазами, то тотчас же перед ним сверкнет молния и голову ему разорвет на куски.

Он так страдал, что застонал...

Дело было вот в чем.

*Степа Бомбеев был красным директором* недавно открывшегося во вновь отремонтированном помещении одного из бывших цирков театра «Кабаре».

Впоследствии, когда уже случилась беда, многие интересовались вопросом, почему Степа попал на столь ответственный пост, но ничего не добились. Впрочем, это и неважно в данное время.

28-летний Степа Бомбеев лежал второго июля на широкой постели вдовы ювелира Де-Фужерэ.

У Де-Фужерэ была в громадном доме на Садовой прекрасная квартира в четыре комнаты, из которых она две сдавала, а в двух жила сама, избегнув уплотнения в них путем фальшивой прописки в них двоюродной сестры, изредка ночующей у нее, дабы не было придирки. Последними квартирантами Де-Фужерэ бы-

ли Михаил Григорьевич Беломут и другой, фамилия которого, кажется, была Кирьяцкий. И за Кирьяцким и за Беломутом утром ежедневно приезжали машины и увозили их на службу. Все шло гладко и бесподобно, пока два года тому назад не произошло удивительное событие, которое решительно ничем нельзя объяснить. Именно, в двенадцать часов ночи явился очень вежливый и веселый милиционер к Кирьяцкому и сказал, что ему надо расписаться в милиции. Удивленный Кирьяцкий ушел с милиционером, но не вернулся. Можно было думать, что и Кирьяцкого и милиционера унесла нечистая сила, как говорила старая дура Анфиса — кухарка Де-Фужерэ.

Дня через два после этого случилось новенькое: пропал Беломут. Но за тем даже никто и не приходил. Он утром уехал на службу, а со службы не приехал. Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Беломут, по счету Анфисы, пропал в пятницу, а в ближайший понедельник он появился глубокой и черной ночью. И появился в странном виде. Во-первых, в компании с каким-то другим гражданином, а во-вторых, почему-то без воротничка, без галстука и небритый и не произносящий ни одного слова. Приехав, Беломут проследовал вместе со своим спутником в свою комнату, заперся с ним там минут на десять, после чего вышел, так ничего и не объяснив, и отбыл. После этого понедельника наступил вторник, за ним — среда, и в среду приехали незваные — двое каких-то граждан, *опять-таки ночью, и увезли с собой и Де-Фужерэ, и Анфису,* после чего уж вообще никто не вернулся. Надо добавить, что, уезжая, граждане, увозившие Де-Фужерэ и Анфису, закрыли дверь на замок и на этот замок привесили сургучную печать.

Квартира простояла закрытой десять дней, а после десяти дней печать с двери исчезла и в квартире поселился и зажил Михаил Максимович Берлиоз — на половине Де-Фужерэ, а на половине Беломута и Кирьяцкого поселился Степа. За два этих года Берлиоз развелся со своей женой и остался холостым, а Степа развелся два раза.

Степа застонал. Его страдания достигли наивысшего градуса. Болезнь его теперь приняла новую форму. Из закрытых глаз его потекли зеленые бенгальские

огни, а задняя часть мозга окостенела. От этого началась такая адская боль, что у Степы мелькнула серьезная мысль о самоубийстве — в первый раз в жизни. Тут он хотел позвать прислугу и попросить у нее пирамидону, и никого не позвал, потому что вдруг с отчаянием сообразил, что у прислуги нет решительно никакого пирамидону. Ему нужно было крикнуть и позвать Берлиоза — соседа, но он забыл, что Берлиоз живет в той же квартире. Он ощутил, что он лежит в носках, «и в брюках?» — подумал несчастный больной. Трясущейся рукой он провел по бедрам, но не понял — не то в брюках, не то не в брюках, глаза же не открыл.

Тут в передней, неокостеневшей части мозга, как черви, закопошились воспоминания вчерашнего. Это вчерашнее прошло в виде зеленых, источающих огненную боль, обрывков. Вспомнилось начало: кинорежиссер Чембакчи и автор малой формы Хустов, и один из них с плетенкой, в которой были бутылки, усаживали Степу в таксомотор под китайской стеной. И все. Что дальше было — решительно ничего не известно.

— Но почему же деревья?.. Ах-ах... — стонал Степа.

Тут под деревом и выросла эта самая дама, которую он целовал. Только не «Метрополь»! Только не «Метрополь»!

— Почему же это было не в «Метрополе»? — беззвучно спросил сам у себя Степа, и тут его мозг буквально запылал.

Патефона, никакого патефона в «Метрополе» быть не может. Слава Богу, это не в «Метрополе»!

Тут Степа вынес такое решение, что он все-таки откроет глаза, и, если сверкнет эта молния, тогда он заплачет. Тогда он заплачет и будет плакать до тех пор, пока какая-нибудь живая душа не облегчит его страдания. И Степа разлепил опухшие веки, но заплакать ему не пришлось.

Прежде всего он увидел в полумраке спальни густо покрытое пылью трюмо ювелирши и смутно в нем отразился, а затем кресло у кровати и в этом кресле сидящего неизвестного. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и одно померещилось Степе, что это лицо кривое и злое. Но что незнакомый был в черном, в этом сомневаться не приходилось.

Минуту тому назад не могло и разговора быть о том, чтобы Степа сел. Но тут он поднялся на локтях, уселся и от изумления закоченел. Каким образом в интимной спальне мог оказаться начисто посторонний человек в черном берете, не только больной Степа, но и здоровый бы не объяснил. Степа открыл рот и в трюмо оказался в виде двойника своего и в полном безобразии. Волосы торчали во все стороны, глаза были заплывшие, щеки, поросшие черной щетиной, в подштанниках, в рубахе и в носках.

И тут в спальне прозвучал тяжелый бас неизвестного визитера:

— Доброе утро, симпатичнейший Степан Богданович!

Степан Богданович хотел моргнуть глазами, но не смог опустить веки. Произошла пауза, во время которой язык пламени лизнул изнутри голову Степы, и только благодаря нечеловеческому усилию воли он не повалился навзничь. Второе усилие — и Степа произнес такие слова:

— Что вам угодно?

При этом поразился: не только это был не его голос, но вообще такого голоса Степа никогда не слышал. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» — шепотом.

Незнакомец рассмеялся, вынул золотые часы и, постукав ногтем по стеклу, ответил:

— Двенадцать... и ровно в двенадцать вы назначили мне, Степан Богданович, быть у вас на квартире. Вот я и здесь.

Тут Степе удалось поморгать глазами, после чего он протянул руку, нащупал на шелковом рваном стуле возле кровати брюки и сказал:

— Извините...

И сам не понимая, как это ему удалось, надел эти брюки. Надев, он хриплым голосом спросил незнакомца:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

Говорить ему было трудно. Казалось, что при произнесении каждого слова кто-то тычет ему иголкой в мозг.

Тут незнакомец улыбнулся обольстительно и сказал:

— Как, и мою фамилию вы забыли?

— Простите, — сказал Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом, именно: полог кровати разверзся и Степе показалось, что он сию секунду слетит вниз головой в какую-то бездну. Но он справился с собой, ухватившись за спинку кровати.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, улыбаясь проницательно, — никакой пирамидон вам не поможет. Ничего, кроме вреда, не принесут и обливания холодной водой головы.

Степа даже не удивлялся больше, а только слушал, мутно глядя на пришельца.

— Единственно, что поднимет вас в одну минуту на ноги, это две стопки водки с легкой, но острой закуской.

Степа был хитрым человеком и, как он ни был болен, однако, сообразил, что нужно сдаваться. Он решил признаться.

— Признаюсь вам, — с трудом ворочая языком, выговорил он, — я вчера...

— Ни слова больше, — ответил визитер, и тут он отъехал вместе с креслом, и Степа, таращa глаза, как младенец на свечу, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем помещался белый хлеб, паюсная икра в вазе, маринованные белые грибы и объемистый ювелиршин графин с водкой. Доконало Степу то обстоятельство, что графин был запотевший.

Незнакомец не дал развиться Степиному удивлению до болезненной степени и ловким жестом налил Степе полстопки водки.

— А вы? — пискнул Степа.

— С удовольствием, — ответил незнакомец. Он налил себе полную стопку.

Степан трясущейся рукой поднес стопку ко рту, глотнул, а глотнув, увидел, что незнакомец выплеснул целую стопку водки себе в рот, как выплескивают помои в лохань. Прожевав ломоть икры, Степа выдавил из себя:

— А вы что же... закусить?

— Я не закусываю, благодарю вас, — ответил незнакомец.

По настоянию того же незнакомца Степа выпил вторую, закусил грибами, затем выпил третью, заку-

сил икрой и тут увидел, что произошло чудо. Во-первых, Степа понял, что он может свободно говорить, во-вторых, исчезли зеленые пятна перед глазами, окостеневший мозг расправился, более того, Степа тут же сообразил, что вчерашние деревья — это значит на даче у Чембакчи, куда его возил Хустов. Поцелованная дама была не жена Хустова, а не известная никому дама.

Дело происходило в Покровском-Стрешневе. Все это было так. Но вот появление совершенно неизвестного человека в спальне, а вместе с ним и появление водки с закуской — это было все-таки необъяснимо.

— Ну что ж, теперь вы, конечно, припомнили мою фамилию? — спросил незнакомец.

Степа опохмелился так удачно, что даже нашел возможность игриво улыбнуться и развести руками.

— Однако! — заметил незнакомец, улыбаясь ласково, — я чувствую, дорогой Степан Богданович, что вы после водки пили портвейн. Ах, разве можно это делать?

— Я хочу вас попросить... — начал Степа искательно и не сводя глаз с незнакомца, — чтобы это... между...

— О, не беспокойтесь! Вот разве что Хустов...

— Разве вы знаете Хустова? — спросил Степа возвращенным голосом.

— Я видел его мельком у вас в кабинете вчера, но достаточно одного взгляда на лицо Хустова, чтобы сразу увидеть, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно», — подумал Степа, изумленный таким кратким, но совершенно верным определением Хустова. Но тут тревога закралась в его душу. Вчерашний день постепенно складывался из разрозненных клочков, и все же в памяти зияла черная дыра.

Этого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви, с острой бородкой под медным подбородком, со странным лицом, с беретом с крысьим хвостиком решительно не было во вчерашнем дне. Он не был в кабинете у Степы.

— *Доктор Воланд,* — сказал незнакомец и, как бы видя насквозь все смятение Степы, все объяснил. Выходило со слов незнакомца, что он — *специалист по*

*белой магии,* вчера был у Степы в кабинете и заключил со Степою контракт на выступление в подведомственном Степе «Кабаре», после чего, когда уже помянутый Воланд прощался с уважаемым директором, тут и явились эти самые Чембакчи и Хустов и увезли Степу в Покровское.

И сегодняшний день был совершенно ясен. Увозимый Степа назначил иностранному артисту свидание у себя в двенадцать часов. Иностранный артист явился. Иностранный артист был встречен приходящей прислугой Грушей, которая со свойственной всем приходящим прислугам откровенностью все и выложила иностранному артисту: первое, что Михаил Александрович Берлиоз как вчера ушел днем, так и не вернулся, но что вместо него приезжали двое и сделали обыск, а что если артисту нужен не Берлиоз, а Степа, то этого Степу вчера ночью привезли двое каких-то, которых она не знает, совершенно пьяным, так что и до сих пор он лежит, как колода, так что она не знает, что с ним делать, что и обед он не заказывал...

Тут иностранный артист послал ее в дорогой магазин, велел ей купить водки, икры и грибов и даже льду, так что все оказалось понятным. И тем не менее на Степу было страшно смотреть. Водка, лед, да... привезли пьяным, да... Но самое основное — никакого контракта вчера Степа не заключал, и никакого иностранного артиста не видел.

— Покажите контракт, — сказал Степа.

Тут у Степы в глазах позеленело, и было это даже похуже похмелья. Он узнал свою лихую подпись... увидел слова... неустойка... 1000 долларов... буде... Словом, он, Степа, вчера заключил действительно контракт с иностранным фокусником — господином Азазелло Воланд. И господин Азазелло Воланд, что было видно из косой надписи на контракте, деньги получил.

«Буде?..» — подумал Степа.

Убедил ли его представленный контракт? Нет. Степе могли сунуть в нос любую бумагу, самый бесспорный документ, и все-таки Степа, умирая, под присягой мог показать, что никакого контракта он не подписывал и иностранца вчера он не видел.

У Степы закружилась голова.

— Одну минуту, я извиняюсь... — сказал Степа и выскочил из спальни.

— Груня! — рявкнул он.

Но Груни не было.

— Берлиоз! — крикнул Степа.

На половине Берлиоза никто не отозвался.

В передней у двери Степа привычно в полутьме повертел номер на телефоне и услышал, как резкий и наглый голос раздраженно крикнул в ухо:

— Да!..

— Римский? — спросил Степа и трубка захрипела. — Римский, вот что... Как дела... — Степа побагровел от затруднения, — вот чего... Этот тут пришел, этот фокусник Вол...

— Не беспокойтесь, — уверила трубка, — афиши будут к вечеру...

— Ну, всего, — ответил Степа и повесил трубку. Повесив, сжал голову руками и в серьезной тревоге застыл. Штука была скверная. У Степы начались тяжкие провалы в памяти. И водка была тут ни при чем. Можно забыть то, что было после водки, но до нее? Однако в передней задерживаться долго было неудобно. Гость ждал. Как ни мутилось в голове у Степы, план действий он составил, пока дошел до спальни: он решил признать контракт и от всего мира скрыть свою невероятную забывчивость. Вообще... Тут Степа вдруг прыгнул назад. С половины Берлиоза, приоткрыв лапой дверь, вышел черный кот, но таких размеров, что Степа побледнел. Кот был немногим меньше приличной свиньи. Одновременно с явлением подозрительного кота слух и зрение Степы были поражены другим: Степа мог поклясться, что какая-то фигура, длинная-длинная, с маленькой головкой, прошла в пыльном зеркале ювелирши, а кроме того, Степе показалось, что оставленный в спальне незнакомец разговаривает с кем-то.

Обернувшись, чтобы проверить зеркальную фигуру, Степа убедился, что за спиной у него никого нет.

— Груня! — испуганно и раздраженно крикнул Степа. — Какой тут кот?

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался из спальни гость, — этот мой кот. А Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию.

Степа выпучил глаза и тут подумал: «Что такое? Я, кажется, схожу с ума?» Обернувшись еще раз, он изумился тому, что все шторы в гостиной закрыты, от этого во всей квартире полумрак. Кот, чувствуя себя в чужой квартире, по-видимому, как дома, скептически посмотрел на Степу и проследовал куда-то, на прощание показав директору «Кабаре» два огненных глаза.

Тут Степа, чувствуя смятение, тревогу и вдруг сообразив, что все это странно, желая получить объяснение нелепых слов о Воронежской губернии, оказался на пороге спальни. Степа стоял, вздыбив вихры на голове, с опухшим лицом, в брюках, носках и в рубашке; незнакомец, развалившись в кресле, сидел попрежнему, заломив на ухо черный бархатный берет, а на коленях у него сидел второй кот, но не черный, а огненно-рыжий и меньшего размера.

— Да, — без обиняков продолжил разговор гость, — осиротела ваша квартира, Степан Богданович! И Груни нет. Ах, жаль, жаль Берлиоза. Покойник был начитанный человек.

— Как покойник? — глухо спросил Степа.

Тут незнакомец торжественно сказал:

— Да, мой друг, вчера вечером, вскоре после того как я подписал с вами контракт, товарища Берлиоза зарезало трамваем. Так что более вы его не увидите.

Голова у Степы пошла тут кругом. Он издал какой-то жалобный звук и воззрился на кота. Тут ему уже определенно показалось, что в квартире его происходят странные вещи. И точно: в дверь вошел длинный в клетчатом и смутно сверкнуло разбитое стекло пенсне.

— Кто это? — спросил глухо Степа.

— А это моя свита, помощники, — ответил законтрактованный директором гость. Голос его стал суров.

И Степа, холодея, увидел, что глаз Воланда — левый — потух и провалился, а правый загорелся огнем.

— И свита эта, — продолжал Воланд, — требует места, дорогой мой! Поэтому, милейший, вы сейчас покинете квартиру.

— Товарищ директор, — вдруг заговорил козлиным голосом длинный клетчатый, явно подразумевая под словом «директор» самого Степу, — вообще

свинячит в последнее время в Москве. Пять раз женился, пьянствует и лжет начальству.

— Он такой же директор, — сказал за плечом у Степы гнусавый сифилитический голос, — как я архиерей. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертовой матери, ему нужно проветриться!

— Брысь! — сказал кот на коленях Воланда.

Тут Степа почувствовал, что он близок к обмороку.

«Я вижу сон», — подумал он. Он откинулся головой назад и ударился о косяк. Затем все стены ювелиршиной спальни закрутились вокруг Степы.

«Я умираю, — подумал он, — в бешеном беге».

Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в громаднейшей тенистой аллее под липами. Первое, что он ощутил, это что ужасный московский воздух, пропитанный вонью бензина, помоек, общественных уборных, подвалов с гнилыми овощами, исчез и сменился сладостным послегрозовым дуновением от реки. И эта река, зашитая по бокам в гранит, прыгала, разбрасывая белую пену, с камня на камень в двух шагах от Степы. На противоположном берегу громоздились горы, виднелась голубоватая мечеть. Степа поднял голову, поднял отчаянно голову вверх и далее на горизонте увидал еще одну гору, и верхушка ее была косо и плоско срезана. Сладкое, недушное тепло ласкало щеки. Грудь после Москвы пила жадно напоенный запахом зелени воздух. Степа был один в аллее, и только какая-то маленькая фигурка маячила вдали, приближаясь к нему. Степин вид был ужасен. Среди белого дня в сказочной аллее стоял человек в носках, в брюках, в расстегнутой ночной рубахе, с распухшим от вчерашнего пьянства лицом и с совершенно сумасшедшими глазами. И главное, что где он стоял, он не знал. Тут фигурка поравнялась со Степой и оказалась маленьким мужчиной лет тридцати пяти, одетым в чесучу, в плоской соломенной шляпочке. Лицо малыша отличалось бледным нездоровым цветом, и сам он весь доходил Степе только до талии.

«Лилипут», — отчаянно подумал Степа.

— Скажите, — отчаянным голосом спросил Степа, — что это за гора?

Лилипут с некоторой опаской посмотрел на растерзанного человека и сказал высоким звенящим голосом:

— Столовая гора.

— А город, город это какой? — отчаянно завопил Степа.

Тут лилипут страшно рассердился.

— Я, — запищал он, брызгая слюной, — директор лилипутов Пульс. Вы что, смеетесь надо мной?

Он топнул ножкой и раздраженно зашагал прочь.

— Не смеешь по закону дразнить лилипутов, пьяница! — обернувшись, еще прокричал он и хотел удалиться. Но Степа кинулся за ним. Догнав, бросился на колени и отчаянно попросил:

— Маленький человек! Я не смеюсь. Я не знаю, как я сюда попал. Я не пьян. Сжалься, скажи, где я?

И, очевидно, такая искренняя и совсем не пьяная мольба <...> что лилипут поверил ему и сказал, тараща на Степу глазенки:

— *Это — город Владикавказ.*

— Я погибаю, — шепнул Степа, побелел и упал к ногам лилипута без сознания.

Малыш же сорвал с головы соломенную шляпочку и побежал, размахивая ею и крича:

— Сторож, сторож! Тут человеку дурно сделалось!

## ВОЛШЕБНЫЕ ДЕНЬГИ

Председатель Жилищного Товарищества того дома, в котором проживал покойник, Никанор Иванович Босой находился в величайших хлопотах начиная с полуночи с 7-го на 8-е мая. Именно в полночь, в отсутствие Степы и Груни, приехала комиссия в составе трех человек, подняла почтенного Никанора Ивановича с постели, последовала с ним в квартиру покойного, в присутствии Никанора Ивановича вскрыла дверь, вынула и опечатала все рукописи товарища Берлиоза и увезла их с собой, причем объявила, что жилплощадь покойника переходит в распоряжение Жилтоварищества, а вещи, принадлежащие покойному, как то будильник, костюм, осеннее пальто и книги, подлежат сохранению в том же Жилтовариществе впредь до объявления наследников покойного, буде таковые явятся.

Слух о гибели председателя Миолита ночью же распространился во всех семидесяти квартирах большого дома, и с самого утра того дня, когда господин Воланд явился к Степе, Босому буквально отравили жизнь. Звонок в квартире Босого трещал с семи часов утра. Босому в течение двух часов подали тридцать заявлений от жильцов, претендующих на площадь зарезанного. В бумагах были мольбы, кляузы, угрозы, доносы, обещания произвести ремонт на свой собственный счет, указания на невозможность горькой жизни в соседстве с бандитами, сообщения о самоубийстве, которое произойдет, если квартиру покойного не отдадут, замечательные по художественной силе описания тесноты и признания в беременностях. К Никанору Ивановичу ломились на квартиру, кричали, грозили, ловили его на лестнице и во дворе за рукава, шептали что-то, подмигивали, кричали, грозили жаловаться. Потный, жаждущий Никанор Иванович с трудом к полудню разогнал толпу одержимых и устроил что-то вроде заседания с секретарем Жилтоварищества Бордасовым и казначеем Шпичкиным, причем на этом же заседании и выяснилось, что вопли несчастных не приведут ни к чему. Берлиозову площадь придется сдать, ибо в доме колоссальнейший дефицит, и нефть для парового отопления на зиму покупать будет не на что. На том и порешили, и разошлись.

Днем, тотчас же после того, как Степа улетел во Владикавказ, Босой отправился в квартиру Берлиоза для того, чтобы еще раз окинуть ее хозяйским глазом, а кстати и произвести измерение двух комнат.

Босой позвонил в квартиру, но так как ему никто не открыл, то он властной рукой вынул дубликат ключа, хранящийся в правлении, и вошел самочинно.

В передней был полумрак, а на зов Босого никто ни с половины Степы, ни из кухни не отозвался. Тут Босой повернул направо в ювелиршину половину и прямо из передней попал в кабинет Берлиоза и остановился в совершенном изумлении. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке.

Босой вздрогнул.

— *Вы кто такой будете,* гражданин? — спросил он, почему-то вздрогнув.

— А-а, Никанор Иванович! — дребезжащим тенором воскликнул сидящий и, поправив разбитое пенсне на носу, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.

Босой встретил приветствие хмуро:

— Я извиняюсь, на половине покойника сидеть не разрешается. Вы кто такой будете? Как ваша фамилия?

— Фамилия моя, — радостно объявил незваный гражданин, — *скажем... Коровьев*. Да, не желаете ли закусить?

— Я извиняюсь, что: коровой закусить? — заговорил, изумляясь и негодуя, Никанор Иванович. Нужно признаться, что Никанор Иванович был по природе немножко хамоват. — Вы что делаете в квартире, здесь?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — задребезжал, не смущаясь, гражданин в треснувших стеклах. — Я, изволите видеть, переводчик и состою при особе иностранца в этой квартире.

Существование какого-то иностранца явилось для почтенного председателя полнейшим сюрпризом, и он потребовал объяснения. Оказалось, что господин Воланд — иностранный артист, вчера подписавший контракт на гастроли в «Кабаре», был любезно приглашен Степаном Богдановичем Лиходеевым на время этих гастролей, примерно одну неделю... прожить у него в квартире, о чем еще вчера Степан Богданович сообщил в правлении и просил прописать господина Воланда.

— Ничего я не получал! — сказал пораженный Босой.

— А вы поройтесь в портфеле, милейший Никанор Иванович, — сладко сказал назвавшийся Коровьевым.

Босой, в величайшем изумлении, подчинился этому предложению. Впоследствии председатель утверждал, что он весь тот день действовал в помрачении ума, причем ему никто не верил. И действительно, в портфеле Босой обнаружил письмо Степы, в котором тот срочно просил прописать господина Воланда на его площади на одну неделю.

— Все в порядочке, с почтеньицем, — сказал ласково Коровьев.

Но Босой не удовлетворился письмом и изъявил желание лично говорить с товарищем Лиходеевым, но Коровьев объяснил, что этот товарищ только что отбыл в город Владикавказ по неотложным делам.

— Во Владикавказ? — тупо повторил Босой, поморгал глазами, изъявил желание полюбоваться господином иностранцем и в этом получил отказ. Оказалось, что иностранец занят — он в спальне дрессирует кота.

Далее обстоятельства сложились так: переводчик Коровьев тут же сделал предложение почтенному председателю товарищества. Ввиду того, что иностранец привык жить хорошо, то не сдаст ли, в самом деле, ему правление всю квартиру, то есть и половину покойника, на неделю.

— А? Покойнику безразлично... Его квартира теперь одна, Никанор Иванович, Новодевичий монастырь, правлению же большая польза. А самое главное то, что уперся иностранец, как бык, не желает он жить в гостинице, а заставить его, Никанор Иванович, нельзя. Он, — интимно сипел Коровьев, — утверждает, что будто бы в вестибюле «Метрополя», там, где продается церковное облачение, якобы видел клопа! И сбежал!

Полнейший практический смысл был во всем, что говорил Коровьев, и тем не менее удивительно что-то несолидное было в Коровьеве, в его клетчатом пиджачке и даже в его треснувшем пенсне. Поборов, однако, свою нерешительность, побурчав что-то насчет того, что иностранцам жить полагается в «Метрополе», Босой все-таки решил, что Коровьев говорит дело. Хорошие деньги можно было слупить с иностранца за эту неделю, а затем он смоется из СССР и квартиру опять можно продать уже на долгий срок. Босой объявил, что он должен тотчас же собрать заседание правления.

— И верно! И соберите! — орал Коровьев, пожимая шершавую руку Босого. — И славно, и правильно! Как же можно без заседания? Я понимаю!

Босой удалился, но вовсе не на заседание, а к себе на квартиру и немедленно позвонил в «Интурист»,

причем добросовестнейшим образом сообщил все об упрямом иностранце, о клопе, о Степе, и просил распоряжений.

К словам Босого в «Интуристе» отнеслись с полнейшим вниманием и резолюция вышла такая: контракт заключить, предложить иностранцу платить 50 долларов в день, если упрется, скинуть до сорока, плата вперед, копию контракта сдать вместе с долларами тому товарищу, который явится с соответствующими /документами/ — фамилия этого товарища Кавунов. Успокоенного Никанора Ивановича поразило немного лишь то, что голос служащего в «Интуристе» несколько напоминал голос самого Коровьева. Но не думая, конечно, много о таких пустяках, Босой вызвал к себе секретаря Бордасова и казначея Шпичкина, сообщил им о долларах и о клопе и заставил Бордасова, который был пограмотнее, составить в трех экземплярах контракт и с бумагами вернулся в квартиру покойника с некоторой неуверенностью в душе — он боялся, что Коровьев воскликнет: «Однако, и аппетиты же у вас, товарищи драгоценные» — и вообще начнет торговаться.

Но ничего этого не сбылось. Коровьев тут же воскликнул: «Об чем разговор, господи!» — поразив Босого, и выложил перед ним пачку в 350 долларов.

Босой аккуратнейше спрятал деньги в портфель, а Коровьев сбегал на половину Степы и вернулся с контрактом, во всех экземплярах подписанным иностранным артистом.

Тут Никанор Иванович не удержался и попросил контрамарочку. Коровьев ему не только контрамарочку посулил, но проделал нечто, что было интереснее всякой контрамарочки. Именно: одной рукой нежно обхвативши председателя за довольно полную талию, другой вложил ему нечто в руку, причем председатель услышал приятный хруст и, глянув в кулак, убедился, что в этом кулаке триста рублей советскими.

— Я извиняюсь, — сказал ошеломленный Босой, — этого не полагается. — И тут же стал отпихивать от себя деньги.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо Босому Коровьев, — обидите. У нас не полагается, а у иностранцев полагается.

— Строго преследуется, — сказал почему-то тихо Босой и оглянулся.

— А мы одни, — шепнул в ухо Босому Коровьев, — вы трудились...

И тут, сам не понимая, как это случилось, Босой засунул три сотенных в карман. И не успел он осмыслить случившееся, как уж оказался в передней, а там за ним захлопнулась дверь.

Товарищ Кавунов, оказавшийся рыжим, кривым и одетым не по-нашему, уже дожидался в правлении. Тщательно проверив документы товарища Кавунова, Босой в присутствии Шпичкина сдал ему под расписку доллары и копию контракта, и все разошлись.

В квартире же покойного произошло следующее. Тяжелый бас сказал в спальне ювелирши:

— Однако, этот Босой — гусь! Он мне надоел. Я вообще не люблю хамов в квартире.

— Он не придет больше, мессир, уверяю вас, — отозвался Коровьев. И тут же вышел в переднюю, навертел на телефоне номер и, добившись требуемого, сказал в трубку почему-то плаксивым голосом следующее:

— *Алло! Говорит секретарь Жакта* № 197 по Садовой Бордасов Петр. Движимый чувством долга члена профсоюза, товарищ, сообщаю, что у председателя нашего Жакта, Босого Никанора Ивановича, имеется валюта, в уборной.

И повесил трубку.

— Этот вульгарный человек больше не придет, мессир, — нежно сказал назвавший себя Коровьевым в дверь спальни.

— Да уж за это можно ручаться, — раздался вдруг гнусавый голос, и в гостиной появился человек, при виде которого Босой ужаснулся бы, конечно, ибо это был не кто иной, как назвавший себя Кавуновым. Кривой глаз, рыжие волосы, широк в плечах, ну, словом, **он.** К несчастью, Никанор Иванович не видел его.

— *Идем завтракать, Азазелло,* — обратился Коровьев к тому, который именовал себя Кавуновым.

Что далее происходило в квартире, где поселился иностранный артист, точно неизвестно. Но зато хорошо известно, что произошло в квартире *Прокопа Ивановича.*

Прокоп Иванович, сплавив с плеч обузу с долларами, вернулся к себе, первым долгом заперся, а в три часа отправился к себе обедать. В доме была общественная столовая, но Никанор Иванович, хоть сам и был инициатором основания столовки, но испытывал какое-то болезненное отвращение к общественному питанию, предпочитая ему индивидуальное, домашнее. И поэтому, ссылаясь на то, что доктор ему прописал особую диету, в столовке нипочем не обедал.

В этот странный день для Никанора Ивановича в его диетический обед вошли приготовленная собственными руками супруги его селедочка с луком, коробка осетрины в томате, битки, малосольные огурчики и борщ с сосисками. Но прежде чем обедать, Никанор Иванович прошел в уборную и заперся там на несколько минут. Вернувшись, он окинул приятным взором приготовленные яства, не теряя времени, заглянул под кровать, спросил у супруги, закрыта ли входная дверь, велел никого не пускать, потому что у Никанора Ивановича обеденный перерыв, вытащил из-под кровати из чемодана запечатанную поллитровку, откупорил, налил стопку, выпил, закусил селедкой, налил вторую, хотел закусить огурчиком, но это уже не удалось. Позвонили.

— Гони ты их! — раздраженно сказал Босой супруге. — Что я им в самом деле — собака? Скажи, чтоб насчет квартиры больше не трепались. Сдана иностранцу.

И спрятал поллитровку за буфет. В передней послышался чужой голос. Супруга впустила кого-то.

— Что она, дура, я же сказал! — рассердился Босой и устремил грозный взор на дверь в переднюю. Из этой двери появилась супруга с выражением ужаса на лице, а следом за нею — двое незнакомых Босому. Первый в форме с темно-малиновой нашивкой, а второй — в белой косоворотке. Босой почему-то побледнел и поднялся.

— Где сортир? — спросил озабоченно первый.

— Здесь, — шепнул Босой, бледнея, — а в чем дело, товарищи?

Ему не объяснили, в чем дело, а прямо проследовали к уборной.

— У вас мандаты, товарищи, есть? — тихо-претихо вымолвил Босой, идя следом за пришедшими.

На это тот, что был в косоворотке, показал Босому маленькую книжечку и белый ордерок. Тут Босой утих, но стал еще бледнее. Первый вошел в уборную, оглядел ее, тотчас же взял из коридора табуретку, встал на нее и с наличника над дверью под пыльным окошком снял белый пакетик. Пока этот пакетик раскрывали, Босой придумал объяснение тремстам рублям — прислал брат из Казани. Однако это объяснение не понадобилось. Быстрые белые пальцы первого вскрыли пакетик, и в нем обнаружились несколько денежных, по-видимому, бумажек непривычного для человеческого взгляда вида. Они были зеленоватого цвета, с портретами каких-то вдохновенных растрепанных стариков. Тут глаза Босого вылезли из орбит, шея налилась темной кровью.

— Триста долларов, — деловым тоном сказал первый. — Ваш пакетик?

— Никак нет, — ответил Босой.

— А чей же?

— Не могу знать, — ответил Босой и вдруг возопил: — Подбросили враги!

— Бывает, — миролюбиво сказал второй в косоворотке и прибавил: — Ну, гражданин Босой, подавай остальные.

Мы не знаем, что спасло Никанора Ивановича от удара. Но он был к нему близок. Шатаясь, с мертвыми глазами, налитыми темной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка «Безбожник», положил на себя крестное знамение и прохрипел:

— Никогда валюты в руках не держал, товарищи, Богом клянусь!

И тут супруга Босого, что уж ей попритчилось, кто ее знает, вдруг воскликнула:

— Покайся, Иваныч!

Чаша страдания ни в чем не повинного Босого (он, действительно, никогда в руках не держал иностранной валюты) переполнилась, и он внезапно ударил свою супругу кулаком по лицу, отчего та разроняла битки по полу и взревела.

— Ну, это ты брось, — холодно сказал тот, что был в косоворотке, и мигом отделил Босого от жены.

Тогда Босой заломил руки, и слезы покатились по его багровому лицу.

Минут через десять примерно видели некоторые обитатели громадного дома на Садовой, как председатель правления в сопровождении двух людей быстро проследовал в ворота дома и якобы шатался, как пьяный, и будто бы лицо у него было, как у покойника.

Что проследовал, это верно, ну а насчет лица, может быть, и приврали добрые люди.

## В КАБИНЕТЕ РИМСКОГО

В то время как происходили все эти события, в громадном доме на Садовой, невдалеке от него, в кабинете дирекции «Кабаре» сидели и занимались делами двое ближайших сотрудников Степы Лиходеева — финансовый директор «Кабаре» Римский и администратор Варенуха. В кабинете «Кабаре», похожем как две капли воды на всякий другой театральный кабинет, то есть с разнокалиберной мягкой мебелью, с запачканным дрянным ковром на полу, с пачкой старых афиш, с телефоном на письменном столе, — происходило все то, что происходит во всяком другом кабинете.

Римский сидел за письменным столом и подписывал какие-то бумаги. Варенуха то и дело отвечал на звонки по телефону. В дверь часто входили: побывал бухгалтер с ведомостью, как всякий бухгалтер, старый, больной, подозрительный, хмурый, в очках. Приходил дирижер в грязном воротничке, и с дирижером Римский поругался из-за какой-то новой кожи на барабане. Какой-то лысый и бедный человек принес скетч. Автор скетча держал себя униженно, а Римский обошелся с ним грубо, но скетч оставил, сказав, что покажет его Степану Богдановичу Лиходееву. И автор ушел, кланяясь и говоря: «Очень хорошо... мерси...» — глядя слезящимися глазами на директора.

Словом, все было, как обычно, кроме одного: час прошел, нет Степана Богдановича, другой час прошел — нет его.

Приезжали из РКИ, звонили из Наркомпроса, звали на заседание директоров, на столе накопилась громаднейшая пачка бумаг. Римский стал нервничать, и Варенуха стал звонить по телефону на Садовую, в квартиру Степы.

— Ну, это уж безобразие, — стал ворчать Римский, каждый раз, как Варенуха говорил: «Не отвечают».

В три часа дня в кабинет вошла женщина в форменной куртке, в тапочках и в мужской фуражке, вынула из маленькой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут «Кабаре»? Распишитесь, «молния».

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та ушла, вскрыл пакетик.

Вскрыв и прочитав, он перекосил лицо, пожал плечами и подал телеграмму Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее:

«Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ помощнику начальника Масловскому точно ли субъект ночной сорочке брюках блондин носках без сапог документами директора Кабаре Лиходеева явившийся сегодня отделение Владикавказе признаками психоза есть директор Лиходеев Масловский».

— Это здорово! — сказал Римский, прочитав телеграмму. Варенуха, моргая, долго изучал листок.

— Самозванец, — решил Римский. И тут же взяв телефонную трубку, позвонил и продиктовал по телефону «молнию»: «Владикавказ Помощнику Начальника Масловскому Лиходеев Москве Римский».

Независимо от странной «молнии» принялись разыскивать Лиходеева. Квартира упорно не отвечала. Мучились очень долго, звоня в служебное время решительно во все места, где могла разыскаться хотя бы тень Степы. Успели проверить сбор и убедились, что выпущенная афиша с именем иностранца резко повысила сегодняшний кассовый приток.

Минут через тридцать после первой «молнии» пришла вторая. Содержание ее было еще страннее:

«Молнируйте Масловскому что я действительно Лиходеев брошенный Воландом Владикавказ Задержите Воланда Лиходеев».

В течение минуты и Римский, и Варенуха, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму.

— Ты же с ним утром разговаривал по телефону, — недоуменно сказал лысый Варенуха.

— Какие глупости — разговаривал, не разговаривал! — рассердился нервный Римский, — не может он быть во Владикавказе! Это смешно!

— Он пьян! — сообразил Варенуха, — а может, это трактир «Владикавказ»? Он из Москвы...

— Граждане! — вскричала раздраженно телеграмщица, — расписывайтесь, а потом уж митинг устраивайте!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил Римский.

— Ничего я не знаю. Не мое дело, — ответила женщина и удалилась ворча. Римский уставился сквозь очки в «молнию». Как ни прерывал его каждую минуту Варенуха восклицаниями, что все это глупо, отмахнуться от телеграммы никак нельзя было, и именно благодаря слову «Воланд». Откуда же, спрашивается, владикавказскому самозванцу известно имя иностранца? Но с другой стороны, человек, который в час дня был в Москве, ни в каком аэроплане, ни при каких условиях к трем дня во Владикавказе быть не может. С третьей стороны, зачем же, хотя бы и такой неожиданный человек, как Степа, которого не раз Римский мысленно ругал «балбесом», сорвется в служебный день с места и ринется из Москвы вон? С ума можно сойти!

«Задер-жи-те Воланда, — бормотал, мычал Варенуха. — Зачем? Мистификация». Решили ничего не молнировать в ответ.

Через тридцать минут появилась та же самая женщина, и Римский, и Варенуха даже с мест поднялись. Она вынула темный листок.

— Интересненько... — шепнул Варенуха. На фотографической бумаге отчетливо чернели писаные строчки. Тут Варенуха без чинов навалился на плечо Римскому. Оба жадно бегали глазами по строчкам.

«Вот доказательство мой почерк Немедленно молнируйте подтверждение моей личности Немедленно обследуйте мою квартиру Примите все меры наблюдения за Воландом и задержания в случае попытки выехать из Москвы Лиходеев».

Варенуха был известен в Москве как опытнейший театральный администратор, видавший всякие виды, и кроме того, смышленый человек. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его застилает пеленой, и он ничего не придумал, кроме житейской нелепой фразы:

— Этого не может быть...

Римский поступил не так. Он поднялся с места, резко крикнул в дверь: «Никого!» — и тотчас запер дверь кабинета на ключ. Затем, сразу постарев лет на пять и нахмурившись, достал из письменного стола пачку документов и извлек из них все те, на которых были резолюции и подписи Лиходеева. Он тщательно сличал букву за буквой. Извлек три залихватских подписи на ведомостях и одну на чеке. Варенуха, навалившись, жарко дышал в щеку Римскому.

— Без сомнения, почерк Лиходеева, — наконец выговорил Римский очень хмуро. Варенуха проделал все знаки изумления, которые свойственны людям. То есть по кабинету прошелся, руки вздымал, как распятый, плечи вздергивал, восклицал: «Не понимаю!»

Задача Римского была трудна. Нужно было тут же, сейчас же обыкновенные объяснения представить для совершенно необыкновенного события. И Римский сделал все, что в силах человеческих. Он сверился по справочнику и узнал, что от Москвы до Владикавказа... километров. Злобно от напряжения усмехнувшись, Римский представил себе Степу в ночной сорочке, торопливо влезающего в самый-самый, делающий, скажем, триста километров в час аэроплан, и тут же сокрушил эту мысль, как явно гнилую. На таком далеко не улетишь. Он представил другой самолет, военный, сверхбоевой, шестьсот километров в час, и тут же сосчитал, что, ввалившись в него непосредственно тотчас же после телефонного разговора в час дня, Степа за два часа не дотянул до Владикавказа восемьсот километров. Аэропланы разлетелись как дым. В висках Римского закололо. Варенуха же, выпив целый стакан желтой воды из графина, весь в испарине, рылся в справочнике «Вся Москва». Он искал трактир под названием «Владикавказ».

Мелькнула дикая мысль, что, может, не Степа говорил в час дня по телефону с Садовой. Отпала. Степин голос был слишком хорошо известен Римскому. Затем всякая надежда построить логическое здание рухнула. В голове у финансового директора остались только черепки. Штампы на телеграммах фальшивые? Нет, подлинные. В носках, среди бела дня, во Владикавказе? Смешно. Трактир. Пьяные шутки?

В двери снаружи стучали, ручку дергали. Слышно

было, как курьерша кричала: «Нельзя!» Варенуха, воспаленными глазами глядя в справочник, тоже рявкнул: «Нельзя! Заседание!»

Когда за дверью стихло, Варенуха захлопнул толстую книгу и молвил:

— Не может он быть во Владикавказе. Он поглядывал на Римского и увидел в своем патроне перемену.

Колючие глаза Римского в знакомой всем роговой оправе утратили как будто бы эту колючесть, и в них появилась темная печаль и очень большая тревога.

— Не может он быть во Владикавказе, — повторил Варенуха.

Помолчали.

— Да, он не может быть во Владикавказе, — отозвался Римский, и даже, как показалось Варенухе, изменившимся голосом, — но тем не менее это писано из Владикавказа.

— Так что же это такое?! — вопросил Варенуха.

— Это непонятное дело, — очень серьезно ответил Римский, — и дело это надо выяснить. — Помолчав, еще добавил: — Но лучше всего, это вторая часть.

— О Воланде?

— Да, о Воланде, — ответил Римский. За спиной его висела афиша. На зеленом фоне ясно виднелась эта фамилия. Афиша сулила........................................................

Двое взрослых и очень деловых людей должны были ответить на дикие телеграммы. Это было им неприятно, но тем не менее отвечать нужно было.

Римский взял трубку телефона и сказал:

— Междугородная? Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом.

«Умно», — подумал Варенуха.

— А, черт, — сказал Римский, вешая трубку.

— Что?

— Испорчен телефон во Владикавказе.

Римский позвонил на телеграф и, щурясь, продиктовал:

— Примите «молнию». «Владикавказ Помощнику Масловскому Ответ фотограмму 803 Двенадцать дня сегодня Лиходеев был Москве От двух до четырех он неизвестно где Почерк безусловно подтверждаю Меры наблюдения за указанным фотограмме артистом принимаю Римский».

«Умно», — подумал Варенуха, — тут же додумал: «Глупо! Ведь его не может быть во Владикавказе!»

Но Римский показал, что он еще умнее, чем о нем думали. Именно: обе телеграммы и фотограмму он тщательно запаковал в конверт, конверт заклеил, протянул его Варенухе и сказал значительно:

— Свези, Василий Васильевич, немедленно. Пусть они разбирают.

«Умно», — в третий раз подумал Варенуха и принял пакет.

— Звони на квартиру.

Варенуха взял трубку, и ему посчастливилось.

— Алло! — сказал бас в трубке.

— Мосье Воланд? — ласково спросил Варенуха.

— Я.

— Добрый день. Говорит администратор «Кабаре» Варенуха.

— Очень приятно. Как ваше здоровье?

— Мерси, — несколько удивляясь иностранной вежливости, ответил Варенуха.

Римский, сморщившись, очень тревожно прислушивался.

— Мне показалось, что вы плохо выглядели вчера. Вы берегите себя, — продолжал излишне вежливый иностранец в ухо изумленному администратору, — я не советую вам никуда сегодня ходить. Пусть Римский ходит.

Варенуха вздрогнул от удивления.

— Алло?

— Простите, — оправившись, начал Варенуха, — я побеспокоил вас вот почему... Вы не знаете ли, где товарищ Лиходеев?

— Его нет дома.

— А, простите, он не говорил, куда он пошел?

— Говорил. За ним приехала какая-то дама в автомобиле, и он сказал, что на один час уедет за город, — продолжала трубка.

Варенуха чуть не прыгнул у телефона и замигал Римскому.

— А куда за город? Куда, простите?

— Кататься.

— Благодарю вас, мерси, мерси, — заговорил и закланялся Варенуха, — сегодня вечером, значит, ваше выступление?

— О да. Я помню.

— Всего добренького, всего, — нежно сказал Варенуха и стукнул трубкой. — Он за городом, — победоносно воскликнул Варенуха. — Уехал в машине, и, понятно, машина сломалась.

— Черт знает что такое! — вскричал, бледнея, Римский.

— Да я теперь все понимаю, — радовался Варенуха, — он застрял на шоссе.

— В служебный день, — злобно заговорил Римский, — впрочем, это на него похоже.

— И зря ты молнировал! — сказал Варенуха.

— Но, позволь, — отозвался Римский...

— Мистификация! Мистификация.

— Я бы этого сукиного сына...

— Ну что ж, нести?

— Непременно, непременно, — настойчиво заговорил Римский.

Затем друзья условились так.

Варенуха немедленно отвезет куда следует странные телеграммы, а Римский отправляется обедать. К началу спектакля оба будут на месте.

Варенуха прошел по всему зданию «Кабаре», оглянул все опытным глазом и решил нырнуть на минутку в контору в нижнем этаже. Навести там порядок. Он вошел и увидел, что наводить порядок нельзя. В конторе не было никого. И тут же загремел телефон на клеенчатом столе.

— Да! — рявкнул Варенуха, как обычно рявкают в телефон.

— Товарищ Варенуха? — сказал тенор-голос в телефоне. — Вот что. Вы никуда сейчас телеграммы не носите. А спрячьте их. Вообще никуда не ходите.

— Кто это говорит? — закричал Варенуха. — Товарищи, вы прекратите ваши штуки! Мы вас обнаружим! Я вас отдам моментально куда следует!

— Товарищ Варенуха, — сказал все тот же препротивный голос, — русский язык вы понимаете? Не носите никуда телеграммы и Римскому ничего не говорите.

— Вот я сейчас узнаю, по какому вы номеру говорите, и...

Здесь Варенухе пришлось повесить трубку, так как он ясно понял, что собеседник его ушел от аппарата.

— Римский вышел? — спросил Варенуха у курьерши, выходя из конторы.

— Обедать вышли, — ответила курьерша.

— Ах, жаль! — буркнул Варенуха.

Дело в том, что у Варенухи в голове вдруг возникла мысль, что он очень выиграет на этом деле с мистификацией. Вот он сейчас пойдет куда следует, там, конечно, крайне заинтересуются, зазвучит фамилия Варенухи. «Садитесь, товарищ Варенуха... Так вы полагаете, товарищ Варенуха?..» Интересно (по-человечески говоря) возбудить дело и быть участником в его расследовании. «Варенуха свой парень», «Варенуху знаем».

Администратор, из которого перла энергия, побывал и в кассе и узнал, что вечер будет боевой, — только что кассирша продала два последних места и вывесила аншлаг.

Обойдя, как полководец перед боем поле сражения, все здание, Варенуха вышел из него, но не через главный подъезд, а через боковой, выводящий в летний сад. Варенухе понадобилось проверить, провели ли, согласно его распоряжению накануне, свет в мужскую и женскую уборные. Вот Варенуха и устремился мимо тира, мимо нарзанной будки, жадно вдыхая садовый воздух после душного и испорченного воздуха «Кабаре». Возле выкрашенной в серую краску обычного типа уборной с надписями «мужская» и «женская» было пустынно. Варенуха вошел в мужское отделение и прежде всего поразился тем, что недавно покрашенная заново стена сплошь сверху донизу покрыта непристойными четверостишиями и совершенно дикими рисунками. Словом, нужно было красить заново.

«Ах, какая сволочь, народ», — подумал администратор и заглянул внутрь. Он поднял глаза к потолку и стал соображать, горит ли лампочка, правильно ли сделана проводка. Тут за спиной его послышался голос:

— Товарищ Варенуха?

Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и усами и одетого в клетчатое.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот неизвестно откуда взявшийся толстяк тут же попросит у него контрамарку.

— Ах, вы? Очень приятно, — сказал толстяк и, вдруг развернувшись, трахнул Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на загаженное сиденье. И тут же в уборной появился второй, маленького роста, но необыкновенно плечистый, летом — в зимней шапке с ушами, как опять-таки показалось Варенухе.

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, с левой руки развернулся и съездил сидящего администратора по другому уху. Крик «караул!» не вышел у Варенухи, потому что у него перехватило дух.

— Что вы, товарищи?.. — прошептал совершенно ополоумевший администратор, но, тут же сообразив, что слово «товарищи» никак не подходит к двум бандитам, избивающим человека в сортире среди бела дня в центре Москвы, прохрипел: «Граждане!» — сообразил, что и название «граждане» они не заслуживают, и тут же получил тяжкий удар уже не по уху, а по середине, так что кровь из носу потекла по толстовке. Тогда темный ужас охватил его. Ему показалось, что его убьют. Но его больше не ударили.

— У тебя что в портфеле, паразит? — спросил тот, который был похож на кота, — телеграмма? Отвечай!

— Те... телеграмма, — ответил администратор.

— А тебя дважды предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда с ними ходить? Отвечай!

— Предупреждали, — ответил приведенный к одному знаменателю администратор, чувствуя новую волну ужаса.

— А ты все-таки потопал? Дай сюда портфель, гад! — прохрипел гнусаво второй и вырвал у Варенухи портфель из рук.

— Степу разыскиваете? Ябедник паршивый! — воскликнул возмущенный, похожий на кота, — ну, ты его сейчас повидаешь.

И тут безумный администратор почувствовал, что стены уборной завертелись, и тут же исчезли и первый злодей, и второй.

* * *

Вариант этой главы см. в «Приложениях», с. 271 («Вести из Владикавказа»). — *Ред.*

# БЕЛАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Высоко приподнятая над партером сцена «Кабаре» пылала всеми лампами, и, кроме того, с боков на помост прожекторы изливали резкий свет. Зал, в котором партер окаймлялся ложами, похожими на лошадиные стойла, был освещен скупее, и в шести проходах отчетливо светились зеленые надписи «Выход».

На сцене же, пылающей, как в солнечный летний полдень, происходило то, что можно увидеть только во сне.

Человек маленького роста в дырявом котелке, с грушевидным пьяным носом, в клетчатых штанишках, в лакированных сапожках удивительно ездил на велосипеде.

Выкатившись на обыкновенном двухколесном, он издал победоносный крик, и велосипед его сделал круг, а затем совсем отвинтил на ходу заднее колесо и покатился на одном переднем, причем зал ответил ему коротким аплодисментом.

Затем человек, приветливо улыбнувшись партеру, перевернулся кверху ногами и поехал, вертя педали руками, причем казалось, что он разобьет себе вдребезги лицо. Тут же из-за кулис выехала торжественно блондинка-толстуха, сидящая на высочайшей блестящей мачте, над которой имелось маленькое колесо, и тоже заездила взад и вперед. Встречаясь с ней, человек издавал приветственный крик и снимал ногой котелок.

Затем из-за кулис выехал еще один молодой человек — в блестках по красному шелку, тоже на высокой мачте, наконец, вертя со страшной быстротой педали, выскочил малютка на крошечном велосипедике и зашнырял между взрослыми, вызвав взрыв смеха на галерее и рукоплескания. В заключение вся компания, известная под названием «велосипедная *семья Риббu*», выстроилась в шеренгу, подкатилась к самому краю сцены и тут внезапно остановилась, как раз в то мгновение, когда публике показалось, что вся она свалится на головы музыкантам в оркестре. Семья испустила победный клич, спрыгнула с велосипедов, сделала реверансы, и гром оркестра смешался с беглым огнем

ладош. Занавес закрыл семью, и под потолком «Кабаре» между паутиной трапеций враз загорелись белые шары. С шелестом и гулом публика потекла из зала. Наступил антракт перед последним отделением.

Единственным человеком во всем «Кабаре», которого ни в какой степени не интересовали велосипедные подвиги семьи Рибби, был Григорий Максимович Римский. Он сидел в конторе театра и был занят тревожными и важными мыслями. Начать с того, что случилась необыкновенная в жизни «Кабаре» вещь: администратор Варенуха не явился на спектакль. Только тот, кто знает, что такое контрамарочный хвост, что такое зрители, а таких всегда бывает несколько человек, которые потеряли билеты, что такое звонки от высокопоставленных лиц с просьбишкой устроить как-нибудь в партер племянника из провинции, — словом, тот, кто знает, каково значение администратора на спектакле, поймет, что значит его отсутствие.

Явившись за полчаса до начала спектакля, Римский и застал волнующийся и назойливый хвост, и растерянные лица служащих и капельдинеров. Первым долгом, конечно, нужно было по телефону разыскивать Варенуху, но сделать это оказалось невозможным, потому что, как на грех, все телефоны в здании испортились. Тогда Римский вынужден был взять на себя обязанности Варенухи и, усевшись в конторе, принять все меры к тому, чтобы пустить нормально спектакль. Он сам ругался с контрамарочниками из хвоста, сам удовлетворил тех, кто заслуживал удовлетворения, и спектакль пошел.

Справиться-то со всем этим можно было. Не это грызло сердце Римского. А то обстоятельство, что Варенуха пропал именно в тот день, когда днем случились такие странные обстоятельства со Степой. И как ни старался Григорий Максимович отогнать от себя какие-то странные подозрения, отогнать их не сумел: лезла в голову определенная чертовщина — невольно ставились в связь исчезновение Степы и положительно ничем не объяснимое неприбытие Варенухи.

Но так как без объяснения ум человеческий обойтись никак не может, то и к вечеру они пришли на помощь Римскому.

И были они таковы: никакая машина под Степой не

ломалась, а просто Степа уехал за город, не утерпел и нарезался до положения риз и дать знать о себе не может. Для Варенухи: увы, Варенуха арестован. Ничего другого быть не могло. Последнее обстоятельство привело Григория Максимовича в самое сумрачное состояние. Почему, за что могли схватить Варенуху? Римский еще более постарел, и на небритом его лице появились складки. Он злобно и затравленно косился на каждого входящего, грубил и нервничал. А входили часто, истязали вопросами о том, где Варенуха. Варенуху искали какие-то посетители, Варенуху требовали за кулисы. Положение финансового директора было пренеприятно.

В десять часов вечера в разгаре второго отделения директору доложили, что Воланд прибыл с помощником, и директору пришлось идти встречать и устраивать гастролера. Римский прошел за кулисы и постучался в уборную, где обосновался приезжий.

Любопытные лица под разными предлогами то и дело заглядывали в уборную. Приезжий поразил все «Кабаре» двумя вещами: своим замечательным фраком и тем, что был в черной маске.

Впрочем, свита приезжего также примечательна. Она состояла из того самого длинного в пенсне и в клетчатом, с наглой рожей, и толстого черного кота.

Римский приветствовал Воланда с некоторым принуждением. В голове у директора была форменная каша. Он осведомился о том, где же аппаратура артиста, и получил от Воланда краткий ответ, что он работает без аппаратуры.

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный, — ввязался в разговор никем не прошенный наглец в пенсне, — вот она. Эйн, цвей, дрей! — И тут длинный, повертев перед глазами недовольного Римского узловатыми пальцами, вытащил из-за уха у кота собственные Римского часы, которые, вне всяких сомнений, были при Римском во время входа в уборную. Шутовски раскланявшись, клетчатый буффон на ладони подал часы пораженному директору, и тот под восхищенные аханья портного и лиц, заглядывающих в дверь, водворил часы на место. У Римского мелькнула мысль о том, что встретиться с длинным в трамвае было бы крайне неприятно.

Тут загремели звонки со сцены, и под их грохот был выкинут второй фокус почище, чем с часами. Именно: кот подошел к подзеркальному столику, лапой снял пробку с графина, покачнул его, налил мутной воды в стакан и, овладев им обоими пухлыми лапами, с удовольствием выпил. При виде такой штуки даже и ахать не стали, а просто притихли.

Через три минуты с шелестом раздернулся занавес и вышел новый персонаж. Это был пухлый, как женщина, хронически веселый человек в подозрительном фраке и не совсем свежем белье. Весь зал нахмурился, увидев его. *Это был конферансье Мелузи.*

— Итак, товарищи, — громко заговорил Мелузи, — сейчас перед вами выступит *знаменитый немецкий маг Воланд*. Вы сами понимаете, — хитро сощурив глаза, продолжал Мелузи, — что никакой магии на самом деле не существует. Мосье Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, а мы все за овладение техникой! Итак, попросим дорогого гостя!

Произнеся всю эту ахинею, Мелузи отступил, сцепил обе ладони и замахал ими.

Публика ответила аплодисментом.

Выход Воланда, клетчатого и кота был эффектен. Черномасочный великан в блистательном фраке с алмазами на пальцах, клетчатый, который теперь в ярком свете лампионов оказался явным клоуном, и кот выстроились перед рампой.

Отшумел аплодисмент. Сеанс пошел сразу же необычно и чрезвычайно заинтересовал публику.

— Кресло мне, — сказал Воланд.

И тут же неизвестно откуда появилось кресло, в которое и уселся Воланд. Публика притихла. Кулисы были забиты народом, кончившие свои номера артисты напирали друг на друга, и среди них виднелось бледное, хмурое лицо Римского.

Дальнейшее поведение Воланда еще более поразило публику. Развалившись в кресле, артист ничего не показывал, а оглядывал публику, машинально покручивая ухо любимого кота, приютившегося на ручке кресла.

Наконец артист прервал молчание.

— *Скажи мне, рыцарь,* — негромко осведомился он у клетчатого гаера, — так это и есть, стало быть, московское народонаселение.

— Точно так, — почтительно ответил клетчатый.

— Так, так, так... — загадочно протянул Воланд. — Давненько, давненько я не видел москвичей. Надо полагать, они сильно изменились. Город значительно изменился. Это я могу засвидетельствовать. Появились эти трамваи, автомобили...

Публика внимательно слушала, полагая, что это прелюдия к фокусам. На лице у Мелузи мелькнуло выражение некоторого недоразумения, и он чуть приподнял брови. Он счел нужным вмешаться.

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая значительно выросла в техническом отношении, и москвичами, — заговорил сладко Мелузи, по профессиональной привычке потирая руки.

Тут Воланд, клоун и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил артист у клетчатого.

— Нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — доложил клетчатый.

— Так?..

— Просто он наврал, — пояснил клетчатый и обратился к Мелузи, прибавив: — Поздравляю вас соврамши.

На галерке кто-то рассмеялся, за кулисами разлилось недоумение. Мелузи вздрогнул.

— Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, брюки, телефоны и прочая...

— Мерзость! — подсказал клетчатый угодливо.

— Спасибо, — сказал Воланд, — сколько более важный вопрос — изменились ли эти горожане психологически?.. Э?

— Важнейший вопрос, сударь, — подтвердил и клетчатый.

Римского, конферансье, артистов в кулисах охватило полнейшее недоумение, но, как бы угадав их чувства, артист молвил снисходительно:

— Ну, мы заболтались, однако, а публика ждет чудес белой магии. Фагот, покажите им что-нибудь простенькое.

Зал шевельнулся, и тысячи четыре глаз сосредоточились именно на клетчатом.

Тот щелкнул пальцами, крикнул залихватски:

— Три... четыре!

И тотчас, поймав в воздухе атласную колоду карт, начал ее тасовать. Колода развернулась сыплющейся лентой, а потом, фыркнув, перелетела через сцену и сложилась в лапе у кота. Тот немедля соскочил с кресла, стал на задние лапы, а передними стасовал колоду и выпустил ее лентой в воздух. Колода с шелестом змеей взвилась над головами, а затем клетчатый, раскрыв рот, как птенец, всю ее, карту за картой, проглотил.

— Класс! — шепнули за кулисами. Кот потряс публику. Из-за этого даже и аплодисмент не вырвался. Жонглеров публика уже видела, но никто никогда не видел, чтобы животное могло проделать такой фокус с колодой.

Тем временем клетчатый воскликнул — гап! — и выстрелил из неизвестно откуда появившегося в руке у него пистолета, а Воланд указал пальцем в партер и сказал звучно:

— Колода эта теперь в кармане у вас. Да, да. Седьмой ряд, место семнадцатое.

В партере зашевелились, и затем какой-то гражданин, густо покраснев, извлек из кармана колоду. Стали привставать.

Гражданин застенчиво тыкал колодой в воздух.

— Пусть она останется у вас на память. Она вам пригодится для покера, гражданин Парчевский. Вы совершенно справедливо заметили вчера, что жизнь без покера представляет собой одну волынку.

И видно было, как в седьмом ряду тот, фамилия которого точно была Парчевский, выпучил глаза и колоду положил на колени.

— Стара штука, — раздался голос на галерке, — они уговорились!

— Вы полагаете? — ответил голос со сцены, — так вот что: она у вас в кармане!

Скептик сунул руку в карман штанов, но вытащил из кармана не колоду, а пачку червонцев, перевязанную банковским способом. И на пачке той была надпись — «1000 рублей».

— Червонцы, червонцы, — послышались голоса на галерке.

— Это червонцы... — недоуменно улыбаясь, со-

общил скептик, не зная, что ему делать с пачкой.

— Разве червонцы хуже игральных карт? — спросил Воланд. — Впрочем, если они вам не нравятся, отдайте их соседу.

Слова Воланда вызвали большой интерес на галерке, но червонцев скептик никому не отдал, а стал ковырять в пачке, стараясь дознаться, настоящие это деньги или какие-то волшебные.

— Сыграйте со мной в такую колоду! — весело попросил кто-то в ложе.

— Авек плезир, — отозвался клетчатый и крикнул, — прошу всех глядеть в потолок! Три!

Тут же сверкнул огонь и бухнул выстрел. В потолке что-то треснуло, а затем меж нитями трапеций, притянутых к куполу, мелькнули белые листки и затем, трепеща и крутясь, пошли книзу. Две тысячи голов были задраны кверху.

Один листок, два, десять, затем дождь стал гуще, и менее чем через минуту падающие червонцы достигли партера.

Листы валили и валили, и червонный дождь становился все гуще. Большинство бумажек падало в центр партера, но некоторые относило к ложам.

Снежный денежный дождь произвел очень большое впечатление на публику. Вначале это было просто удивление, причем головы опускались по мере снижения крупного снега. Затем глаза стали вертеться — следили полет денег.

Когда же червонцы стали падать на головы, колени, касаться рук, глаза насторожились.

Одна рука вытянулась, взяла, другая... Начали рассматривать, мять... А они все сыпались и сыпались.

Беспокойно зашевелилась галерка. Тогда кот отмочил такую штуку: войдя на авансцену, он надул щеки и дунул вверх. Вихрем тотчас понесло бумажки на галерею, которая встретила их гораздо более оживленно, нежели партер.

Гамму чувств можно было точно определить. Началось со внимания, а затем во всех глазах ясно выразилось одно желание — понять, настоящие или нет?

Многие глаза устремились сквозь бумажки на свет огней, и тотчас праведные и несомненные водяные знаки кинулись в глаза. Запах также не вызывал ни

малейшего сомнения: это был очаровательный, ни с чем не сравнимый, лучший на свете запах свежих червонцев. С номерами и сериями и многочисленными и солидными подписями.

Настоящие? Тут зловещий блеск показался во многих очах. Вывод напрашивался сам собой: если подлинные, то не попробовать ли... и... и...

Первые движения были стыдливы, вороваты и быстры. Раз в карман, раз в карман. Но потом публика осмелела. Никто не запрещал присваивать сыплющиеся деньги. Многие неопределенно посмеивались, дамы в партере розовели. Видно было, как двое молодых людей снялись из партера и, несколько пригибаясь и имея такой вид, что им нужно отлучиться срочно по нужнейшему делу, отбыли из зала. Один из них, уходя, поймал еще штуки три червонцев.

На галерке произошла суета. Завязался узел. Послышался голос: «Да ты не толкайся. Я тебя толкну, сволочь». И там же вдруг треснула звучная плюха. Публика заохала, глядела на галерку. Там произошла возня и вырос внезапно милиционер. Кого-то куда-то повлекли.

Недоумение от такого фокуса в кулисах и на сцене достигло наивысшей степени. Милицейский шлем замелькал у занавеса. С другой стороны появилась пожарная ослепительная каска.

Мелунчи решительно не знал, что делать, что говорить. Он глядел то на трех артистов, которые теперь уже оказались сидящими в ряд на трех креслах, то на валящийся с неба поток, то на дирижера. Последний же в это время, глядя не на оркестр, а в зал, машинально махал палкой, доигрывая вальс. В публике гудели.

Мелунчи наконец собрался с духом и выступил. «Гипноз, гипноз...» — думал он.

— Итак, товарищи, — заговорил конферансье, — мы с вами видели сейчас замечательный случай так называемого массового гипноза. Опыт научный, доказывающий как нельзя яснее, что никаких чудес не существует. Итак (тут конферансье зааплодировал в совершеннейшем одиночестве), попросим мосье Воланда раскрыть нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились!

На лице при этом у конферансье было выражение уверенное, а в глазах полнейшая неуверенность и мольба.

Публике его речь не понравилась. Настало молчание. В этот момент двое исчезнувших молодых людей подозрительной походкой вернулись в партер и, усевшись, тут же занялись ловлей бумажек.

Молчание прервал клетчатый.

— Это так называемое вранье, — заскрипел он, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — крикнули на галерке. Публика в партере зашумела.

— Между прочим, этот, — тут клетчатый указал на Мелунчи, — мне надоел. Суется все время, портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — буркнул на галерке кто-то.

— О! Идея! — воскликнул клетчатый.

— Надоел! — подтвердили на галерке.

Весь партер уставился на сцену, и тут произошло неслыханное — невозможное. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному Мелунчи и пухлыми лапами вцепился в светлые волосы. Два поворота — вправо-влево — и кот при мертвом молчании громадного зала сорвал голову с исказившимися чертами лица с толстой шеи. Две тысячи ртов в зале издали звук «ах!». Из оборванных артерий несколькими струями ударили вверх струи крови, и кровь потоками побежала по засаленному фраку. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь перестала бить, а кот передал голову клетчатому клоуну, и тот, взяв ее за волосы, показал публике!

Дирижер поднялся со своего кресла и вылупил глаза. Головы, грифы скрипок и смычки вылезли из оркестровой ямы. Тут в театре послышались женские вскрикивания.

Оторванная голова повела себя отчаянно. Дико вращая вылезающими глазами, она разинула косо рот и хриплым голосом на весь театр закричала:

— Доктора!

На галерке грянул хохот. Из кулис, забыв всякие правила, прямо на сцену высунулись артисты, и среди

них виден был бледный и встревоженный Римский.

— Доктора! Я протестую! — дико провыла голова и зарыдала.

В партере кто закрывал лицо руками, чтобы не видеть, кто, наоборот, вставал и тянулся, чтобы лучше рассмотреть, и над всем этим хаосом по-прежнему шел снежный червонный дождь.

Совершенно же беспомощная голова тем временем достигла отчаяния, и видно было, что голова эта сходит с ума. Безжалостная галерка каждый вопль головы покрывала взрывом хохота.

— Ты будешь нести околесину в другой раз? — сурово спросил клетчатый.

Голова утихла и, заморгав, ответила:

— Не буду.

— Браво! — крикнул кто-то сверху.

— Не мучьте ее! — крикнула сердобольная женщина в партере.

— Ну что ж, — вопросил клетчатый, — простим ее?

— Простим! Простить! — раздались вначале отдельные голоса, а затем довольно дружный благостный хор в партере.

— *Милосердие еще не вовсе вытравлено из их сердец,* — сквозь зубы молвил замаскированный на сцене и прибавил, — наденьте голову.

Вдвоем с котом клетчатый, прицелившись на скорую руку, нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова, к общему потрясению, села прочно, как будто никогда и не отлучалась.

— Маэстро, марш! — рявкнул клетчатый, и ополоумевший маэстро махнул смычком, вследствие чего оркестр заиграл, внеся еще большую сумятицу.

Дальнейшее было глупо, дико и противоестественно. Под режущие и крякающие звуки блестящих дудок Мелунчи, в окровавленном фраке, с растрепанными волосами, шагнул раз, шагнул другой, глупо ухмыльнувшись. Грянул аплодисмент. Дикими глазами глядели из кулис. Мелунчи скосился на фрак и горестно улыбнулся. Публика засмеялась. Мелунчи тронул тревожно шею, на которой не было никакого следа повреждения, — хохот пуще.

— Я извиняюсь, — начал было Мелунчи, почувствовал, что теряется, чего никогда в жизни с ним не было.

— Прекратите марш!

Марш прекратился так же внезапно, как и начался, и клетчатый обратился к Мелунчи:

— Ах, фрачек испортили? Три... четыре!

Клетчатый вооружился платяной щеткой, и на глазах зрителей с костюма конферансье не только исчезли все кровяные пятна, но и самый жилет и белье посвежели. Засим клетчатый нахватал из воздуха бумажек, вложил в руку Мелунчи, подтолкнул его в спину и выпроводил вон с таким напутствием:

— Катитесь. Без вас веселей!

И Мелунчи удалился со сцены. Под звуки все того же нелепого марша, который по собственной инициативе заиграл дирижер.

Тут все внимание публики вернулось к бумажкам, которые все еще сеялись из-под купола.

Нужно заметить, что фокус с червонцами, по мере того как он длился, стал вызывать все большее смущение, и в особенности среди персонала «Кабаре», теперь уже наполовину высунувшегося из кулис. Что-то тревожное и стыдливое появилось в глазах у администрации, а Римский, тревога которого росла почему-то, бросив острый взгляд в партер, увидел, как один из капельдинеров, блуждающим взором шнырнув в сторону, ловко сунул в кармашек блузы купюру и, по-видимому, не первую.

Что-то соблазнительное разливалось в атмосфере театра вследствие фокуса, и разные мысли, и притом требующие безотлагательного ответа, копошились в мозгах.

Наконец назрело.

Голос из бельэтажа спросил:

— Бумажки-то настоящие, что ли?

Настала тишина.

— *Будьте покойны*..................................................

* * *

Вариант главы с тем же названием см. в «Приложениях», с. 284. — *Ред.*

# ЗАМОК ЧУДЕС

**Ночью на 1-е сентября 1933**

Лишь только неизвестные вывели из подворотни Никанора Ивановича Босого и в неизвестном направлении повели, странное чувство овладело душой председателя.

И даже трудно это чувство определить. Босому начало казаться, что его, Босого, более на свете нет. Был председатель Босой, но его уничтожили. Началось с ощущения уничтоженности, потери собственной воли. Но это очень быстро прошло. И, шагая между двух, которые, как бы прилипши к плечам его, шли за ним, Босой думал о том, что он... он — другой человек. О том, что произошло что-то, вследствие чего никогда не вернется его прежняя жизнь. Не только внешне, но и внутренне. Он не будет любоваться рассветом, как прежний Босой. Он не будет есть, пить и засыпать, как прежний Босой. У него не будет прежних радостей, но не будет и прежних печалей. Но что же будет?

Этого Босой не знал и в смертельной тоске изредка проводил рукой по груди. Грустный червь вился где-то внутри у его сердца, и, может быть, этим движением Босой хотел изгнать его.

Неизвестные посадили председателя в трамвай и увезли его в дальнюю окраину Москвы. Там вышли из трамвая и некоторое время шли пешком и пришли в безотрадные места к высочайшей каменной стене. Вовсе не потому, что москвич Босой знал эти места, был наслышан о них, нет, просто иным каким-то способом, кожей, что ли, Босой понял, что его ведут для того, чтобы совершить с ним самое ужасное, что могут совершить с человеком, — лишить свободы.

Босой Никифор Иванович был тупым человеком, это пора признать. Он не был ни любопытен, ни любознателен. Он не слушал музыки, не знал стихов. Любил ли он политику? Нет, он терпеть не мог ее. Как относился он к людям? Он их презирал и боялся. Любил смешное? Нет. Женщин? Нет. Он презирал их вдвойне. Что-нибудь ненавидел? Нет. Был жесток? Вероятно. Когда при нем избивали, скажем, людей, а это,

как и каждому, Босому приходилось нередко видеть в своей однообразной жизни, он улыбался, полагая, что это нужно.

Лишь только паскудная в десять человеческих ростов стена придвинулась к глазам Босого, он постарался вспомнить, что он любил. И ничего не вспомнил, кроме клеенчатой скатерти на столе, а на этой клеенке тарелку, а на тарелке голландскую селедку и плавающий в мутной жиже лук. Но тут же в медленных мозгах Босого явилась мысль о том, что, что бы ни случилось с ним за этой стеной, сколько бы он ни провел за нею времени, был ли бы он..........................

## ПОЦЕЛУЙ ВНУЧАТЫ

*Человеческая рука повернула выключатель* настольной лампы, и кабинет дирекции «Кабаре» осветился зеленым светом, а окна почернели. Рука принадлежала Римскому. Знаменитый, небывалый еще в истории «Кабаре» вечер закончился минут пять тому назад. Было около 12 часов ночи. Римский чувствовал, что публика еще течет по всем галереям к выходам «Кабаре», он слышал ее глухой шум и плеск, но директор не захотел дожидаться окончания разъезда. Директору нужно было остаться одному, чтобы какие-то чрезвычайной важности мысли привести в порядок и что-то немедленно предпринять. Римский оглянулся почему-то пугливо и погрузился в облупленное кожаное кресло. Первым долгом он сжал голову руками, что нисколько и ничему не помогло. Тогда он отнял руки и уставился на поверхность стола. Сперва он глядел отсутствующими глазами, но затем внимание к ближайшим предметам вернулось к нему. Однако ему до смерти не хотелось бы видеть этих близких предметов. «Ну, конечно, я так и ожидал!» — подумал Римский, и его передернуло.

— Ах, ты пакость, — сквозь зубы протянул он.

Перед ним лежал дожидавшийся уже его запечатанный пакет с фотограммой. Вскрывать, однако, нужно было. И Римский вскрыл конвертик. Фотограмма эта, снятая явно и несомненно с записки Степы, была ясна и осмысленна:

«Вылетел быстроходным Москву буду четвертого утром Проверьте получило ли ГПУ мои телеграммы Наблюдайте Воланда Лиходеев».

Римский вновь сжал голову и заскреб в волосах, но тут какой-то уличный шум привлек его.

Кабинет был угловой комнатой во втором этаже здания, и те окна, спиной к которым помещался Римский, выходили в летний сад, а одно, по отношению к которому Римский был в профиль, на Садовую улицу. Ей полагалось быть в это время шумной. Десятки тысяч народу выливались из «Кабаре», ближайших театров и синема. Но этот шум был необычайный. Долетела милицейская залихватская тревожная трель, затем послышался как бы гогот. Римский, нервы которого явно расходились и обострились, ни секунды не сомневался в том, что происшествие имеет ближайшее отношение к его театру, а следовательно, и к нему самому, поднялся из-за стола и, распахнув окно, высунулся в него.

Предчувствие было правильно. Совсем близко под собой Римский увидел возбужденно спешащую из парадных дверей последнюю вереницу народу, а несколько поодаль, на широченном асфальтовом тротуаре, обезумевшую даму в одной короткой сорочке, из которой, сияя под фонарями, соблазнительно выпирали ее полные плечи. Сорочка была заправлена в обычные шелковые дамские штаны, на голове у дамы была модная шляпенка, лицо у дамы было искаженное, а платья на даме не было.

Кругом рвалась к даме толпа кепок и дико гоготала, милиционерские шлемы мелькали тут и там, а какой-то гражданин, сдирая с себя летнее пальто, никак не мог от волнения выпростать руку из рукава.

Дама отчаянно крикнула:

— Да скорее же, дурак! — И гражданину наконец удалось сорвать с себя пальто и укутать присевшую от стыда и отчаяния даму.

Но тут же из толпы, которая гоготала все громче и тыкала пальцами, и даже улюлюкала, вырвался какой-то в сорочке, в кальсонах, в лаковых штиблетах и великолепной заграничной шляпе. Он сиганул, как заяц, потерял эту самую шляпу и кинулся в боковую калитку летнего кабаретного сада, но там ему отреза-

ла путь толпа обычных садовых хулиганов. Началась там какая-то кутерьма.

Тут в другом месте закипел другой водоворот. И эта сцена была соблазнительнее предыдущих. Именно: широкомордый и сильно выпивший лихач пытался тронуть с места свою поджарую лошадь в наглазниках, чтобы увезти мужчину, который был совершенно гол. На нем не было и белья. Голый, вертясь как на иголках, одной рукой пытался закрыться газетой «Вечерняя Москва», а другой, в которой была зажата пачка червонцев, тыкал в спину лихача, суля ему громадные деньги. Лихач с дорогой душой увез бы несчастного, но представители милиции преградили путь.

Минут пять понадобилось, чтобы рассеялись возбужденные толпы с Садовой. Полуодетые исчезли, а голого увез на том же лихаче единственный не изумившийся ничему происходящему расторопный милиционер. Последний проявил великолепную находчивость и энергию. Он велел лихачу закрыть фартуком и верхом пролетку, и несчастный голый скорчился в экипаже, как бедный, затравленный толпой зверек.

Римский закрыл окно и вернулся к столу. Директор не удивился происшедшему на улице, да и нечему было удивляться. Не было никаких сомнений в том, что эти раздетые были из «Кабаре» — те самые, которые соблазнились и приобрели вещи в сомнительном магазине клетчатого гаера. Фокус выплеснулся за пределы «Кабаре», но с фокусом Римский примирился, как бы странен он ни был. Вне сомнений, заграничные фокусники применяли гипноз. Последствия сеанса...

— Черт с ним, с гипнозом, — сморщившись, пробормотал Римский и уставился в фотограмму.

Сейчас самым важным для Римского было одно: решить вопрос о том, нужно ли звонить в ГПУ или нет. На первый взгляд и сомнений быть не могло. Когда директора театров залетают во Владикавказ, а администраторы театров исчезают... звонить необходимо. И тем не менее руки у директора сделались как бы деревянными. Почему, почему вы, Григорий Максимович, не беретесь за трубку телефона? Да, это трудно было бы объяснить!

Здание театра начало стихать. Публика покинула

его, а затем ушли цепью и капельдинеры. В здании осталась только одна дежурная, пожарный на своем посту за сценой. В кабинет к директору никто не постучал, так как было известно, что Григорий Максимович нередко остается работать в кабинете. Прошли последние гулкие шаги по коридору, а затем стала полная тишина.

Римский курил папиросу за папиросой, морщился и о чем-то думал. Чем больше он курил, чем больше думал, тем больше у него расстраивались нервы. Не только им овладела тоска, но даже и какие-то воспоминания, жгучие, неприятные.

Печальная цепь его размышлений была прервана звонком. Ожил телефон на столе. Тут всякому бы стало понятно, насколько развинтились нервы у директора. Он вздрогнул так, как если бы его укололи в бок. Но оправился и снял трубку. Прежде всего, на его «Да!» никто ничего не сказал, но почему-то Римский угадал, что кто-то есть у аппарата. Ему почудилось даже, что он слышит, как кто-то, притаившись, дышит у аппарата.

— Да... — повторил тревожно директор.

Тут он услышал голос. И голос этот хрипловатый, женский, низкий был Римскому не знаком.

— *Пришлю к тебе гонца,* — *сказала дальняя женщина,* — *берегись, Римский, чтобы он не поцеловал тебя!*

И голос пропал. Римский повесил трубку.

— Хулиганы! — шепнул злобно и страдальчески директор, но никакой уверенности в его голосе не было. Тревога окончательно овладела им. Он пожал плечами, потом пробормотал:

— Надо будет валерианки принять.

А затем добавил веско и решительно:

— Так вот что, Григорий Максимович, — звонить или не звонить? Проверю цепь, — шепнул сам себе Григорий Максимович.

И он проверил ее. Она была такова. Внезапно приехал из-за границы артист, проклятый Степка с ним заключил договор. После этого Степка напился. После этого Степка пропал. Дикие телеграммы. Посылают в Гепеу Внучату, а он пропал. После этого — сеанс артиста, невероятный какой-то. Голые на ули-

цах. Червонцы. Но ведь ясно же телеграфирует Степка. Надо звонить в Гепеу.

Так говорил ум Григория Максимовича, но кроме ума что-то еще было в нем, что не позволяло ему поднять руку к телефонной трубке, и он не мог уяснить себе, что это именно было. Колебания его приняли характер мучений. Когда он почувствовал себя совершенно разбитым, круглые часы начали бить полночь. Последний удар уныло и протяжно разнесся по директорскому кабинету, еще сильнее подчеркнув ту тишину, которая стояла в пустом театре. Бой часов еще более возбудил Римского, и он принял трусливое решение еще немножко обождать — хотя чего ждать и сколько времени ждать, он не мог бы сказать. Чтобы забыться, развлечь себя, он решил заняться бумагами. Портфель он взял за угол, подвез к себе и вынул пачку документов. Сделав над собой усилие, он принялся за верхний, но что-то мешало ему сосредоточиться. Первое ощущение появилось в лопатках, захотелось как будто передернуть ими. Потом в затылке. Потом общее ощущение: кто-то близко есть и кто-то смотрит. Болезненно поморщившись, Римский отмахнул дым и посмотрел вбок. Там была несгораемая касса и ничего более не было. Он повел глазами вверх. С карниза никто не смотрел. Он вновь уперся глазами в строчку «...сектор искусств в заседании от 15-го сего июня принял резолюцию, единодушно...», и вдруг внезапно и резко повернулся и глянул в окно. Сердце у него покатилось, отнялись ноги.

Прилипши к стеклу венецианского окна, расплющив нос, на Римского глядел Внучата. Смертельный ужас Римского объяснялся несколькими причинами. Первое: выражением глаз Внучаты — в них была странная горящая жадная злоба. Второе, что поразило Римского, — это рот Внучаты: это был рот с оскаленными зубами. Но главное было, конечно, не это все, а то, что Внучата вообще за окном подсматривает почему-то ночью. И наконец, что было хуже всего, это то, что окно находилось во втором этаже, стало быть, пропавший Внучата ночью поднялся по гладкой стене, чтобы подсматривать, или же влез на дерево — липу, толстые ветви которой, чуть тронутые зеленоватым светом луны, отчетливо виднелись за окном.

Римский слабо вскрикнул и невольно закрылся ладонью, тотчас ее отнял и, дрожа, глянул опять и увидел, что никакого лица Внучаты за окном нет, да, вероятно, и не было. Дрожа, стуча зубами, Римский опять вспомнил про валерианку. У него мелькнула мысль тотчас броситься к окну, распахнуть его и проверить, тут ли Внучата, но Римский понял, что ни за что он этого не сделает. Он приподнялся, протянул руку к графину, расплескал воду, хлебнул, потом вытер лоб и понял, что лоб в холодном поту.

Тут дверь стала открываться. Римский взялся за сердце, вошел мужчина, и Римский узнал Внучату.

Директор даже отшатнулся и на некоторое время утратил дар речи. Внучата очень удивился.

— Что с тобой, Григорий Максимович? — спросил администратор каким-то не своим голосом.

Григорий Максимович оправился и произнес:

— Ты меня так испугал... вошел внезапно... Ну, говори же, где ты пропал?

И Римский протянул руку. Но как-то так вышло, что Внучата ее не пожал. Администратор развел руками и воскликнул:

— Ну и ну!

— Ну, ну, — нетерпеливо воскликнул Римский.

— Ну, в ГПУ и был.

— Я испугался, уж подумал, не задержали ли тебя.

— Зачем меня задерживать, — с достоинством сказал Внучата, — просто выясняли дело.

— Ты хоть бы дал знать...

Внучата хитро подмигнул и ответил:

— Дать знать... сказали — «не стоит», — и продолжал: — Ну-с, выяснили нашего дорогого Степана Богдановича.

— Где же он?

— В Звенигороде, в больнице, — торжественно сказал Внучата.

— Позвольте-е! — возмущенно вскричал Римский и сунул последнюю фотограмму Внучате, но тот даже и читать не стал.

— Плюнь и спрячь, — заговорил он, пододвинул кресло и, взяв сложенную афишу, заслонил ею лампу от себя. Римский глянул удивленно, а Внучата пояснил: «да, глаз болит».

Тут Римский всмотрелся и увидел, несмотря на затемненный свет, что левый глаз у Внучаты запух, а под глазом синяк и что весь администратор выглядит очень плохо. Не то что бел, а даже желт, глаза странные, и, что кроме всего прочего, шея администратора завязана черным платком. Заметив, что Римский недоуменно глядит на черный платок, администратор пояснил с некоторым раздражением:

— Да все из-за сегодняшней кутерьмы. В такси садился, высунулся... дверцей шофер и прихлопнул, и глаз повредил, и шею, проклятый, изодрал. — Администратор потыкал в платок пальцем и вдруг так раздражился при воспоминании о неловком шофере, что даже зубы оскалил. Тут что-то стукнуло в голову Римскому, он вздрогнул и подумал, что все это странно. «Как же я?.. был он в окне? Или не был? Фу, глупости! Не мог, конечно, быть».

«Но тогда... — еще мелькнула мысль, — выходит, что я галлюцинировал?» Необыкновенно скверно и тревожно стало на душе у директора. И, пожалуй, молчание продлилось больше, чем нужно, и пристально и тревожно двое смотрели друг на друга. Римский мучительно хотел спросить — прошел ли Внучата через боковой ход из сада или через главный с улицы... «Спросить?» — резанула быстрая мысль.

И не спросил.

Вместо этого он попросил:

— Ну, рассказывай же.

Рассказ Внучаты был чрезвычайно интересен. В ГПУ обратили необыкновенное внимание на случай с директором «Кабаре» и разобрали его в один вечер. Все выяснили и всех нашли. И все расшифровалось.

Оказалось, что Степан Богданович, находясь уже, очевидно, в умоисступлении каком-то, не ограничился вчерашней попойкой в Покровском-Стрешневе, а начал, надо полагать, по инерции чертить и на следующий день. Так и было, как сказал Воланд по телефону. Степан взял машину и двух дам и, вместо того чтобы отправиться на службу, отправился, имея в машине водку, коньяк, а также *Барзак*...

— Как, и про Барзак известно? — спросил заинтересованный Римский.

— Ну, брат, видел бы ты работу! — сказал много-

значительно Внучата, — красота! Стало быть, Барзак... расположился на берегу реки...

Римский втянул голову в плечи, а глаза и руки возвел к потолку. «Вы, мол, видите, добрые люди, какого директора посадили мне на шею?»

— ... дам напоил до такого состояния, что просто непристойно рассказывать, сам нарезался до того, что отправился на телеграф зачем-то, свел там дружбу с телеграфистом, напоил и его, а затем стал, шутки ради, «садить», как выразился Внучата, эти самые глупые телеграммы в Москву...

— Это невероятно... — тихо сказал Римский, не спуская взора с Внучаты.

— ...никакого Масловского помощника во Владикавказе нет и не было...

— Но позволь, — вдруг остановил Внучату Римский, — но пометка на телеграммах — «Владикавказ»?..

— Ах, я же тебе говорю, — почему-то раздражаясь до такой степени, что даже вскочил, отозвался Внучата, — напоил телеграфиста, тот печатал вместо «Звенигород» — «Владикавказ»!..

Римский даже глазами заморгал, подумал — «чего он все время раздражается», а вслух попросил:

— Ну, ну, дальше...

— Дальше оказалось лучше... Кончилось скандалом. Обоих арестовали... дам тоже...

Как ни был пышен рассказ Внучаты, какие бы в нем ни красовались авантюрные подробности и лихие приключения с битьем морды какому-то звенигородскому дачнику, с совместным и бесстыдным купанием с дамами на пляже, — этот изумительный рассказ все менее и менее занимал Римского, внимание которого целиком поглотил сам рассказчик. И немудрено. Чем дальше повествовал Внучата, тем страннее становился.

За время своего семичасового отсутствия Внучата приобрел мерзкую манеру как-то не то причмокивать, не то присвистывать губами. Это было очень противно. Кроме того, Внучата стал беспокоен, ежеминутно почему-то оборачивался на часы, как будто чего-то ждал. Хуже всего были глаза, в которых явственно читалась злоба, подозрительность и беспокойство.

Сейчас, рассказывая о том, как Степа с револьвером в руках гонялся по пляжу за звенигородцами, Внучата, возбудившись, вскочил и продолжил речь, бегая по кабинету. Причем в самых неподходящих местах начал как-то припрыгивать, от чего Римскому сделалось вдруг страшно. «Да что он... с ума сошел?..» — помыслил Римский.

Изменения в администраторе, лишь только он вскочил из затененного угла у лампы, выступили чрезвычайно отчетливо. Кругленького, маслянистого, гладко выбритого Внучаты теперь и в помине не было.

Перед Римским беззвучно пританцовывал, рассказывая чепуху, восково-бледный, дергающийся, осунувшийся человек. В довершение всего Римский открыл еще одну странную деталь: угол рта у Внучаты был вымазан чем-то ржаво-красным, равно как и правый подстриженный усик. Еще один пытливый взгляд и, сомнений быть не могло, — неряха Внучата, расколотив лицо дверкой автомобиля, не вытер как следует кровь — это она запеклась.

Но было, было еще что-то во Внучате, уже совершенно необыкновенное, но что это именно, Римский не мог понять никак. В то же время ему казалось, что если он поймет, то упадет в обморок. Он морщился, воспаленными глазами следил за администратором, теперь уже мимо ушей пропуская половину того, что тот сообщал.

А тот, покончив со Степой, перешел к Воланду. Степино дело кончилось худо. Когда его схватили за буйство в Звенигороде, оказалось, что надлежит его помещать не в тюремный замок, а в психиатрическую лечебницу, что и было сделано. Ибо Степа допился до белой горячки.

Что касается Воланда, то тут все обстоит в полном благополучии. Приглашен Наркомпросом. Гипнотизер. Совершенно незачем за ним следить...

Тут новенькое что-то приключилось с администратором. Изложив все, что следовало, он вдруг утратил свою раздражительную живость, закрыл глаза и повалился в кресло. И наступило молчание. Множество встречных вопросов приготовил Римский Внучате, но не задал ни одного. Упорным взором он уставился в восковое лицо Внучаты и холодно, решающе мыслен-

но сказал себе: «Все, что сейчас говорил здесь Внучата, все это ложь, начиная с дверцы автомобиля... Степы не было в Звенигороде, и, что хуже всего, сам Внучата и не думал быть в ГПУ!..» Но если так, то здесь кроется что-то непонятное, преступное, странное... Лишь только об этом подумал Римский, как жиденькие волосы с пролысиной шевельнулись на голове побелевшего Римского. Всмотревшись в кресло, в котором раскинулся администратор, Римский понял то необыкновенное, что было хуже окровавленной губы, прыжков и нервной речи. Кресло отбрасывало тень — черные стрелы тянулись от ножек, черная спинка лежала громадой на полу, но головы Внучаты не было на полу, и, если глянуть на теневое отражение, то было ясно, что в кресле никто не сидел! Словом, Внучата не отбрасывал тени! «Да, да, не отбрасывал! — задохнувшись, подумал Римский, — ведь, когда он плясал передо мною, тень не прыгала за ним, то-то я так поразился! Но, Боже, что же это такое?»

Римский опустился в кресло, и в это время часы пробили один час. Римский не сводил глаз с Внучаты.

* * *

Вариант этой главы см. в «Приложениях», с. 305 («Бойтесь возвращающихся»). — *Ред.*

## ИВАНУШКА В ЛЕЧЕБНИЦЕ

.....*и внезапными вспышками буйства,* конечно, не было. В здании было триста совершенно изолированных одиночных палат, причем каждая имела отдельную ванну и уборную. Этого, действительно, нигде в мире не было, и приезжавших в Союз знатных иностранцев *специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса.* И те, осмотревши лечебницу, писали восторженные статьи, где говорили, что они никак не ожидали от большевиков подобных прелестей, и заключали статьи несколько неожиданными и имеющими лишь отдаленное отношение к психиатрии выводами о том, что не мешало бы вступить с большевиками в торговые отношения.

Иванушка открыл глаза, присел на постели, потер лоб, огляделся, стараясь понять, почему он находится в этой светлой комнате. Он вспомнил вчерашнее прибытие, от этого перешел к картине ужасной смерти Берлиоза, причем она вовсе не вызвала в нем прежнего потрясения. Он потер лоб еще раз, печально вздохнул, спустил босые ноги с кровати и увидел, что в столик, стоящий у постели, вделана кнопка звонка. Вовсе не потому, что он в чем-нибудь нуждался, а просто по привычке без надобности трогать различные предметы Иванушка взял и позвонил.

Дверь в его комнату открылась, и вошла толстая женщина в белом халате.

— Вы звонили? — спросила она с приятным изумлением, — это хорошо. Проснулись? Ну, как вы себя чувствуете?

— Засадили, стало быть, меня? — без всякого раздражения спросил Иванушка. На это женщина ничего не ответила, а спросила:

— Ну, что ж, ванну будете брать? — Тут она взялась за шнур, какая-то занавеска поехала в сторону, и в комнату хлынул дневной свет. Иванушка увидел, что та часть комнаты, где было окно, отделена легкой белой решеткой в расстоянии метра от окна.

Иванушка посмотрел с какою-то тихой и печальной иронией на решетку, но ничего не заметил и подчинился распоряжениям толстой женщины. Он решил поменьше разговаривать с нею. Но все-таки, когда побывал в ванне, где было все, что нужно культурному человеку, кроме зеркала, не удержался и заметил:

— Ишь, как в гостинице.

Женщина горделиво ответила:

— Еще бы. В Европе нигде нет такой лечебницы. Иностранцы каждый день приезжают смотреть.

Иванушка посмотрел на нее сурово исподлобья и сказал:

— До чего вы все иностранцев любите! А они разные бывают. — Но от дальнейших разговоров уклонился. Ему принесли чай, а после чаю повели по беззвучному коридору мимо бесчисленных белых дверей на осмотр. Действительно, было как в первоклассной гостинице — тихо, и казалось, что никого и нет в здании. Одна встреча, впрочем, произошла. Из одной

из дверей две женщины вывели мужчину, одетого, подобно Иванушке, в белье и белый халатик. Этот мужчина, столкнувшись с Иванушкой, засверкал глазами, указал перстом на Иванушку и возбужденно вскричал:

— Стоп! Деникинский офицер!

Он стал шарить на пояске халатика, нашел игрушечный револьвер, скомандовал сам себе:

— По белобандиту, огонь!

И выстрелил несколько раз губами: «Пиф! Паф! Пиф!»

После чего прибавил:

— Так ему и надо!

Одна из сопровождавших прибавила:

— И правильно! Пойдемте, Тихон Сергеевич!

Стрелявшему опять приладили револьверик на поясок и с необыкновенной быстротой его удалили куда-то.

Но Иванушка расстроился.

— На каком основании он назвал меня белобандитом?

— Да разве можно обращать внимание, что вы, — успокоила его толстая женщина, — это больной. Он и меня раз застрелил! Пожалуйста в кабинет.

В кабинете, где были сотни всяких блестящих приборов, каких-то раскидных механических стульев, Ивана приняли два врача и подвергли подробнейшему сперва расспросу, а затем осмотру. Вопросы они задавали неприятные: не болел ли Иван сифилисом, не занимался ли онанизмом, бывали ли у него головные боли, спрашивали, отчего умерли его родители, пил ли его отец. О Понтии Пилате никаких разговоров не было.

Иван положил так: не сопротивляться этим двоим и, чтобы не ронять собственного достоинства, ни о чем не расспрашивать, так как явно совершенно, что толку никакого не добьешься.

Подчинился и осмотру. Врачи заглядывали Ивану в глаза и заставляли следить за пальцем доктора. Велели стоять на одной ноге, закрыв глаза, молотками стукали по локтям и коленям, через длинные трубки выслушивали грудь. Надевали какие-то браслеты на руки и из резиновых груш куда-то накачивали воздух.

Посадили на холодную клеенку и кололи в спину, а затем какими-то хитрыми приемами выточили из руки Ивана целую пробирку прелестной, как масляная краска, крови и куда-то ее унесли.

Иванушка, полуголый, сидел с обиженным видом, опустив руки, и молчал. Вся эта «Буза...», как подумал он, была не нужна, все это глупо, но он решил дожидаться чего-то, что непременно в конце концов произойдет, тогда можно будет разъяснить томившие его вопросы. Этого времени он дождался. Примерно в два часа дня, когда Иван, напившись бульону, полеживал у себя на кровати, двери его комнаты раскрылись необыкновенно широко и вошла целая толпа людей в белом, а в числе их толстая. Впереди всех шел высокий бритый, похожий на артиста, лет сорока с лишним. За ним пришли помоложе. Тут откинули откидные стулья, уселись, после того как бритому подкатили кресло на колесиках.

Иван испуганно сел на постели.

— Доктор Стравинский, — приветливо сказал бритый и протянул Ивану руку.

— Вот, профессор, — негромко сказал один из молодых и подал бритому лист, уже кругом исписанный. Бритый Стравинский обрадованно и быстро пробежал первую страницу, а молодой заговорил с ним на неизвестном языке, но Иван явно расслышал слово «фурибунда».

Он сильно дрогнул, но удержался и ничего не сказал.

Профессор Стравинский был знаменитостью, но кроме того, по-видимому, большим и симпатичным оригиналом. Вежлив он был беспредельно и, сколько можно понять, за правило взял соглашаться со всеми людьми в мире и все одобрять. Ординатор бормотал и пальцем по листу водил, а Стравинский на все кивал головой с веселыми глазами и говорил: «Славно, славно, так». И еще что-то ему говорили, и опять он бормотал «Славно».

Отбормотавшись, он обратился к Ивану с вопросом:

— Вы — поэт?

— Поэт, — буркнул Иван. — Мне нужно с вами поговорить.

— К вашим услугам, с удовольствием, — ответил Стравинский.

— Каким образом, — спросил Иван, — человек мог с Понтием Пилатом разговаривать?

— Современный?

— Ну да, вчера я его видел.

— Пилат... Пилат... Пилат — это при Христе? — спросил ординатора Стравинский.

— Да.

— Надо полагать, — улыбаясь сказал Стравинский, — что он выдумал это.

— Так, — отозвался Иванушка, — а каким образом он заранее все знает?

— А что именно он знал заранее? — ласково спросил Стравинский.

— Вот что: вообразите, Мишу Берлиоза зарезало трамваем. Голову отрезало, а он заранее говорит, что голову отрежет. Это номер первый. Номер второй: это что такое фурибунда? А? — спросил Иван, прищурившись.

— Фурибунда значит — яростная, — очень внимательно слушая Ивана, объяснил Стравинский.

— Это про меня. Так. Ну, так вот, он мне вчера говорит: когда будете в сумасшедшем доме, спросите, что такое фурибунда. А? Это что значит?

— Это вот что значит. Я полагаю, что он заметил в вас какие-либо признаки ярости. Он не врач, этот предсказатель?

— Никакой у меня ярости не было тогда, а врач, уж он такой врач! — выразительно говорил Иван. — Да! — воскликнул он, — а постное масло-то? Говорит: вы не будете на заседании, потому что Аннушка уже разлила масло! Мы удивились. — А потом: готово дело! — действительно, Миша поскользнулся на этом самом Аннушкином масле! Откуда же он Аннушку знает?

Ординаторы, на откидных стульях сидя, глаз не спускали с Иванушки.

— Понимаю, понимаю, — сказал Стравинский, — но почему вас удивляет, что он Аннушку знает?

— Не может он знать никакой Аннушки! — возбужденно воскликнул Иван, — я и говорю, его надо немедленно арестовать!

— Возможно, — сказал Стравинский, — и, если в этом есть надобность, власти его арестуют. Зачем вам беспокоить себя? Арестуют и славно!

«Все у него славно, славно!» — раздраженно подумал Иван, а вслух сказал:

— Я обязан его поймать, я был свидетелем! А вместо его меня засадили, да еще двое ваших бузотеров спину колют! Сумасшествие и буза дикая!

При слове «бузотеры» врачи чуть-чуть улыбнулись, а Стравинский заговорил очень серьезно.

— Я все понял, что вы сказали, и позвольте дать вам совет: отдохните здесь, не волнуйтесь, не думайте об этом, как его фамилия?..

— Не знаю я, вот в чем дело!

— Ну вот. Тем более. Об этом неизвестном не думайте, и вас уверяю честным словом, что вы таким образом скорее поймаете его.

— Ах, меня, значит, задержат здесь?

— Нет-с, — ответил Стравинский, — я вас не держу. Я не имею права задерживать нормального человека в лечебнице. Тем более что у меня и мест не хватает. И я вас сию же секунду выпущу, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, поймите, а только скажете. Итак, вы — нормальны?

Наступила полнейшая тишина, и толстая благоговейно глядела на профессора, а Иван подумал: «Однако этот действительно умен!» Он подумал и ответил решительно:

— Я — нормален.

— Вот и славно. Ну, если вы нормальны, так будем же рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут Стравинский вооружился исписанным листом. — В поисках неизвестного человека вы вчера произвели следующие действия, — Стравинский начал загибать пальцы на левой руке. — Прикололи себе иконку на грудь английской булавкой. Бросали камнями в стекла. Было? Было. Били дворника, виноват, швейцара. Явились в ресторан в одном белье. Побили там одного гражданина. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили дать стрельцов, которых в Москве, как всем известно, нет! Затем бросились головой в окно и ударили санитара. Спрашиваются две вещи. Первое: возможно ли при этих условиях кого-нибудь

поймать? Вы человек нормальный и сами ответите — никоим образом! И второе: где очутится человек, произведший все эти действия? Ответ, опять-таки, может быть только один: он неизбежно окажется именно здесь! — и тут Стравинский широко обвел рукой комнату. — Далее-с. Вы желаете уйти? Пожалуйста. Я немедленно вас выпущу. Но только скажите мне: куда вы отправитесь?

— В ГПУ!

— Немедленно?

— Немедленно.

— Так-таки прямо из лечебницы?

— Так-таки прямо!

— Славно! И скажите, что вы скажете служащим ГПУ, самое важное, в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата! — веско сказал Иван, — это самое важное.

— Ну и славно, — окончательно покоренный Иванушкой, воскликнул профессор и, обратившись к ординатору, приказал: — Благоволите немедленно Попова выписать в город. Эту комнату не занимать, белье постельное не менять, через два часа он будет здесь. Ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках.

Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы.

— На каком основании я опять буду здесь?

— На том основании, — немедленно усевшись опять, объяснил Стравинский, — что, как только вы, явившись в ковбойке и кальсонах в ГПУ, расскажете хоть одно слово про Понтия Пилата, который жил две тысячи лет назад, как механически, через час, в чужом пальто, будете привезены туда, откуда вы уехали, к профессору Стравинскому — то есть ко мне и в эту же самую комнату!

— Кальсоны? — спросил смятенно Иванушка.

— Да, да, кальсоны и Понтий Пилат! Белье казенное. Мы его снимем. Да-с. А домой вы не собирались заехать. Да-с. Стало быть, в кальсонах. Я вам своих брюк дать не могу. На мне одна пара. А далее — Пилат. И дело готово!

— Так что же делать? — спросил потрясенный Иван.

— Славно! Это резонный вопрос. Вы действительно нормальны. Делать надлежит следующее. Исполь-

зовать выгоды того, что вы попали ко мне, и прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут, примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге изложить все, что вы считаете обвинительным для этого таинственного неизвестного.

— Понял, — твердо сказал Иван, — прошу бумагу, карандаш и Евангелие.

— Вот и славно! — заметил покладистый профессор, — Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие.

— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно ответила толстая женщина.

— Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор, а затем обратился к Ивану: — Не напрягайте мозг, много не читайте и не пишите. Погода жаркая, сидите побольше в тепловатой ванне. Если станет скучно, попросите ординатора!

Стравинский подал руку Ивану и белое шествие продолжалось.

К вечеру пришла черная туча в Бор, роща зашумела, похолодало. Потом удары грома и начался ливень. У Ивана за решеткой открыли окно, и он долго дышал озоном.

Иванушка не совсем точно последовал указаниям профессора и долго ломал голову над тем, как составить заявление по поводу необыкновенного консультанта.

Несколько исписанных листов валялись перед Иваном, клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно все запуталось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании фурибунде, да и вообще все это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об Аннушке и ее полкиловой банке в сущности нисколько еще не служила к обвинению неизвестного.

Кот, садящийся самостоятельно в трамвай, о чем тоже упоминал в бумаге Иван, вдруг показался даже самому ему невероятным. И единственно, что было серьезно, что сразу указывало на то, что неизвестный странный, даже страннейший и вызывающий чудовищ-

ные подозрения человек, это знакомство его с Понтием Пилатом. А в том, что знакомство это было, Иван теперь не сомневался.

Но Пилат уже тем более ни с чем не вязался. Постное масло, удивительный кот, Аннушка, квартира, телеграмма дяде — смешно, право, было все это ставить рядом с Понтием Пилатом.

Иван начал тревожиться, вздыхать, потирать лоб руками. Порою он устремлял взор вдаль. Над рощей грохотало как из орудий, молнии вспарывали потрясенное небо, в лес низвергался океан воды. Когда струи били в подоконник, водяная пыль даже сквозь решетку долетала до Ивана. Он глубоко вдыхал свежесть, но облегчения не получил.

Растрепанная Библия с золотым крестом на переплете лежала перед Иваном. Когда кончилась гроза и за окном настала тишина, Иван решил, что для успеха дела необходимо узнать хоть что-нибудь об этом Пилате.

Несмотря на то, что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате и о неизвестном.

Но Матфей мало чего сказал о Пилате, и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука же утверждал, что Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил.

В общем мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось. Так что возможно, что он произнес ложь и никогда и не видел Пилата.

Вздумав расширить свое заявление в той части, которая касалась Пилата, Иванушка ввел кое-какие подробности из Евангелия Иоанна, но запутался еще больше и в бессилии положил голову на свои листки.

Тучи разошлись, в окно сквозь решетку был виден закат. Раздвинутая в обе стороны штора налилась светом, один луч проник в камеру и лег на страницы пожелтевшей Библии.

Оставив свои записи, Иванушка до вечера лежал неподвижно на кровати, о чем-то думая. От еды он

отказался и в ванну не пошел. Когда же наступил вечер, он затосковал. Он начал расхаживать по комнате, заламывая руки, один раз всплакнул. Тут к нему пришли. Ординатор стал расспрашивать его, но Иван ничего не объяснил, только всхлипывал, отмахивался рукою и ложился ничком в постель. Тогда ординатор сделал ему укол в руку и попросил разрешения взять прочесть написанное Иваном. Иван сделал жест, который показывал, что ему все равно, ординатор собрал листки и клочья и унес их с собой.

Через несколько минут после этого Иван зевнул, почувствовал, что хочет задремать, что его мало уже тревожат его мысли, равнодушно глянул в открытое окно, в котором все гуще высыпали звезды, и стал, ежась, снимать халатик. Приятный холодок прошел из затылка под ложечку, и Иван почувствовал удивительные вещи. Во-первых, ему показалось, что звезды в выси очень красивы. Что в больнице, по сути дела, очень хорошо, а Стравинский очень умен, что в том обстоятельстве, что Берлиоз попал под трамвай, ничего особенного нет и что, во всяком случае, размышлять об этом много нечего, ибо это непоправимо, и наконец, что единственно важное во всем вчерашнем — это встреча с неизвестным и что вопрос о том, правда ли или неправда, что он видел Понтия Пилата, столь важный вопрос, что, право, стоит все отдать, даже, пожалуй, и самую жизнь.

Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые фонари и зажигали дежурные голубые слабые ночники. Умолкали в камерах бреды и шепоты, и только в дальнем коридоре буйных до раннего летнего рассвета чувствовалась жизнь и возня.

Окно оставалось открытым на ночь, полное звезд небо виднелось в нем. На столике горел под синеватым колпачком ночничок.

Иван лежал на спине с закрытыми глазами и притворялся спящим каждый раз, как отворялась дверь и к нему тихо входили.

Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту, нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались

так: во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай?

— Да ну его к черту... — тихо прошептал Иван, сам слегка дивясь своему приятному цинизму, — что я сват ему, кум? И хорошо ли я знал покойного? Нисколько я его не знал. Лысый и всюду был первый, и без него ничего не могло произойти. А внутри у него что? Совершенно мне неизвестно.

Почему я так взбесился? Тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на Патриарших. А, между прочим, он и пальцем действительно не трогал Берлиоза и, очень возможно, что совершенно неповинен в его смерти. Но, но, но... — сам себе возражал тихим сладким шепотом Иван, — а постное масло? А фурибунда?..

— Об чем разговор? — не задумываясь отвечал первый Иван второму Ивану, — знать вперед хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить!

— В таком случае, кто же я такой?

— Дурак, — отчетливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной и как будто знакомый.

Приятно почему-то изумившись слову «дурак», Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет.

— Дурак! — снисходительно согласился Иван, — дурак, — и стал дремать поглубже. Тут ему показалось, что веет будто бы розами и пальма качает махрами в окне...

— Вообще, — заметил по поводу пальмы Иван, — дело у этого... как его... Стравинского, дело поставлено на большой. Башковитый человек. Желтый песок, пальмы, и среди всего этого расхаживает Понтий Пилат. Одно жаль, совершенно неизвестно, каков он, этот Понтий Пилат. Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы порасспросить его хорошенько о Пилате. Да. А с дикими воплями гнаться за ним по Садовой и вовсе не следовало! А теперь дело безвозвратно потеряно! Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем...

— Ну что же, я — здесь, — сказал тяжелый бас.

Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел.

В кресле перед ним, приятно окрашенный в голубоватый от колпачка свет, положив ногу на ногу и руки скрестив, сидел незнакомец с Патриарших Прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат, такой же, как у профессора Стравинского.

— Да, да, это я, Иван Николаевич, — заговорил неизвестный, — как видите, совершенно не нужно за мною гоняться. Я прихожу сам и как раз, когда нужно, — тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слипшись, стояли вертикально, — полночь!

— Да, да, очень хорошо, что вы пришли. Но почему вы в халате. Разве вы доктор?

— Да, я доктор, но в такой же степени, как вы поэт.

— Я поэт дрянной, бузовый, — строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину.

— Когда же вы это узнали? Еще вчера днем вы были совершенно иного мнения о своей поэзии.

— Я узнал это сегодня.

— Очень хорошо, — сурово сказал гость в кресле.

— Но прежде и раньше всего, — оживленно попросил Иван, — я желаю знать про Понтия Пилата. Вы говорили, что у него была мигрень?..

— Да, у него была мигрень. Шаркающей кавалерийской походкой он вошел в зал с золотым потолком.

* * *

Вариант этой главы см. в «Приложениях», с. 265 («Ошибка профессора Стравинского»). — *Ред.*

## ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

### *(Евангелие от Воланда)*

В девять часов утра шаркающей кавалерийской походкой *в перистиль* под разноцветную колоннаду вышел *прокуратор* Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах

розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней *кордегардии* заносило дымком — *легионные кашевары* начали готовить обед для дежурного *манипула*. Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.

«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире... попробую не вертеть головой...»

Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:

— Приведите его.

Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном *таллифе*. Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.

Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.

— Лицо от побоев надо оберегать, — сказал по-арамейски прокуратор, — если думаешь, что это тебя украшает... — И прибавил:

— Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.

Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору.

Солдаты тотчас освободили руки арестанту.

— Ты в Ершалаиме собирался царствовать? — спросил прокуратор, стараясь не двигать головой.

Молодой человек развел руками и заговорил:

— Добрый человек...

Но прокуратор тотчас перебил его:

— Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.

Он повысил резкий голос:

— Позовите *кентуриона* Крысобоя!

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце. Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по латыни:

— Вот... называет меня «добрый человек»... Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой... Но я не потерплю подбитых глаз перед собой!..

И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.

Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.

— Римский прокуратор, — заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова, — называть *«игемон»*... Другие слова нет, не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?

Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась, он протянул руку и сказал:

— Я понял. Не бей.

И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.

— В Ершалаиме хотел царствовать? — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.

— Я, до... Я, игемон, — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом, — нигде не хотел царствовать.

— Лгуны всем ненавистны, — ответил Пилат, — а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.

— Добрые люди, — ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо: — Игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.

Потом помолчал и добавил задумчиво:

— Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее... — он подумал еще — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.

Тут на балконе наступило полное молчание.

Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.

— За тобой записано немного, — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве, — но этого достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, ходит один с таблицей и пишет, — заговорил молодой человек, — достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его — сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат.

— *Левий Матвей*, — охотно пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.

— Ершалаим, — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю, — город, в котором на Пасху не соскучишься... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!

— Подарил, — пояснил молодой человек, — шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.

— Имя? — спросил Пилат.

— Мое? — спросил молодой человек, указывая себе на грудь.

— Мое мне известно, — ответил Пилат, — твое.

— *Ешуа*, — ответил молодой человек.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда родом?

— *Из Эн-Назира*, — сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.

Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.

— Кто ты по национальности? Кто твои родители?

— *Я— сириец.*

— Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?

— Нет, я знаю латинский и греческий.

Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал, и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: повесить его! Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.

Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершалаимском солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.

— Левий Матвей? — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.

— Да, добрый человек Левий Матвей, — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.

— А вот, — с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор, — что ты рассказывал про царство на базаре?

— Я, игемон, — ответил, оживляясь, молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.

— Так, — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал «так», — подумал страдающий прокуратор, — что означает, что я ус-

воил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного», — и он сказал:

— Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?

И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»

И он услышал голос, сказавший по-гречески:

— Истина в том, что у тебя болит голова и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет болеть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.

Секретарь замер, не дописав слова, и глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.

Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, оно печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.

Затем прокуратор провел рукою по лысой голове и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор приподнялся с кресла, голову сжал руками и на обрюзгшем лице выразился ужас.

Но этот ужас он подавил своей волей.

А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.

— Я, прокуратор, — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, — с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...

Секретарь побледнел как смерть и отложил таблицу.

— То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, — продолжал молодой человек, — так как *пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии.* Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, — только к вечеру. Мне же пришли в

голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.

Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри повешенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.

И еще помолчали.

После этого раздался голос прокуратора:

— *Ты был в Египте?*

Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? — вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.

— Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.

— Поклянись!

— Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, причем добавил, что ею клясться как раз время — она висит на волоске.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил юноша, — если это так, то ты ошибаешься.

— Я могу перерезать этот волосок, — тихо сказал Пилат.

— И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, *не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами*. Ты просто поверь мне — я не враг.

Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться.

Пилат усмехнулся.

— Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре.

Молодой человек улыбнулся.

— Итак, ты говорил о царстве истины?

— Да.

— Скажи, пожалуйста, существуют ли злые люди на свете?

— Нет.

— Я впервые слышу об этом, и, говоря твоим слогом, ты ошибаешься. К примеру — Марк Крысобой-кентурион — добрый?

— Да, — ответил /юноша/, — он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос добрые люди, он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется.

Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа искоса. Потом проговорил:

— Добрые люди бросались на него со всех сторон, как собаки на медведя. Германцы висели на нем. Они вцепились в шею, в руки, в ноги, и, если бы я не дорвался до него с легионерами, Марка Крысобоя не было бы на свете. Это было *в бою при Идиставизо*. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые... Так ты называ................................. бродяга, стало быть, ты должен молчать!

Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал.

Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой офицер из легиона с таблицей и передал ее секретарю.

Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами:

— Важное дополнение из *Синедриона.*

Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.

— Кто этот из Кериота? — спросил он тихо.

Секретарь пожал плечами.

— Слушай, Га-Ноцри! — заговорил Пилат. — И думай, прежде чем ответить мне: в своих речах ты упоминал имя великого кесаря? Отвечай правду!

— Правду говорить приятно, — ответил юноша.

— Мне неинтересно, — придушенным голосом отозвался Пилат, — приятно тебе это или нет. Я тебя заставлю говорить правду. Но думай, что говоришь, если не хочешь непоправимой беды.

— Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком *по имени Иуда, он из Кериота...*

— Достойный человек? — спросил Пилат каким-то певучим голосом.

— Очень красивый и любознательный юноша, но мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти...

Секретарь быстро писал в таблице.

— Я и высказал эти мысли.

— Какие же это были мысли, негодяй? — спросил Пилат.

— Я сказал, — ответил арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда никакой власти не будет. Человек перейдет в царство истины, и власть ему будет не нужна.

Тут с Пилатом произошло что-то страшное. Виноват ли был в этом усиливающийся зной, били ли ему в глаза лучи, отражавшиеся от белых колонн балкона, только ему померещилось, что *лицо арестанта исчезло и заменилось другим* — на лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец; на лбу — смазанная свиным салом с какой-то специей — разъедала кожу и кость круглая язва; рот беззубый, нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальние крыши Ершалаима, вокруг *возникла каприйская зелень в саду,* где-то тихо проиграли трубы, и сиплый больной голос протянул:

— Закон об оскорблении...

Пилат дрогнул, стер рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал: «Боги, какая улыбка!»

— На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря, и не тебе, бродяга, рассуждать о ней! Оставьте меня здесь с ним одного, здесь оскорбление величества!

В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту:

— Ступай за мной!

В зале с золотым потолком остались вдвоем Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Корван — корван».

Молчание нарушил арестант.

— Мне жаль, — сказал он, — юношу из Кериота.

У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастие сегодня ночью, и несчастье при участии женщины, — добавил он мечтательно.

Пилат посмотрел на арестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся.

— Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть кой-кто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Искариота. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против кесаря? Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я, это все — добрые люди? А злых людей нет на свете?

— Нет, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, — сказал арестант.

— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом?

— Своим умом дошел, — ответил арестант.

— Оно не настанет, — вдруг закричал Пилат больным голосом, как кричал при Идиставизо: — «Крысобой попался!» — Сейчас, во всяком случае, другое царство, и если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду. Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером! Веришь ли ты в богов?

— Я верю в Бога, — ответил арестант.

— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он *помутил разум Каиафы*. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула.

— Нет.

— Ненавистный город, — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их, — лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! И если ты произнесешь хотя бы одно слово, то поберегись меня!

И Пилат закричал:

— Эй! Ко мне!

Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона, приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь как зеницу ока, и Марку Крысобою сказал:

— Не бить!

Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу.

---

Примерно через полчаса под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как в прибое, море и доносило изредка к балкону слабенькие выкрики продавцов воды, — верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять собралась у *лифостротона,* ожидая с любопытством приговора.

Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец.

Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет накануне праздника.

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески, — итак, первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речь идти не будет. Но *двое — за Синедрионом — Варраван Иисус*, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Га-Ноцри Ешуа, или Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи же мне, первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Варравана Иисуса или Га-Ноцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Га-Ноцри. Он — сумасшедший, а особенно дурных последствий его проповедь не имела. Храм оцеплен легионерами и охраняется, ершалаимские зеваки и врали, — вяло и скучным голосом говорил Пилат, — ходившие за Га-Ноцри, разогнаны, Га-Ноцри можно выслать из Ершалаима; между тем в лице Варравана мы имеем дело с очень опасным человеком; не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак?

Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Варравана.

— Даже после моего ходатайства, — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну, — повтори, первосвященник.

— Даже после твоего ходатайства прошу за Варравана, — твердо повторил Каиафа.

— Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат.

— В третий раз прошу за Варравана......................
...невиновного бродячего философа! Темным изуверам от него — беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь Га-Ноцри, это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы в Ершалаиме, услышишь ты плач!

— Знаю, знаю, Пилат, — сказал тихо Каиафа, — ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь!

Наступило молчание.

— О, род преступный! О, темный род! — вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.

Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись:

— Если ты, игемон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон!

Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой и тень Каиафы съежилась у него под ногами, сказал спокойным голосом:

— Полдень — пора на лифостротон.

Через несколько минут на каменный громадный помост поднялся прокуратор Иудеи, следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата.

Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист.

Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой:

— Именем императора!

В ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на копьях охапки сена.

— Бродяга и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил преступление против кесаря!..

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно выжгло ему глаза. Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова:

— Вот он, этот бродяга и тать!

Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели Га-Ноцри и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, опять услышал тишину и выкрикнул:

— И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен!

Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:

— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!

Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты, и продолжал Пилат:

— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступнику Иисусу Вар-Раввану...

«Вот их поставили рядом», — подумал Пилат и, когда стихло, продолжал; и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, летели над Ершалаимом:

— ...осужденному за призыв к мятежу, кесарь-император в честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона, подарил жизнь!

Вар-Равван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Вар-Раввана висела безжизненно. Вар-Равван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой, с выбитыми передними зубами, рот.

И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.

Улыбка Раввана была настолько заразительна, что передалась и Га-Ноцри.

И Га-Ноцри протянул руку, вскричал:

— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!

И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Вар-Равван, оберегая больную руку, сбежал

по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на лифостротоне.

Ешуа попытался улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с лифостротона.

И был полдень...

Иванушка открыл глаза и увидел, что за шторой рассвет. Кресло возле постели было пусто.

* * *

Вариант этой главы см. в «Приложениях», с. 216. — *Ред*.

## ДЯДЯ И БУФЕТЧИК

Часов около 11-ти того вечера, когда погиб Берлиоз, в городе Киеве на Институтской улице дядей Берлиоза *гражданином Латунским* была получена такого содержания телеграмма:

«Мне Берлиозу отрезало трамваем голову Приезжайте хоронить».

Латунский пользовался репутацией самого умного человека в Киеве. Как всякий умница он держался правила — никогда ничему не удивляться.

Ввиду того, что Берлиоз не пил, всякая возможность глупой и дерзкой шутки исключалась. Берлиоз был приличным человеком и очень хорошо относился к своим родным. Но, как бы хорошо он ни относился,

сам о собственной смерти телеграмму дать он не мог. Оставалось одно объяснение: телеграф. Латунский мысленно выбросил слово «мне», которое попало в телеграмму вследствие неряшливости телеграфных служащих, после чего она приобрела ясный и трагический смысл.

Горе гражданки Латунской, урожденной Берлиоз, было весьма велико, но лишь только первые приступы его прошли и Латунские примирились с мыслью, что племянник Миша погиб, житейские соображения овладели мужем и женой.

Решено было Максиму Максимовичу ехать. Латунские являлись единственными наследниками Берлиоза. Во-первых, нужно было Мишу похоронить, или, по крайней мере, принять участие в похоронах. Второе: вещи.

Но самое главное заключалось в квартире. Дразнящая мысль о том, что, чем черт не шутит, вдруг удастся занять в качестве ближайших родственников освободившуюся квартиру, положительно захлестнула Латунского. Он понимал, как умный и опытный человек, что это чрезвычайно трудно, но житейская мудрость подсказывала, что с энергией и настойчивостью удавались иногда вещи и потруднее.

На следующий же день, 23-го, Латунский сел в мягкий вагон скорого поезда и утром 24-го уже был у ворот громадного дома № 10 по Садовой улице.

Пройдя по омытой вчерашней грозой асфальтовой площади двора, Латунский подошел к двери, на которой была надпись «Правление», и, открыв ее, очутился в не проветриваемом никогда и замызганном помещении.

За деревянным столом сидел человек, как показалось Латунскому, чрезвычайно встревоженный.

— Председателя можно видеть? — осведомился Латунский.

Этот простой вопрос почему-то еще более расстроил тоскливого человека. Кося отчаянно глазами, он пробурчал что-то, как с трудом можно было понять, что-то о том, что председателя нету.

— А он на квартире?

Но человек пробурчал что-то, выходило, что и на квартире председателя нету.

— Когда придет?

Человек вообще ничего не сказал, а поглядел в окно.

— Ага, — сказал умный Латунский и попросил секретаря.

Человек побагровел от напряжения и сказал, что и секретаря нету тоже, что неизвестно когда придет и что он болен.

— А кто же есть из правления? — спросил Латунский.

— Ну я, — неохотно ответил человек, почему-то с испугом глядя на чемодан Латунского, — а вам что, гражданин?

— А вы кто же будете в правлении?

— Казначей Печкин, — бледнея, ответил человек.

— Видите ли, товарищ, — заговорил Латунский, — ваше правление дало мне телеграмму по поводу смерти моего племянника Берлиоза.

— Ничего не знаю. Не в курсе я, товарищ, — изумляя Латунского своим испугом, ответил Печкин и даже зажмурился, чтобы не видеть телеграммы, которую Латунский вынул из кармана.

— Я, товарищ, являюсь наследником покойного писателя, — внушительно заговорил Латунский, вынимая и вторую киевского происхождения бумагу.

— Не в курсе я, — чуть не со слезами сказал странный казначей, вдруг охнул, стал белее стены в правлении и встал с места.

Тут же в правление вошел человек в кепке, в сапогах, с пронзительными, как показалось Латунскому, глазами.

— Казначей Печкин? — интимно спросил он, наклоняясь к Печкину.

— Я, товарищ, — чуть слышно шепнул Печкин.

— Я из милиции, — негромко сказал вошедший, — пойдемте со мной. Тут расписаться надо будет. Дело плевое. На минутку.

Печкин почему-то застегнул толстовку, потом ее расстегнул и пошел беспрекословно за вошедшим, более не интересуясь Латунским, и оба исчезли.

Умный Латунский понял, что в правлении ему больше делать нечего, подумал: «Эге-ге!» — и отправился на квартиру Берлиоза.

Он позвонил, для приличия вздохнув, и ему тотчас открыли. Однако первое, что удивило дядю Берлиоза, это было то обстоятельство, что ему открыл неизвестно кто: в полутемной передней никого не было, кроме здоровеннейших размеров кота черного цвета. Латунский огляделся, покашлял. Впрочем, дверь из кабинета открылась и из нее вышел некто в треснувшем пенсне. Без всяких предисловий вышедший вынул из кармана носовой платок, приложил его к носу и заплакал. Дядя Берлиоза удивился.

— Латунский, — сказал он.

— Как же, как же! — тенором заныл вышедший Коровьев, я сразу догадался.

— Я получил телеграмму, — заговорил дядя Берлиоза.

— Как же, как же, — повторил Коровьев и вдруг затрясся от слез, — горе-то, а? Ведь это что же такое делается, а?

— Он скончался? — спросил Латунский, серьезнейшим образом удивляясь рыданиям Коровьева.

— Начисто, — прерывающимся от слез голосом ответил Коровьев, — верите, раз! — голова прочь! Потом правая нога — хрусть, пополам! Левая нога — пополам! Вот до чего эти трамваи доводят.

И тут Коровьев отмочил такую штуку: не будучи в силах совладать с собой, уткнулся носом в стену и затрясся, видимо будучи не в состоянии держаться на ногах от рыданий.

«Однако какие друзья бывают в Москве!» — подумал дядя Берлиоза.

— Простите, вы были другом покойного Миши? — спросил он, чувствуя, что и у него начинает щипать в горле.

Но Коровьев так разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хрусть и пополам!». Наконец Коровьев вымолвил с большим трудом:

— Нет, не могу, пойду приму валерианки, — и, повернув совершенно заплаканное лицо к Латунскому, добавил:

— Вот они, трамваи.

— Я извиняюсь, вы дали мне телеграмму? — осведомился Латунский, догадываясь, кто бы мог быть этот рыдающий человек.

— Он, — сказал Коровьев и указал пальцем на кота.

Латунский вытаращил глаза.

— Не в силах, — продолжал Коровьев, — как вспомню!.. Нет, я пойду, лягу в постель. А уж он сам вам все расскажет.

И тут Коровьев исчез из передней.

Латунский, окоченев, глядел то на дверь, за которой он скрылся, то на кота. Тут этот самый кот шевельнулся на стуле, раскрыл пасть и сказал:

— Ну, я дал телеграмму. Дальше что?

У Латунского отнялись и руки и ноги, в голове закружилось, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.

— Я, кажется, русским языком разговариваю? — сказал кот сурово, — спрашиваю: дальше что?

Что дальше — он не добился, Латунский не дал никакого ответа.

— Удостоверение, — сказал кот.

Ничего не помня, ничего не соображая, не спуская глаз с горящих в полутьме зрачков, Латунский вынул паспорт и мертвой рукой протянул его коту.

Кот, не слезая со стула, протянул пухлую лапу к подзеркальному столику, взял с него большие очки в роговой оправе, надел их на морду, от чего сделался еще внушительнее, чем был, и вооружился паспортом Латунского.

«Упаду в обморок», — подумал Латунский. И расслышал, что где-то сдавленно рыдает Коровьев.

— Каким отделением милиции выдан? — спросил кот, сморщившись и всматриваясь в страницу.

Ответа не последовало.

— Двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя пальцем по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да, конечно, конечно, двенадцатым. Известное отделение! Там кому попало выдают. Ну да ладно, доберутся когда-нибудь и до них. Попался б ты мне, выдал бы я тебе паспорт!

Кот рассердился и паспорт швырнул на пол.

— Похороны отменяются, — добавил он. И крикнул:

— Фиелло!

В передней появился маленького роста, хромой и

весь в бубенчиках. Латунский задохнулся от страху. Он был белее белого. Одной рукой он держался за сердце.

— Латунский, — сказал кот, — понятно?

Молчание.

— Поезжай немедленно в Киев, — сквозь зубы сказал кот, — и сиди там тише воды, ниже травы. И ни о каких квартирах не мечтай. Понятно?

— Понятно, — ответил тихо Латунский.

— Фиелло, проводи, — заключил кот и вышел из передней.

Латунский качнулся на стуле, потом вскочил.

Тот, который в бубенчиках, был рыжий, кривоглазый, косоротый, с торчащими изо рта клыками. Росту он был маленького, доходил только до плеча Латунскому. Но действовал энергично, складно, уверенно, организованно. Прежде всего, он открыл дверь на лестницу, затем взял чемодан Латунского и вышел с ним на площадку. Латунский в это время стоял, прислонившись к стене.

Рыжий, позвякивая бубенчиками, без всякого ключа открыл на площадке чемодан и прежде всего вынул из него громадную вареную курицу, завернутую в украинскую газету, и положил ее на площадку. Затем вынул две пары кальсон, рубашку, бритвенный ремень, какую-то книжку и простыню. Все это бросил в пролет лестницы. Туда же бросил и чемодан, и слышно было, как он грохнулся внизу. Затем вернулся в переднюю, взял под руку очень ослабевшего Латунского и вывел его на площадку. На площадке надел на него шляпу. А Латунский держал себя в это время, как деревянный. Повернул Латунского лицом к ступенькам лестницы, взял курицу за ноги и ударил ею Латунского по шее с такой силой, что туловище отлетело, а ноги остались в руках. И Латунский полетел лицом вниз по лестнице. Долетев до поворота, он ногой попал в стекло, выбил его, сел на лестнице, просидел около минуты, затем поднялся и один марш проделал на ногах, но держась за перила. Потом опять решил посидеть. Наверху захлопнулась дверь, а снизу послышались тихие шажки. Какой-то малюсенький человек с очень печальным лицом остановился возле Латунского. Горько глядя на сидящего, он осведомился:

— Где квартира покойного Берлиоза?

— Выше, — сказал Латунский.

— Покорнейше вас благодарю, гражданин, — ответил печальный человечек, и тут они разошлись.

Человечек побрел вверх, а Латунский, крадучись и оглядываясь на человечка, — вниз.

Возникает важнейший и неизбежный вопрос: как же так Латунский без всякого протеста вынес насилие над собою со стороны рыжего, изгнание из квартиры и порчу вещей и издевательство над чемоданом?

Быть может, он собирался немедленно отправиться куда следует и жаловаться на обитателей квартиры № 50?

Нет. Ни в каком случае.

Латунский цеплялся за перила, вздрагивая на каждом шагу, двигался книзу и шептал такие слова:

— Понятно... все понятно... вот так штука! Не поверил бы, если бы своими глазами не видел, не слышал!

Твердое намерение дяди Берлиоза заключалось в том, чтобы не медля ни минуты броситься в поезд, покинуть Москву и бежать в благословенный Киев.

Но манящая мысль еще раз проверить все на том кисло-сладком человечке, который, судя по затихшему звуку шагов, уже добрался до цели путешествия, была слишком сильна.

Человечек не принадлежал к той компании, которая населяла квартиру покойного Миши. Иначе он не стал бы осведомляться о номере. Он шел прямо в лапы той компании, что засела в пятидесятом номере, а из кого состояла она, Латунский ничуть не сомневался. Репутация умницы была им заслужена недаром — он первый догадался о том, кто поселился в Мишиной квартире.

Дверь наверху открыли и закрыли. «Он вошел!» — подумал Латунский и двинулся вниз. Сердце его забилось сильно. Вот покинутая швейцарская под лестницей, в ней никого нет. Но прежде всего Латунский оглянулся, ища чемодан и другие вещи. Ни чемодана, ни белья на полу внизу не было. Вне всяких сомнений, их украли, пока Латунский спускался. Он сам подивился тому, как мало это его расстроило. Латунский шмыгнул в швейцарскую и засел за грязным разбитым стеклом.

Прошло минут десять томительного ожидания, и Латунскому показалось, что их гораздо более прошло. За это время только один человек пробежал по лестнице, насвистывая знаменитую песню «гоп со смыком», и, судя по шуму, скрылся во втором этаже.

Наконец там наверху хлопнула дверь. Сердце киевлянина прыгнуло. Он съежился и выставил один глаз в дыру. Но преждевременно. Шажки явно крохотного человечка послышались, затем на лестнице же стихли. Хлопнула дверь пониже, в третьем этаже, донесся женский голос. Латунский вместо глаза выставил ухо, но мало что разобрал... Чему-то засмеялась женщина, послышался голос человечка. Кажется, он произнес: «Оставь Христа ради...» Опять смех. Вот женщина прошла и вышла.

Латунский видел ее кокетливый зад, платок на голове, в руках клеенчатую зеленую сумку, в которой носят помидоры из кооператива. Исчезла. А человечек за ней не пошел, шаги его вверх ушли. В тишине приноровившийся Латунский ясно разобрал, что он звонит вновь в квартиру. Дверь. Женский голос. Опять дверь. Вниз идет. Остановился. Вдруг ее крик. Топот. «Вниз побежал». В дыре глаз. Глаз этот округлился. Человечек, топоча подковами, как сумасшедший, с лестницы кинулся в дверь, при этом крестился, и пропал.

Проверка Латунским была сделана. Не думая больше ни о чем, кроме того, чтобы не опоздать к киевскому поезду, легким шагом он вышел из дверей во двор и оттуда на Садовую.

Дело же с человечком произошло так. Человечек назывался Алексей Лукич Барский и был заведующим буфетом театра «Кабаре».

Вздыхая тяжко, Алексей Лукич позвонил. Ему открыли немедленно, причем прежде всего почтенный буфетчик попятился и рот раскрыл, не зная, входить ли ему или нет. Дело в том, что открыла ему дверь девица совершенно голая. В растрепанных буйных светлых волосах девицы была воткнута гребенка, на шее виднелся громадный багровый шрам, на ногах были золотые туфли. Сложением девица отличалась безукоризненным.

— Ну что ж, входите, что ль! — сказала девица,

уставив на буфетчика зеленые распутные глаза, и посторонилась.

Буфетчик закрыл глаза и шагнул в переднюю, причем шляпу снял. Тут же в передней зазвенел телефон. Голая, поставив одну ногу на стул, сняла трубку, сказала «алло». Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу, подумал: «Тьфу, пакость какая!» — и стал смотреть в сторону.

Вся передняя, как он в смятении, блуждая глазом, успел заметить, загромождена была необычными предметами и одеянием.

На том стуле, на котором стояла нога девицы, наброшен был траурный плащ, подбитый огненно-красной материей. На подзеркальном столе лежала громадная шпага с золотой рукоятью, на вешалке висели береты с перьями.

— Да, — говорила обнаженная девица в телефон, — господин Воланд не будет сегодня выступать. Он не совсем здоров. До приятного свидания.

Тут она повесила трубку и обратилась к бедному буфетчику:

— Чем могу служить?

«Что же это такое они в квартирке устраивают?» — помыслил буфетчик и ответил, заикаясь:

— Мне необходимо видеть господина артиста Азазелло.

Девушка подняла брови.

— Так-таки его самого?

— Его, — ответил буфетчик.

— Спрошу, — сказала девица, — погодите,— и, приоткрыв дверь, почтительно сказала:

— Мессир, к вам пришел маленький человек.

— Пусть войдет, — отозвался тяжелый бас за дверями.

Девица тут куда-то изчезла, а буфетчик шагнул и оказался в гостиной. Окинув ее взглядом, он на время даже о червонцах забыл. Сквозь итальянские цветные стекла без вести пропавшей ювелирши Де-Фужере лился якобы церковный, мяткий вечерний свет.

Это первое. Второе — буфетчик ощутил, что в громадной комнате пахнет ладаном, так что у него явилась мысль, что по Берлиозу служили церковную панихиду, каковую он тут же отринул как мысль

дикую. К запаху ладана примешивался ряд других запахов. Пахло отчетливо жженой серой и, кроме того, жареной бараниной. Последний запах объяснялся просто. Потрясенный буфетчик увидел громаднейший старинный камин с низенькой решеткой. В камине тлели угли, а некий сидящий спиной и на корточках *поворачивал над огнем шпагу с нанизанными на нее кусками....*

— Нет! Нет! — перебил он гостя, — ни слова больше! Ни в каком случае я в рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, любезнейший, проходил мимо вашего буфета и до сих пор забыть не могу ни вашей осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета! Да, а чай! Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девица подливала в ваш громадный самовар сырую воду, а чай меж тем продолжали разливать. Нет, милейший, это невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный буфетчик, — я совсем не по этому делу! Осетрина тут ни при чем!

— Как же ни при чем, когда она тухлая! Да, но по какому же делу вы можете прийти ко мне, дружок? Из лиц, близких вам по профессии, я был знаком только с маркитанткой, и то мало. Впрочем, я рад. Фиелло! Стул господину заведующему буфетом.

Тот, который жарил баранину, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, выложил баранину на блюдо и ловко подал буфетчику низенькую скамеечку. Других никаких сидений в комнате не было. Буфетчик молвил «покорнейше благодарю...», опустился на скамеечку. Скамеечка тотчас под буфетчиком развалилась, и он, охнув, треснулся задом об пол. Падая, он подшиб ногой вторую низенькую скамейку и с нее опрокинул себе на штаны полную чашу красного вина. Фиелло засуетился, хозяин воскликнул:

— Ай! Не ушиблись ли вы?

Фиелло бросил обломки в огонь, подставил откуда-то взявшуюся вторую скамейку. Буфетчик отказался от вежливого предложения хозяина снять штаны и высушить их у камина и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром, сел с опаской.

— Я люблю сидеть низко, — заговорил хозяин, — с низкого не так опасно падать, а мебель теперь такая

непрочная. Да, так вы говорите «осетрина»? Голубчик, продукт должен быть свежий. Да вот, кстати, неугодно ли, — прошу вас...

Тут в багровом свете, заходившем по комнате от весело разгоревшихся обломков, засверкала перед буфетчиком шпага, Фиелло выложил на тарелку шипящие куски.

— Покорнейше...

— Нет, нет, отведайте, — повелительно сказал хозяин и сам отправил в рот кусок, — Фиелло, лимону.

Буфетчик из вежливости положил кусок в рот и понял, что жует что-то действительно первоклассное.

— Прошу обратить внимание, — говорил хозяин, — каков продукт. А ломтик сала, — хозяин потыкал кончиком шпаги в тарелку, — тонкий ломтик! Он нежен в такой степени, что исчезнет немедленно, лишь только вы положите его в рот. Он оставляет ощущение мимолетного наслаждения, желание лимона, вина. Стакан вина?

— Покорнейше... Я не пью...

— Напрасно, — сурово сказал хозяин, — а в карты играете? Быть может, партию в кости?

Буфетчик, мыча, отказался от игр и, поражаясь тому, какие чудные эти иностранцы, дожевал баранину.

— Я, изволите ли видеть, хотел вот что сказать, — заговорил он, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом хозяина.

— Я — весь внимание, — поощрил тот гостя.

— Вчера двое молодых людей являются в буфет во время вашего сеанса и спрашивают два бутерброда. Дают червонец. Я разменял. Потом еще один.

— Молодой человек?

— Нет, пожилой. У того трехчервонная бумажка. Опять-таки я разменял. Потом еще двое. Всего дали 110 рублей. Сегодня утром считаю кассу, а вместо денег разная газета!

— Скажите! — воскликнул хозяин, — как же это так?

— А вы, изволите ли видеть, фокус вчера показывали, — стыдливо улыбаясь, объяснил буфетчик, — а они, стало быть, в буфет... и менять.

— Да неужели же они думали, что это бумажки

настоящие? Какая наивность! Ведь я не допускаю мысли, чтобы они сделали это сознательно.

Буфетчик грустно улыбнулся, но ничего не сказал.

— Да неужели же они мошенники? Нет, скажите, ваше мнение, — тревожно пристал хозяин к гостю, — мошенники? В Москве есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!

В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели — в Москве есть мошенники.

— Это низко! — возмущенно воскликнул хозяин. — И я понимаю вас. *Вы человек бедный...* ведь вы человек бедный? А?

Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.

— Сейчас мы это поправим, — заявил хозяин и позвал, — Фагот!

На зов появился уже известный всем Коровьев. В одежде его были некоторые изменения: под пиджачок он надел белый жилет с громадным желтым пятном от пролитого соуса, а кроме того, нацепил на рваные ботинки белые грязные гетры, от чего стал еще гаже, чем был.

— Фагот, ты с какими бумажками вчера работал?

— Мессир! — взволнованно заговорил Фагот-Коровьев, — землю буду есть, что бумажки настоящие.

— Но позволь: вот гражданин буфетчик утверждает...

— Позвольте глянуть, — ласково заговорил Фагот и надел пенсне.

Буфетчик вынул из кармана пакет белой бумаги, развернул его и остолбенело уставился на Коровьева. В пакете лежало пять червонных купюр...

Буфетчик выпучил глаза.

— Настоящие, — сказал Коровьев.

— Якобы настоящие, — чуть слышно отозвался буфетчик.

Выражение необыкновенного благородства показалось на лице у Коровьева.

— Изволите видеть, мессир.

— Странно, странно, — сказал Воланд, — я надеюсь, вы не хотели подшутить над...

— Это было бы горько, — добавил Коровьев.

Буфетчик совершенно не помнил, как он попрощался и попрощался ли, и очнулся он только на лестнице.

Тут же на лестнице ухватился за лысую голову и убедился в том, что она без шляпы. Мучительно почему-то не хотелось возвращаться. Тем не менее буфетчик повернул и, чувствуя какой-то озноб, позвонил в странную квартиру. Дверь на цепочке приоткрылась и опять показалось лицо обнаженной бесстыдницы.

— Вам что? — хрипло спросила она.

— Шляпочку я... — сказал буфетчик и потыкал себе пальцем в лысину.

Голая хихикнула, исчезла в тьме передней, через несколько секунд полная голая рука просунула в щель мятую рыжую шляпочку.

— Покорнейше благо... — пискнул буфетчик, но его не слушали, дверь закрылась, и тотчас за нею грянула музыка.

«Тьфу, окаянная квартира!» — подумал буфетчик и пошел вниз.

Он вынул бумажник, заглянул, вытащил сложенные червонцы и зашатался. В руках у него вновь оказались газетные куски. Тут буфетчик перекрестился. А перекрестившись, взвизгнул тихонько и присел. Шляпа на его голове мяукнула, вцепилась чем-то похожим на острые когти в лысину, затем прыгнула с головы, превратилась в рыжего кота и выскочила в форточку на площадке.

Даже самый храбрый не вынес бы такой штуки — буфетчик ударился бежать.

Он ничего не помнил, ничего не видел, ничего не соображал и отдышался только в переулке, в который попал неизвестно зачем и неизвестно как.

Потом он увидел себя в церковном дворе, немножко полегчало, решил кинуться в церковь. Так и сделал. В церкви получил облегчение. Осмотрелся и увидел на амвоне стоящего знакомого, отца Аркадия Элладова. «Молебен отслужить!» — подумал буфетчик и двинулся к отцу Аркадию. Но сделал только один шаг.

Отец Аркадий вдруг привычным профессиональным жестом поправил длинные волосы ........................

# МАРГАРИТА

*Лишь только в Москве растаял и исчез снег,* лишь только потянуло в форточки гниловатым ветром весны, лишь только пронеслась первая гроза, Маргарита Николаевна затосковала. *По ночам ей стали сниться грозные и мутные воды,* затопляющие рощи. Ей стали сниться оголенные березы и беззвучная стая черных грачей.

Но, чтобы ей ни снилось: шипящий ли вал воды, бегущий в удивительные голые рощи или печальные луга, холмы, меж которыми тонуло багровое солнце, один и тот же человек являлся ей в сновидениях. При виде его Маргарита Николаевна начинала задыхаться от радости или бежала к нему навстречу по полю или же в легкой лодочке из дубовой коры без весел, без усилий, без двигателя неслась к нему навстречу по волне, которая поднималась от моря и постепенно заливала рощу.

Вода не растекалась. И это было удивительно приятно. Рядом лежало сухое пространство, усеянное большими камнями, и можно было выскочить в любой момент из лодки и прыгать с камня на камень, а затем опять броситься в лодку и по желанию, то ускоряя, то замедляя волшебный ход, нестись к нему.

Он же всегда находился на сухом месте и никогда в воде. Лицо его слишком хорошо знала Маргарита Николаевна, потому что сотни раз целовала его и знала, что не забудет его, что бы ни случилось в ее жизни. Глаза его горели ненавистью, рот кривился усмешкой. Но в том одеянии, в каком он появлялся между волн и валунов, устремляясь навстречу ей в роще, она не видела его никогда.

Он был в черной от грязи и рваной ночной рубахе с засученными рукавами. В разорванных брюках, непременно босой и с окровавленными руками, с головой непокрытой.

От этого сердце Маргариты Николаевны падало, она начинала всхлипывать, гнала во весь мах лодку, не поднимая ни гребня, ни пены, и подлетала к нему.

*Она просыпалась разбитой, осунувшейся и, как ей казалось, старой.* Поступала одинаково: спускала ноги с кровати в туфли с красными помпонами, руки запу-

скала в стриженые волосы и ногтями царапала кожу, чтобы изгнать боль из сердца.

Сотни тысяч женщин в Москве, за это можно ручаться здоровьем, жизнью, если бы им предложили занять то положение, которое занимала Маргарита Николаевна, в одну минуту, не размышляя, не задумываясь, задыхаясь от волнения, *бросились бы в особняк на.......... и поселились, и сочли бы себя счастливейшими в мире.*

.......................................................................................

.....лепестки и фотографию с печатью безжалостно сжечь в плите в кухне, листки также, никогда не узнать, что было с Пилатом во время грозы.

И не надо! Не надо! Если она не отречется от него, то погибнет, без сомнений, засохнет ее жизнь. А ей только тридцать лет.

Вот солнце опять вырезалось из облака и залило мосты, и засветились крыши в Замоскворечье, и заиграли металлические гости. Надо жить и слушать музыку хотя бы и такую противную, как похоронная.

— О, нет, — прошептала Маргарита, — я не мерзавка, я лишь бессильна. Поэтому буду ненавидеть исподтишка весь мир, обману всех, но кончу жизнь в наслаждении. Итак, послушаем музыку.

Музыка эта приближалась со стороны Москворецкого моста. С каждой секундой она становилась яснее. Играли марш Шопена. *Первыми из-за обнаженных деревьев показались мальчишки, идущие задом,* за ними конный милиционер, затем пешие милиционеры, затем человек пять с обнаженными головами и с венками в руках, затем большой оркестр и медленно ползущее сооружение красного цвета. Это был грузовик, зашитый окрашенными щитами. На нем стоял гроб, а по углам его четыре человека. Зоркая Маргарита Николаевна разглядела, что один из этих четырех был женщиной, и толстой при этом. За печальной колесницей, широко разлившись до самого парапета, медленно текла и довольно большая толпа.

«Кого это хоронят? Торжественно так?» — подумала Маргарита Николаевна, когда процессия продвинулась мимо нее и сзади потащились медленно около десятка автомобилей.

— Берлиоза Михаила Александровича, — раздался голос рядом.

Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на той же скамейке гражданина. Трудно было сказать, откуда он взялся, только что никого не было. Очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита Николаевна засмотрелась на покойника.

— Да, — продолжал гражданин, — много возни с покойником. И я бы сказал, совершенно излишней. Подумать только: *голову ему пришлось пришивать*. Протоколы составлять. А теперь по городу его, стало быть, будут возить! Сейчас, это значит, его в крематорий везут жечь. А из крематория опять тащи его к Новодевичьему монастырю. И к чему бы это? И веселого ничего нету, и сколько народу от дела отрывают! Клянусь отрезанной головой покойника, — без всякого перехода продолжал сосед, — у меня нет никакого желания приставать к вам. Так что вы уж не покидайте меня, пожалуйста, Маргарита Николаевна!

Изумленная Маргарита Николаевна, которая действительно поднималась уже, чтобы уйти от разговорчивого соседа, села и поглядела на него.

Тот оказался рыжим, маленького роста, с лицом безобразным, одетым хорошо, в крахмальном белье.

— Вы меня знаете? — надменно прищуриваясь, спросила Маргарита Николаевна.

Вместо ответа рыжий вежливо поклонился, сняв шляпу.

*«Глаза умные, рыжих люблю»,* — подумала Маргарита Николаевна и сказала:

— А я вас не знаю!

— А вы меня не знаете, — подтвердил рыжий и сверкнул зелеными глазами.

Опытная Маргарита Николаевна, к которой из-за ее красоты нередко приставали на улице, промолчала, не стала спрашивать и сделала вид, что смотрит в хвост процессии, уходящей на Каменный мост.

— Я не позволил бы себе заговорить с вами, Маргарита Николаевна, если бы у меня не было дела к вам.

Маргарита Николаевна неприятно вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, нет, нет, — поспешил успокоить собеседник, — вам не угрожает никакой арест, я не агент, я и не уличный ловелас. Зовут меня Фиелло, фамилия эта вам ничего не скажет, ваше имя я узнал случайно, слышал,

как вас назвали в партере Большого театра. Поговорить же нам необходимо, и, поверьте, уважаемая Маргарита Николаевна, если бы вы не поговорили со мной, вы впоследствии раскаивались бы очень горько.

— Вы в этом уверены? — спросила Маргарита Николаевна.

— Совершенно уверен. Никакие мечтания об аэропланах не помогут, Маргарита Николаевна, а предчувствия нужно уважать.

Маргарита вновь вздрогнула и во все глаза поглядела на Фиелло.

— Итак, — сказал называющий себя Фиелло, — позвольте приступить к делу, но условимся ничему не удивляться, что бы я ни сказал.

— Хорошо, пожалуйста, — но уже без надменности ответила Маргарита Николаевна, растерялась, подумала о том, что, садясь на скамейку, забыла подмазать губы.

— Я прошу вас сегодня пожаловать в гости.

— В гости?.. Куда?

— К одному иностранцу.

Краска бросилась в лицо Маргарите Николаевне.

— Покорнейше вас благодарю, — заговорила она, — вы меня за кого принимаете?

— Принимал за умную женщину, — ответил Фиелло, — условились ведь...

— Новая порода: уличный сводник, — поднимаясь, сказала Маргарита Николаевна.

— Спасибо, покорнейше благодарю, — печально отозвался Фиелло, — и всегда мне такие поручения достаются. — И добавил раздраженно: — Дура!

— Мерзавец! — ответила Маргарита Николаевна, повернулась и пошла.

И тотчас услышала за собой голос Фиелло, но несколько изменившийся:

— «И вот, когда туча накрыла половину Ершалаима и пальмы тревожно закачали...» Так пропадите же вы пропадом в кладовке над вашими обгоревшими листками и засохшей розой. Мечтайте о том, как вы его унесете на аэроплане. Пропадайте пропадом!

Совершенно побелев лицом, Маргарита Николаевна повернулась к скамейке. Сверкая глазами, на нее со скамейки глядел Фиелло.

— Я ничего не понимаю, — хрипло, удушенно заговорила она, — про листки еще можно узнать... но аэроплан... — И страдальчески добавила: — Вы из ГПУ?

— Вот скука-то, — отозвался Фиелло, — все по нескольку раз нужно повторять. Сказал ведь раз: не агент. Ну, позвольте еще раз: не агент! Не агент! Достаточно? Сядьте!

Маргарита повиновалась и села.

— Кто вы такой? — шепнула она, с ужасом глядя на Фиелло.

— Фиелло, и кончено, — ответил тот. — Фиелло! Теперь слушайте... Приглашаю я вас к иностранцу...

— Вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли об аэроплане? — уже робко спросила Маргарита Николаевна.

— Не скажу, — ответил Фиелло, — но вы сами узнаете вскоре.

— А вы знаете о нем? — шепнула Маргарита.

— Знаю, — важно ответил Фиелло.

— Но поймите, поймите, — опять взволновалась Маргарита Николаевна, — я же должна знать, зачем вы меня влечете куда-то? Ведь согласитесь... вы не сердитесь... но когда на улице приглашают женщину... неизвестный человек... Хочу вам сказать... У меня нет предрассудков... поверьте... Но я никогда не вижу иностранцев, терпеть их не могу... и мой муж... то есть я своего мужа не люблю, но я не желаю портить ему карьеру. Он не сделал мне ничего злого...

Фиелло с видимым отвращением выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово:

— Попрошу вас помолчать.

— Молчу, — робко отозвалась Маргарита Николаевна.

— Я вас приглашаю к иностранцу, во-первых, совершенно безопасному. Это раз. Два: никто решительно не будет знать, что вы у него были. Стало быть, на эту тему и разговаривать больше нечего.

— А зачем я ему понадобилась? — вкрадчиво вставила Маргарита Николаевна.

— Ну, уж этим я не интересовался.

— Понимаю... я должна ему отдаться, — сказала догадливая Маргарита Николаевна.

Фиелло надменно хмыкнул.

— Могу вас уверить, что любая женщина в мире мечтала бы о том, чтобы вступить с ним в связь, но я разочарую вас — этого не будет. Он совершенно не нуждается в вас.

— Ничего не понимаю, — прошептала Маргарита Николаевна и дрожащей рукой вынула футлярчик с губной помадой и лизнула губы. — А какой же мне интерес идти к нему? — спросила она.

Фиелло наклонился к ней и, сверля зелеными глазами, тихо сказал:

— Воспользуйтесь случаем... Гм... вы хотите что-нибудь узнать о нем?

— Хочу! — сильно ответила Маргарита Николаевна.

— А повидать его? — еще тише и искушающе шепнул Фиелло.

— Как! Но как? — зашептала Маргарита и вдруг вцепилась в рукав пальто Фиелло.

— Попросите: может, чего и выйдет, — сквозь зубы многозначительно сказал Фиелло.

— Еду! — сказала Маргарита.

Фиелло с удовлетворением откинулся на скамейке.

— Трудный народ эти женщины, — заговорил он иронически, — и потом, что это за мода поваров посылать. Пусть бы Бегемот и ездил, он обаятельный.

«Час от часу не легче», — подумала Маргарита Николаевна и спросила, криво усмехаясь:

— Перестаньте меня мистифицировать и мучить... Я ведь несчастный человек, а вы меня поразили. Вы — повар?

— Без драм, — сухо сказал Фиелло, — повар там, не повар. Внучате надавать по роже в уборной это просто, но с дамами разговаривать, покорный слуга. Еще раз попрошу внимания и без удивлений, а то меня тоска охватывает.

Но приведенная к повиновению Маргарита и не собиралась выражать изумление, противоречить, лишь во все глаза смотрела на Фиелло.

— Первым долгом о помаде, — заговорил Фиелло и вдруг вынул из кармана золотой футлярчик, — получайте, — затем вынул золотую же плоскую и круглую коробку и тоже вручил Маргарите. — Это крем. Вы

порядочно постарели за последнее время, Маргарита Николаевна...

«О, рыжая сволочь!» — про себя сказала Маргарита, но вслух ничего не осмелилась произнести.

— Ровно в десять с половиной вечера, — строго глядя, заговорил Фиелло, — благоволите намазать губы помадой, а тело этим кремом. Кожа у вас станет белой, нежной, как девическая, вы не узнаете себя, затем одевайтесь, как вам нравится — это все равно, — и ждите у себя. За вами приедут, вас отправят, вас доставят. Ни о чем не думайте.

«В какую это я историю лезу?» — с ужасом думала Маргарита.

— Ба! Гляньте! Ах, какой город оригинальный, — вдруг воскликнул Фиелло и пальцем указал на Каменный мост.

Маргарита Николаевна глянула туда и рот раскрыла. По набережной, стыдливо припадая к парапету, впритруску бежал исступленный человек, совершенно голый, а за ним, тревожно посвистывая, шла милиция. Потом сбежалась оживленная толпа и скрыла голого.

Когда она повернулась к Фиелло, того не было. Можно было поклясться, что он расстаял в сияньи весеннего дня.

Маргарита поднесла руки к голове, как человек, который от изумления сходит с ума. В руках у нее были золотые коробки...

## ГУБНАЯ ПОМАДА И КРЕМ

*С наступлением весны по вечерам* один и тот же вальс стал взмывать в переулке. Где-то, как казалось Маргарите Николаевне, на четвертом этаже, его играл какой-то хороший пианист. От этого вальса то тревожно вспухало сердце, то съеживалось и вздрагивало, и Маргарита Николаевна назвала его вальсом предчувствий. Чтобы впустить его в комнаты, Маргарита начала открывать форточки. Но очень скоро потеплело, и окно открылось настежь.

Сейчас время подходило к назначенной половине одиннадцатого. Комната Маргариты сияла. В раскры-

том настежь трехстворчатом зеркале туалета миллионы раз отражались огни трехсвечий. Под потолком горел яркий фонарь, у постели лампочка в колпачке. Паркет лоснился, на туалете сверкал каждый излом на флаконах. Сладкий ветер задувал чуть-чуть из лунного сада, шевелил шелковую шторку.

Полнейший беспорядок был в комнате. Маргарита Николаевна выгрузила из шкафа груды сорочек и разбросала их, стараясь выбрать наилучшую. Снятое с себя белье она бросила на пол. В пепельнице дымил непотушенный окурок. В окне гремел вальс.

Голова Маргариты круто завита широкими волнами, потому что, несмотря на удивление и ужас, вызванный встречей с загадочным Фиелло, Маргарита Николаевна от Каменного моста немедленно бросилась в центр города и побывала у парикмахера.

Маргарита Николаевна сидела обнаженная, набросив на себя лишь косматый купальный халат, на ноги надев черные замшевые туфли со стальными блестящими четырехугольными пряжками.

Она смотрела на раскрытые маленькие часы, лежащие на туалете, а с них переводила взор на две золотые коробки.

Самая длинная из стрелок наконец подошла и упала на нижнюю цифру «6». И тут же секунда в секунду Маргарита Николаевна взялась за первую коробку поменьше и открыла ее. Там оказалась красная как кровь густая помада. Маргарита понюхала ее — помада не пахла ничем. Маргарита пальцем взяла мазок из коробочки и смазала губы, взглянула в зеркало. Величайшее изменение ее лица тотчас же показало зеркало среди бесчисленных отраженных огней. Тонкая морщинка, перерезавшая лоб с тех пор, как он покинул Москву, и отравляющая жизнь Маргарите, исчезла. Пропали и желтенькие тени у висков, позеленели глаза, а кожа на щеках налилась ровным розоватым цветом.

Увидев все это, Маргарита прежде всего буйно захохотала, как бы отозвавшись ей, ударил по клавишам там, в четвертом этаже, музыкант, дунул ветер, вспузырил желтую штору. Тут Маргарите показалось, что она закипела внутри от радости, она сбросила халат, ей захотелось выкинуть какую-нибудь штуку... «И чтоб небу жарко стало!»... воскликнула она.

Отбросив штору в сторону, она легла грудью на подоконник, и тотчас луна осветила ее. Ей повезло в смысле шутки. Немедленно хлопнула дверь, ведущая в сад особняка, и на кирпичной дорожке появился добрый знакомый Николай Иванович, проживающий в верхнем этаже. Он возвращался с портфелем под мышкой. Чувствуя, что продолжает кипеть, Маргарита Николаевна окликнула его:

— Здравствуйте, Николай Иванович!

Николай Иванович ничего не ответил, прикипев на дорожке и месту.

— Вы болван, Николай Иванович, — продолжала Маргарита, — скучный тип. И портфель у вас какой-то истасканный, и вообще вы мне все в такой степени надоели, что видеть вас больше не могу. Улетаю от вас. Ну, чего вы вытаращили глаза?

И Маргарита скрылась за занавеской, чувствуя, что шутка удалась на славу. Она, лихорадочно смеясь, приступила к крему. Жирный, желтоватый, обольстительный, пахнущий болотом, крем легко втирался в кожу. Маргарита начала с лица, затем втерла крем в живот, спину, руки и приступила к ногам. Кожа ее загорелась, стало тепло, как в меху, и тело вдруг потеряло вес. Маргарита вдруг прыгнула и легко переместилась на аршин над паркетом через всю комнату. Это ей понравилось, и опять она рассмеялась. Тут зазвенел аппарат на столике. Маргарита подлетела к нему и, вися в воздухе, подхватила трубку.

— Я — Фиелло! — радостно, празднично сказал голос, — вылетайте — и прямо на реку. Вас ждут!

— Да, да, — вскричала Маргарита и швырнула трубку не на рычаг, а на кровать, захлопала в ладоши.

В дверь тут кто-то стал ломиться. Маргарита открыла, и желтая половая щетка, пританцовывая, вкатила в спальню.

— На реку! — вскричала Маргарита и, оседлав щетку, вцепившись в густой волос, как в гриву, сделала для пробы круг по комнате.

— Батюшки! — бормотала Маргарита, — одежонку надо хоть какую-нибудь захватить!

Но щетка рвалась, лягаясь, в окно, и Маргарита успела вцепиться только в панталоны, которые и увлекла за собой на подоконник.

Первое, что бросилось в глаза Маргарите, это фигура Николая Ивановича, который так и не ушел и явно прислушивался к стуку и грохоту, доносящемуся из спальни.

Щетка спрыгнула с окна и поднесла Маргариту к изумленному Николаю Ивановичу. Маргарита свистнула весело и с размаху надела розовые панталоны на голову Николаю Ивановичу. Тот тихо визгнул и сел наземь.

И Маргарита взвилась над городом, оставив сзади себя освещенный луной сад, пылающее окно спальни с сорванной шторой, и вслед ей с грохотом полетел буйный вальс.

Вынырнув из переулка, Маргарита пересекла Сивцев Вражек и устремилась в другой переулок.

Первое, что она осознала, это что полет представляет такое наслаждение, которое ни с чем в мире сравнить нельзя. Второе, что нельзя мечтать, потому что, влетев в переулок, она едва не разбилась о старый газовый фонарь.

Охнув, Маргарита увернулась, но поняла, что нужно сдержать ход, и полетела медленно, избегая электрических проводов, фонарей и опасных вывесок.

Через мгновение она овладела пространством, а щетка слушалась малейшего движения или окрика. Тогда Маргариту заняла мысль о том, видят ли ее в городе. Но так как никто из прохожих не задирал головы и не поражался, она поняла, что она невидима. Тут радость птицы окончательно овладела ею и ей захотелось буйствовать.

Летела она медленно, аккуратно проскальзывая над проводами, и вылетела на Арбат, который встретил ее воем машин, визгом трамваев, верчением миллионов огней.

Первое, что сделала Маргарита на Арбате, это концом щетки разбила светящийся семафор, показывающий предельную скорость — тридцать километров, и с наслаждением захохотала, видя, как шарахнулись в разные стороны прохожие на тротуарах. Уже на Арбате Маргарита сообразила, что этот город, в котором она вынесла такие страдания в последние полтора года, по сути дела, в ее власти теперь, что она может отомстить ему, как сумеет. Вернее, не город приводил

ее в состояние веселого бешенства, а люди. Они лезли отовсюду, из всех щелей. Они высыпались из дверей поздних магазинов, витрины которых были украшены деревянными разрисованными окороками и колбасами, они хлопали дверьми, входя в кинематографы, толклись на мостовой, торчали во всех раскрытых окнах, они зажигали примусы в кухнях, играли на разбитых фортепиано, дрались на перекрестках, давили друг друга в трамваях.

Сверху Маргарите те, кто находились непосредственно под нею, казались безногими. «У, саранча!» — прошипела Маргарита и пошла самым медленным лётом. Ей вдосталь хотелось насладиться ненавистью, и она влетела осторожно в темную подворотню, а затем во двор и там поднялась к окнам четвертого этажа. Окно смрадной кухни было открыто настежь, и Маргарита влетела в него, согнув голову под сырой сорочкой, висевшей на веревке.

На плите ревели два примуса, и две женщины вели разговор между собой, стоя у синих бешеных огней.

— Вы, Пелагея Павловна, — с грустью сказала одна, — при старом режиме были такой же стервой, как и теперь.

— В суд подам на тебя, проститутка, — отвечала вторая, помешивая кашу в кастрюле.

Маргарита Николаевна поднялась повыше и плюнула в кашу Пелагеи Павловны.

В ту же секунду Пелагея Павловна вцепилась в волосы второй и та испустила веселый крик «Караул!».

В следующие мгновения в кухню вбежал мужчина в ночной рубашке с болтающимися по штанам подтяжками.

— Жену бить! — вскричал он страдальчески, — жену, — повторил он так страшно, что зазвенела посуда на полке.

Маргарита Николаевна сверху ткнула его каблуком туфельки в зубы, от чего он на секунду умолк, но уже в следующую секунду ринулся на Пелагею Павловну, но оказался в объятиях другого мужчины, вырвавшегося из какой-то дверушки. Сцепившись с ним тесно, он клубком покатился по полу кухни, издавая рычание. Маргарита вылила на катающихся ведро жидких помоев, развинтила кран в раковине, от чего с гулом

водопада понеслась вода, и вылетела в окно. Когда она поднималась, чтобы через крыши лететь дальше, слышала несущийся ей вслед визг, бой стеклянной посуды и веселый в подворотне дворницкий свист.

На крыше Маргарита Николаевна сломала радиомачту, перевалила в соседний двор, влетела, снизившись, в парадный подъезд, увидела щит на стене, концом щетки перебила какие-то фарфоровые белые штучки, от чего весь дом впезапно погрузился в тьму.

На Арбате Маргарита забавлялась тем, что сшибала кепки с прохожих, летя над самыми головами, вследствие чего в двух местах произошла драка. Откинув дугу трамвая № 4, от чего тот погас и остановился, *Маргарита покинула Арбат и повернула в Плотников переулок. Здесь* ..................................................

— Я извиняюсь, обознался, — пробормотал он и исчез.

Обсохнув, Маргарита на щетке перелетела на противоположный плоский берег.

**8.XI.33.**

Тут зудящая музыка послышалась ясно. На лужайке под группой дубков шло веселье, но, видимо, уже к концу, и компания была разнообразная. Под дубками весело плясали после купания четыре ведьмы и один козлоногий, вроде того толстяка. Зудящая музыка исходила от толстомордых лягушек, которые, подвесив кусочки светящихся гнилушек на согнутые ивовые прутья, играли на дудочках. В стороне горел костер. Неподалеку от него стояли две открытые машины марки «Линкольн», и на шоферском месте первым сидел здоровенный грач в клеенчатой фуражке. Знакомый боров, сдвинув кепку на затылок, пристроился к плетенке с провизией и уписывал бутерброды с семгой. Он жевал, но с драгоценным своим портфелем не расставался.

Багровые отсветы танцевали на животах голых ведьм, гнилушки освещали раздутые морды лягушек, от реки доносились последние всплески запоздавших.

Маргарита, неся щетку, подошла в тот момент, когда грач рассказывал борову о том, как ловко он угнал от «Метрополя» две машины. Грач показывал, как швейцар метался и кричал: «На помощь!»

Появление Маргариты произвело большое впечатление. Танец прекратился, и ведьмы стали всматриваться...

Наконец та самая Клодиночка подошла к Маргарите и спросила ее, откуда она и кто такая.

— Я — Маргарита, — ответила Маргарита и воткнула щетку в землю.

Эти слова произвели необыкновенный эффект. Грач взял под козырек, боров снял кепку, а ведьмы защебетали, стали обнимать Маргариту, лягушки сыграли пискливый туш.

— Вот она! Вот она! А мы-то интересовались уже, где же вы. Мы думали, что вы купаетесь на другой реке.

Маргариту стали угощать. Боров предложил бутерброд с семгой, который он только что надкусил, за что Клодиночка ударила его по морде. Высунулось из кустов какое-то рыло с коровьими рогами и тоже выпятилось на Маргариту.

Тут все вдруг заспешили, стали из-под рук смотреть на месяц, закричали: «Пора! В Москву!»

Лягушки прекратили музыку. Решено было всем, чтобы не было скучно и не разбивать компанию, лететь в столицу в двух машинах. Боров в особенности хлопотал об этом. С хохотом и визгом набились две машины, погрузили туда метлы, ухваты, в качестве шофера во вторую машину уселся козлоногий толстяк, который принял Маргариту за Маньку. И уже собрались тронуться, как произошел инцидент. Из-за деревьев высунулась темная фигура, приседая от удивления, вышла на середину поляны и — в дрожащем освещении догорающего костра — оказалась мужиком, который неизвестно как ночью залез на пустынную реку. Мужик остолбенел, увидевши автомобили с пассажирами. Занес руку ко лбу.

«Только перекрестись! — каркнул грач, — я тебе — перекрещусь!»

В машинах заулюлюкали.

Грач заорал:

— Держи его!

Мужик, прыгая как заяц, кинулся, очевидно, обезумев, не разбирая дороги, и слышно было, как влетел в реку.

В машинах разразились хохотом, затем зажужжали

моторы, машины рванулись по лугу, поднялись в воздух.

Когда Маргарита, сдавленная со всех сторон нежными объятиями голых ведьм, обернулась, ей в последний раз тускло блеснула печальная неизвестная река и меловой лунный утес.

* * *

Вариант этой главы см. в «Приложениях», с. 342 («Полет»). — *Ред.*

## ШАБАШ

Лишь только показалось вдали розовое зарево, возвещающее Москву, как компания села на земле в поле. Выскочили, разобрали ухваты, Клодина села на борова, а шоферы, поставив машины, выскочили из сидений. Первый «линкольн» устремился в чистое поле, хлопая дверцами, запрыгал по буеракам, наконец, влетел в овраг, перевернулся и загорелся, а второй полетел по шоссе, и слышно было, как он врезался в какую-то встречную машину. Блеснули тревожно огни, затем смешались, что-то вспыхнуло и долетели вопли. Грач и козлоногий долго хохотали, катаясь на траве, а затем компания устремилась ввысь и, невидимая, влетела в пылающий светом город. Высадились на крыше громадного дома на Садовой улице и один за другим погрузились в трубу. Маргарита с ужасом и весельем спускалась по трубе, глотая горький запах сажи. Чем ниже, тем яснее до нее доносились звуки оркестра, а когда она оказалась в пустом камине и выскочила в комнату без единого пятна на теле, ее оглушил гром труб и ослепил свет.

Хохот, радостные приветствия огласили комнату. Пошли объятия и поцелуи. Слово «Маргарита!» загремело в воздухе. Из-под земли вырос старый знакомый Фиелло и, почтительно сняв поварской колпак, осведомился у Маргариты, хорошо ли долетела госпожа. Откуда-то и у кого-то появился в руках бокал с шампанским, и Маргарита жадно выпила холодную жидкость. В ту же минуту кровь ее вскипела пузырьками и ей стало весело. Кто-то во фраке представился и поцеловал руку, вылетела рыженькая обольстительная

девчонка лет семнадцати и повисла на шее у Маргариты и прижалась так, что у той захватило дух. Кто-то поручил себя покровительству, кто-то слово просил замолвить.

9/XI. 33.

Маргарита хохотала, целовалась, что-то обещала, пила еще шампанское и, опьянев, повалилась на диван и осмотрелась. Она сразу поняла, что вокруг нее непринужденное веселье и, кроме того, общество смешанное и толчея ужасающая.

В комнате — бывшем кабинете Берлиоза — все было вверх дном. На каминной полке сидела сова. Груды льда лежали в серебряных лоханях, а между сверкающими глыбами торчали горлышки бутылок. Письменный стол исчез, вместо него была навалена груда подушек, и на подушках, раскинувшись, лежал голый кудрявый мальчик, а на нем сидела верхом, нежилась ведьма с болтающимися в ушах серьгами и забавлялась тем, что, наклонив семисвечие, капала мальчику стеарином на живот. Тот вскрикивал и щипал ведьму, оба хохотали как исступленные. У горящего камина что-то шипело и щелкало — Фиелло жарил миндаль, и двое в багровом столбе пламени пили водку. Один был в безукоризненном фрачном одеянии, а другой в одних подштанниках и в носках.

Через минуту к пьющим присоединился боров, но голая девчонка украла у него из-под мышки портфель, и боров, недопив стопки, взревев, кинулся отнимать.

В раскрытые двери виднелись скачущие в яростной польке пары. Там полыхало светом, как на пожаре. Горели люстры, на стенах пылали кенкеты со свечами, кроме того, столбами ходил красный свет из камина. От грохота труб тряслись стекла за шторами.

Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась — ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой — фрачник — привалился к правому боку и

стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени.

— Ах, весело! Ах, весело! — кричала Маргарита. — И все забудешь. Молчите, болван! — говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо.

Но тут вдруг на каминных часах прозвенел один удар — половина двенадцатого — и разом смолкла музыка в зале и остановились пары. И тотчас меж расступившихся прошел Фагот-Коровьев, все в том же кургузом пиджачке и своих поганых гетрах.

**11/XI. 33.**

Но, несмотря на его неприглядный вид, толпа расступилась и Коровьев подошел к Маргарите, по обыкновению слегка валяя дурака.

Приветствовал, выкинув какую-то штучку пальцами, взял под руку и повел через зал. Но тон Коровьева, когда он, наклонившись к уху Маргариты, зашептал гнусаво, был чрезвычайно серьезен.

— Поцелуйте руку, назовите его «мессир», отвечайте только на вопросы и сами вопросов не задавайте.

После бальных огней Маргарите показалось, что темноватая пещера глянула на нее. Некто в фиолетовом наряде откинул алебарду и пропустил в кабинет.

В камине тлели угольки, на столике горели семь восковых свечей в золотом семисвечнике, и в теплом их свете Маргарита рассмотрела гигантскую кровать на золотых ногах, тяжелые медвежьи шкуры на полу и шахматную доску. Пахло острыми лекарствами, густым розовым маслом. На постели на шелковых скомканных простынях сидел тот самый, что в час заката вышел на Патриаршие Пруды. На нем был зеленый засаленный и с заплатой на локте халат, из-под которого виднелась грязная ночная сорочка, на голых ногах истоптанные ночные туфли с изъеденной меховой оторочкой, на пальцах тяжелые перстни. Ночной горшок помещался у кровати. Одну ногу сидящий откинул, и голая ведьма, покраснев от натуги, натирала колено черной мазью, от которой по всей комнате распространялся удушливый запах серы.

За спиной Маргарита чувствовала, как толпа гостей бесшумно вваливается в кабинет, размещается. Настало молчание.

Сидящий в этот момент стукнул золотой фигуркой по доске и молвил:

— Играешь, Бегемот, безобразно.

— Я, мессир, — почтительно и сконфуженно отозвался партнер, здоровяк черный котище, — просчитался. На меня здешний климат неблагоприятно действует.

— Климат здесь ни при чем, — сказал сидящий, — просто ты шахматный сапожник.

Кот хихикнул льстиво и наклонил своего короля.

Тут сидящий поднял взор на Маргариту и та замерла. Нестерпимо колючий левый глаз глядел на нее, и свечные огни горели в нем, а правый был мертв. Ведьма отскочила в сторону со своим черным варевом.

— Мессир, — тонко заговорил Коровьев у плеча Маргариты, — разрешите представить вам Маргариту.

— А, достали? Хорошо, — ответил сидящий, — подойдите.

Маргарита почувствовала, как Коровьев предостерегающе толкнул ее в бок, и сделала шаг вперед. Сидящий протянул ей руку. Маргарита, вдруг догадавшись, кто такой перед нею, побледнела и, наклонившись, поцеловала холодные кольца на пальцах.

Глаз опять впился в нее, и Маргарита опустила веки, не в силах будучи вынести его.

— Вы меня извините, госпожа, за то, что я принимаю вас в таком виде, — и сидящий махнул рукой на голую свою натертую ногу, на горшок и шахматы, — нездоров. *Отвратительный климат в вашем городе,* то солнышко, то сырость, холод... А?

— Честь, честь, — тревожно шепнул в ухо Коровьев.

— Это... — начала Маргарита глухо.

— Великая, — свистнул Коровьев.

— *Это великая честь для меня,* — выговорила Маргарита и вдохновенно добавила, — государь мой.

— О, —..........................................................

..........................................................................

... головой, слепой и неуверенной походкой, он подошел к ложу.

— Узнаешь меня, Иванушка? — спросил сидящий.

Иванушка Бездомный повернул слепую голову на голос.

— Узнаю, — слабо ответил он и поник головой.

— И веришь ли, что я говорил с Понтием Пилатом?

— Верую.

— Что же хочешь ты, Иванушка? — спросил сидящий.

— Хочу увидеть Иешуа Га-Ноцри, — ответил мертвый, — ты открой мне глаза.

— В иных землях, в иных царствах будешь ходить по полям слепым и прислушиваться. Тысячу раз услышишь, как молчание сменяется шумом половодья, как весной кричат птицы, и воспоешь их, слепенький, в стихах, а *на тысячу первый раз,* в субботнюю ночь, *я открою тебе глаза.* Тогда увидишь его. Уйди в свои поля.

И слепой стал прозрачен, потом и вовсе исчез.

Маргарита, прижавшись щекой к холодному колену, не отрываясь, смотрела.

**12/XI. 33.**

Над столом сгустился туман, а когда он рассеялся, *на блюде оказалась мертвая голова с косым шрамом* от левого виска через нос на правую щеку и с кольцом лохматым *в запекшейся крови на шее*............................ ответил бывший администратор.

**Вечер 12/XI. 33.**

— Да-с, *а курьершу все-таки грызть не следовало,* — назидательно ответил хозяин.

— Виноват, — сказал Внучата.

— В уважение к вашему административному опыту я назначаю вас центурионом вампиров.

Внучата стал на одно колено и руку Воланда сочно поцеловал, после чего, отступая задом, вмешался в толпу придворных.

— Ну-с, кажется, и все московские покойники? Завтра об эту пору их будет гораздо больше, я подозреваю.

— Виноват, мессир, — доложил Коровьев, изгибаясь, — *в городе имеется один человек, который,* надо полагать, *стремится стать покойником вне очереди.*

— Кто такой?

— *Некий* гражданин по фамилии *Фон-Майзен.* Называет он себя бывшим бароном.

— Почему бывшим?

— Титул обременял его, — докладывал Коровьев, — и в настоящее время барон чувствует себя без него свободнее.

— Ага.

— Он звонил сегодня по телефону к вам и выражал восторг по поводу вашего вчерашнего выступления в театре и, когда узнал, что у вас сегодня вечер, выразил весьма умильно желание присутствовать на нем.

— Воистину это верх безрассудства, — философски заметил хозяин.

— Я того же мнения, — отозвался Коровьев и загадочно хихикнул.

Такое же хихиканье послышалось в толпе придворных.

— Когда он будет?

— Он будет сию минуту, мессир, я слышу, как он топает лакированными туфлями в подъезде.

— Потрудитесь приготовить все, я приму его, — распорядился хозяин.

Коровьев щелкнул пальцами, и тотчас кровать исчезла, *и комната преобразилась в гостиную.* Сам хозяин оказался сидящим в кресле, а Маргарита увидела, что она уже в открытом платье и сидит она на диванчике, и пианино заиграло что-то сладенькое в соседней комнате, а гости оказались и в смокингах и во фраках, и на парадном ходе раздался короткий, как будто предсмертный, звонок.

13/XI. 33.

Через мгновение бывший барон, улыбаясь, раскланивался направо и налево, показывая большой опыт в этом деле. Чистенький смокинг сидел на бароне очень хорошо, и, как верно угадал музыкальный Коровьев, он поскрипывал лакированными туфлями.

Барон приложился к руке той самой рыжей, которая в голом виде встречала буфетчика, а сейчас была в платье, шаркнул ногой одному, другому и долго жал руку хозяину квартиры. Тут он повернулся, ища, с кем бы еще поздороваться, и тут необыкновенные глазки барона, вечно полуприкрытые серыми веками, встре-

тили Маргариту. Коровьев вывернулся из-за спины барона и пискнул:

— Позвольте вас познакомить...

— О, мы знакомы! — воскликнул барон, впиваясь глазами в Маргариту.

И точно: *барон Маргарите был известен;* она видела его раза три в Большом театре на балете. Даже, помнится, разговаривала с ним в курилке.

Маргарита почувствовала поцелуй в руку, а душа ее наполнилась тревожным любопытством. Ей показалось, что что-то сейчас произойдет, и очень страшное.

Барон же уселся и завертел головой направо и налево, готовый разговаривать с полным непринуждением. И, однако, одного внимательного взгляда достаточно было, чтобы убедиться, что барон чувствует

**14/XI.33.**

величайшее изумление. И поразили его две вещи: во-первых, резкий запах жженой серы в гостиной, а главным образом, вид Коровьева. В самом деле! Среди лиц во фраках и смокингах и приличных хотя бы по первому взгляду дам поместился тип, который мог кого угодно сбить с панталыку. Одни гетры при кургузом пиджаке и пятно на животе чего стоили! Как ни гасил мышиный блеск своих бегающих глаз барон, он не мог скрыть того, что мучительно старается понять, кто такой Коровьев и как он попал к иностранцу.

А Коровьев именно и завел дружелюбную беседу с напросившимся гостем, и первым долгом осведомился о погоде. Барона погода удовлетворяла, но Коровьев поражал все больше, и диковато поглядывал из-под опущенных век барон на расколотое пенсне.

Кроме того, барона привело в смущение молчание самого хозяина. Барон похвалил вчерашний спектакль, а хозяин хоть бы звук в ответ.

**15/XI.33.**

Но вместо этого Коровьев затруднил гостя вопросом о том, как здоровье деток, в то время как деток никогда у барона не было. Смущение разлилось по лицу барона и даже начинало граничить с тревогой. Лица, находящиеся в комнате, все более казались баро-

ну странными. Так, рядом уселась декольтированная дама, но на шее у этой дамы была рваная громадная и только что, по-видимому, зажившая рана, которая заставила чувствительного барона содрогнуться. Дальше хуже: повернувшись, барон увидел, что рядом с ним уселся законченный фрачник, на котором не хватало только одного, но самого, пожалуй, существенного — сапог. Фрачник был бос. Тут уж барон просто выпучил глаза. И закрыть их ему при жизни уже более не пришлось.

**16/XI.33.**

— Вас, барон, как я вижу, — вдруг произнес хозяин, — удивляют мои гости? Да, не скрою и не стану отрицать, они оригиналы, но поверьте, вы изумляете их не меньше, чем они вас. Итак, *милый барон, скажите*..........................................................................
Внутри Маргариты оборвалось что-то, но ужаса она не испытала, а скорее чувство жутковатого веселья. Впервые при ней с таким искусством и хладнокровием зарезали человека.

**30/XII.33.**

Труп барона поехал вбок, но его подхватили ловкие руки, и кровь из горла хлынула в подставленную золотую чашу. И тут же в комнате начала бить полночь, *и еще раз все преобра*.........................................

**4/I.1934 г.**

...............................................................................................

— Верни мне моего любовника, государь, — попросила Маргарита.

Воланд вопросительно повернул голову к Коровьеву. Тот что-то пошептал на ухо Воланду. Еще несколько секунд не сводил тяжелых глаз Воланд с Маргариты, а потом сказал:

— Сейчас будет сделано.

Вскрикнув от радости, Маргарита припала к тяжелым сапогам со звездными шпорами и стала целовать черную кожу и отвороты, задыхаясь, не будучи в состоянии произносить слова.

— Я никак не ожидал, чтобы в этом городе могла существовать истинная любовь, — сказал хозяин. — *А за*................................................................................

— Он написал книгу о Иешуа Га-Ноцри, — ответила Маргарита.

Великий интерес выразился в глазах Воланда, и опять что-то зашептал ему на ухо Коровьев.

— Нет, право, это черед сюрпризов, — заметил хозяин, но слов своих не объяснил.

**6/I.1934.**

— Да, да, верните его, — умильно попросила Коровьева Маргарита.

— Нет, это не по его части, — отозвался хозяин дома, — это дело Фиелло.

И Фиелло получил приказ, но разобрать его Маргарита не могла, так как он был отдан шепотом.

*Тут Фие* ..........................................................................

... гостей хозяина.

Ватная мужская стеганая кацавейка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги.

**Утро 7/I.1934.**

*Весь в грязи, руки изранены,* лицо заросло рыжеватой щетиной. Человек, щурясь от яркого света люстр, вздрагивал, озирался, глаза его светились тревожно и страдальчески.

Маргарита, узнав хорошо знакомый рыжеватый вихор и зеленоватые эти глаза, приподнялась и с воплем повисла на шее у приехавшего. Тот сморщился, но подавил в себе волнение, не заплакал, механически обнимая за плечи Маргариту.

В комнате наступило молчание, которое было прервано словами хозяина дома, обращенными к Фиелло:

— Надеюсь, вы никого не застрелили?

— Обращайтесь к коту, мессир, — отозвался Фиелло.

Хозяин перевел взгляд на кота. Тот раздулся от важности и похлопал по кобуре лапой.

— Ах, Бегемот, — сказал хозяин, — и зачем тебя выучили стрелять! Ты слишком скор на руку.

— Ну, не я один, сир, — ответил кот.

Затем хозяин обратил свой взор на прибывшего. Тот снял руки с плеч Маргариты.

— Вы знаете, кто я? — спросил его хозяин.

— Я, — ответил привезенный, — догадываюсь, но это так странно, так непонятно, что я боюсь сойти с ума.

Голос привезенного был грубоват и хрипл.

— О, только не это. Ум берегите пуще всего, — ответил хозяин и, повернувшись к Маргарите, сказал:

— Ну что ж... Благодарю вас за то, что посетили меня. Я не хочу вас задерживать. Уезжайте с ним. Я одобряю ваш выбор. Мне нравится этот непокорный вихор, а также зеленые глаза. Благодарю вас.

— Но куда же, куда я денусь с ним? — робко и жалобно спросила Маргарита.

С обеих сторон зашептали в уши хозяину: слева — Фиелло, справа — Коровьев.

— Да выбросьте вы его к чертовой матери, — сказал хозяин, — так, чтобы и духом его не пахло, вместе с его вещами... а впрочем, дайте его мне сюда.

И тотчас неизвестный человек свалился как бы с потолка в залу. Был он в одних подштанниках и рубашке, явно поднятый с теплой постели, почему-то с кепкой на голове и с чемоданом в руках. Человек в ужасе озирался, и было видно, что он близок к умопомешательству.

— Понковский? — спросил хозяин.

— Понковский, так точно, — ответил, трясясь, человек.

— Это вы, молодой человек, — заговорил хозяин, /потому/ что человеку с чемоданом было лет сорок, — написали, что он, — хозяин кивнул на вихор и зеленые глаза, — сочиняет роман?

— Я-с, — ответил человек с чемоданом, мертвея.

— А теперь в квартире его проживаете? — прищурясь, спросил хозяин.

— Да-с, — плаксиво ответил человек.

— Это что же за хамство такое? — сурово спросил хозяин, а затем добавил рассеянно: — Пошел вон!

И тотчас Понковский исчез бесследно.

— Квартира ваша таперича свободна, — ласково заговорил Коровьев, — гражданин Понковский уехали во Владивосток.

Тут качнулся светло-рыжий вихор, глаза тревожно обратились к хозяину.

— Я, — заговорил поэт, покачнулся от слабости, ухватился за плечо Маргариты, — я предупреждаю, что у меня нет паспорта, что меня схватят сейчас же... Все это безумие... Что будет с нею?

Сидящий внимательно поглядел на поэта и приказал:

— Дайте гостю водки, он ослабел, тревожен, болен.

Руки протянулись к поэту со всех сторон, и он отпил из стакана. Его заросшее лицо порозовело.

— Паспорт, — повторил он упрямо и безумно.

— Бедняга, — сочувственно произнес хозяин и покачал головой, — ну дайте ему паспорт, если уж он так хочет.

Коровьев, все так же сладко улыбаясь, протянул поэту маленькую книжечку, и тот, тревожно косясь в пол, спрятал ее под кацавейкой.

Маргарита тихонько плакала, утирая глаза большим рукавом.

— Что с нами будет? — спросил поэт, — мы погибнем!

— Как-нибудь обойдется, — сквозь зубы сказал хозяин и приказал Маргарите: — Подойдите ко мне.

Маргарита опустилась у ног Воланда на колени, а он вынул из-под подушки два кольца и одно из них надел на палец Маргарите. Та притянула за руку поэта к себе и второе кольцо надела на палец безмолвному поэту.

**День 7/I.1934.**

— Вы станете не любовницей его, а женой, — строго и в полной тишине проговорил Воланд, — впрочем, не берусь загадывать. Во всяком случае, — он повернулся к поэту, — примите от меня этот подарок, — и тут он протянул поэту маленький черный револьвер с золотою насечкою.

Поэт, все так же мутно и угрюмо глядя исподлобья, взял револьвер и спрятал его в глубоком кармане под кацавейкой.

— Вечер наш окончен, — объявил Воланд, — светает, я хочу отдохнуть. Все свободны.

При этих словах свет в люстрах стал убывать, толпа гостей растаяла в полумраке, и Маргарита по-

чувствовала, что ее бережно ведут под руки по лестнице.

* * *

В более поздних черновиках эта тема была автором расширена и дополнена. См. в «Приложениях», с. 360 («При свечах», «Великий бал у Сатаны», «Извлечение мастера»). — *Ред.*

## ПОДКОВА

Аннушка Басина, та самая, что пролила постное масло не вовремя, была известна как настоящий бич той квартиры, где она проживала. А проживала она как раз под квартирою покойного Берлиоза.

В то самое время, как Маргарита почувствовала, что вежливые и дружеские руки выводят ее и поэта на лестницу, Аннушка, известная в квартире под именем стервы, не спала, как все добрые люди, а находилась в дверях своей квартиры. Дело в том, что у Аннушки была привычка вставать ни свет ни заря и отправляться куда-то с бидоном в руках.

В данном случае, однако, она никуда не отправлялась, а стояла в полутемной прихожей так, что в щель приоткрытой двери торчал ее острый нос и один глаз. Другой, заплывший в чудовищном багровом синяке (Аннушку накануне били), скрывался во тьме.

Причина Аннушкиного поведения была в том, что Аннушка, собравшись куда следовало с бидоном, не успела открыть дверь на лестницу, как увидела удивительного человека.

По облупленной и годами не мытой лестнице, хватаясь в остервенении за перила, скатился с чрезвычайной быстротой мужчина в одном белье и с чемоданом в руке. Кепка его была заломлена на затылок, а чемодан был желтый.

Аннушка налетела так плотно на несущегося человека, что он едва не вышиб своим чемоданом бидон из ее рук.

— Куда ж тебя черт несет?! — вскричала Аннушка, отпрянув.

— Во Владивосток! — воскликнул человек в подштанниках таким странным голосом, как будто во сне или в бреду.

Но это было бы полгоря, а дальше произошло совсем невероятное: человек вместе с своим грузом кинулся к окну, одному из тех, что, как известно, бывают на каждой лестничной площадке и которое по случаю наступившей весны уже было открыто, и вылетел в него.

Аннушка ахнула, ударилась головой об стену, перекрестилась, а когда опомнилась, подбежала к окну и, легши животом на пол, высунула изуродованную физиономию. Но не увидела никакого разбившегося человека, сколько ни вертела головой. Оставалось предположить, что личность, слоняющаяся на рассвете по передним лестницам, упорхнула вместе с чемоданом и подштанниками, не оставив по себе никаких следов.

Тут же дверь на площадке повыше открылась, донеслись из квартиры, занятой иностранцем, голоса и даже как бы музыка. И стали спускаться вниз.

Аннушка как крыса кинулась в свою дверь, забросила себя цепочкой, оставила щель и стала подглядывать, ожидая увидеть интересные вещи. Она не ошиблась в своем расчете. Через несколько секунд поравнялась с Аннушкиною дверью красавица дама, без шляпы, в буйных растрепанных рыжих волосах, одетая соблазнительно. Шелковое платье сползло с плеча, на ногах не было чулок, поверх всего — черный плащ. Красавица вела под руку пошатывающегося, как разглядела в рассвете Аннушка, будто бы бледного бородатого, одетого бедно, как будто больного. Но тоже в черном плаще. Сопровождали этих двух две таких личности, что единственный действующий глаз Аннушки едва не вылез из орбиты.

Один был одет шутом гороховым с бубенчиками, как клялась Аннушка, и хромой, а другой — вылитый кот в сапогах и штанах и с болтающимся на пузе револьвером, как от страху показалось Аннушке, в аршин длиною. Тут вся компания скрылась из глаз Аннушки на повороте лестницы. Наверху захлопнули дверь, всякие звуки исчезли, но чуткое ухо дало знать Аннушке, что по асфальту шарахнула машина и стала у подъезда. Аннушка, откинув цепочку, выскочила на лестницу.

— Ай да иностранцы! — прошептала Аннушка, — вот какую жизнь ведут, — и пала животом на холодную мозаику площадки.

Отчетливо видела, как в роскошную закрытую машину погрузились все четверо, а затем без гудка в ясном рассвете нечистая сила унесла машину в ворота.

Аннушка не вытерпела и плюнула на асфальт.

— Чтоб вы, сволочи, перелопались! — воскликнула Аннушка. — Мы-то в рванине ходим, а... — но мысли своей не договорила, а на карачках поползла, сверкая единственным глазом, по площадке и подняла со ступеньки тяжелый, тускло сверкающий предмет.

Сомнений не было и быть не могло. Иностранцы подковывали сапоги лошадиными подковами из чистого золота. Тут все в голове Аннушки перепуталось. И роскошные машины иностранцев, в то время как Аннушка мотается день-деньской, и полуголая баба, и бубенчики, и какой-то ювелир, и торгсин, и с племянником посоветоваться, и подкову ломать, и по кусочкам ее сдать, и...

Через минуту подкова была запрятана под засаленным лифчиком, а Аннушка, вылупив глаз и думая об ювелирах и торгсинах, и племянниках, спускалась по лестнице. Но выйти ей не пришлось. У самых выходных дверей встретился ей преждевременно вернувшийся тот самый в бубенчиках, в каких-то странных полосатых нездешних, а очевидно, иностранных штанах в обтяжку. Рыжий.

Аннушка искусно сделала вид, что она сама по себе, состоит при своем бидоне и что разговаривать ей некогда, но рыжий ее остановил словами:

— Отдавай подкову.

— Какую такую подкову? Никакой я подковы не знаю, — искусно ответила Аннушка и хотела отстранить рыжего.

Тот размахнулся и ударил Аннушку по уху с той стороны, что приходилась у здорового глаза. Аннушка широко открыла рот, чтобы испустить вопль, но рыжий рукой, холодной, как поручень автобуса зимой, и такой же твердой, сжал Аннушкино горло так, что прекратился доступ воздуха, и так подержал несколько секунд, а затем отпустил.

Набрав воздуху, Аннушка сказала, улыбнувшись:

— Подковочку? Сию минуту. Ваша подковочка? Я ее на лестнице нашла. Смотрю, лежит. Гвоздик, видно, выскочил. Я думала не ваша, а она ваша...

Получив подкову, иностранец пожал руку Аннушке и поблагодарил, выговаривая слова с иностранным акцентом:

— Я вам очень благодарен, мадам. Мне дорога эта подкова как память... Позвольте вам подарить на двести рублей бонов в торгсин.

**8/I.34. Утро**

Отчаянно улыбаясь, Аннушка вскрикнула:

— Покорнейше благодарю! Мерси!

А иностранец в один мах взлетел на один марш, но, прежде чем окончательно смыться, крикнул Аннушке с площадки, но уже без акцента:

— Ты, старая ведьма, если еще найдешь когда-нибудь чужую вещь, сдавай в милицию, а за пазуху не прячь.

Тут и исчез.

Чувствуя в голове звон и суматоху, Аннушка, по инерции продолжая улыбаться и шептать «мерси», пересчитала боны и выбежала на двор.

В девять часов утра Аннушка была у дверей торгсина на Смоленском рынке. В девять с четвертью она купила на боны пахнущие керосином 500 граммов чайной колбасы, пять метров ситца и многое другое еще.

В половину десятого ее арестовали.

## С ПРИМУСОМ ПО МОСКВЕ

Никому не известно, где и почему разделилась компания злодеев, но свидетели утверждают, что примерно через минуту после того, как таинственная шайка покинула Садовую, Коровьева увидели *в большом магазине торгсина* на углу у Никитских ворот. Регент с большим достоинством вошел в зеркальные двери и приятно улыбнулся. Необыкновенно суровый мужчина, стоящий у дверей, преградил регенту путь и сказал:

— С котами, гражданин, в торгсин строжайше воспрещается.

Регент поглядел на него с достоинством и ответствовал:

— С какими котами? Я вас не понимаю!

Мужчина в удивлении вылупил глаза, не понимая, куда же девался черный кот с примусом в лапах, вошедший вместе с Коровьевым. Делать было, однако, нечего, мужчина, дико улыбнувшись, пропустил Коровьева, а сам стал заглядывать во все закоулки, ища мерзавца кота. Но нигде его не нашел и, пожимая плечами, опять утвердился на своем посту у выходных дверей.

В магазине торгсина было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами!

У самого входа налево за решетчатыми загородками сидели неприветливые мужчины и взвешивали на весах и кислотой пробовали золотые вещи, которые совали им в окошечки разнообразно одетые дамы. Направо в кассах сидели девушки и выдавали ордера. А далее чуть не до потолка громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок папирос, и играло солнышко на словах «Золотой ярлык» и «Ананасы экспортные». А далее прямо чудеса в решете. Лежала за стеклами толстая, как бревно, в тусклой чешуе поперек взрезанная семга двинская. В кадушках плавала селедка астраханская, грудами лежали блестящие коробки, и надпись свидетельствовала, что в них килька ревельская отборная. О сыре и говорить нечего, как мельничные жернова навален он был на прилавок, и, лишь проворный приказчик вонзился в него страшным ножом, он плакал, и жирные слезы стекали из его бесчисленных ноздрей.

Вскинешь взор, и кажется, что видишь сон. Массандровская мадера, портвейн, херес, шампанское, словом, все вина, какие только может потребовать самый прихотливый потребитель, все были тут в бутылках.

— Хороший магазин, — звучно сказал Коровьев, хотя никто и не интересовался его мнением и никто не просил его магазин этот хвалить. И тут же он подошел к фруктам.

— С котами нельзя, — в негодовании сказала белая женщина.

— Извиняюсь, где вы видите кота? — спросил Коровьев и приставил ладошку к уху, как тугоухий. Женщина моргнула глазами и отшатнулась. На том самом месте, где почудился ей черный кот на задних лапах, стоял толстяк в клетчатом с продранным локтем, правда, с кошачьей рожей, но в кепке и с примусом в руке.

— Почем мандарины? — осведомился Коровьев.

— 30 копеек кило, — ответила пораженная женщина.

— Жарко. Кушай, Бегемот, — пригласил Коровьев.

Спутник Коровьева передал примус Коровьеву, взял верхний мандарин, облупил его в один взмах и тут же, чавкнув, сожрал его, а затем принялся за второй.

Смертельный ужас поразил женщину.

— Вы с ума сошли! — закричала она, — чек подавайте! Чек! — и уронила конфетные щипцы.

— Душенька, — задребезжал Коровьев, — не при валюте мы сегодня... Ну что поделаешь. Но клянусь вам, в следующий же раз и никак не позднее четырнадцатого отдадим. В кредит! — и он подмигнул.

А Бегемот лапу сунул в шоколадную пирамиду, выдернул плитку, отчего вся пирамида рухнула. Женщина сделалась желтой, как батумский лимон, и пронзительно и тоскливо завыла:

— Палосич!

И не успел еще Бегемот прожевать шоколадку, как Павел Осипович возник у прилавка.

**Утро 25/I.34.**

Он вмиг оценил положение и, не вступая ни в какие пререкания с Коровьевым или Бегемотом, воскликнул:

— Сверчков! Милицию!

Пронзительная трель у дверей ответила Палосичу. Приказчики бросили ножи и выставили лица из-за прилавков. Бегемот отступил к громадной кадке с надписью «Сельдь керченская» и запустил в нее лапу.

— Ты что делаешь, гад?! — вскричал приказчик в белом халате и котиковой шапке.

Трель повторилась.

**Вечер 25/I.34.**

Проглотив кусок керченской селедки, Бегемот повел речь.

— Граждане-товарищи! Что же это делается? Ему можно? — Тут он указал лапой на человека, одетого в сиреневое пальто. Этому человеку приказчик резал балык, источающий масло. — Ему можно? А коту, который починяет примуса, нельзя?

**1/II.34.**

Трель загремела отчаянно. В гастрономическое отделение потянулась публика.

— Горько мне! Горько! — как на свадьбе вскричал спутник Коровьева и ударил себя в грудь. Приказчик замер с ножом в руке. Тут спутник, очевидно самого себя расстроив, размахнулся и ударил кулаком в грудь сиреневого человека. Тот слетел с ног и рухнул прямо в кадку с керченским рассолом, так что брызнуло в разные стороны. В то же мгновение возникли двое милиционеров возле самых мандаринов.

Их явление было, впрочем, кратковременным. Коровьев преградил им путь со словами:

— Эх, добрые души! Ну чего вам-то ввязываться в это печальное дело?

Он дунул и крикнул:

— Исчезните!

После этого оба милиционера растаяли в воздухе буквально так, как тает кусок рафинаду в горячем чаю.

Дикий голос рявкнул в толпе покупателей: «Иностранца бьют!», Павел Иосифович куда-то метнулся, кот овладел примусом и вдруг широко плеснул керосином прямо на фрукты. И ранее, чем успели мигнуть, спичку, что ли, кто-то успел швырнуть, только апельсины в ящиках за прилавком вспыхнули.

И все смешалось. Девушки выбежали из-за прилавка, *крича: «Пожар!»* Шарахнулась публика, а огонь, весело лизнув шоколадную пирамиду, бросился вверх, и загорелись бумажные розовые ленты на корзинах. Еще мгновение, и огонь пошел жрать полотняную штору на окне. Что-то затрещало и посыпалось, и видны были скачущие через прилавок приказчики, и лез на карачках из магазина в испорченном сиреневом пальто

исступленный человек, и побежала публика из магазина, и вылетело стекло, и свистели опять, и слышен был вопль Павла Иосифовича: «Пропустите к телефону!»... Сам же господин Коровьев и спутник его тут же бесследно исчезли.

**Роман. Окончание**
***(Ленинград, июль, 1934 г.)***

**12/VII.34 г.—15/VII.1934 г.**

Куда девались подозрительный Коровьев и толстяк в клетчатом непосредственно после того, как учинили пакость в торгсине на Смоленском, — неизвестно.

Будто бы оба негодяя перебросились на Мясницкую улицу, *попали в пустынное учреждение*. Что там делали они — осталось тайной, но пожар начался немедленно после их отбытия. И лихая пожарная колонна, сверкая, трубя и звеня в колокола, покатила по намасленному асфальту. Затем неразлучная пара оказалась именно в доме Грибоедова, на веранде ресторана, где, важно усевшись за свободный столик, потребовала две кружки пива и полтора десятка раков.

В раках им сразу отказали, сославшись на то, что ракам не сезон. А с пивом тоже произошла заминка. Официант осведомился — литераторы ли новоприбывшие?

— Какое отношение это имеет к пиву? — надменно осведомился Коровьев, а толстяк объявил, что он поэт. И тут же, встав в позу и поражая всех продранными локтями, фальшивым голосом зачитал дурацкое стихотворение:

Вы прекрасны точно роза.
Но есть разница одна:
Роза...

За столиками заулыбались сконфуженно, зашептались, заерзали. Официант не пожелал слушать ничего про розу и попросил удостоверение.

Тут произошла страннейшая история. Как из-под земли вырос командир черного брига и режущим взглядом окинул незваных посетителей. И удивитель-

ная перемена произошла во флибустьере. Он, всмотревшись в посетителей, вздрогнул, побледнел и неожиданно раскланялся низко. Оттеснив одним взмахом официанта, оказался у плеча Коровьева и как фокусник вынул карточку. Официант в изумлении открыл рот.

— Чем потчевать прикажете? — шепнул белозубый пират, и еще интимнее шепнул: — Белорыбица мировая, к съезду писателей приготовили... Деволяйчик могу сделать, салат?

Коровьев внимательно смотрел на соблазнителя, внезапно протянул ему руку. И тот потряс ее обеими руками. Толстяк, не желая отставать от приятеля, также ткнул флибустьеру лапу.

— Ничего не нужно. Мы спешим. Две кружки пива, — приказал Коровьев.

— Две кружки пива, — грозно повторил флибустьер и тотчас, повернувшись, удалился вместе с пораженным официантом. По дороге он, еле шевеля губами, произнес тихо:

— Пиво из запасного бочонка. Свежее. Льду. Скатерть переменить. Ванотиного рыбца тонкими ломтиками. В секунду. От столика не отходить.

Официант устремился в буфет, а командир повел себя необычайно странно. Он исчез в темном коридоре, вошел в двери с надписью «Служебная», тотчас вышел из нее со шляпой в руках и в пальто, кому-то встречному сказал: «Через минуту вернусь» — вышел черным ходом на Бронную, повернул за угол и исчез. Он не вернулся ни через минуту, ни через час. Он больше вообще не вернулся, и никто его более не видел.

Меж тем публика за столиками в совершенном отупении наблюдала странную пару, вооружившуюся двумя вспотевшими кружками пива. Толстяк наслаждался, погрузив морду в пену и подмигивая на официанта, который как прилип к своему месту на посту невдалеке.

Тут на веранде появился взволнованный хроникер Боба Кондалупский и плюхнулся за соседний столик, где помещался известный писатель с гордой дамой в шляпе в виде бритвенного блюдечка.

— В городе пожары, — взволнованно шепнул Кон-

далупский по своей привычке на ухо известному писателю.

Судорога прошла по лицу писателя, но еще не успел осмыслить сообщенного, как с соседнего столика раздался голос:

— Что ж мудреного. Сушь такая. Долго ли до беды. Опять же примуса, — козлиным голосом заговорил Коровьев, явно адресуясь к гордой даме.

— *Сейчас в Гнездниковском загорится!* — вдруг радостно объявил толстяк, тыча лапой в сад, — очень любопытно. Я люблю пожары, мадам, — добавил он, тоже почему-то обращаясь к обладательнице блюдечка.

Не успели за столиком как-то отозваться на это дикое заявление, как все взоры устремились за зеленый бульвар.

Отчетливо видно было, как в высоком доме за бульваром, в десятом примерно этаже, из открытого окна полез дым. Потом в других местах распахнулись рамы.

На веранде посетители начали вскакивать из-за столиков. Только Кондалупский как сидел, так и застыл на стуле, переводя глаза с дальнего дома на толстяка, который в Кондалупском явно вызывал ужас.

— Началось, я ж говорил, — шумно отдуваясь после пива, воскликнул толстяк и велел официанту:— Еще парочку!

Но пить вторую парочку не пришлось. Из внутренних дверей ресторана появились четверо людей и стремительно двинулись к столику Коровьева.

— Не поднимайтесь, — сквозь зубы сказал первый из появившихся и дернул щекой.

Толстяк нарушил приказание и встал из-за стола. Первый идущий тогда, не произнося более ни слова, поднял руку, и на веранде грянул выстрел. Публика бросилась бежать куда попало. Взвизгнула дама в блюдечке, чья-то кружка треснулась об пол, побежали официанты. Но стрельба прекратилась. Стрелявший побелел: за столиком никого не было. На столе стояли две опустевшие кружки, наполовину обглоданный рыбец. А рядом со столика, из треснувшей под кофейником спиртовки ручьем бежал спирт, и на нем порхали легкие синие огоньки, и дама визжала, прыгая в горящей луже и зонтиком колотя себя по ногам.

## ПОРА! ПОРА!

.........................................................................................

*На плоской террасе здания,* украшенного белыми колоннами и скульптурами, изображениями белых женщин в туниках, сидел на складном табурете Воланд и глядел на город, громоздившийся внизу. Сзади Воланда стоял мрачный рыжий и косой Азазелло.

Ветерок задувал на террасу, и бубенчики тихо звенели на штанах и камзоле Азазелло.

Воланд устремил взгляд вдаль, любуясь картиной, открывшейся перед ним. Солнце садилось за изгиб Москвы-реки, и там варилось месиво из облаков, черного дыма и пыли.

Воланд повернул голову, подпер кулаком подбородок, стал смотреть на город.

— Еще один дым появился на бульварном кольце.

Азазелло, прищурив кривой глаз, посмотрел туда, куда указывал Воланд.

— Это дом Грибоедова горит, мессир.

— Мощное зрелище, — заговорил Воланд, — то здесь, то там повалит клубами, а потом присоединяются и живые трепещущие языки. Зелень сворачивается в трубки, желтеет. И даже здесь ветерок припахивает гарью. *До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима.*

— Осмелюсь доложить, — загнусил Азазелло, — Рим был город красивее, сколько я помню.

— Мощное зрелище, — повторил Воланд.

— Но нет ни одного зрелища, даже самого прекрасного, которое бы в конце концов не надоело.

— К чему ты это говоришь?

— Прошу прощения, сир, тень поворачивает и становится длиннее, нам пора покинуть этот город. Интересно знать, где застряли Фагот с Бегемотом? Я знаю, проклятый толстяк наслаждается сейчас в этой кутерьме, паясничает, дразнит всех, затевает ссоры.

— Придут.

Тут внимание говоривших привлекло происшествие внизу. С Воздвиженки *в Ваганьковский переулок* вкатили две красные пожарные машины. Зазвонил колокол. Машины повернули круто и въехали на Знаменку, явно

направляясь к многоэтажному дому, из-под крыши которого валил дым.

Но лишь только первая машина поравнялась, замедляя ход, с предыдущим домом, окно в нем разлетелось, стекла брызнули на тротуар, высунулся кто-то в бакенбардах с патефоном в руках и рявкнул басом:

— Горим!

Из подворотни выбежала женщина, ее слабый голос ветер донес на крышу, но разобрать ее слов нельзя было.

Передняя машина недоуменно остановилась. Бравый человек в синем сюртуке соскочил с нее и замахал руками.

— Действительно, положение, — заметил Воланд, — какой же из двух домов он начнет раньше тушить?

— Какой бы из них ни начал, он ни одного не потушит. Толстый негодяй сегодня, когда гулял, я видел, залез в колодезь и что-то финтил с трубами. Клянусь вашей подковой, мессир, он не получит ни одной капли воды. Гляньте на этого идиота с патефоном. Он выпрыгнул из окна и патефон разбил, и сломал руку.

Тут на железной лестнице застучали шаги, и головы Коровьева и Бегемота показались на крыше.

Рожа Бегемота оказалась вся в саже, а грудь в крови, кепка обгорела.

— Сир, мне сейчас по морде дали! — почему-то радостно объявил, отдуваясь, Бегемот, — по ошибке за мародера приняли!

— Никакой ошибки не было, ты и есть мародер, — отозвался Воланд.

Под мышкой у Бегемота торчал свежий пейзаж в золотой раме, через плечо были перекинуты брюки, и все карманы были набиты жестяными коробками.

— Как полыхнуло на Петровке, одна компания нырь в универмаг, я — с ними, — рассказывал возбужденно Бегемот, — тут милиция... Я — за пейзажем... Меня по морде... Ах так, говорю... А они стрелять, да шесть человек и застрелили!

Он помолчал и неожиданно добавил:

— Мы страшно хохотали!

Кто и почему хохотал и что в рассказанном было смешного, узнать никому не удалось.

Голова белой статуи отскочила и, упавши на плиты террасы, разбилась. Группа стоявших повернула головы и глянула вниз. На Знаменке шла кутерьма. Брезентовые люди с золотыми головами матерились у иссохшего мертвого шланга. Дым уже пеленой тянулся через улицу, дыбом стояли лестницы в дыму, бегали люди, но среди бегавших маленькая группа мужчин в серых шлемах, припав на колено, целилась из винтовок. Огоньки вспыхивали и сухой веселый стук разносило по переулкам.

У статуи отлетели пальцы, от колонны отлетали куски. Пули били в железные листы крыши, свистали в воздухе.

— Ба! — вскричал Коровьев, — да ведь это в нас! Мы популярны!

— Пуля свистнула возле самого моего уха! — горделиво воскликнул Бегемот.

Азазелло нахмурился и, указывая на черную тень от колонны, падающую к ногам Воланда, настойчиво заговорил:

— Пора, мессир, пора...

— Пора, — сказал Воланд, и вся компания стала с вышки по легкой металлической лестнице спускаться вниз.

## ОН ПОКИДАЕТ МОСКВУ

Удивительно, с какою быстротой распространяются по городу важные известия. Пожары произошли в таком порядке. Первым загорелся, как мы знаем, дом на Садовой. Затем Коровьев с Бегемотом подожгли торгсин на Смоленском рынке. Затем торгсин у Никитских ворот. И вот, уже после этих трех пожаров, происшедших в разных частях города, в народе уже было известно, что злодеи поджигают город. Говорили, что за злодеями уже гонятся. Тут же, конечно, явился и вывод из этого — то есть их поймали. Нашлись очевидцы, которые говорили, что видели, как их расстреляли.

Однако, когда вслед за первыми пожарами последовали новые, те же лица говорили шепотом, что пуля их не берет.

Поразительно то, что многие очень правильно нашли нить, ведущую из квартиры покойного Берлиоза в «Кабаре», оттуда в учреждения, где происходили чудеса, и наконец к пожарам.

Поэтому, когда выяснилось, что размеры беды чрезвычайны, когда во всех частях города пылали здания, пожалуй, все уже знали, что город зажгли фокусники из «Кабаре».

С быстротою самого огня, от заставы до заставы противоположной, из уст в уста передавались и приметы злоумышленников, и притом сравнительно правильно.

Легкая пожарная лестница вела мимо окна, раскрытого настежь. В это окно один за другим вышли спускавшиеся с белой вышки *в огромнейший трехсветный зал*, прямо в верхний читальный зал библиотеки.

Чтения, правда, в то время там уже не происходило. Читатели покинули зал, лишь только слухи о том, что город подожжен, проникли в библиотеку. Еще не зажженные лампы под зелеными колпаками тянулись бесконечными рядами в нижнем этаже зала, а у раскрытых окон, в которые теперь уже заносило гарь, томились служащие девицы, еще боящиеся покинуть свои посты.

Первая встреча произошла тотчас вверху, где девица была в одиночестве. Лишь только таинственные незнакомцы ввалились в окно, девица, изменившись в лице, повалилась на стул и так и застыла на этом стуле, стараясь спрятаться за двумя фолиантами. Компания прошла мимо нее, не причинив ей вреда, и задержался только Бегемот.

Всмотревшись в девицу, которая окоченела от страху, Бегемот объявил, что он хочет сделать ей подарок, и выложил перед девицей на стол ландшафтик, брюки и коробки, как выяснилось по надписям, со шпротами.

Спустились, минуя нижний зал, и вышли на площадку. Тут за столом встрепенулась пожилая суровая в очках и потребовала билетики на выход.

— Дура, — буркнул Азазелло.

— Какая такая дура! — вскричала оскорбленная женщина и засуетилась.

**16/VII.34.**

Но Бегемот усмирил женщину, вынув из кармана четыре билетика на выход. Тут только какая-то мысль осенила голову женщины, она побледнела и с ужасом глядела вслед странной компании.

**17/VII.Москва**

Компания спустилась мимо барельефа на лестнице. В раздевалке ни одной курьерши у вешалок не оказалось. Все они уже были за дверьми...

**13/VIII.Москва**

Все они уже оказались за дверьми и все кинулись бежать, лишь только компания вышла в зеленый дворик. Тут обнаружилось, что в газоне лежит самовар, а так как трава возле него дымилась, было ясно, что кто-то вышвырнул самовар с кипятком и углями.

**10-го сентября 1934 г.**

В Ваганьковском переулке компания подверглась преследованию. Какой-то взволнованный гражданин, увидев выходящих, закричал:

— Стой! Держите поджигателей!

Он суетился, топал ногами, не решаясь в одиночестве броситься на четверых. Но пока он созывал народ, компания исчезла в горьком дыму, застилавшем переулок, и больше ее в этом районе не видал никто.

Мы не знаем, каким образом злодеи проникли на Плющиху. Они проникли и мелькнули в том месте, где дивная асфальтированная улица подходит к незабвенному Девичьему Полю.

Здесь было потише, и если бы не некоторые взволнованные гражданки, выглядывающие из окон верхних этажей, стараясь рассмотреть, что происходит там, на Смоленском рынке, можно было бы подумать, что все в столице обстоит и тихо, и мирно.

Компания прошла под деревьями Девичьего Поля, вдыхая аромат весенней земли и первых набухших почек, и скрылась на Пироговской улице.

Маршрут ее был ясен. Она стремилась к Москве-реке. Они покидали столицу.

# НА ЗДОРОВЬЕ!

Одинокая ранняя муха, толстая и синяя, ворвалась в открытую форточку и загудела в комнате.

Она разбудила поэта, который спал четырнадцать часов. Он проснулся, провел рукой по лицу и испугался того, что оно обрито. Испугался того, что находится на прежнем месте, вспомнил предыдущую ночь, и безумие едва не овладело им.

Но его спасла Маргарита. В драном шелковом халате, надетом на голое тело, она сидела у ложа поэта и, не сводя глаз, смотрела на измятое лицо и воспаленные глаза. Она заговорила первая.

— Я вижу, что ты хочешь испугаться? Не делай этого, я запрещаю тебе, — тут она подняла палец многозначительно.

— Но что же происходит? — спросил поэт и вцепился рукой в простыню, — *я сумасшедший*?

— Ты не сумасшедший, — обольстительно улыбаясь, ответила Маргарита, — ты нормален...

— Но что же это?..

— Это, — и Маргарита наклонилась к поэту, — это высшая и страшная сила, и она появилась в Москве...

— Это бред... — начал говорить поэт и заплакал.

Маргарита побледнела, лицо ее исказилось и постарело...

— Перестань, перестань.

— Я, — произнес поэт, всхлипнув в последний раз, — больше не буду. Это слабость. — Он вытер глаза простыней.

Муха перестала гудеть, куда-то завалилась за шкаф, и в то же время стукнули шаги на кирпичной дорожке и отчетливые ноги появились в окошке. Некто присел на корточки, отчего в мутном стекле, заслонив свет, появился довольно упитанный зад и колени. Некто пытался заглянуть в жилье. Поэт задрожал, но пришел в себя и затих.

— Богохульский! — сказал взволнованно голос с корточек, и некто сделал попытку всунуть голову в форточку.

— Вот, пожалуйста! — шепнул злобно и горько поэт.

Маргарита подошла к окошку и сурово спросила суюющегося в окно человека:

— Чего тебе надо?

Голова изумилась.

— Богохульский дома?

— Никакого Богохульского здесь нет, — ответила грубым голосом Маргарита.

— Как это так нету, — растерянно спросили в форточке, — куда же он девался?

— Его Гепеу арестовало, — ответила строго Маргарита и прибавила: — А твоя фамилия как?

Сидящий за окном не ответил, как его фамилия, в комнате сразу посветлело, сапоги мелькнули в следующем окне, и стукнула калитка.

— Вот и все, — сказала Маргарита и повернулась к поэту.

— Нет, не все, — отозвался поэт, — через день, не позже, меня схватят. Кончу я жизнь свою в сумасшедшем доме или в тюрьме. И если сию минуту я не забудусь, у меня лопнет голова.

Он поник головой.

*Маргарита прижалась к нему и заговорила нежно.*

— Ты ни о чем не думай. Дело, видишь ли, в том, что в городе кутерьма. И пожары.

— Пожары?

— Пожары. Я подозреваю, что это они подожгли Москву. Так что им совершенно не до тебя.

— Я хочу есть.

Маргарита обрадовалась, стащила за руку поэта с кровати, накинула ему на плечи ветхий халат и указала на раскрытую дверь. Поэт, еще шатаясь, побрел в соседнюю комнатушку.

Шторы на окошках были откинуты, в них сочился последний майский свет. В форточки тянуло гниловатым беспокойным запахом прошлогодних опавших листьев с примесью чуть уловимой гари.

Стол был накрыт. Пар поднимался от вареного картофеля. Блестели серебряные кильки в продолговатой тарелке с цветочками.

— Ты решительно ни о чем не думай, а выпей водки, — заговорила Маргарита, усаживая любовника в алое кресло. Поэт протянул руку к темной серебряной стопке. Маргарита своей белой рукой поднесла

ему кильку. Поэт глотнул воду жизни, и тотчас тепло распространилось по животу поэта.

11/IX.1934.

Он закусил килькой. И ему захотелось есть и жить.

Маргарита налила ему вторую стопку, но выпить ее поэт не успел. За спиной его послышался гнусавый голос:

— На здоровье!

Поэт вздрогнул, обернулся, так же как и Маргарита, и любовники увидели в дверях Азазелло.

## ГОНЕЦ

Воланд в сопровождении свиты к закату солнца дошел до Девичьего Монастыря. Пряничные зубчатые башни заливало косыми лучами из-за изгибов Москвы-реки. По небу слабый ветер чуть подгонял облака.

Воланд не задерживался у Монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг Монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отражения солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены.

Город более не интересовал его гостя, и, сопровождаемый спутниками, он устремился вдаль — к Москве-реке.

Группа, в которой выделялся своим ростом Воланд, прошла мимо свалок по дороге, ведущей к переправе, и на ней исчезла.

Появилась она вновь через несколько секунд, но уже за рекой, у подножия Воробьевых Гор. Там, на холме, к которому примыкала еще оголенная роща, группа остановилась, повернулась и посмотрела на город.

В глазах поднялись многоэтажные белые громады Зубовки, а за ними — башни Москвы. Но эти башни видны были в сизом тумане. Ниже тумана над Москвой расплывалась тяжелая туча дыма.

— Какое незабываемое зрелище! — воскликнул Бегемот, снимая шапчонку и вытирая жирный лоб.

Его пригласили помолчать.

Дымы зарождались в разных местах Москвы и были разного цвета. *Между* ...........................................

.............................................................................................

Какая-то баба с узлом появилась выше стоящих на террасе над холмом.

— Удивительно неуютное место, — заметил Бегемот, осматриваясь, — как много всюду любопытных.

Азазелло, сердито покосившись, вынул парабеллум и выстрелил два раза по направлению группы подростков, целясь над головами. Подростки бросились бежать, и площадка опустела. Исчезла и баба наверху.

Тогда Воланд первый, взметнув черным плащом, вскочил на нетерпеливого коня, который и встал на дыбы. За ним легко взлетели на могучие спины Азазелло, Бегемот и Коровьев в своем дурацком наряде.

Холм задрожал под копытами нетерпеливых коней.

**14/IX.34.**

Но не успели всадники тронуться с места, как пятая лошадь грузно обрушилась на холм *и фиолетовый всадник соскочил* со спины. Он подошел к Воланду, и тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади.

Коровьев и Бегемот сняли картузики, Азазелло поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и темное, было неподвижно, шевелились только губы. Он шептал Воланду.

Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму.

— Очень хорошо, — говорил Воланд, — я с особенным удовольствием исполню волю пославшего. Исполню.

Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся.

Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода, двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез.

Воланд поманил пальцем Азазелло, тот подскочил к лошади и выслушал то, что негромко приказал ему Воланд. И слышны были только слова:

— В мгновение ока. Не задержи!

Азазелло скрылся из глаз.

# ОНИ ПЬЮТ

Итак, Азазелло появился в маленькой комнатушке в тот момент, когда поэт подносил ко рту вторую стопку.

— *Мир вам, — сказал гнусавый голос.*

— Да это Азазелло! — вскричала, всмотревшись, Маргарита, — не волнуйся, мой друг! Это Азазелло. Он не причинит тебе никакого зла.

Поэт во все глаза глядел на диковинного рыжего, который, взяв кепку на отлет, кланялся, улыбаясь всею своей косой рожей.

Тут произошла суета, усаживание и потчевание. Маргарита Николаевна вдруг сообразила, что она совершенно голая, что ветхий халат, по сути дела, не прикрывает ее тела, и вскричала:

— Извините!

И запахнулась.

На это Азазелло ответил, что Маргарита Николаевна напрасно беспокоится, что он видел не только голых дам, *но даже дам с содранной кожей*, что все это ему не в диковинку, что он просит без церемонии, а что если будут церемониться, он уйдет немедленно...

Тут его стали усаживать в кресло, и он одним духом хватил чайный стакан водки, повторив, что самое лучшее, если каждый чувствует себя без церемонии, что в этом и есть истинное счастье и настоящий шик. И чтобы подать пример другим, хлопнул и второй стакан, отчего его глаз загорелся как фонарь.

Поэту внезапный гость чрезвычайно понравился, поэт с ним чокнулся и приятно захмелел. Кровь быстрее пошла в его жилах, и страх отлетел. В комнате показалось и тепло и уютно, и он, нежно погладив рукой старенький вытертый плюш, вступил в беседу.

— Город горит, — сказал поэт Азазелло, пожимая плечами, — как же это так?

— А что ж такое! — отозвался Азазелло, как бы речь шла о каких-то пустяках, — почему бы ему и не гореть! Разве он несгораемый?

«Совершенно верно! — мысленно сказал поэт, — как это просто в сущности!» — и тут же решил расспросить Азазелло прямо о том, кто его принимал

вчера и откуда взялся паспорт и вообще, что все это значит.

Но лишь только он открыл рот, как Азазелло, подмигнув таинственно сверкающим глазом, заговорил сам.

— *Просят вас*, — просипел он, косясь на окно, в которое уже вплывала волна весенних сумерек, — с нами. Короче говоря, едем.

Поэт заморгал глазами, а Маргарита пододвинулась к шепчущимся.

— Меня? — спросил шепотом поэт.

— Вас.

Маргарита Николаевна изменилась в лице и не сводила глаз с поэта. Губы ее дрогнули.

И тот этого не заметил. «Эге... предатель...» — мелькнуло у него в голове слово. Он уставился прямо в сверкающий глаз.

— Куда меня приглашают ехать? — сухо спросил поэт, видя, как отливает зеленым глаз загадочного гостя.

— Местечко найдем, — шипел тот соблазнительно и дыша водкой, — да и нечего, как ни верти, торчать тут в полуподвале. Чего тут высидишь?

«Предатель, предатель, предатель...» — окончательно удостоверился поэт и ответил:

— Нет, почему же... и в городе есть некоторая прелесть. Я не хочу искать новых мест, меня никуда не тянет.

Тут Азазелло всей своей рожей выразил, что не верит ни одному слову поэта

И неожиданно вмешалась Маргарита.

— Поезжай, — сказала она, — а я... — она подумала и сказала твердо: — А я останусь караулить твой подвал, если он, конечно, не сгорит. Я, — голос ее дрогнул, — буду читать про то, как над Ершалаимом бушевала гроза и как лежал на балконе прокуратор Понтийский Пилат. Поезжай, поезжай! — твердила она грозно, но глаза ее выражали страдание.

Тут только поэт всмотрелся в ее лицо, и горькая нежность подступила к его горлу, как ком, слезы выступили на глазах.

*— С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.*

Самоуверенный Азазелло смутился, отчего еще больше начал косить. Но внезапно изменился, поднял бровь и руки растопырил...

— В чем дело! — засипел он, — какой может быть вопрос? И чудесно. Именно с ней. Само собой.

Маргарита поднялась, села на колени к поэту и крепко обняла его за шею.

— Смотреть приятно, — сказал Азазелло и внезапно вынул из растопыренного кармана темную бутылку в зеленой плесени.

**15/IX.34.**

— Вот вино! — воскликнул он и, тут же вооружившись штопором, откупорил бутылку.

Странный запах, от которого, как показалось Маргарите, закружилась голова, распространился по комнате.

Азазелло наполнил три бокала вином, и потухающие угли в печке отбросили последний отблеск. Крайний бокал был наполнен как бы кровью, два других были черны.

— Без страха, за ваше здоровье! — провозгласил Азазелло, поднимая свой бокал, и окровавленные угли заиграли в нем.

— Пей, не бойся, летим, — зашептала Маргарита, прижимаясь к поэту.

Поэт, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то очень важное и необыкновенное, глотнул вино и видел, что Маргарита сделала то же самое.

В то же мгновение радость прихлынула к сердцу поэта и предметы пошли кругом. Он глубоко вздохнул и видел, что Маргарита роняет бокал, бледнеет и падает... Жаркий отблеск прошел по ее голому животу. «А, отравил!» — успел подумать поэт. Он хотел крикнуть... «Отравитель!», но голосом овладеть не мог. Тут он увидел перед лицом своим пол. Потом все кончилось. Отравитель горящими глазами смотрел, как падали любовники. Когда они затихли у его ног на ковре, он оживился, подскочил к форточке и свистнул. Тотчас ему отозвался свист в садике. Азазелло наклонился к поэту, поднял его в кресло. Белый как бумага, поэт безжизненно свесил голову. Азазелло поднял и

полуголую Маргариту в кресло, осколки бокалов отшвырнул носком сапога в угол. Из шкафчика вынул цельные бокалы, наполнил их вином, разжал челюсти поэта, влил глоток, так же поступил и с Маргаритой. Не прошло и нескольких секунд, как поэт открыл веки, глянул.

— Отравитель... — слабо произнес он.

— Что вы! — вскричал гнусаво кривоглазый, — подобное лечится подобным. Встряхнитесь, нам пора. Вот оживает и ваша подруга.

Поэт увидел, что Маргарита вскочила, полная жизни. Изменилось лишь ее лицо в цвете и стало бледным.

— Пора! Пора! — произнес Азазелло.

— Пора! — повторила возбужденная Маргарита.

Она одним взмахом сорвала с себя халат и взвизгнула от восторга. Азазелло вынул из кармана баночку и подал. Тотчас под руками Маргариты ее тело блеснуло жиром.

— Скорее, — сказал Азазелло поэту.

Тот поднялся легко. Такая радость, как та, что наполняла его тело, еще им не была испытана никогда. Тело его не несло в себе никакой боли, и, кроме того, все показалось сладостным поэту. И жар углей в старой печке, и красное старенькое бюро, и голая Маргарита, которая скалила зубы и натирала шею остатками мази.

Поэт хотел перед отъездом пересмотреть свои рукописи, но Азазелло сослался на то, что поздно, и неопределенно намекнул на то, что за рукописями можно будет заглянуть как-нибудь впоследствии...

— Вы правы! — вскричал поэт, чувствуя прилив бодрости и вдохновения.

В ту же минуту он выхватил из стола толстую пачку исписанных листов и швырнул ее в печь.

— Один листок не отдам! — закричала Маргарита и выхватила из пачки листок. Она скомкала его в кулаке.

Жаром пахнуло в лицо, и вся комната ожила. Коварный Азазелло кочергой выбросил пылающую бумагу прямо на скатерть, и дым повалил от нее.

Через несколько мгновений компания, хлопнув дверями, покинула полуподвал. Темнело во дворике.

# МИЛОСЕРДИЯ! МИЛОСЕРДИЯ!

Взвились со дворика. Первой взлетела на дворницкой метле Маргарита. За нею поднялся Азазелло. Он распахнул плащ, и на его поле, держась рукой за кованый пояс, поднялся поэт. Смертельно бледное лицо в начинающихся сумерках показалось картонным. Дымный ветерок ударил в лицо, волосы разметал.

Маргарита шла скачками чуть повыше старинных фонарей, а у поэта захватило дух от наслаждения при первом же движении в воздухе.

Азазелло, неся на плаще поэта, догнал Маргариту и властно указал на запад, но поэт в этот момент потянул его за пояс и тихо попросил:

— Я хочу попрощаться с городом.

Азазелло кивнул головой, и летящие повернули вдоль по Пречистенке к центру.

Лёт был так мягок, так нечувствителен, что временами казалось поэту, будто не он плывет по воздуху над городом, а город со страшным гвалтом бежит под ним, показывая ему картины, от которых его волосы вздувались и холодели у корней.

*Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке.* Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, искрошенные цветочные вазоны. Трамваи далее стояли вереницей. С первого взгляда было понятно, что случилось. Передний трамвай наскочил у стрелки на что-то, сошел с рельс, закупорил артерию.

Но поэт не успел присмотреться, как под самыми ногами у него шарахнуло, и он видел, как оглушительно кричавший человек у стенки Манежа упал на асфальт и тотчас же красная лужа образовалась у его лица.

Поэт дрогнул, прижался к ногам Азазелло и плащом закрыл лицо на секунду, чтобы не видеть. Когда он отбросил черную ткань, он видел в Охотном ряду золотые шлемы, густейшую толпу. До него донеслись крики. Он пролетел следом за Маргаритой на высоте двенадцатого этажа и, глянув в открытое окно, успел увидеть странную сцену.

Человек в белой куртке и штанах с искаженным от долгой затаенной злобы /лицом/ стоял на голубом ковре перед каким-то гражданином в сиреневом пиджаке. Что-то кричал сиреневый человек, добиваясь чего-то от белого, но белый, *бледнея от злобы, поднял*...........

На темный балкон во втором этаже выбежал мальчишка лет шести. Окна квартиры, которой принадлежал балкон, осветились подозрительно. Мальчишка с белым лицом устремился прямо к решетке балкона, глянул вниз, и ужас выразился на его лице. Он пробежал к другой стороне балкона, примерился там, убедился, что высота такая же. Тогда лицо его исказилось судорогой, он устремился назад к балконной двери, открыл ее, но ему в лицо ударил дым. Мальчишка проворно закрыл ее, вернулся на балкон, тоскливо посмотрел на небо, тоскливо оглядел двор, потом уселся на маленькой скамеечке посредине балкона и стал глядеть на решетку.

Лицо его приобрело недетское выражение, осунулось. Он изумленно шевелил бровями, что-то шептал, соображал. Один раз тревожно оглянулся, глаза вспыхнули. Он искал водосточную трубу. Убедившись в том, что труба слишком далеко, он успокоился на своей скамейке, голову втянул в плечи и горько стал качать ею. Дым полз струйкой из-под балконной двери.

Поэт властно дернул за пояс Азазелло, но предпринять шаги не успел. Сверху поэта накрыла мелькнувшая тень, и Маргарита шарахнула мимо него на балкон. Поэт спустился пониже, и послушный Азазелло повис неподвижно. Маргарита опустилась и сказала мальчишке:

— Держись за метлу, только крепко.

Мальчишка вцепился в метлу изо всех сил обеими руками и повеселел. Маргарита подхватила его под мышки и оба спустились на землю.

— Ты почему же сидел на балконе один? — спросила Маргарита.

— Я думал, что все равно сгорю, — стыдливо улыбаясь, ответил мальчишка.

— А почему ты не прыгнул?

— Ногу можно сломать.

Маргарита схватила мальчишку за руку, и они побежали к соседнему домишке. Маргарита грохнула

метлой в дверь. Тотчас выбежали люди, какая-то простоволосая в кофте. Мальчишка что-то горячо объяснял. Завопила простоволосая.

Маргарита поднялась, и, медленно поднимаясь за нею, поэт сказал, разводя руками:

— Но дети? Позвольте! Дети!..

Усмешка исказила лицо Азазелло.

— *Я уж давно жду этого восклицания, мастер.*

— Вы ошеломили меня! Я схожу с ума, — захрипел поэт, чувствуя, что не может больше выносить дыму, выдыхая горький воздух.

Он пришел в странное беспокойство и вдруг вскричал:

— Грозу, грозу! Грозу!

Азазелло склонился к нему и шепнул с насмешкой в дьявольских глазах:

— Она идет, вот она, не волнуйте себя, мастер.

Резкий ветер в тот же миг ударил в лицо поэту. Он поднял глаза, увидел Маргариту со вздыбленными волосами, услышал ее крик: «Гроза!»

Стало темно. Туча в три цвета поднялась с неестественной быстротой. Впереди бежали клубы белого, обгоняя друг друга, потом ползло широкое черное и закрыло полмира, а потом мутно-желтое, которое, холодя сердце, неуклонно поднималось из-за крыш.

Еще раз дунуло в лицо, взвилась пыль в переулке, сверху вниз кинулась какая-то встревоженная птица, — и тотчас наползавшее черное раскроилось пополам. Сверкнул огонь. Потом ударило. Еще раз донесся вопль Маргариты:

— Гроза! — и сверху хлынула вода.

Поэт успел увидеть, как по переулку пробежали какие-то женщины, упали на колени, стали креститься и простирать руки к небу.

## ССОРА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Был вечер. Солнце падало за Москву-реку. На небе не было и следов грозы. Громадная радуга стояла над Москвой и, одним концом погрузившись в Москву-реку, пила из нее воду.

Над Москвой ходил и расплывался дым, но нигде уже не было видно огня.

Нетерпеливые черные кони копытами взрывали землю на холме.

Когда совсем завечерело, Бегемот, стоящий у обрыва, приложил лапу ко лбу, всмотрелся и доложил Воланду:

— Будь я проклят, мессир, если это не они!

В воздухе над Москвой-рекой мелькнула черная точка, увеличилась, превратилась в черный лоскут, рядом с ним сверкнуло голое тело, и через мгновение Азазелло со спутниками спустился на холм.

Поэт в лохмотьях рубашки, с лицом, выпачканным в саже, над которым волосы его казались совсем светлыми, как солома, взял за руку подругу и предстал перед Воландом.

*Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся.*

— Я рад вас видеть, друзья мои, — заговорил он, — и я полагаю, что вы не откажетесь стать моими гостями.

Поэт молчал, глядя на Воланда, молчала и Маргарита.

— Что ж, в путь без дальних разговоров, — добавил Воланд, — пора.

Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась.

— Гоп! — заорал Бегемот и, перекувыркнувшись, вскочил на коня.

Остальные еще не успели сесть, как Азазелло обратился к Воланду:

— Извольте полюбоваться, сир, — засипел он с негодованием, указывая корявым пальцем вниз на реку.

Три серые, широкие к корме, лодки, сидя на корме, задрав носы кверху, как бритвой разрезая воду, разводя после себя буйную волну с пеной, гудя пронеслись против течения и, разом смолкнув, пристали к берегу.

Из всех трех лодок высыпались на берег вооруженные люди и по команде «бегом!» бросились штурмовать холм. Лица их были как лица странных чудовищ,

с огромными глазищами серого безжизненного цвета и с хвостом вместо носа.

— Э... да они в масках, — проворчал Азазелло.

Прибытие людей более всего почему-то расстроило Бегемота. Бия себя лапами в грудь, он разорался насчет того, что это ему надоело, что он даже на лошадь не может сесть спокойно и что все эти маски ни к чему, что он раздражен!

Тем временем люди из первой шеренги из каких-то коротеньких, но зловещих ружей дали сухой залп по холму, отчего лошади, приложив уши, шарахнулись, и Маргарита еле усидела, а вороны, игравшие в голой роще перед сном, вдруг камнем стали падать на землю. Тут же густое ворчание и всхлипывание послышалось высоко в воздухе, и первый аэроплан с чудовищной скоростью, снижаясь, бесстрашно пошел к холму. За ним сверкнул, потух, опять сверкнул и приблизился второй, а далее над Москвой запело и заурчало целое звено.

— Этого я видеть равнодушно не могу! — воскликнул Бегемот и, проорав на коней: «Балуй!» — обратился к Воланду: — Дозвольте, ваше сиятельство, свистнуть.

— Ты испугаешь даму, — сухо усмехнувшись, ответил Воланд.

— Ах, нет, умоляю! Свистни! Свистни! — попросила Маргарита.

Лицо поэта пожелтело, и он задергал щекой, глядя на приближавшихся и враждебных людей.

В то же мгновение Бегемот сунул пальцы в рот и свистнул так, что вся округа зазвенела, в роще посыпались сучья, из Москвы-реки плеснуло на берег, швырнув лодки в разные стороны.

Но бесстрашные маскированные продолжали свой стремительный бег вверх и дали второй залп.

— Это свистнуто, — ядовито сказал Коровьев, глядя на Бегемота, — свистнуто, не спорю, но ежели говорить откровенно, свистнуто неважно!..

— Я не музыкант, — обиженно отозвался Бегемот и подмигнул Маргарите.

— А вот дозвольте, я попробую, — тоненько попросил Коровьев и, не дождавшись ответа, вдруг вытянулся вверх, как резинка, стал в полтора раза выше,

потом завился, как винт, всунул пальцы в рот и, раскрутившись, свистнул.

Свиста Маргарита не слыхала, но она его видела. У нее позеленело в глазах, и лошадь под ней села на задние ноги. Она видела, как с корнем вывернуло деревья в роще и швырнуло вверх, затем берег впереди наступавших треснул червивой трещиной, и пласт земли рухнул в Москву-реку, поглотив наступавшие шеренги и бронированные лодки. Вода взметнулась вверх саженей на десять, а когда она упала, железный мост по левой руке беззвучно прогнулся в середине и беспомощно обвис. Без всякого звука рухнула крайняя башня Девичьего Монастыря вдали.

— Не в ударе я сегодня, — сказал Коровьев, рассматривая свои пальцы.

— Свиньи! — воскликнул Воланд снисходительно и сел на коня.

За ним то же сделали остальные, а Азазелло поднял вздрагивающего поэта на коня...

*И кони тут же снялись и скачками понеслись* вверх по обрывам.

Последнее, что видела Маргарита, это звено аэропланов, которое оказалось над головами, и настолько невысоко, что в переднем она ясно разглядела маленькую голову в шлеме.

Тут же что-то мелькнуло в воздухе, и близко в роще ударил вверх огонь, и грохнуло так, что оборвалось от страха сердце.

Кони были уже на верхней площадке. Второй аэроплан бросил бомбу поближе, в клочья разметав деревья и землю.

— Нам намекают, что мы лишние, — вскричал Коровьев и, пригнувшись к шее жеребца, прокричал тоненько:

— Любезные... гробят!

В то же мгновение воздух засвистал в ушах Маргариты, исчезла Москва со своим дымом и Воробьевы горы — навсегда.

# НОЧЬ

## (Глава предпоследняя)

**21/IX.34 г. и далее.**

*Кони рвались* вперед, а навстречу им летели сумерки. Полет принес упоение и Маргарите, и поэту. Кони спускались к земле, били с силой ногами, отталкивались и долго неслись на высоте сосен. Высшее наслаждение было именно в приближении к земле, в ударе об нее и последующем подъеме.

Воланд скакал впереди, и любовники видели, как черный его плащ летел над черной лошадью.

Землю покрывали сумерки, и под летящими появлялись печально поблескивающие озерца и пропадали. Возникали лесные массивы, и тогда Маргарита снижалась нарочно, чтобы дышать запахом земляной смолистой весны, и конь ее, хрипя, шел, чуть не задевая копытами растрепанные страшные загадочные сосны.

Небо густело синью с каждым мгновением, но где-то в безумной дали пылал край земли, и туда держали путь всадники.

Они нарочно избрали маршрут так, что никакие ни строения, ни огни не тревожили их. Они были лицом к лицу с ночью и землей. Их не беспокоили никакие звуки, кроме ровного гудения ветра, да еще, когда они мелькали над весенними стоячими водами, лягушки провожали их громовыми концертами, и в рощах загорались светляки.

Все шестеро летели в молчании, и поэт ни о чем не хотел думать, закрыв глаза и упиваясь полетом.

Но когда сумерки сменились ночью и на небе сбоку повис тихо светящийся шар луны, когда беленькие звезды проступили в густой сини, Воланд поднял руку, и черный раструб перчатки мелькнул в воздухе и показался чугунным. По этому мановению руки кавалькада взяла в сторону.

Воланд поднимался все выше и выше, за ним послушно шла кавалькада. Теперь под ногами далеко внизу то и дело из тьмы выходили целые площади света, плыли в разных направлениях огни.

Воланд вдруг круто осадил коня в воздухе и повернулся к поэту.

— Вам, быть может, интересно видеть это?

Он указал вниз, где миллионы огней дрожа пылали.

Поэт отозвался.

— Да, пожалуйста. *Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ.*

Воланд усмехнулся и рухнул вниз. За ним со свистом, развевая гривы коней, опустилась свита.

Огни пропали, сменились тьмой, посвежело, и гул донесся снизу. Поэт вздрогнул от страха, увидев под собою черные волны, которые ходили и качались. Он крепче сжал жесткую гриву, ему показалось, что бездна всосет его и сомкнется над ним вода. Он слабо крикнул, когда бесстрашная и озорная Маргарита, крикнув, как птица, погрузилась в волну. Но она выскочила благополучно, и видно было, как в полутьме черные потоки сбегают с храпящего коня.

На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз и чуть слышную бензиновую гарь.

Воланд пошел низко, так что поэт мог хорошо рассмотреть все, что делалось внизу. Но, к сожалению, летели быстро, делая петли, и жадно глядящий поэт получил такое представление, что под ним только укатанные намасленные дороги, по которым вереницей, тихо шурша, текли лакированные каретки, и фары их во все стороны бросали свет. Повсюду горели фонари, тихо шевелились пальмы, белоснежные здания источали назойливую музыку.

Воланд беззвучно склонился к поэту.

— Дальше, дальше, — прошептал тот. Развив такую скорость, что все огни внизу смазались, как на летящей ленте, Воланд остановился *над гигантским городом*. И опять под ногами в ослепительном освещении и белых, и синеватых, и красных огней потекли во всех направлениях черные лакированные крыши, и засветились прямые, как стрелы, бульвары. Коровьев очутился рядом с поэтом с другой стороны, а неуго-

монная Маргарита понеслась и стала плавать совсем низко над площадью, на которой тысячью огней горело здание.

— Привал, может быть, хотите сделать, драгоценнейший мастер, — шепнул бывший регент, — добудем фраки и нырнем в кафе освежиться, так сказать, *после рязанских страданий*, — голос его звучал искушающе.

Но тоска вдруг сжала сердце поэта, и он беспокойно оглянулся вокруг. Ужасная мысль, что он виден, потрясла его. Но, очевидно, не были замечены ни черные грозные кони, висящие над блистающей площадью, ни нагая Маргарита. Никто не поднял головы, и какие-то люди в черных накидках сыпались из подъездов здания...

— Да вы, мастер, спуститесь поближе, слезьте, — зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился, он спрыгнул и под носом тронувшейся машины пробежал к подъезду.

И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже, рубашке, в разорванных брюках, в рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но в общем все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, становясь впереди, и отъезжали, и камни сверкали на женщинах.

Тут с холодной тоской представил вдруг поэт почему-то сумерки и озерцо, и кто-то и почему-то заиграл в голове на гармонии страдания, и пролил свет луны на холодные воды, и запахла земля. Но тут же он вспомнил убитого у манежной стены, стиснул руку нагой Маргарите и шепнул: «Летим!»

И уж далеко внизу остался город, над которым, как море, полыхал огонь, и уж погас и зарылся в землю,

когда, преодолевая свист ветра, поэт, летящий рядом с Воландом, спросил его:

— *А здесь вы не собираетесь быть?*

Усмешка прошла по лицу Воланда, но голос Коровьева ответил сзади и сбоку:

— *В свое время навестим.*

И опять уклонились от селений и огней, и вокруг была только ночь.

По мере того как они неслись, приходилось забираться все выше и выше, и поэт понял, что они в горной местности. Один раз сверкнул высокий огонь и закрылся. Луна выбросилась из-за скал, и поэт увидел, что скалы оголены, страшны, тоскливы.

Тут кони замедлили бег, и на лысом склоне Бегемот и Коровьев вырвались вперед.

Поэт увидел отчетливо, как с Коровьева свалилась его шапчонка и пенсне, и когда он поравнялся с остановившимся Коровьевым, то разглядел, что вместо фальшивого регента перед ним в голом свете луны сидел фиолетовый рыцарь с печальным и белым лицом; золотые шпоры ясно блестели на каблуках его сапог, и тихо звякали золотые поводья. Рыцарь глазами, которые казались незрячими, созерцал ночное живое светило.

*Тут последовало преображение* Воланда. С него упал черный бедный плащ. На голове у него оказался берет и свисло набок петушиное перо. Воланд оказался в черном бархате и тяжелых сапогах с тяжелыми стальными звездными шпорами. Никаких украшений не было на Воланде, а вооружение его составлял только тяжелый меч на бедре. На плече у Воланда сидел мрачный боевой черный ворон, подозрительным глазом созерцал луну.

Бегемот же съежился, лишился дурацкого костюма, превратился в черного мясистого кота с круглыми зажженными глазами.

Азазелло оказался в разных в обтяжку штанинах — одна гладкая, другая в широкую полоску, с ножом при бедре.

Поэт, не отрываясь, смотрел на Воланда и на его эскорт, и мысль о том, что он понял, кто это такой, наполнила его сердце каким-то жутковатым весельем.

Он обернулся и видел, что и Маргарита рассматри-

вает, подавшись вперед, преобразившихся всадников, и ее глаза сверкают, как у кошки.

Тут Воланд тронул шпорами лошадь, и все опять поскакали. Скалы становились все грознее и голее. Скакали над обрывом, и не раз под копытами лошадей камни обрушивались и валились в бездну, но звука их падения не было слышно. Луна сияла все ярче, и поэт убедился в том, что нигде здесь еще не было человека.

Сводчатое ущелье развернулось перед всадниками, и, гремя камнями и бренча сбруей, они влетели в него. Грохот разнесло эхом, потом вылетели на простор, и Воланд осмотрелся, а спутники его подняли головы к луне. Поэт сделал то же и увидел, что на его глазах луна заиграла и разлила невиданный свет, так что скупая трава в расщелинах стала видна ясно.

В это время откуда-то снизу и издалека донесся слабый звон часов.

— Вот она полночь! — вскричал Воланд и указал рукой вперед.

Спутники выскакали за обрыв, и поэт увидел огонь и белое в луне пятно. Когда подъехали, поэт увидел догорающий костер, каменный, грубо отесанный стол с чашей, и лужу, которая издали показалась черной, но вблизи оказалась кровавой.

За столом сидел человек в белой одежде, не доходящей до голых колен, в грубых сапогах с ремнями и перепоясанный мечом.

На подъехавших человек не обратил никакого внимания — или же не увидел их. Он поднял бритое обрюзгшее лицо к лунному диску и продолжал разговаривать сам с собой, произнося непонятные Маргарите слова.

— Что он говорит? — тихо спросила Маргарита.

— Он говорит, — своим трубным голосом пояснил Воланд, — что и ночью и при луне ему нет покоя.

Лицо Маргариты вдруг исказилось, она ахнула и тихонько крикнула:

— Я узнала! Я узнала его! — и обратилась к поэту: — А ты узнаешь?

Но поэт даже не ответил, поглощенный рассматриванием человека.

А тот, между тем, гримасничая, поглядел на луну, потом тоскливо вокруг и начал рукою чистить одежду,

пытаясь стереть с нее невидимые пятна. Он тер рукой грудь, потом выпил из чаши, вскричал:

— Банга́! Банга́!..

Но никто не пришел на этот зов, отчего опять забормотал белый человек.

— Хм, — пискнул кот, — курьезное явление. Он каждый год в такую ночь приходит сюда, ведь вот понравилось же место? И чистит руки, и смотрит на луну, и напивается.

Тут заговорил лиловый рыцарь голосом, который даже отдаленно не напоминал коровьевский, а был глуховат, безжизнен и неприязнен.

— Нет греха горшего, чем трусость. Этот человек был храбр и вот испугался кесаря один раз в жизни, за что и поплатился.

— О, как мне жаль его, о, как это жестоко! — заломив руки, простонала Маргарита.

Человек выпил еще, отдуваясь, разорвал пошире ворот одеяния, видимо, почуял чье-то присутствие, подозрительно покосился и опять забормотал, потирая руки.

— Все умывается! Ведь вот скажите! — воскликнул кот.

— Мечтает только об одном — вернуться на балкон, увидеть пальмы, и чтобы к нему привели арестанта, и чтобы он мог увидеть Иуду Искариота. Но разрушился балкон, а Иуду я собственноручно зарезал в Гефсиманском саду, — прогнусил Азазелло.

— О, пощадите его, — попросила Маргарита.

Воланд рассмеялся тихо.

— Милая Маргарита, не беспокойте себя. Об нем подумали те, кто не менее, чем мы, дальновидны.

Тут Воланд взмахнул рукой и прокричал на неизвестном Маргарите языке слово. Эхо грянуло в ответ Воланду, и ворон тревожно взлетел с плеча и повис в воздухе.

Человек, шатнувшись, встал, повернулся, не веря еще, что слышит голос, но увидел Воланда, поверил, простер к нему руки.

А Воланд, все также указывая рукой вдаль, где была луна, прокричал еще несколько слов. Человек, шатаясь, схватился за голову руками, не веря ни словам, ни явлению Воланда, и Маргарита заплакала,

видя, как лицо вставшего искажается гримасой и слезы бегут неудержимо по желтым вздрагивающим щекам.

— Он радуется, — сказал кот.

Человек закричал голосом медным и пронзительным, как некогда привык командовать в бою, и тотчас скалы рассеклись, из ущелья выскочил, прыгая, гигантский пес в ошейнике с тусклыми золотыми бляхами и радостно бросился на грудь к человеку, едва не сбив его с ног.

И человек обнял пса и жадно целовал его морду, восклицая сквозь слезы: «Банга! О, Банга!»

— Это единственное существо в мире, которое любит его, — пояснил всезнающий кот.

Следом за собакой выбежал гигант в шлеме с гребнем, в мохнатых сапогах. Бульдожье лицо его было обезображено — нос перебит, глазки мрачны и встревожены.

Человек махнул ему рукой, что-то прокричал, и с топотом вылетел конный строй хищных всадников. В мгновение ока человек, забыв свои годы, легко вскочил на коня, в радостном сумасшедшем исступлении швырнул меч в луну и, пригнувшись к луке, поскакал. Пес сорвался и карьером полетел за ним, не отставая ни на пядь; за ним, сдавив бока чудовищной лошади, взвился кентурион, а за ним полетели, беззвучно распластавшись, сирийские всадники.

Донесся вопль человека, кричавшего прямо играющей луне:

— Ешуа Га-Ноцри! Га-Ноцри!

Конный строй закрыл луну, но потом она выплыла, а ускакавшие пропали...

— Прощен! — прокричал над скалами Воланд, — прощен!

Он повернулся к поэту и сказал, усмехаясь:

— Сейчас он будет там, где хочет быть — на балконе, и к нему приведут Ешуа Га-Ноцри. Он исправит свою ошибку. Уверяю вас, что нигде в мире сейчас нет создания более счастливого, чем этот всадник. Такова ночь, мой милый мастер! Но теперь мы совершили все, что нужно было. Итак, в последний путь!

# ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было и неуклонно светало. Воланд летел стремя к стремени рядом с поэтом.

— Но скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?

— О, гость дорогой! — своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече, — о, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно — живой ли, мертвый ли!

— Нет, все же я не понимаю, — говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провел по телу руками, расхохотался.

— О, я глупец! — воскликнул он, — я понимаю! Я выпил яд и перешел в иной мир! — Он обернулся и крикнул Азазелло:

— Ты отравил меня!

Азазелло усмехнулся ему с коня.

— Понимаю: я мертв, как мертва и Маргарита, — заговорил поэт возбужденно. — Но скажите мне...

— Мессир... — подсказал кто-то.

— Да, что будет со мною, мессир?

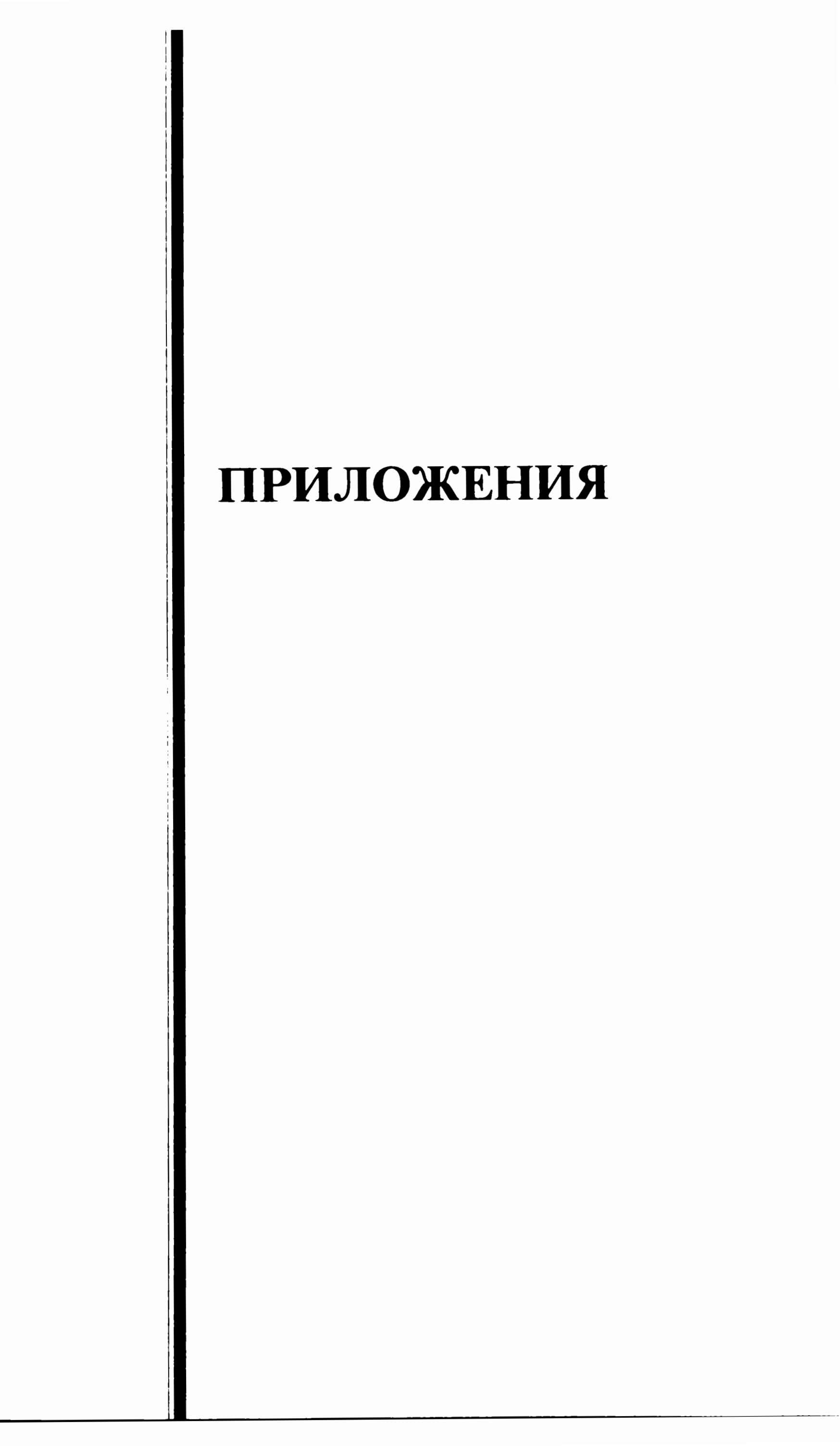
— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить — вы имели успех. Так вот, мне было велено...

— Разве вам можно велеть?

— О, да. *Велено унести вас...*

* * *

В 1936 году Булгаков резко меняет тональность и сокращает объем двух последних глав. См. «Приложения»,с. 326 («Последний полет»). — *Ред.*



# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ЧЕРНЫЙ МАГ

*(Черновики романа. Тетрадь 1. 1928—1929 гг.)*

## РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

— Значит, *гражданин Поротый,* две тысячи рублей вы уплатили гражданину Иванову за дом в Серпухове?

— Да, так. Так точно, — уплатил я. Только при этом клятвенно говорю, не получал я от Воланда никаких денег! — ответил Поротый.

Впрочем, вряд ли в отвечавшем можно было признать председателя. Сидел скуластый исхудавший совсем другой человек, и жиденькие волосы до того перепутались и слиплись у него на голове, что казались кудрявыми. Взгляд был тверд.

— Так. Откуда же взялись у вас пять тысяч рублей? Из каких же уплатили? Из собственных?

— Собственные мои, колдовские, — ответил Поротый, твердо глядя.

— Так. А куда же вы дели полученные от Воланда въездные?

— Не получал, — одним дыханием сказал Поротый.

— Это ваша подпись? — спросил человек у Поротого, указывая на подпись на контракте, где было написано: «5 тысяч рублей согласно контракту от гр. Воланда принял».

— Моя. Только я не писал.

— Гм. Значит, она подложная?

— Подложная бесовская.

— Так. А граждане Корольков и Петров видели, как вы получили. Они лгут?

— Лгут. Наваждение.

— Так. И члены правления лгут? И общее собрание?

— Так точно, лгут. Им нечистый глаза отвел. А общего собрания не было.

— Ага. Значит, не было денег за квартиру?

— Не было.

— Были ваши собственные. Откуда они у вас? Такая большая сумма?

— Зародились под подушкой.

— Предупреждаю вас, гражданин Поротый, что, разговаривая таким нелепым образом, вы сильно ухудшаете ваше положение.

— Ничего. Я пострадать хочу.

— Вы и пострадаете. Вы меня время заставляете зря терять. Вы взятки брали?

— Брал.

— Из взяток составились пять тысяч?

— Какое там. По мелочам брал. Все прожито.

— Так. Правду говорите?

— Христом Богом клянусь.

— Что это вы, партийный, а все время Бога упоминаете? Веруете?

— Какой я партийный. Так...

— Зачем же вступили в партию?

— Из корыстолюбия.

— Вот теперь вы откровенно говорите.

— А в Бога Господа верую, — вдруг сказал Поротый, — верую с сего десятого июня и во диавола.

— Дело ваше. Ну-с, итак, согласны признать, что из пяти тысяч, полученных вами за квартиру, две вы присвоили?

— Согласен, что присвоил две. Только за квартиру ничего не получал. А подпись вам тоже мерещится.

Следователь рассмеялся и головой покачал.

— Мне? Нет, не мерещится.

— Вы, товарищ следователь, поймите, — вдруг сказал проникновенно Поротый, — что я за то только и страдаю, что бес подкинул мне деньги, а я соблазнился, думал на старость угол себе в Серпухове обеспечить. Мне бы сообразить, что деньги под подушкой... Только я власть предупреждаю, что у меня во вверенном мне доме нечистая сила появилась. Ремонт в Советской России в день сделать нельзя, хоть это примите во внимание.

— Оригинальный вы человек, Поротый. Только опять-таки предупреждаю, что, если вы при помощи

этих глупых фокусов думаете выскочить, жестоко ошибаетесь. Как раз наоборот выйдет.

— Полон я скверны был, — мечтательно заговорил Поротый, строго и гордо, — людей и Бога обманывал, но с ложью не дорогами ходишь, а потом и споткнешься. В тюрьму сяду с фактическим наслаждением.

— Сядете. Нельзя на общественные деньги дома в Серпухове покупать. Кстати, адрес продавца скажите.

— В 3-й Мещанской, купца Ватрушкина бывший дом.

— Так. Прочтите, подпишите. Только на суде потом не извольте говорить, что подпись бесовская и что вы не подписывали.

— Зачем же, — кротко отозвался Поротый, овладевая ручкой, — тут уж дело чистое, — он перекрестился, — с крестом подпишем.

— Штукарь вы, Поротый. Да вы прочтите, что подписываете. Так ли я записал ваши показания?

— Зачем же. Не обидите погибшего.

## ЯКОБЫ ДЕНЬГИ

Интересно, как никому и в голову не пришло, что странности и вообще всякие необыкновенные происшествия, начавшиеся в Москве уже 12-го июня, на другой же день после дебюта м-е Воланда, имели все один, так сказать, общий корень и источник и что источник этот можно было бы и проследить. Хотя, впрочем, мудреного особенно и нет. Москва — город громадный, раскиданный нелепо, населения в нем как-никак два с половиной миллиона, да и население-то такое привычное ко всяким происшествиям, что оно уж и внимание на них перестало обращать.

В самом деле, что, скажем, удивительного в том, что 12-го июня в пивной «Новый быт» *на углу Триумфальной и Тверской* арестовали гражданина? Арестовали за дело. Выпив три кружки пива, гражданин направился к кассе и вручил кассирше червонец. Хорошо, что бедная девушка опытным глазом увидела, что червонец скверный — именно на нем одного номера не

было. Кассирша, неглупая девушка, вместо того чтобы со скандалом вернуть бумажку, сделала вид, что в кассе что-то заело, а сама мигнула малому в фартуке. Тот появился у плеча обладателя червонца. Осведомились, откуда такой червонец малахольный, недоделанный? На службе получил... Любопытные лица. На службе, гражданин, таких червонцев сроду не давали. Гражданин в замешательстве к двери. Попридержали, через минуту красное кепи и — готово. Замели гражданина.

Второй случай вышел пооригинальнее. В кондитерской в Столешниковом переулке купил прилично одетый мужчина двадцать штук пирожных. К кассе. Кассирша в негодовании.

— В чем дело?

— Вы что, гражданин, даете?

— Как «что»? Черв...

Глядь, какой же это червонец! Кассирша злобно возвращает этикетку белого цвета. Написано: «Абрау-Дюрсо, полусухое».

— Что такое?! Ради Бога, извиняюсь...

Дает другой, тут уж скандал! Конфетная бумажка «Карамель фабрики Розы Люксембург — «Наш ответ Чемберлену».

— Прошу не хулиганить!!

Все приказчицы негодуют. Публика смотрит... Господин малиновый, еле выскочил из магазина, но его вернули, заставили заплатить за измятые в коробке пирожные. Он расплатился серебряной мелочью. А выбежавши, швырнул в канавку проклятые две бумажки, причем изумленный прохожий поднял их, развернул, увидел, что это червонцы, присвоил их.

На Мясницкой у почтамта в полдень громко разрыдалась девушка, торгующая с моссельпромовского лотка шоколадом. Оказалось, что какой-то негодяй вручил и так нищей, нуждающейся продавщице червонец, а когда она через некоторое время вынула его из жестяной коробочки, служившей ей кассой, увидела в руках у себя белый листок из отрывного календаря. Потом случаи стали все чаще, и все связаны они были с деньгами. В банке на углу Петровки и Кузнецкого арестовали кассира, потому что, сдавая дневную кассу контролеру, он сдал в пачке, перевязанной и им подпи-

санной, вместо тысячи только семьсот и на триста — резаных по формату лозунгов «Религия — яд, берегите ребят».

В частном галантерейном магазине на Арбате обнаружил хозяин в кассовом ящике вместо четырех червонных бумажек четыре билета в театр на революционную пьесу. Владелец магазина их рвал зубами.

В кассе месткома газеты «Звонок» во Дворце Труда случилось похуже. Там обнаружилась недостача денег в несгораемом шкафу, а вместо недостающих червонцев — пятьдесят штук *троцкистских прокламаций самого омерзительного содержания*. Секретарь, обнаруживший их, ничего никому не сказал, но уединился в телефонной будке, и через час трое людей в черных куртках увезли прокламации, а с ними двух беспартийных сотрудников «Звонка», неизвестно куда. Случаи превращения денег в черт знает что во второй половине дня стали настолько частыми, что о них тут только расплылся по столице слушок... Из одних трамваев раз двадцать высаживали субъектов, которые развязно протягивали кондукторшам всякий хлам вроде, например, наклейки с коробки сардин «Маяк», как это было на Моховой улице.

На Смоленском рынке на закате солнца в подворотне произошла поножовщина по поводу брюк, купленных за вышедший в тираж лотерейный билет автодора. Человека зарезали с ловкостью и смелостью почти испанской.

Меж тем только один человек во всей Москве в тот же день проник в то место, о котором впоследствии только догадались... Человек этот, конечно, был буфетчик Варьете. Нужно отметить, что человечек короткого роста и с веками, прикрывающими свиные глазки крышечками, и моржовыми усами был меланхоликом. На лице у него царило не сходящее выражение скорби, и тяжкие вздохи непрерывно вырывались из его груди. Если ему приходилось платить восемь копеек в трамвае, он вздыхал так, что на него оборачивались.

В утро 12 июня, проверяя кассу, он нашел вместо одиннадцати червонцев одиннадцать страниц маленького формата из «Заколдованного места» Гоголя. Мы не беремся описывать ни лицо буфетчика, ни его жесты, ни слова.

Он к полудню закрыл буфет, облачился в желтое летнее пальто, художническую шляпу и, несмотря на жару, в калоши и, вздохами оглашая окрестности, отправился на Садовую. У подъезда Варьете он продрался сквозь толпу, причем вздохнул многозначительно.

Через пять минут он уже звонил в третьем этаже. Открыл ему маленький человечишко в черном берете. Беспрепятственно буфетчика пропустили в переднюю. Он снял калошки, аккуратно поставил их у стоечки, пальтишко снял и так вздохнул, что человечишко обернулся, но куда-то исчез.

— Мессир, к вам явился человек.

— Впустите, — послышался низкий голос.

Буфетчик вошел и раскланялся, удивление его было так сильно, что на мгновение он забыл про одиннадцать червонцев.

Вторая венецианская комната странно обставлена. Какие-то ковры всюду, много ковров. Но стояла какая-то подставка, а на ней совершенно ясно и определенно золотая на ножке чаша для святых даров.

«На аукционе купил. Ай, что делается!» — успел подумать буфетчик и тут же увидал кота с бирюзовыми глазами, сидящего на другой подставке. *Второй кот оказался в странном месте* на карнизе гардины. Он оттуда посмотрел внимательно на буфетчика. Сквозь гардины на двух окнах лился в комнату странный свет, как будто в церкви в пламенный день через оранжевое стекло. «Воняет чем-то у них в комнате», — подумал потрясенный царь бутербродов, но чем воняет, определить не сумел. Не то жжеными перьями, не то какою-то химической мерзостью.

Впрочем, от мысли о вони буфетчика тотчас отвлекло созерцание хозяина квартиры. Хозяин этот раскинулся на каком-то возвышении, одетом в золотую парчу, *на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами.*

«Батюшки, неужели же и это с аукциона продали?»

На хозяине было что-то, что буфетчик принял за халат и что на самом деле оказалось католической сутаной, а на ногах черт знает что. Не то черные подштанники, не то трико. Все это, впрочем, буфетчик рассмотрел плохо. Зато лицо хозяина разглядел. Верх-

няя губа выбрита до синевы, а борода торчит клином. Глаза буфетчику показались необыкновенно злыми, а рост хозяина, раскинувшегося на этом... ну, Бог знает на чем, неимоверным.

«Внушительный мужчина, а рожа кривая», — отметил буфетчик.

— Да-с? — басом сказал хозяин, прищуриваясь на вошедшего.

— Я, — поморгав, ответил буфетчик, — изволите ли видеть, содержатель-владелец буфета из Варьете.

— Не подумаю даже! — ответил хозяин.

Буфетчик заморгал, удивившись.

— Я, — продолжал хозяин, — проходил мимо вашего буфета, почтеннейший, *и нос вынужден был заткнуть* ..............................................................

... Бегемот!

На зов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах и вопросительно остановился.

«Дрессированный, — подумал буфетчик, — лапы до чего гадкие!»

— Ты у канцлера был? — спросил Воланд.

Буфетчик вытаращил глаза.

Кот молчал.

— Когда же он успеет? — послышался хриплый сифилитический голос из-за двери, — ведь это не ближний свет! Сейчас пошлю.

— Ну а в Наркомпросе?

— В Наркомпрос я Бонифация еще позавчера посылал, — пояснил все тот же голос.

— Ну?

— Потеха!

— Ага, ну ладно. Брысь! (Кот исчез в камине.) Итак, продолжайте, вы славно рассказываете. Так... Якобы деньги?.. Дальше-с...

Но буфетчик не сразу обрел дар дальнейших рассказов. Черненькое что-то стукнуло ему в душу, и он настороженными слезящимися глазками проводил Бегемота в камин.

— А они, стало быть, ко мне в буфет и давай их менять!

— О! Жадные твари! Но, позвольте, вы-то видели, что вам дают?

— То-то, что деньги совершенно как настоящие.
— Так что же вас беспокоит? Если они совершенно как настоящие...
— То-то, что сегодня, глядь, ан вместо червонцев резаная бумага.
— Ах, сволочь-народ в Москве! Но, однако ж, чего вы хотите от меня?
— Вы должны уплатить...
— Уплатить?!
— О таких фокусах администрацию надлежит уведомлять. Помилуйте, на 110 рублей подковали буфет.
— Я не хочу вам платить. Это скучно платить.
— Тогда вынужден я буду в суд заявить, — твердо сказал буфетчик.
— Как в суд! Рассказывают, у вас суд классовый?
— Классовый, уж будьте спокойны.
— Не погубите сироту, — сказал плаксиво Воланд и вдруг стал на колени.
«Полоумный или издевается», — подумал буфетчик.
— Лучше я вам уплачу, чем в суд идти. Засудят меня, ох засудят, как пить дадут, — сказал Воланд. — Пожалуйте бумагу, я вам обменяю.
Буфетчик полез в карман, вынул сверток, развернул его и ошалел.
— Ну-с, — нетерпеливо сказал хозяин.
— Червонцы!! — шепотом вскричал буфетчик.
Воланд сделался грозен.
— Послушайте, буфетчик! Вы мне голову пришли морочить или пьяны?
— Что же это такое делается? — залепетал буфетчик.
— Делается то, что у вас от жадности в глазах мутится, — пояснил Воланд, вдруг смягчаясь. — Любите деньги, плут, сознайтесь? У вас, наверное, порядочно припрятано, э? Тысчонки сто тридцать четыре, я полагаю, э?
Буфетчик дрогнул, потому что, ляпнув наобум, по-видимому, цифру, Воланд угадал до последней копейки — именно в сумме 134 тысяч выражались сбережения буфетчика.
— Это никого не касается, — забормотал буфетчик, совершенно пораженный.

— Мне только одно непонятно, — продолжал артист Воланд, — куда вы их денете? Вы помрете скоро, через год, в гроб вы их не запихнете, да они в гробу вам и не нужны...

— Попрошу вас не касаться моей смерти, — тихо ответил буфетчик и побледнел, и стал озираться. Ему сделалось страшно, отчего — он сам не знал.

— Я пойду, — добавил он, вращая глазами.

— Куда же вы так спешите? — любезно осведомился хозяин. — Останьтесь с нами, посидите, выпьемте. Бонифаций превосходно приготовляет напиток. Отведайте, э?

— Благодарствуйте, я не пью, — просипел буфетчик и стал пятиться.

— Куда ж вы? — спросил вдруг сзади кто-то, и вынырнула рожа. Один глаз вытек, нос провалился. Одета была рожа в короткий камзольчик, а ноги у нее разноцветные, в полосах, и башмаки острые. На голове росли рыжие волосы кустами, а брови были черного цвета, и клыки росли куда попало. Тихий звон сопровождал появление рожи, и немудрено: рукава рожи, равно как и подол камзола, были обшиты бубенчиками. Кроме того, горб. То есть не то что выпивать с этой рожей...

— Хватим? — залихватски подмигнув, предложила рожа и пододвинулась к буфетчику. Рожа сняла с подставки святую чашу и поднесла ее буфетчику.

— Не пью, — шепотом ответил буфетчик, вдавился в переднюю, увидел на стене громадную шпагу с рукоятью чашей и затем совершенно голую девицу, сидящую верхом на кресле, отделанном черепахой. Увидев буфетчика, девица сделала такой жест, что у того помутилось в глазах. Не помня сам себя, буфетчик был выпущен на лестницу, и за ним тяжело хлопнула дверь.

Тут буфетчик сел прямо на ступеньку и тяжело дышал, глаза у него лезли из-под бровей, хоть пальцами их вдавливай. Он почему-то ощупал себя. И когда коснулся головы, убедился, во-первых, что она совершенно мокрая, а во-вторых, что он шляпу забыл в квартире Воланда. Затем он проверил сверток, червонцы были налицо. Солнце било на лестницу через окно. Гулкие шаги послышались сверху. Поравнялась женщина, брезгливо поглядела на буфетчика и сказала:

— Вот так дом малахольный. Ну, с утра все пьяные, ну, прямо, потеха. Э, дядя, у тебя червонцев-то, я вижу, курочки не клюют? — И вдруг уселась рядом, кокетливо ткнула буфетчика в ребро. Тот пискнул и машинально прикрыл червонцы ладошкой.

— Имею такой план, — интимно зашептала женщина, и буфетчик, безумно глядя ей в лицо, убедился, что она миловидна и не стара, — в квартире сейчас ни одной души, все рассосались, кто куда. Ты мне червончик, а уж я тебя ублаготворю. Водочка есть, селедочка. Я утром погадала, как раз мне вышла амурная постель с трефовым королем, а трефовый король — ты.

— Что вы? — воскликнул трефовый король болезненно и спрятал червонцы.

— Ты думаешь, может, что я проститутка? — спросила женщина. — Ничего подобного. Абсолютно честная женщина, муж счетоводом служит, можешь в домкоме справиться.

— Уйдите, Христа ради, — зашептал буфетчик, поднимаясь на дрожащие ноги.

Женщина поднялась, отряхнула юбку, подобрала корзиночку и двинулась вниз.

— Э, дурбалой, о, дурак, — сказала она, — вот уж, видно, рожна с маслом надо. Да другая бы, чтоб к тебе прикоснуться только, три красненьких бы слупила, а я, на тебе, червонец! А я с генерал-губернатором отношение имела, ежели знать угодно, можешь в домкоме справиться.

Голова ее стала исчезать.

— Пошел ты... — донеслось снизу и стихло.

Поборов усилием жадности страх, буфетчик нажал кнопочку, услыхал, как за дверью загрохотали колокола. Сделав громадные глаза, но решив больше не изнурять себя удивлением, втянув голову в плечи, буфетчик ждал. Дверь приоткрылась, он дрогнул, на черном фоне сверкнуло голое тело все той же девицы.

— Что вам? — сурово спросила она.

— Я шляпочку забыл у вас...

Рыжая голая рассмеялась, пропала в полутьме, и затем из двери вылетел черный ком и прямо в физиономию буфетчику. Дверь хлопнула, за нею послышался взрыв музыки и хохот, от которого буфетчик озяб. Всмотревшись, он охнул жалобно. В руках у него была

не его шляпа, а черный берет, бархатный, истасканный, молью траченный. Буфетчик плаксиво пискнул и позвонил вторично. Опять открылась дверь, и опять голая обольстительно предстала перед буфетчиком.

— Вы опять?! — крикнула она. — Ах, да ведь вы и шпагу забыли?

«Мать честная, царица не...», — подумал буфетчик и вдруг, взвыв, кинулся бежать вниз, напялив на себя берет. Дело в том, что лицо девицы на черном фоне явственно преобразилось, превратилось в мерзкую рожу старухи.

Как сумасшедший, поскакал по ступеням буфетчик и внизу уже вздумал перекреститься. Лишь только он это сделал, как берет, взвыв диким голосом, спрыгнул у него с головы и галопом взвился вверх по лестнице.

«Вот оно что!» — подумал буфетчик, бледнея. Уже без головного убора он выбежал на расплавленный асфальт, зажмурился от лучей, уже не вмешиваясь ни во что, услыхал в левом корпусе стекольный бой и женские визги, вылетел на улицу, не торгуясь в первый раз в жизни, сел в извозничью пролетку, прохрипел:

— К Николе...

Извозчик рявкнул: «Рублик!» Полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трем свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.

— Отец Иван, — задыхаясь, буркнул буфетчик, — в срочном порядке... об избавлении от нечистой силы...

Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою...

«Благословен Бог наш...», — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.

— Шуба императора Александра Третьего, — нараспев начал отец Иван, — ненадеванная, основная цена 100 рублей!

— С пятаком — раз, с пятаком — два, с пятаком —

три!.. — отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.

— Ты что ж это, оглашенный поп, во храме делаешь? — суконным языком спросил буфетчик.

— Как что? — удивился отец Иван.

— Я тебя прошу молебен, а ты...

— Молебен. Кхе... На тебе... — ответил отец Иван. — Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!

И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.

— И ты, злодей...

— Злодей, злодей, — с неудовольствием передразнил отец Иван, — тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры...

Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил.

Каким образом до своей резиденции добрался буфетчик, он не помнил. Единственно, что известно, что, явившись в буфет, почтенный содержатель его запер, а на двери повесил замок и надпись: «Буфет закрыт сегодня».

## МУДРЕЦЫ

Нужно сказать, что, в то время как буфетчик переживал свое приключение, у здания «Варьете» стояла, все время меняясь в составе, толпа. Началось с маленькой очереди, стоявшей у двери «Ход в кассу» с восьми часов утра, когда только-только устанавливались очереди за яйцами, керосином и молоком. Примечательно появление в очереди мясистых рож барышников, обычно дежурящих под милыми колоннами Большого театра или у среднего подъезда Художественного в Камергерском. Ныне они перекочевали, и появление их было весьма знаменательно.

И точно: в «Варьете» было 2100 мест. К одиннадцати часам была продана половина. *Тут Суковский и*

*Нютон* опомнились и кинулись куда-то оба. Через подставных лиц они купили билеты и к полудню, войдя в контакт с барышниками, заработали: Суковский 125 рублей, а Нютон 90. К полудню стало страшно у кассы.

В двенадцать часов с четвертью на кассе поставлена заветная доска «Все билеты проданы на сегодня», и барышники, и просто граждане стали покупать на завтра и на послезавтра. Суковский и Нютон приняли горячее участие в операциях, причем не только никто ничего не знал об этом, /но и/ они друг о друге не знали.

В два часа барышники перестали шептать: «Есть на сегодня два в партере», и лица их сделались загадочными. Действительно, публика у «Варьете» стала волноваться, к барышникам подходили, спрашивали: «Нет ли?», и они стали отвечать сквозь зубы: «Есть кресло в шестом ряду — 50 рублей». Сперва от них испуганно отпрыгивали, а с трех дня стали брать.

В контору посыпались телефонные звонки, стали раздаваться солидные голоса, которым никак нельзя было отказать.

Все двадцать пять казенных мест Нютон расписал в полчаса, а затем пришлось разместить и приставные стулья для голосов, которые попроще. Все более к вечеру выяснялось, что в «Варьете» будет что-то особенное. Особенного, впрочем, не мало было уже и днем — за кулисами.

Во-первых, весь состав служащих *отравил жизнь Осипу Григорьевичу,* расспрашивая, что он пережил, осматривали шею Осипа, но шея оказалась, как шея, — безо всякой отметины... Осип Григорьевич сперва злился, потом смеялся, потом врал что-то о каком-то тумане и обмороке, потом врал, что голова у него осталась на плечах, а просто Воланд его загипнотизировал и публику, потом удрал домой. Рибби уверял всех, что это действительно гипноз и что такие вещи он уже двадцать раз видел в Берлине. На вопрос, а как же собака объявила: «Сеанс окончен»? — и тут не сдался, а объяснил собачий поступок чревовещанием. Правда, Нютон сильно прижал Рибби к стене, заявив клятвенно, что ни в какие сделки с Воландом он не входил, а, между тем, две колоды отнюдь не потусто-

ронние, а самые реальнейшие тут налицо. Рибби, наконец, объяснил их появление тем, что Воланд подсунул их заранее.

— Мудрено!

— Значит, фокус?!

Пожарный был прост и не врал. Сказал, что, когда голова его отлетела, он видел со стороны свое безголовое тело и смертельно испугался. Воланд, по его мнению, колдун.

Все признали, что колдун — не колдун, но действительно артист первоклассный.

Затем вышла «Вечерняя Газета» и в ней громовое сообщение о том, что *Аполлона Павловича выбросили* из должности в два счета. Следовало это сообщение непосредственно за извещением, исходящим от компетентного органа, укорявшего Аполлона Павловича в неких неэтических поступках. Каких именно — сказано не было, но по Москве зашептались, захихикали обыватели: «Зонтики... шу-шу, шу-шу...»

Вслед за «Вечерней Газетой» на головы Библейского и Нютона обрушилась «молния».

«Молния» содержала в себе следующее:

«Маслов уверовал. Освобожден. Но под Ростовом снежный занос. Может задержать сутки. Немедленно отправляйтесь Исналитуч, наведите справки Воланде, ему вида не подавая. Возможно преступник. *Педулаев*».

— Снежный занос в Ростове в июне месяце, — тихо и серьезно сказал Нютон, — он белую горячку получил во Владикавказе. Что ты скажешь, Библейский?

Но Библейский ничего не сказал. Лицо его приняло серьезный старческий вид. Он тихо поманил Нютона и из грохота и шума кулис и конторы увел в маленькую реквизитную. Там среди масок с распухшими носами две головы склонились.

— Вот что, — шепотом заговорил Библейский, — ты, Нютон, знаешь в чем дело...

— Нет, — шепнул Нютон.

— Мы с тобой дураки.

— Гм...

— Во-первых: он действительно во Владикавказе?

— Да, — твердо отозвался Нютон.

— И я говорю — да, он во Владикавказе.

Пауза.

— Ну, а ты понимаешь, — зашептал Робинский, — что это значит?

Благовест смотрел испуганно.

— Это. Значит. Что. Его отправил Воланд.

— Не мож...

— Молчи.

Благовест замолчал.

— Мы вообще поступаем глупо, — продолжал Робинский, — вместо того, чтобы сразу выяснить это и сделать из этого оргвыводы...

Он замолчал.

— Но ведь заноса нет...

Робинский посмотрел серьезно, тяжко и сказал:

— Занос есть. Все правда.

Благовест вздрогнул.

— Покажи-ка мне еще раз колоды, — приказал Робинский.

Благовест торопливо расстегнулся, нашарил в кармане что-то, выпучил глаза и вытащил два блина. Желтое масло потекло у него меж пальцев.

Благовест дрожал, а Робинский только побледнел, но остался спокоен.

— Пропал пиджак, — машинально сказал Благовест.

Он открыл дверцу печки и положил в нее блины, дверцу закрыл. За дверкой слышно было, как сильно и тревожно замяукал котенок. Благовест тоскливо оглянулся. Маски с носами, усеянными крупными, как горох, бородавками глядели со стены. Кот мяукнул раздирающе.

— Выпустить? — дрожа спросил Благовест...

Он открыл заслонку, и маленький симпатичный щенок вылез весь в саже и скуля.

Оба приятеля молча проводили взорами зверя и стали в упор разглядывать друг друга.

— Это... гипноз... — собравшись с духом, вымолвил Благовест.

— Нет, — ответил Робинский.

Он вздрогнул.

— Так что же это такое? — визгливо спросил Благовест.

Робинский не ответил на это ничего и вышел.

— Постой, постой! Куда же ты? — вслед ему закричал Благовест и услышал:

— Я еду в Исналитуч.

Воровски оглянувшись, Благовест выскочил из реквизиторской и побежал к телефону. Он вызвал номер квартиры Берлиоза и с бьющимся сердцем стал ждать голоса. Сперва ему почудился в трубке свист, пустой и далекий, разбойничий свист в поле. Затем ветер, и из трубки повеяло холодом. Затем дальний, необыкновенно густой и сильный бас запел далеко и мрачно: «*...черные скалы, вот мой покой*... черные скалы...». Как будто шакал захохотал. И опять: «черные скалы... вот мой покой...».

Благовест повесил трубку. Через минуту его уже не было в здании «Варьете».

## РОБИНСКИЙ СОЛГАЛ...

Робинский солгал, что он едет в Исналитуч. То есть поехать-то туда он поехал, но не сразу. Выйдя на Триумфальную, он нанял таксомотор и отправился совсем не туда, где помещался Исналитуч, а приехал в громадный солнечный двор, пересек его, полюбовавшись на стаю кур, клевавших что-то в выгоревшей траве, и явился в беленькое низенькое здание. Там он увидел два окошечка и возле правого небольшую очередь. В очереди стояли две печальнейших дамы в черном трауре, обливаясь время от времени слезами, и четверо смуглейших людей в черных шапочках. Все они держали в руках кипы каких-то документов. Робинский подошел к столику, купил за какую-то мелочь анкетный лист и все графы заполнил быстро и аккуратно. Затем спрятал лист в портфель и мимо очереди, прежде чем она успела ахнуть, влез в дверь. «Какая нагл...» — только и успела шепнуть дама. Сидевший в комнате, напоминающей келью, хотел было принять Робинского неласково, но вгляделся в него и выразил на своем лице улыбку. Оказалось, что сидевший учился в одном городе и в одной гимназии с Робинским. Порхнули одно или два воспоминания золотого детства. Затем Робинский изложил свою докуку — ему

нужно ехать в Берлин, и весьма срочно. Причина — заболел нежно любимый и престарелый дядя. Робинский хочет поспеть на Курфюрстендамм закрыть дяде глаза. Сидящий за столом почесал затылок. Очень трудно выдают разрешения. Робинский прижал портфель к груди. Его могут не выпустить? Его? Робинского? Лояльнейшего и преданнейшего человека? Человека, сгорающего на советской работе? Нет! Он просто-напросто желал бы повидать того, у кого хватит духу Робинскому отказать...

Сидевший за столом был тронут. Заявив, что он вполне сочувствует Робинскому, присовокупил, что он есть лишь лицо исполнительное. Две фотографические карточки? Вот они, пожалуйста. Справку из домкома? Вот она. Удостоверение от фининспектора? Пожалуйста.

— Друг, — нежно шепнул Робинский, склоняясь к сидевшему, — ответик мне завтра.

Друг выпучил глаза.

— Однако!.. — сказал он и улыбнулся растерянно и восхищенно, — раньше недели случая не было...

— Дружок, — шепнул Робинский, — я понимаю. Для какого-нибудь подозрительного человека, о котором нужно справки собирать. Но для меня?..

Через минуту Робинский, серьезный и деловой, вышел из комнаты. В самом конце очереди, за человеком в красной феске с кипой бумаг в руках, стоял... Благовест.

Молчание длилось секунд десять.

# КОПЫТО ИНЖЕНЕРА

*(Черновики романа.
Тетрадь 2. 1928—1929 гг.)*

## ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВОЛАНДА

-Г*м, — сказал секретарь.*

*— Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски.*

— Что вы, челов... Игемон, я вовсе нигде не хотел царствовать! — воскликнул арестованный по-римски.

*Слова он знал плохо.*

— Не путать, арестант, — сказал Пилат по-гречески, — это протокол Синедриона. Ясно написано — самозванец. Вот и показания добрых людей — свидетелей.

Иешуа шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по-гречески, заикаясь:

— Д-добрые свидетели, о игемон, в университете не учились. Неграмотные, и все до ужаса перепутали, что я говорил. Я прямо ужасаюсь. И думаю, что *тысяча девятьсот лет пройдет,* прежде чем выяснится, насколько они наврали, записывая за мной.

Вновь настало молчание.

— За тобой записывать? — тяжелым голосом спросил Пилат.

— А *ходит он с записной книжкой и пишет,* — заговорил Иешуа, — *этот симпатичный*... Каждое слово заносит в книжку... А я однажды заглянул и прямо ужаснулся... Ничего подобного, прямо. Я ему говорю, сожги, пожалуйста, ты эту книжку, а он вырвал ее и убежал.

— Кто? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним... Он послушал, послушал, деньги бросил на дорогу и говорит: ну, я пойду с тобой...

— Сборщик податей бросил деньги на дорогу? — спросил Пилат, поднимаясь с кресла, и опять сел.

— Подарил, — пояснил Иешуа, — проходил старичок, сыр нес, а Левий говорит ему: «На, подбирай!»

Шея у секретаря стала такой длины, как гусиная. Все молчали.

— Левий симпатичный? — спросил Пилат, исподлобья глядя на арестованного.

— Чрезвычайно, — ответил тот, — только с самого утра смотрит в рот: как только я слово произнесу — он запишет.

Видимо, таинственная книжка была больным местом арестованного.

— Кто? Что? — спросил Пилат. — За тобой? Зачем запишет?

— А вот тоже записано, — сказал арестант и указал на протоколы.

— Вон как, — сказал Пилат секретарю, — это как находите? Постой, — добавил он и обратился к арестанту:

— А скажи-ка мне: кто еще симпатичный? Марк симпатичный?

— Очень, — убежденно сказал арестованный. — Только он нервный...

— Марк нервный? — спросил Пилат, страдальчески озираясь.

— При Идиставизо его как ударил германец, и у него повредилась голова...

Пилат вздрогнул.

— Ты где же встречал Марка раньше?

— А я его нигде не встречал.

Пилат немного изменился в лице.

— Стой, — сказал он. — Несимпатичные люди есть на свете?

— Нету, — сказал убежденно арестованный, — буквально ни одного...

— Ты греческие книги читал? — глухо спросил Пилат.

— Только мне не понравились, — ответил Иешуа.

Пилат встал, повернулся к секретарю и задал вопрос:

— Что говорил ты про царство на базаре?

— Я говорил про царство истины, игемон...

— О, Каиафа, — тяжко шепнул Пилат, а вслух спросил по-гречески:

— Что есть истина? — И по-римски: Quid est veritas?

— Истина, — заговорил арестант, — прежде всего в том, что у тебя болит голова и ты чрезвычайно страдаешь, не можешь думать.

— Такую истину и я смогу сообщить, — отозвался Пилат серьезно и хмуро.

— Но тебе с мигренью сегодня нельзя быть, — добавил Иешуа.

Лицо Пилата вдруг выразило ужас, и он не мог его скрыть. Он встал с широко открытыми глазами и оглянулся беспокойно. Потом задавил в себе желание что-то вскрикнуть, проглотил слюну и сел. В зале не только не шептались, но даже не шевелились.

— А ты, игемон, — продолжал арестант, — знаешь ли, слишком много сидишь во дворце, от этого у тебя мигрени. Сегодня же как раз хорошая погода, гроза будет только к вечеру, так я тебе предлагаю — пойдем со мной на луга, я тебя буду учить истине, а ты производишь впечатление человека понятливого.

Секретарю почудилось, что он слышит все это во сне.

— Скажи, пожалуйста, — хрипло спросил Пилат, — твой хитон стирает одна женщина?

— Нет, — ответил Иешуа, — все разные.

— Так, так, так, понятно, — печально и глубоко сказал, качая головой, Пилат. — Он встал и стал рассматривать не лицо арестанта, а его ветхий, многостиранный таллиф, давно уже превратившийся из голубого в какой-то белесоватый.

— Спасибо, дружок, за приглашение! — продолжал Пилат, — но только, к сожалению, поверь мне, я вынужден отказаться. Кесарь-император будет недоволен, если я начну ходить по полям! Черт возьми! — неожиданно крикнул Пилат своим страшным эскадронным голосом.

— А я бы тебе, игемон, посоветовал пореже употреблять слово «черт», — заметил арестант.

— Не буду, не буду, не буду, — расхохотавшись, ответил Пилат, — черт возьми, не буду.

Он стиснул голову руками, потом развел ими. В

глубине открылась дверь, и затянутый легионный адъютант предстал перед Пилатом.

— Да-с? — спросил Пилат.

— *Супруга его превосходительства Клавдия Прокула* велела передать его превосходительству супругу, что всю ночь она не спала, видела три раза во сне лицо кудрявого арестанта — это самое, — проговорил адъютант на ухо Пилату, — и умоляет супруга отпустить арестанта без вреда.

— Передайте ее превосходительству супруге Клавдии Прокуле, — ответил вслух прокуратор, — что она дура. С арестованным поступят строго по закону. Если он виноват, то накажут, а если невиновен — отпустят на свободу. Между прочим, *и вам, ротмистр, следует знать,* что такова вообще практика римского суда.

Наградив адьютанта таким образом, Пилат не забыл и секретаря. Повернувшись к нему, он оскалил до предела возможного желтоватые зубы.

— Простите, что в вашем присутствии о даме так выразился.

Секретарь стал бледен, и у него похолодели ноги. Адьютант же, улыбнувшись тоскливо, забренчал ножнами и пошел, как слепой.

— Секретарю Синедриона, — заговорил Пилат, не веря, все еще не веря своей свежей голове, — передать следующее. — Писарь нырнул в свиток. — Прокуратор лично допросил бродягу и нашел, что Иешуа Га-Ноцри психически болен. Больные речи его и послужили причиной судебной ошибки. Прокуратор Иудеи смертный приговор Синедриона не утверждает. Но вполне соглашаясь с тем, что Иешуа опасен в Ершалаиме, прокуратор дает распоряжение о насильственном помещении его, Га-Ноцри, в лечебницу *в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора...*

Секретарь исчез.

— Так-то-с, царь истины, — внушительно молвил Пилат, блестя глазами.

— А я здоров, игемон, — сказал бродяга озабоченно. — Как бы опять какой путаницы не вышло?..

Пилат воздел руки к небу, некоторое время олицетворяя собою скорбную статую, и произнес потом, явно подражая самому Иешуа:

— Я тебе тоже притчу могу рассказать: во Иордане

один дурак утоп, а его за волосья таскали. Убедительно прошу тебя теперь помолчать, благо я тебя ни о чем и не спрашиваю, — но сам нарушил это молчание, спросив после паузы: — Так Марк дерется?

— Дерется, — сказал бродяга.

— Так, так, — печально и тихо молвил Пилат.

Вернулся секретарь, и в зале все замерли. Секретарь долго шептал Пилату что-то. Пилат вдруг заговорил громко, глаза его загорелись. Он заходил, диктуя, и писарь заскрипел:

— Он, наместник, благодарит господина первосвященника за его хлопоты, но убедительно просит не затруднять себя беспокойством насчет порядка в Ершалаиме. В случае, ежели бы он, порядок, почему-либо нарушился... Exeratus Romano metus non est notus...* и прокуратор в любой момент может демонстрировать господину первосвященнику ввод в Ершалаим кроме того 10-го легиона, который там уже есть, еще двух. Например, фретекского и апполинаретского. Точка.

*«Корван, корван»*, — застучало в голове у Пилата, но победоносно и светло.

И еще один вопрос задал Пилат арестанту, пока вернулся секретарь.

— Почему о тебе пишут — «египетский шарлатан»?

— А я ездил в Египет с Бен-Перахая три года тому назад, — объяснил Ешуа.

И вошел секретарь озабоченный и испуганный, подал бумагу Пилату и шепнул:

— Очень важное дополнение.

Многоопытный Пилат дрогнул и спросил сердито:

— Почему сразу не прислали?

— Только что получили и записали его показание!

Пилат впился глазами в бумагу, и тотчас краски покинули его лицо.

— Каиафа — самый страшный из всех людей в этой стране, — сквозь стиснутые зубы проговорил Пилат секретарю, — кто эта сволочь?

— Лучший сыщик в Ершалаиме, — одними губами ответил секретарь в ухо Пилата.

---

* Римскому войску страх не известен *(лат.)*.

Пилат взвел глаза на арестованного, но увидел не его лицо, а лицо другое. В потемневшем дне по залу проплыло старческое, обрюзгшее, беззубое лицо, бритое, с сифилитической болячкой, разъедающей кость на желтом лбу, с золотым редкозубым венцом на плешивой голове. Солнце зашло в душе Пилата, день померк. Он видел в потемнении зеленые каприйские сады, слышал тихие трубы. И стукнули гнусавые слова: «Lex Apuleje de majestate»*. Тревога клювом застучала у него в груди.

— Слушай, Иешуа Га-Ноцри, — заговорил Пилат жестяным голосом. — Во втором протоколе записано показание: будто ты упоминал имя великого Кесаря в своих речах... Постой, я не кончил. Маловероятное показание... Тут что-то бессвязно... Ты ведь не упоминал этого имени? А? Подумай, прежде чем ответить...

— Упоминал, — ответил Иешуа, — как же!

— Зря ты его упоминал! — каким-то далеким, как бы из соседней комнаты, голосом откликнулся Пилат, — зря, может быть, у тебя и есть какое-то дело до Кесаря, но ему до тебя — никакого... Зря! Подумай, прежде чем ответить: ты ведь, конечно... — На слове «конечно» Пилат сделал громадную паузу, и видно было, как секретарь искоса смотрит на него уважающим глазом...

— Но ты, конечно, не говорил фразы, что податей не будет?

— Нет, я говорил это, — сказал светло Га-Ноцри.

— О, мой Бог! — тихо сказал Пилат.

Он встал с кресла и объявил секретарю:

— Вы слышите, что сказал этот идиот? Что сказал этот негодяй? Оставить меня одного! Вывести караул! Здесь преступление против величества! Я спрошу наедине...

И остались одни. Подошел Пилат к Иешуа. Вдруг левой рукой впился в его правое плечо, так что чуть не прорвал ветхий таллиф, и зашипел ему прямо в глаза:

— Сукин сын! Что ты наделал?! Ты... вы... когда-нибудь произносили слова неправды?

— Нет, — испуганно ответил Иешуа.

---

* Закон Апулея об оскорблении величества *(лат.)*.

— Вы... ты... — Пилат шипел и тряс арестанта так, что кудрявые волосы прыгали у него на голове.

— Но, Бог мой, *в двадцать пять лет такое легкомыслие!* Да как же можно было? Да разве по его морде вы не видели, кто это такой? Хотя... — Пилат отскочил от Иешуа и отчаянно схватился за голову, — я понимаю: для вас все это неубедительно. Иуда из Кариот симпатичный, да? — спросил Пилат, и глаза его загорелись по-волчьи. — Симпатичный? — с горьким злорадством повторил он.

Печаль заволокла лицо Иешуа, как облако солнце.

— Это ужасно, прямо ужас... какую беду себе наделал Искариот. Он очень милый мальчик... А женщина... А вечером!..

— О, дурак! Дурак! Дурак! — командным голосом закричал Пилат и вдруг заметался как пойманный в тенета. Он то попадал в золотой пилящий столб, падавший из потолочного окна, то исчезал в тени. Испуганные ласточки шуршали в портике, покрикивали: «Искариот, искариот»...

Пилат остановился и спросил, жгуче тоскуя:

— Жена есть?

— Нет...

— Родные? Я заплачу, я дам им денег... Да нет, нет, — загремел его голос... — Вздор! Слушай ты, царь истины!.. Ты, ты, великий философ, но подати будут в наше время! И упоминать имени великого Кесаря нельзя, нельзя никому, кроме самоубийц! /Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня.../ Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другое — помути разум Каиафы сейчас. Но только не будет, не будет этого. Раскусил он, что такое теория о симпатичных людях, не разожмет когтей. Ты страшен всем! Всем! И один у тебя враг — во рту он у тебя — твой язык! Благодари его! А объем моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как все на свете! Ограничен! — истерически кричал Пилат, и неожиданно рванул себя за ворот плаща. Золотая бляха со стуком покатилась по мозаике.

— Плеть мне, плеть! Избить тебя, как собаку! — зашипел, как дырявый шланг, Пилат.

Иешуа испугался и сказал умиленно:

— Только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня...

Пилат всхлипнул внезапно и мокро, но тотчас дьявольским усилием победил себя.

— Ко мне! — вскричал он, — и зал наполнился конвойными, и вошел секретарь.

— Я, — сказал Пилат, — утверждаю смертный приговор Синедриона: бродяга виноват. Здесь laesa majestas*, но вызвать ко мне... просить пожаловать председателя Синедриона Каиафу, лично. Арестанта взять в кордегардию в темную камеру, беречь как зеницу ока. Пусть мыслит там... — голос Пилата был давно уже пуст, деревянен, как колотушка.

Солнце жгло без милосердия мраморный балкон, зацветающие лимоны и розы немного туманили головы и тихо покачивались в высоте длинные пальмовые космы.

И двое стояли на балконе и говорили по-гречески. А вдали ворчало, как в прибое, и доносило изредка на балкон слабенькие крики продавцов воды — верный знак, что толпа тысяч в пять стояла за лифостротоном, страстно ожидая развязки.

И говорил Пилат, и глаза его мерцали и меняли цвет, но голос лился, как золотистое масло:

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона. Итак, первосвященник, четырех мы имеем приговоренных к смертной казни. Двое числятся за мной, о них, стало быть, речи нет. Но двое за тобой — Вар-Равван /он же Иисус Варрава/, приговоренный за попытку к возмущению в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Иешуа Га-Ноцри, он же Иисус Назарет. Закон вам известен, первосвященник. Завтра праздник Пасхи, праздник, уважаемый нашим божественным Кесарем. Одного из двух, первосвященник, тебе, согласно закону, нужно будет выпустить. Благоволите же указать, кого из двух — Вар-Раввана Иисуса или же Га-Ноцри Иисуса. Присовокупляю, что я настойчиво ходатайствую о выпуске именно Га-Ноцри. И вот почему: нет никаких сомнений в том, что он маловменяем, практических же результатов его призывы никаких не имели. Храм оцеплен легионера-

---

* Государственная измена *(лат.)*.

ми, будет цел, все зеваки, толпой шлявшиеся за ним в последние дни, разбежались, ничего не произойдет, в том моя порука. Vanae voces popule non sunt crudiendo*. Я говорю это — Понтий Пилат. Меж тем в лице Варравы мы имеем дело с исключительно опасной фигурой. Квалифицированный убийца и бандит был взят с бою и именно с призывом к бунту против римской власти. Хорошо бы обоих казнить, самый лучший исход, но закон, закон... Итак?

И сказал замученный чернобородый Каиафа:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Вар-Раввана.

Помолчали.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну: — Повтори мне, первосвященник, за кого просишь?

— Даже после твоего ходатайства прошу выпустить Вар-Раввана.

— В третий раз повтори... Но, Каиафа, может быть, ты подумаешь?

— Не нужно думать, — глухо сказал Каиафа, — за Вар-Раввана в третий раз прошу.

— Хорошо. Ин быть по закону, ин быть по-твоему, — произнес Пилат, — умрет сегодня Иешуа Га-Ноцри.

Пилат оглянулся, окинул взором мир и ужаснулся. Не было ни солнца, ни розовых роз, ни пальм. Плыла багровая гуща, а в ней, покачиваясь, нырял сам Пилат, видел зеленые водоросли в глазах и подумал: «Куда меня несет?..»

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, но голос его уже не лился как масло и был тонок и сух. — Тесно мне, — и Пилат холодной рукой поболее открыл уже надорванный ворот без пряжки.

— Жарко сегодня, жарко, — отозвался Каиафа, зная, что будут у него большие хлопоты еще и муки, и подумал: «Идет праздник, а я которую ночь не сплю и когда же я отдохну?.. Какой *страшный ниссан выдался* в этом году...»

— Нет, — отозвался Пилат, — это не от того, что жарко, а тесновато мне стало с тобой, Каиафа, на свете. Побереги же себя, Каиафа!

---

* Ничтожные крики толпы не страшны *(лат.)*.

— Я — первосвященник, — сразу отозвался Каиафа бесстрашно, — меня побережет народ Божий. А трапезы мы с тобой иметь не будем, вина я не пью... Только дам я тебе совет, Понтий Пилат, ты когда кого-нибудь ненавидишь, все же выбирай слова. Может кто-нибудь услышать тебя, Понтий Пилат.

Пилат улыбнулся одними губами и мертвым глазом посмотрел на первосвященника.

— Разве дьявол с рогами... — и голос Пилата начал мурлыкать и переливаться, — разве только что он, друг душевный всех религиозных изуверов /которые затравили великого философа/, может подслушать нас, Каиафа, а более некому. Или я похож на юродивого младенца Иешуа? Нет, не похож я, Каиафа! Знаю, с кем говорю. Оцеплен балкон. И, вот, заявляю я тебе: не будет, Каиафа, тебе отныне покоя в Ершалаиме, покуда я наместник, я говорю — Понтий Пилат Золотое Копье!

— Разве должность наместника несменяема? — спросил Каиафа, и Пилат увидел зелень в его глазах.

— Нет, Каиафа, много раз писал ты в Рим!.. О, много! Корван, корван, Каиафа, помнишь, как я хотел напоить водою Ершалаим из Соломоновых прудов? Золотые щиты, помнишь? Нет, ничего не поделаешь с этим народом. Нет! И не водой отныне хочу я напоить Ершалаим, не водой!

— Ах, если бы слышал Кесарь эти слова, — сказал Каиафа ненавистно.

— Он /другое/ услышит, Каиафа! Полетит сегодня весть, да не в Рим, а прямо на Капри. Я! Понтий! Забью тревогу. И хлебнешь ты у меня, Каиафа, хлебнет народ Ершалаимский не малую чашу. Будешь ты пить и утром, и вечером, и ночью, только не воду Соломонову! Задавил ты Иешуа, как клопа. И понимаю, Каиафа, почему. Учуял ты, чего будет стоить этот человек... Но только помни, не забудь — выпустил ты мне Вар-Раввана, и вздую я тебе кадило на Капри и с варом, и со щитами.

— Знаю тебя, Понтий, знаю, — смело сказал Каиафа, — ненавидишь ты народ иудейский и много зла ему причинишь, но вовсе не погубишь его! Нет! Неосторожен ты.

— Ну, ладно, — молвил Пилат, и лоб его покрылся малыми капельками.

Помолчали.

— Да, кстати, священник, агентура, я слышал, у тебя очень хороша, — нараспев заговорил Пилат. — А особенно этот молоденький сыщик Юда Искариот. Ты ж береги его. Он полезный.

— Другого наймем, — быстро ответил Каиафа, с полуслова понимавший наместника.

— O gens sceleratissima, taeterrima gens! — вскричал Пилат, — O foetor judaicus!*

— Если ты еще хоть одно слово оскорбительное произнесешь, всадник, — трясущимися белыми губами откликнулся Каиафа, — уйду, *не выйду на гаввафу*.

Пилат глянул в небо и увидел над головой у себя раскаленный шар.

— Пора, первосвященник, полдень. Идем на лифостротон, — сказал он торжественно.

И на необъятном каменном помосте стоял и Каиафа, и Пилат, и Иешуа среди легионеров.

Пилат поднял правую руку, и стала тишина, как будто у подножия лифостротона не было ни живой души.

— Бродяга и тать, именуемый Иешуа Га-Ноцри, совершил государственное преступление, — заявил Пилат так, как некогда командовал эскадронами под Идиставизо, и слова его греческие полетели над несметной толпой. Пилат задрал голову и уткнул свое лицо прямо в солнце, и оно его мгновенно ослепило. Он ничего не видел, он чувствовал только, что солнце выжигает с лица его глаза, а мозг его горит зеленым огнем. Слов своих он не слышал, он знал только, что воет и довоет до конца — за что и будет Га-Ноцри сегодня казнен!

Тут ему показалось, что солнце зазвенело и заплавило ему уши, но он понял, что это взревела толпа, и поднял руку, и опять услыхал тишину, и опять над разожженным Ершалаимом закипели его слова:

— Чтобы знали все: non habemus regem nisi Caesarem!** Но Кесарю не страшен никто! И поэтому

* О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! О зловоние иудейское *(лат.)*.

** Не имеем царя, кроме Кесаря *(лат.)*.

второму преступнику Иисусу Вар-Раввану, осужденному за такое же преступление, как и преступление Га-Ноцри, Кесарь император, согласно обычаю, в честь праздника Пасхи, по ходатайству Синедриона, дарует жизнь!

Тут он ничего не понял, кроме того, что воздух вокруг него стонет и бьет в уши. И опять рукой он потушил истомившуюся толпу.

— Командиры! К приговору! — пропел Пилат, и в стенах манипулов, отделявших толпу от гаввафы, в ответ спели голоса взводных и пискливые трубы.

Копейный лес взлетел у лифостротона, а в нем засверкали римские, похожие на жаворонков, орлы. Поднялись охапки сена.

— Tiberio imperante!* — запел слепой Пилат, и короткий вой римских центурий прокатился по крышам Ершалаима:

— Да здравствует император!

— Iesus Nazarenus, — воскликнул Пилат, — Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erit!** Сына Аввы, Вар-Раввана выпустить на свободу!

Никто, никто не знает, какое лицо было у Вар-Раввана в тот миг, когда его подняли, как из гроба, из кордегардии на лифостротон. Этот человек ни на что в мире не мог надеяться, ни на какое чудо. Поэтому он шел, ведомый за правую здоровую руку Марком Крысобоем, и только молчал и улыбался. Улыбка эта была совершенно глупа и беззуба, а до допроса у Марка-центуриона Вар-Равван освещал зубным сиянием свой разбойный путь. Вывихнутая левая рука его висела как палка, и уже не ревом, а стоном, визгом покрыла толпа такую невиданную улыбку, забросала финиками и бронзовыми деньгами. Только раз в год под великий праздник мог видеть народ человека, ночевавшего уже в объятиях смерти и вернувшегося на лифостротон.

— Ну, спасибо тебе, Назарей, — вымолвил Вар шамкая, — замели тебя вовремя!

---

* По приказанию Тиберия *(лат.)*.

** Иисус Назарет по приказанию Тиберия посредством прокуратора Понтия Пилата будет казнен *(лат.)*.

Улыбка Раввана была так трогательна, что передалась Иешуа, и он ответил, про все забыв:

— Прямо, радуюсь я с тобой, добрый бандит, — иди, живи!

И Равван, свободный как ветер, с лифостротона, как в море, бросился в гущу людей, лезущих друг на друга, *и в нем пропал.*

* * *

Чтобы занять себя, Левий долго перебирал в памяти все известные ему болезни и очень хотел, чтобы какая-нибудь нашлась бы так-таки у Иешуа. Но чахотки самой верной так-таки и не было, да и других тоже. Тогда он, открывая очень осторожно правый глаз, минуя холм, смотрел на восток и начинал надеяться, что там туча. Но одной тучи мало. Нужно еще, чтобы она пришла на холм, нужно, чтобы гроза началась, а когда гроза начнется и этого мало, нужно, чтобы молния ударила, да ударила именно в крест Иешуа. О, нет. Тут было мало шансов. Тогда Левий начинал терзаться мыслью о своей ошибке. Нужно было не бежать раньше процессии на холм, а именно следовать рядом, прилипши к солдатской цепи. И, несмотря на бдительность римлян, все-таки можно было как-нибудь прорваться, добежать, ударить Иешуа в сердце ножом... А теперь поздно.

Так он думал и лежал.

Адьютант же спешился у сирийской цепи, коневоду бросил поводья, прошел сквозь римское заграждение десятого легиона, подозвал центуриона и что-то пошептал ему.

Один из легионеров уловил краем уха слова:

— Прокуратора приказ...

Удивленный центурион, откозыряв, молвил:

— Слушаю... — и прошел за цепь к крестам.

С правого креста доносилась дикая хриплая песня. Распятый на нем сошел с ума от мук к концу третьего часа и пел про виноград что-то. Но головой качал, как маятником, и мухи вяло поднимались с лица, но потом опять набрасывались на него.

На левом кресте распятый качал иным образом, косо вправо, чтобы ударять ухом по плечу.

На среднем кресте, куда попал Иешуа, ни качания, ни шевеления не было. Прокачав часа три головой, Иешуа ослабел и стал впадать в забытье. Мухи учуяли это и, слетаясь к нему все в большем количестве, наконец настолько облепили его лицо, что оно исчезло вовсе в черной шевелящейся массе. Жирные слепни сидели в самых нежных местах его тела, под ушами, на веках, в паху, сосали.

Центурион подошел к ведру, полному водой, чуть подкисленной уксусом, взял у легионера губку, насадил ее на конец копья, обмакнул ее в напиток и, придвинувшись к среднему кресту, взмахнул копьем. Густейшее гудение послышалось над головой центуриона, и мухи черные, и зеленые, и синие роем взвились над крестом. Открылось лицо Иешуа, совершенно багровое и лишенное глаз. Они заплыли.

Центурион позвал:

— Га-Ноцри!

Иешуа шевельнулся, втянул в себя воздух и наклонил голову, прижав подбородок к груди. Лицо центуриона было у его живота.

Хриплым разбойничьим голосом, со страхом и любопытством, спросил Иешуа центуриона:

— Неужели мало мучили меня? Ты зачем подошел?

Бородатый же центурион сказал ему:

— Пей.

И Иешуа сказал:

— Да, да, попить.

Он прильнул потрескавшимися вспухшими губами к насыщенной губке и, жадно всхлипывая, стал сосать ее. В ту же минуту щелки увеличились, показались немного глаза. И глаза эти стали свежеть с каждым мгновением. И в эту минуту центурион, ловко сбросив губку, молвил страстным шепотом:

— Славь великодушного игемона, — нежно кольнул Иешуа в бок, куда-то под мышку левой стороны.

Осипший голос с левого креста сказал:

— Сволочь. Любимцы завелись у Понтия?

Центурион с достоинством ответил:

— Молчи. Не полагается на кресте говорить.

Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях:

— Спасибо, Пилат... Я же говорил, что ты добр...

Глаза его стали мутнеть. В этот миг с левого креста послышалось:

— Эй, товарищ! А, Иешуа! Послушай! Ты человек большой. За что ж такая несправедливость? Э? Ты бандит и я бандит... Упроси центуриона, чтоб и мне хоть голени-то перебили... И мне сладко умереть... Эх, не услышит... Помер!..

Но Иешуа еще не умер. Он развел веки, голову повернул в сторону просящего:

— Скорее проси, — хрипло сказал он, — и за другого, а иначе не сделаю...

Проситель метнулся, сколько позволяли гвозди, и вскричал:

— Да! Да! И его! Не забудь!

Тут Иешуа совсем разлепил глаза, и левый бандит увидел в них свет.

— Обещаю, что прискачет сейчас. Потерпи, сейчас оба пойдете за мною, — молвил Иисус...

Кровь из прободенного бока вдруг перестала течь, сознание в нем быстро стало угасать. Черная туча начала застилать мозг. Черная туча начала застилать и окрестности Ершалаима. Она шла с востока, и молнии уже кроили ее, в ней погромыхивали, а на западе еще пылал костер и видно было с высоты, как *маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу* и скачет на ней второй адъютант.

Левый распятый увидал его и испустил победный, ликующий крик:

— Иешуа! Скачет!!

Но Иешуа уже не мог ему ответить. Он обвис совсем, голова его завалилась набок, еще раз он потянул в себя последний земной воздух, произнес уже совсем слабо:

— Тетелеостай*, — и умер.

И был, достоуважаемый Иван Николаевич, час восьмой.

---

* Свершилось *(греч.)*.

# ШЕСТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

И был на Патриарших Прудах час восьмой. Верхние окна на Бронной, еще секунду назад пылавшие, вдруг почернели и провалились.

Иванушка фыркнул, оглянулся и увидал, что он сидит не на скамейке, а на дорожке, поджав ноги по-турецки, а рядом с ним сидят псы во главе с Бимкой и внимательно смотрят на инженера. С инженером помещается Берлиоз на скамейке.

«Как это меня занесло на дорожку», — раздраженно подумал Иванушка, поднялся, пыль со штанов отряхнул и конфузливо присел на скамейку.

Берлиоз смотрел, не спуская прищуренных глаз с инженера.

— М-да, — наконец молвил Берлиоз, пытливо поглядывая на своего соседа, — м-да...

— М-да-с, — как-то загадочно отозвался и Иванушка.

Потом помолчал и добавил:

— А что было с Иудой?

— Это очень мило, что вы заинтересовались, — ответил инженер и ухмыльнулся. — В тот час, когда туча уже накрыла пол-Ершалаима и пальмы стали тревожно качать своими махрами, Пилат сидел на балконе, с раскрытым воротом и задрав голову. Ветер дул ему в губы, и это приносило ему облегчение. Лицо Пилата похоже было на лицо человека, который всю ночь провел в непотребном кабаке. Под глазами лежали широкие синяки, губы распухли и потрескались. Перед Пилатом на столике стояла чаша с красным вином, а у ног простиралась лужа такого же вина. Когда подали первую чашу, Пилат механически швырнул ее в лицо слуге, молвив деревянно:

— Смотри в лицо, когда подаешь... Чего глазами бегаешь? Ничего не украл ведь? А?

На коленях Пилата лежала любимая собака — желтый *травильный дог Бангá*, в чеканном ошейнике, с одним зеленым изумрудом. Голову Банги Пилат положил себе на голую грудь, и Банга лизал голую кожу приятеля воспаленным перед грозой языком.

Гробовая тишина была внутри дворца, а снаружи шумел ветерок. Видно было иногда, как тучи пыли

вдруг вздувались над плоскими крышами Ершалаима, раскинутого у ног Пилата.

— Марк! — позвал Пилат слабо.

Из-за колонны, ступая на цыпочках и все-таки скрипя мохнатыми сапогами, выдвинулся центурион, и Пилат увидел, что гребень его шляпы достигает капители колонны.

— Ну что же он? — спросил Пилат.

— Уже ведут, — ответил Марк.

— Вот, — сказал Пилат, отдуваясь, — вы такой крупный человек. Очень крупный. А между тем подследственных калечите. Деретесь. Сапогами стучите. Впрочем... что ж... у вас должность такая. Плохая должность у вас, Марк.

Марк бульдожьими глазами поглядел на Пилата, и в глазах этих стояла обида.

Затем центурион отодвинулся, услышав сзади себя звук шагов. Пилат очень оживился. Из-за Марка вышла небольшая фигурка в военном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо.

— Ступайте, Марк, и караульте, — возбужденно сказал Пилат.

Марк вышел, а фигурка аккуратно высвободилась из плаща и оказалась плотным бритым человеком лет пятидесяти, седым, но с очень розовым лицом, пухлыми щечками, приятными глазами. Аккуратненько положив плащ в кресло, фигура поклонилась Пилату и потерла ручки. Не в первый раз приходилось прокуратору видеть седого человечка, но всякий раз, как тот появлялся, прокуратор отсаживался подальше и, разговаривая, смотрел не на собеседника, а на ворону в окне. Ныне же Пилат обрадовался вошедшему, как родному брату, даже потянулся к нему.

— *Здравствуйте, Толмай* дорогой, — заговорил Пилат, — здорово. Садитесь.

— Благодарю вас, прокуратор, — приятным голосом отозвался Толмай и сел на краешек кресла, все потирая свои чистые белые небольшие руки.

— Ну как, любезный Толмай, поживает ваша семья? — очень жадно и искренне стал спрашивать Пилат.

— Спасибо, хорошо, — приятно отозвался Толмай.

— В отделении ничего новенького?

— Ничего, прокуратор, нету. Один воришка.

— Слава Богу...

Ветер вдруг загремел на балконе, пальмы согнуло, небо от края до края распороло косым слепящим зигзагом и сразу плеснуло в лицо Пилату. Стало темно. Пилат приподнялся, оперся о балюстраду и вонзил свой взор вдаль. Но ничего уже не мог рассмотреть. Холм был виден вдали, но на нем косо лило и движения никакого не существовало. Маленькие черные крестики, которые целый /день/ стояли в глазах Пилата, пропали бесследно. Блеснуло фиолетовым светом так, что на балконе стало видно до последней пылинки. Пилату показалось, что он увидел, как одинокий крохотный черный человечек карабкался вверх на холм. Но погас разрыв, все смешалось. Ударило над Ершалаимом страшно тяжко, и железные орехи вдруг швырнуло по крышам.

Над холмом уже клокотало, било и лило. Три голых трупа там уже плавали в мутной водоверти. Их трепало. А на незащищенный Лысый Череп действительно лез, срываясь ежесекундно и падая, весь в вязкой глине, до нитки мокрый, исступленный человек, левой рукой впиваясь в выступы, а правую не отрывая от пазухи с записной книжкой. Но из Ершалаима его никак не было видно. Все окрестности смешались в грозе.

Легионеры на балконе натянули тент, и Пилат с Толмаем беседовали под вой дождя. Лица их изредка освещало трепетно, затем они погружались в тьму.

— Вот какое дело, Толмай, — говорил Пилат, чувствуя, что под гром ему легче беседовать, — узнал я, что в Синедрионе есть замечательный сыщик. Э?

— Как ему не быть, — сказал Толмай.

— Иуда...

— Искариот, — докончил Толмай.

— Молодой мальчишка, говорят?

— Не стар, — сказал Толмай, — двадцать три года.

— А говорят — девятнадцать?..

— Двадцать три года три месяца, — сказал Толмай.

— Вы замечательный человек, Толмай.

— Благодарю вас, прокуратор, — сказал Толмай.

— Он где живет?

— Забыл я, прокуратор, надо справиться.

— Стоит ли, — ласково сказал Пилат. — Вы просто напрягите память.

Толмай напряг свою память, это выразилось в том, что он поднял глаза к набухшему тенту и сказал:

— В Золотом переулке в девятом номере.

— Говорят, хорошего поведения юноша?

— Чистый юноша.

— Это хорошо. Стало быть, за ним никаких преступлений нет?

— Нет, прокуратор, нету, — раздельно ответил Толмай.

— Так... Дело, знаете ли, в том, что его судьба меня беспокоит.

— Так-с, — сказал Толмай.

— Говорят, ему Каиафа денег дал?

— Тридцать /денариев/.

— Тридцать?

.............................................................................

...Пилат снял кольцо с пальца, положил его на стол и сказал:

— Возьмите на память, Толмай.

И когда уже весь город заснул, *у подножия Иродова дворца* на балконе в теплых сумерках на кушетке спал человек, обнявшись с собакой.

Пальмы стояли черные, а мрамор был голубой от луны.

— Так вот что случилось с Юдой Искариотом, Иван Николаевич.

— Угу, — молвил Иванушка.

— Должен вам сказать, — заговорил *Владимир Миронович,* — что у вас недурные знания богословские. Только непонятно мне, откуда вы все это взяли.

— Ну так, ведь... — неопределенно ответил инженер, шевельнув бровями.

— И вы любите его, как я вижу, — сказал Владимир Миронович, прищурившись.

— Кого?

— Иисуса.

— Я? — спросил неизвестный и покашлял, — кх... кх, — но ничего не ответил.

— Только, знаете ли, в евангелиях совершенно ина-

че изложена вся эта легенда, — все не сводя глаз и все прищурившись, говорил Берлиоз.

Инженер улыбнулся.

— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней.

Опять оба писателя уставились на инженера.

— Так вы бы сами и написали евангелие, — посоветовал неприязненно Иванушка.

Неизвестный рассмеялся весело и ответил:

— Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...

— *Кстати, некоторые главы из вашего евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»,* — сказал Владимир Миронович, — правда, при условии некоторых исправлений.

— Сотрудничать у вас я счел бы счастьем, — вежливо молвил неизвестный, — но ведь вдруг будет другой редактор. Черт знает, кого назначат. Какого-нибудь кретина или несимпатичного какого-нибудь...

— Говорите вы все какими-то подчеркнутыми загадками, — с некоторой досадой заметил Берлиоз, — впечатление такое, что вам известно не только глубокое прошлое, но даже и будущее.

— Для того, кто знает хорошо прошлое, будущее узнать не составляет особенного труда, — сообщил инженер.

— А вы знаете?

— До известной степени. Например, знаю, кто будет жить в вашей квартире.

— Вот как? Пока я в ней буду жить!

«Он русский, русский, он не сумасшедший, — внезапно загудело в голове у Берлиоза, — не понимаю, почему мне показалось, что он говорит с акцентом? Что такое, в конце концов, что он несет?»

— Солнце в первом доме, — забормотал инженер, козырьком ладони прикрыв глаза и рассматривая Берлиоза, как рекрута в приемной комиссии, — Меркурий во втором, луна ушла из пятого дома, шесть несчастье, вечер семь, влежку фигура. Уй! Какая ерунда выходит, Владимир Миронович!

— А что? — спросил Берлиоз.

— Да... — стыдливо хихикнув, ответил инженер, — оказывается, что вы будете четвертованы.

— Это действительно ерунда, — сказал Берлиоз.

— А что, по-вашему, с вами будет? — запальчиво спросил инженер.

— Я попаду в ад, в огонь, — сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру, — меня сожгут в крематории.

— Пари на фунт шоколаду, что этого не будет, — предложил, смеясь, инженер, — как раз наоборот: вы будете в воде.

— Утону? — спросил Берлиоз.

— Нет, — сказал инженер.

— Ну, дело темное, — сомнительно молвил Берлиоз.

— А я? — сумрачно спросил Иванушка.

На того инженер не поглядел даже и отозвался так:

— Сатурн в первом. Земля. Бойтесь фурибунды.

— Что это такое фурибунда?

— А черт их знает, — ответил инженер, — вы уж сами у доктора спросите.

— Скажите, пожалуйста, — неожиданно спросил Берлиоз, — значит, по-вашему, криков «распни его!» не было?

Инженер снисходительно усмехнулся:

— Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уместен, конечно, но в ваших!.. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат! Поясню, наконец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском бульваре, и вдруг, вообразите, публика начинает завывать: «Расстреляй, расстреляй его!» Моментально ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Миронович, во все времена толпа — чернь, Владимир Миронович!

— Знаете что, господин богослов! — резко вмешался вдруг Иванушка, — вы все-таки полегче, но-но, без хамства! Что это за слово — «чернь»? Толпа состоит из пролетариата, месье!

Глянув с большим любопытством на Иванушку в момент произнесения слова «хамство», инженер тем не

менее в бой не вступил, а с шутовской ужимочкой ответил:

— Как когда, как когда...

— Вы можете подождать? —вдруг спросил Иванушка у инженера мрачно, — мне нужно пару слов сказать товарищу.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — ответил вежливо иностранец, — я не спешу.

Иванушка сказал:

— Володя...

И они отошли в сторонку.

— Вот что, Володька, — зашептал Иванушка, сделав вид, что прикуривает у Берлиоза, — спрашивай сейчас у него документы...

— Ты думаешь?.. — шепнул Берлиоз.

— Говорю тебе! Посмотри на костюм... Это эмигрант-белогвардеец... Говорю тебе, Володька, здесь Гепеу пахнет... Это шпион...

Все, что нашептал Иванушка, по сути дела, было глупо. Никаким ГПУ здесь не пахло, и почему, спрашивается, поболтав со своим случайным встречным на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно необходимо требовать у него документы. Тем не менее у Владимира Мироновича моментально сделались полотняные какие-то неприятные глаза, и искоса он кинул предательский взгляд, чтобы убедиться, не удрал ли инженер. Но серая фигура виднелась на скамейке. Все-таки поведение инженера было в высшей степени странно.

— Ладно, — шепнул Берлиоз, и лицо его постарело.

Приятели вернулись к скамейке, и тут же изумление овладело Владимиром Мироновичем.

Незнакомец стоял у скамейки и держал в протянутой руке визитную карточку.

— Простите мою рассеянность, досточтимый Владимир Миронович. Увлекшись собеседованием, совершенно забыл рекомендовать себя вам, — проговорил незнакомец с акцентом.

Владимир Миронович сконфузился и покраснел.

«Или слышал, или уж больно догадлив, черт...» — подумал он.

— Имею честь, — сказал незнакомец и вынул карточку.

Смущенный Берлиоз увидел на карточке слова: «D-r Theodor Voland».

«Буржуйская карточка», — успел подумать Иванушка.

— В кармане у меня паспорт, — прибавил доктор Воланд, пряча карточку, — подтверждающий это.

— Вы — немец? — спросил густо-красный Берлиоз.

— Я? Да, немец! Именно немец! — так радостно воскликнул немец, как будто впервые от Берлиоза узнал, какой он национальности.

— Вы инженер? — продолжал опрос Берлиоз.

— Да! Да! Да! — подтвердил инженер, — я — консультант.

Лицо Иванушки приобрело глуповато-растерянное выражение.

— Меня вызуал, — объяснял инженер, причем начинал выговаривать слова все хуже... — я все устраиль...

— А-а... — очень почтительно и приветливо сказал Берлиоз, — это очень приятно. Вы, вероятно, специалист по металлургии?

— Не-ет, — немец помотал головой, — я по белой магии!

Оба писателя как стояли, так и сели на скамейку, а немец остался стоять.

— Там тшиновник так все запутал, так запутал......

Он стал приплясывать рядом с Христом, выделывая ногами нелепые коленца и потрясая руками. Псы оживились, загавкали на него тревожно.

— Так бокал налитый... тост заздравный просит... — пел инженер и вдруг ..........................................

— А вы, почтеннейший Иван Николаевич, здорово верите в Христа. — Тон его стал суров, акцент уменьшился.

— Началась белая магия, — пробормотал Иванушка.

— Необходимо быть последовательным, — отозвался на это консультант. — Будьте добры, — он говорил вкрадчиво, — наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.

— Просто странно, — сказал бледный Берлиоз.

— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.

— Боитесь, — коротко сказал Воланд.

— И не думаю!

— Боитесь!

Иванушка, теряясь, посмотрел на своего патрона и приятеля.

Тот поддержал Иванушку:

— Помилуйте, доктор! Ни в какого Христа он не верит, но ведь это же детски нелепо доказывать свое неверие таким способом!

— Ну, тогда вот что! — сурово сказал инженер и сдвинул брови, — позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! Да нечего на меня зенки таращить!

Тон инженера был так внезапно нагл, так странен, что у обоих приятелей на время отвалился язык. Иванушка вытаращил глаза. По теории нужно бы было сейчас же дать в ухо собеседнику, но русский человек не только нагловат, но и трусоват.

— Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд, — и трепаться, братишка, нечего было, — закричал он сердито, переходя абсолютно непонятным способом с немецкого на акцент черноморский, — трепло братишка. Тоже богоборец, антибожник. Как же ты мужикам будешь проповедовать?! Мужик любит пропаганду резкую — раз, и в два счета чтобы! Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!

Все что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.

Я интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь, — я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном. — Так смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.

— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант, — стойте!

Иванушка застыл на месте.

— После моего евангелия, после того, что я рассказал о Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — и острый палец инженера вонзился в небо. — Остановите его! Остановите!! Вы — старший!

— Это так глупо все!! — в свою очередь закричал

Берлиоз, — что у меня уже в голове мутится! Ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану!

И Иванушкин сапог вновь взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью.

И был час девятый.

— Вот! — вскричал Иванушка злобно.

— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил:

— Ну, вот, все в порядке, *и дочь ночи Мойра допряла свою нить.*

— До свидания, доктор, — сказал Владимир Миронович, — мне пора.

Мысленно в это время он вспоминал телефоны РКИ...

— Всего добренького, гражданин Берлиоз, — ответил Воланд и вежливо раскланялся. — Кланяйтесь там! — Он неопределенно помахал рукой. — Да, кстати, Владимир Миронович, ваша матушка почтенная...

..........................................................................

«...Странно, странно все-таки, — подумал Берлиоз, — откуда он это знает... Дикий разговор... Акцент то появится, то пропадет. Ну, словом, прежде всего, телефон... Все это мы разъясним...»

Дико взглянув еще раз на сумасшедшего, Берлиоз стал уходить.

— Может быть, прикажете, я ей телеграммку дам? — вдогонку крикнул инженер, — здесь телеграф на Садовой поблизости. Я бы сбегал?! А?

Владимир Миронович на ходу обернулся и крикнул Иванушке:

— Иван! На заседание не опаздывай! В девять с половиной ровно!

— Ладно, я еще домой забегу, — откликнулся Иванушка.

— Послушайте! Эй! — прокричал, сложив руки рупором, Воланд, — я забыл вам сказать, что есть еще /шестое доказательство, и оно сейчас будет вам предъявлено!../ ........................................

Над Патриаршими же закат уже сладостно распускал свои паруса с золотыми крыльями и вороны купались над липами перед сном. Пруд стал загадочен, в тенях. Псы во главе с Бимкой вереницей вдруг снялись и

побежали не спеша следом за Владимиром Мироновичем. Бимка неожиданно обогнал Берлиоза, заскочил впереди него и, отступая задом, пролаял несколько раз. Видно было, как Владимир Миронович замахнулся на него угрожающе, как Бимка брызнул в сторону, хвост зажал между ногами и провыл скорбно.

— Даже богам невозможно милого им человека избавить!.. — разразился вдруг какими-то стихами сумасшедший, приняв торжественную позу и руки воздев к небу.

— Ну, мне надо торопиться, — сказал Иванушка, — а то я на заседание опоздаю.

— Не торопитесь, милейший, — внезапно, резко и окончательно меняясь, мощным голосом молвил инженер, — клянусь подолом старой сводни, заседание не состоится, а вечер чудесный. Из помоек тянет тухлым, чувствуете жизненную вонь гнилой капусты? Горожане варят бигос... Посидите со мной...

И он сделал попытку обнять Иванушку за талию.

— Да ну вас, ей-богу! — нетерпеливо отозвался Иванушка и даже локоть выставил, спасаясь от назойливой ласки инженера. Он быстро двинулся и пошел.

Долгий нарастающий звук возник в воздухе, и тотчас из-за угла дома с Садовой на Бронную вылетел вагон трамвая. Он летел и качался, как пьяный, вертел задом и приседал, стекла в нем дребезжали, а над дугой хлестали зеленые молнии.

У турникета, выводящего на Бронную, внезапно осветилась тревожным светом таблица и на ней выскочили слова «Берегись трамвая!».

— Вздор! — сказал Воланд, — ненужное приспособление, Иван Николаевич, — случая еще не было, чтобы уберегся от трамвая тот, кому под трамвай необходимо попасть!..........................................

Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель.

*«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин»...*

Иванушка заломил картузик на затылок, выпустил /рубаху/, как сапожками топнул, двинул мехи баяна, вздохнул семисотрублевый баян и грянул:

Как поехал наш Пилат
На работу в Наркомат.
Ты-гар-га, маты-гарга!

— Трр!.. — отозвался свисток. Суровый голос послышался:

— Гражданин! Петь под пальмами не полагается. Не для того сажали их.

— В самом деле. Не видал я пальм, что ли, — сказал Иванушка, — да ну их к лысому бесу. Мне бы у Василия Блаженного на паперти сидеть...

И точно учинился Иванушка на паперти. И сидел Иванушка, погромыхивая веригами, *а из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах.* В трясущейся руке держал посох, острым концом его раздирал плиты. Били колокола. Таяло.

— Студные дела твои, царь, — сурово сказал ему Иванушка, — лют и бесчеловечен, пьешь губительные обещанные диаволом чаши, вселукавый мних. Ну, а дай мне денежку, царь Иванушка, помолюся ужо за тебя.

Отвечал ему царь, заплакавши:

— Почто пужаешь царя, Иванушка. На тебе денежку, Иванушка-верижник, Божий человек, помолись за меня!

И звякнули медяки в деревянной чашке.

Завертелось все в голове у Иванушки, и ушел под землю Василий Блаженный. Очнулся Иван на траве в сумерках на Патриарших Прудах, и пропали пальмы, а на месте их беспокойные коммуны уже липы посадили.

— Ай! — жалобно сказал Иванушка, — я, кажется, с ума сошел! Ой, конец...

Он заплакал, потом вдруг вскочил на ноги.

— Где он? — дико вскричал Иванушка, — держите его, люди! Злодей! Злодей! Куси, куси, куси, Банга, Банга!

Но Банга исчез.

На углу Ермолаевского неожиданно вспыхнул фонарь и залил улицу, и в свете его Иванушка увидел уходящего Воланда.

— Стой! — прокричал Иванушка и одним взмахом перебросился через ограду и кинулся догонять.

Весьма отчетливо он видел, как Воланд повернулся и показал ему фигу. Иванушка наддал и внезапно очутился у Мясницких ворот, у почтамта. Золотые огненные часы показали Иванушке половину десятого. Лицо Воланда в ту же секунду высунулось в окне телеграфа. Завыв, Иванушка бросился в двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок, что на Остоженке, и в нем увидел Воланда, тот, раскланявшись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка за ним, двинул в дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал:

— Зря приехали, граф Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек... Каждую среду будут ходить.

И фуражку снял с галуном.

— Застрелю! — завыл Иванушка, — с дороги, арамей!

Он взлетел во второй этаж и рассыпным звонком наполнил всю квартиру. Дверь тотчас открыл самостоятельный ребенок лет пяти. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился — зачем летом бобровая шапка, ринулся в коридор, крюк в ванной на двери оборвал, увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала:

— Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Димитриевич сейчас вернется.

— Каналья, каналья, — ответил ей Иванушка и выбежал на Каланчевскую площадь. Воланд нырнул в подъезд оригинального дома.

«Так его не поймаешь», — сообразил Иванушка, нахватал из кучи камней и стал садить ими в подъезд. Через минуту он забился трепетно в руках дворника сатанинского вида.

— Ах, ты, буржуазное рыло, — сказал дворник, давя Иванушкины ребра, — здесь кооперация, пролетарские дома. Окна зеркальные, медные ручки, штучный паркет, — и начал бить Иванушку, не спеша и сладко.

— Бей, бей! — сказал Иванушка, — бей, но помни! Не по буржуазному рылу лупишь, по пролетарскому. Я ловлю инженера, в ГПУ его доставлю.

При слове «ГПУ» дворник выпустил Иванушку, на колени стал и сказал:

— Прости, Христа ради, распятого же за нас при Понтийском Пилате. Запутались мы на Каланчевской, кого не надо лупим...

Надрав из его бороды волосьев, Иванушка скакнул и выскочил на набережной Храма Христа Спасителя. Приятная вонь поднималась с Москвы-реки вместе с туманом. Иванушка увидел несколько человек мужчин. Они снимали с себя штаны, сидя на камушках. За компанию снял и Иванушка башмаки, носки, рубаху и штаны. Снявши, посидел и поплакал, а мимо него в это время бросались в воду люди и плавали, от удовольствия фыркая. Наплакавшись, Иванушка поднялся и увидел, что нет его носков, башмаков, штанов и рубахи.

«Украли, — подумал Иванушка, — и быстро, и незаметно»...

Над Храмом в это время зажглась звезда, и побрел Иванушка в одном белье по набережной, запел громко:

В моем саду растет малина...
А я влюбилась в сукиного сына!

В Москве в это время во всех переулках играли балалайки и гармоники, изредка свистали в свистки, окна были раскрыты и в них горели оранжевые абажуры...

— Готов, — сказал чей-то бас.

## МАНИЯ ФУРИБУНДА

### (Глава из романа «Копыто инженера»)

Писательский ресторан, помещавшийся в городе Москве на бульваре, как раз насупротив памятника знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933 году осетриной, носил дикое название «Шалаш Грибоедова».

«Шалашом» его почему-то прозвал известный всей Москве необузданный лгун Козобоев — театральный

рецензент, в день открытия ресторана напившийся в нем до положения риз.

Всегда у нас так бывает, что глупое слово точно прилипнет к человеку или вещи, как ярлык. Черт знает, почему «шалаш»?! Возможно, что сыграли здесь роль давившие на алкоголические полушария проклятого Козобоева низкие сводчатые потолки ресторана. Неизвестно. Известно, что вся Москва стала называть ресторан «Шалашом».

А не будь Козобоева, дом, в коем помещался ресторан, носил бы свое официальное и законное название «Дом Грибоедова», вследствие того, что, если опять-таки не лжет Козобоев, дом этот не то принадлежал тетке Грибоедова, не то в нем проживала племянница знаменитого драматурга. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было, равно так же как и племянницы. Но это и не суть важно. Народный комиссариат просвещения, терзаемый вопросом об устройстве дел и жизни советских писателей, количество коих к тридцатым годам поднялось до угрожающей цифры 4500 человек, из них 3494 проживали в городе Москве, а шесть человек в Ленинграде...

........................................................................................

# ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ К РОМАНУ, НАПИСАННЫЕ В 1929—1931 ГОДАХ

## ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

В вечер той страшной субботы, 14 июня 1943 года, когда потухшее солнце упало за Садовую, а на Патриарших Прудах кровь несчастного Антона Антоновича смешалась с постным маслом на камушке, писательский ресторан «Шалаш Грибоедова» был полным-полон.

Почему такое дикое название? Дело вот какого рода: когда количество писателей в Союзе, неуклонно возрастая из года в год, наконец выразилось в угрожающей цифре 5011 человек, из коих 5004 проживало в Москве, а 7 человек в Ленинграде, соответствующее ведомство, озабоченное судьбой служителей муз, отвело им дом.

Дом сей помещался в глубине двора, за садом, и, по словам беллетриста Поплавкова, принадлежал некогда не то тетке Грибоедова, не то в доме проживала племянница автора знаменитой комедии.

Заранее предупреждаю, что ни здесь, ни впредь ни малейшей ответственности за слова Поплавкова я на себя не беру. Жуткий лгун, но талантливейший парнище. Кажется, ни малейшей тетки у Грибоедова не было, равно как и племянницы. Впрочем, желающие могут справиться. Во всяком случае, дом назывался грибоедовским.

Заимев славный двухэтажный дом с колоннами, писательские организации разместились в нем как надо. Все комнаты верхнего этажа отошли под канцелярии и редакции журналов, зал, где тетка якобы слушала отрывки из «Горя от ума», пошел под публичные заседания, а в подвале открылся ресторан.

В день открытия его Поплавков глянул на распи-

санные сводчатые потолки и прозвал ресторан «Шалашом».

И с того момента и вплоть до сего дня, когда дом этот стал перед безумным воспаленным моим взором в виде обуглившихся развалин, название «Шалаш Грибоедова» прилипло к зданию и в историю перейдет.

Итак, упало 14 июня солнце за Садовую в Цыганские Грузины, и над истомленным и жутким городом взошла ночь со звездами. И никто, никто еще не подозревал тогда, что ждет каждого из нас.

Столики на веранде под тентом заполнились уже к восьми часам вечера. Город дышал тяжко, стены отдавали накопленный за день жар, визжали трамваи на бульваре, электричество горело плохо, почему-то казалось, что наступает сочельник тревожного праздника, всякому хотелось боржому. Но тек холодный боржом в раскаленную глотку и ничуть не освежал. От боржому хотелось шницеля, шницель вызывал на водку, водка — жажду, в Крым, в сосновый лес!..

За столиками пошел говорок. Пыльная пудреная зелень сада молчала, и молчал *гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский,* во весь рост стоящий под ветвями с книгой в одной руке и обломком меча в другой. За три года поэт покрылся зелеными пятнами и от меча осталась лишь рукоять.

Тем, кому не хватило места под тентом, приходилось спускаться вниз, располагаться под сводами за скатертями с желтыми пятнами у стен, отделанных под мрамор, похожий на зеленую чешую. Здесь был ад.

Представляется невероятным, но тем не менее это так, что в течение часа с того момента, как редактор Марк Антонович Берлиоз погиб на Патриарших, и вплоть до того момента, как столы оказались занятыми, ни один из пришедших в «Шалаш» не знал о гибели, несмотря на адскую работу Бержеракиной, Поплавкова и телефонный гром. Очевидно, все, кто заполнял ресторан, были в пути, шли и ехали в трамваях, задыхаясь, глотая пот, пыль и мучаясь жаждой.

В служебном кабинете самого Берлиоза звонок на настольном телефоне работал непрерывно. Рвались голоса, хотели что-то узнать, что-то сообщить, но

кабинет был заперт на ключ, некому было ответить, сам Берлиоз был неизвестно где, но во всяком случае там, где не слышны телефонные звонки, и забытая лампа освещала исписанную номерами телефонов промокашку с крупной надписью «Софья дрянь». Молчал верхний теткин этаж.

В девять часов ударил странный птичий звук, побежал резаный петуший, превратясь в гром. Первым снялся из-за столика кто-то в коротких до колен штанах рижского материала, в очках колесами, с жирными волосами, в клетчатых чулках, обхватил крепко тонкую женщину с потертым лицом и пошел меж столов, виляя очень выкормленным задом. Потом пошел знаменитый беллетрист Копейко — рыжий, мясистый, затем женщина, затем лохматый беззубый с луком в бороде. В громе и звоне тарелок он крикнул тоскливо: «Не умею я!»

Но снялся и перехватил девочку лет 17-ти и стал топтать ее ножки в лакированных туфлях без каблуков. Девочка страдала от запаха водки и луку изо рта, отворачивала голову, скалила зубы, шла задом... Лакеи несли севрюгу в блестящих блюдах с крышками, с искаженными от злобы лицами ворчали ненавистно... «Виноват»... В трубу гулко кричал кто-то — «Пожарские р-раз!» Бледный, истощенный и порочный пианист маленькими ручками бил по клавишам громадного рояля, играл виртуозно. Кто-то подпел по-английски, кто-то рассмеялся, кто-то кому-то пообещал дать в рожу, но не дал... И давно, давно я понял, что в дымном подвале, *в первую из цепи страшных московских ночей, я видел ад.*

*И родилось видение.* В дни, когда никто, ни один человек не носил фрака в мировой столице, *прошел человек во фраке* ловко и бесшумно через ад, сквозь расступившихся лакеев и вышел под тент. Был час десятый, когда он сделал это, и стал, глядя гордо на гудевшую веранду, где не танцевали. Синева ложилась под глаза его, сверкал бриллиант на белой руке, гордая мудрая голова...

Мне говорил Поплавков, что он явился под тент прямо из океана, где был командиром пиратского брига, плававшего у Антильских и Багамских островов. Вероятно, лжет Поплавков. Давно не ходят в

Караибском море разбойничьи бриги и не гонятся за ними с пушечным громом быстроходные английские корветы. Лжет Поплавков...

Когда плясали все в дыму и испарениях, над бледным пианистом склонилась голова пирата и сказала тихим красивым шепотом:

— Попрошу прекратить фокстрот.

Пианист вздрогнул, спросил изумленно:

— На каком основании, Арчибальд Арчибальдович?

Пират склонился пониже, шепнул:

— Председатель Всеобписа Марк Антонович Берлиоз убит трамваем на Патриарших Прудах.

И мгновенно музыка прекратилась. И тут застыл весь «Шалаш».

Не обошлось, конечно, и без чепухи, без которой, как известно, ничего не обходится. Кто-то предложил сгоряча почтить память вставанием. И ничего не вышло. Кой-кто встал, кой-кто не расслышал. Словом — нехорошо. Трудно почтить, хмуро глядя на свиную отбивную. *Поэт же Рюхин* и вовсе нагробил. Воспаленно глядя, он предложил спеть «Вечную память». Уняли, и справедливо. Вечная память дело благое, но не в «Шалаше» ее петь, согласитесь сами!

Затем кто-то предлагал послать какую-то телеграмму, кто-то в морг захотел ехать, кто-то зачем-то отправился в кабинет Берлиоза, кто-то куда-то покатил на извозчике. Все это, по сути дела, ни к чему. Ну какие уж тут телеграммы, кому и зачем, когда человек лежит в морге на цинковом столе, а голова его лежит отдельно.

В бурном хаосе и возбуждении тут же стали рождаться слушки: несчастная любовь к акушерке Кандалаки, второе — *впал в правый уклон*. Прямо и точно сообщаю, что все это вранье. Не только никакой акушерки Кандалаки Берлиоз не любил, но и вообще никакой акушерки Кандалаки в Москве нет, есть Кондалини, но она не акушерка, а статистик на кинофабрике. Насчет правого уклона категорически заявляю — неправда. Поплавковское вранье. Если уж и впал бы Антон Антонович, то ни в коем случае *не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб*. Но он никуда не впал.

Пока веранда и внутренность гудела говором, про-

изошло то, чего еще никогда не происходило. Именно: извозчики в синих кафтанах, карауливiшие у ворот «Шалаша», вдруг полезли на резные чугунные решетки. Кто-то крикнул:

— Тю!..

Кто-то свистнул...

Затем показался маленький тепленький огонечек, а затем от решетки отделилось белое привидение. Оно проследовало быстро и деловито по асфальтовой дорожке, мимо веранды, прямо к зимнему входу в ресторан и за углом скрылось, не вызвав даже особенного изумления на веранде. Ну, прошел человек в белом, а в руках мотнулся огонечек. Однако через минуту-две в аду наступило молчание, затем это молчание перешло в возбужденный говор, а затем привидение вышло из ада на веранду. И тут все ахнули и застыли, ахнув. «Шалаш» многое видел на своем веку, но такого еще не происходило ни разу.

Привидение оказалось не привидением, а известным всей Москве поэтом Иванушкой Безродным, и Иванушка имел в руке зажженную церковную свечу зеленого воску. Огонечек метался на нем, и она оплывала. Буйные волосы Иванушки не были прикрыты никаким убором, под левым глазом был большой синяк, а щека расцарапана. На Иванушке надета была рубашка белая и белые же кальсоны с тесемками, ноги босые, а на груди, покрытой запекшейся кровью, непосредственно к коже была приколота бумажная иконка, изображающая Иисуса.

Молчание на веранде продолжалось долго, и во время его изнутри «Шалаша» на веранду валил народ с искаженными лицами.

Иванушка оглянулся тоскливо, поклонился низко и хрипло сказал:

— Здорово, православные.

От такого приветствия молчание усилилось.

Затем Иванушка наклонился под столик, на котором стояла вазочка с зернистой икрой и торчащими из нее зелеными листьями, посветил, вздохнул и сказал:

— Нету и здесь!

Тут послышались два голоса.

Бас паскудный и бесчеловечный сказал:

— Готово дело. Делириум тременс*.

А добрый тенор сказал:

— Не понимаю, как милиция его пропустила по улицам?

Иванушка услышал последнее и отозвался, глядя поверх толпы:

— На Бронной мильтон вздумал ловить, но я скрылся через забор.

И тут все увидели, что у Иванушки были когда-то коричневые глаза, а стали перламутровые, и все забыли Берлиоза, и страх и удивление вселились в сердца.

— Друзья, — вдруг вскричал Иванушка, и голос его стал и тепел и горяч, — друзья, слушайте! Он появился!

Иванушка значительно и страшно поднял свечу над головой.

— Он появился! Православные! Ловите его немедленно, иначе погибнет Москва!

— Кто появился? — выкрикнул страдальческий женский голос.

— Инженер! — хрипло крикнул Иванушка, — и этот инженер убил сегодня Антошу Берлиоза на Патриарших Прудах!

— Что? Что? Что он сказал?

— Убил! Кто? Белая горячка. Они были друзья. Помешался.

— Слушайте, кретины! — завопил Иванушка. — Говорю вам, что появился он!

— Виноват. Скажите точнее, — послышался тихий и вежливый голос над ухом Иванушки, и над этим же ухом появилось бритое внимательное лицо.

— Неизвестный консультант, — заговорил Иванушка, озираясь, и толпа сдвинулась плотнее, — погубитель появился в Москве и сегодня убил Антошу!

— Как его фамилия? — спросил вежливо на ухо.

— То-то фамилия! — тоскливо крикнул Иван, — ах, я! Черт возьми! Не разглядел я на визитной карточке фамилию! На букву Ве! На букву Ве! Граждане! Вспоминайте сейчас же, иначе будет беда Красной столице и горе ей! Во... Ву... Влу... — забормотал Иванушка, и волосы от напряжения стали ездить у него на голове.

---

* Белая горячка *(лат.)*.

— Вульф! — крикнул женский голос.

— Да не Вульф... — ответил Иванушка, — сама ты Вульф! Граждане, вот чего, я сейчас кинусь дальше ловить, а вы спосылайте кого-нибудь в Кремль, в верхний коммутатор, скажите, чтобы тотчас сажали бы стрельцов на мотоциклетки с секирами, с пулеметами в разных направлениях инженера ловить! Приметы: зубы платиновые, воротнички крахмальные, ужасного роста!

Тут Иванушка проявил беспокойство, стал заглядывать под столы, размахивать свечой.

Народ загудел... Послышалось слово — «доктор»... И лицо приятное, мясистое, лицо в огромных очках, в черной фальшивой оправе, бритое и сытое, участливо появилось у Иванушкина лица.

— Товарищ Безродный, — заговорило лицо юбилейным голосом, — вы расстроены смертью всеми нами любимого и уважаемого Антона... нет Антоши Берлиоза. Мы это отлично понимаем. Возьмите покой. Сейчас кто-нибудь из товарищей проводит вас домой, в постельку...

— Ты, — заговорил Иван и стукнул зубами, — понимаешь, что Берлиоза убил инженер! Или нет? Понимаешь, арамей?

— Товарищ Безродный! Помилуйте, — ответило лицо.

— *Нет, не помилую,* — тихо ответил Иван и, размахнувшись широко, ударил лицо по морде.

Тут догадались броситься на Ивана. Он издал визг, отозвавшийся даже на бульваре. Окна в домиках, окаймляющих сад с поэтом, стали открываться. Столик с икрой, с листьями и с бутылкой Абрау рухнул, взлетели босые ноги, кто-то упал в обморок.

В окошке возникла голова фурии, закричала:

— Царица небесная! Когда же будет этому конец? Когда, когда, наконец, власть закроет проклятый «Шалаш»! Дети оборались, не спят — каждый вечер в «Шалаше» скандал...

Мощная и волосатая рука сгребла фурию, и голова ее провалилась в окне.

В то время, когда на веранде бушевал неслыханный еще скандал, в раздевалке командир брига стоял перед швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — спросил холодно пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — отвечал швейцар трусливо, но и нагловато бегая глазами, — они ведь члены Описа...

— Ты видел, что он в подштанниках? — хладнокровно спросил пират.

Швейцар замолк, и лицо его приняло тифозный цвет. Наглость в глазках потухла. Ужас сменил ее. Он снизу вверх стал смотреть на командира. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез фрак, за ременным поясом возникли пистолеты. Он видел безжалостные глаза, черную бороду, слышал предсмертный плеск волны у борта брига и наконец увидел себя висящим с головой набок и высунутым до плеча языком на фок-марс-рее, черный флаг с мертвой головой. Океан покачивался и сверкал. Колени швейцара подогнулись, но флибустьер прекратил пытку взглядом.

— Ох, Иван, плачет по тебе биржа труда, Рахмановский милый переулок, — сквозь зубы сказал капитан.

— Арчибальд...

— Пантелея. Протокол. Милиционера, — ясно и точно распорядился авралом пират, — таксомотор. В психиатрическую.

— Пантелей, выходит... — начал было швейцар, но пират не заинтересовался этим.

— Пантелея, — повторил он и размеренно пошел внутрь.

Минут через десять весь «Шалаш» был свидетелем, как окровавленного человека, босого, в белье, поверх которого было накинуто пальто Пантелея, под руки вели к воротам. Страшные извозчики у решетки дрались кнутами за обладание Иванушкой, кричали:

— На резвой! Я возил в психическую!

Иванушка шел плача и пытался укусить за руку то правого Пантелея, то левого поэта Рюхина, и Рюхин скорбно шептал:

— Иван, Иван...

В тылу на веранде гудел народ, лакеи выметали и уносили осколки, повторялось слово «Берлиоз». В драную пролетку у ворот мостилось бледное лицо без

очков, совершенно убитое незаслуженной плюхой, и дама убитая мостилась с ним рядом.

В глазах у Рюхина затем замелькали, как во сне, огни на Страстной площади, потом бесконечные круглые огненные часы, затем толпы народа, затем каша из автомобильных фонарей, шляп...

Затем, светя и рыча и кашляя, таксомотор вкатил в какой-то волшебный сад, затем Рюхин, милиционер и Пантелей ввели Иванушку в роскошный подъезд, причем Рюхин, ослепленный техникой, все более трезвел и жадно хотел пить. Затем все оказались в большой комнате, в которой стоял столик, клеенчатая новенькая кушетка, два кресла. Круглые часы подвешены были высоко и показывали 11 с четвертью.

Милиционер, Пантелей удалились. Рюхин огляделся и увидел себя в компании двух мужчин и женщины. Все трое были в белых балахонах, очень чистых, и женщина сидела за столиком.

Иванушка, очень тихий, странно широкоплечий в Пантелеевском пальто, не плачущий, поместился под стеной и руки сложил на груди. Рюхин напился из графина с такой жадностью, что руки у него задрожали.

Тут же дверь бесшумно открылась и в комнату вошел еще один человек, тоже в балахоне, из кармашка коего торчал черный конец трубочки. Человек этот был очень серьезен. Необыкновенно весь спокоен, но при крайне беспокойных глазах. И даже по бородке его было видно, что он величайший скептик. Пессимист.

Все подтянулись.

Рюхин сконфузился, поправил поясок на толстовке и произнес:

— Здравствуйте, доктор. Позвольте познакомиться. Поэт Рюхин.

Доктор вежливо поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на Рюхина, а на Иванушку.

— А это... — почему-то понизив голос, представил Рюхин, — знаменитый поэт Иван Бездомный.

По доктору видно было, что имя это он слышит впервые в жизни, он вопросительно посмотрел на Рюхина. И тот, повернувшись к Иванушке спиной, зашептал:

— Мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Пил очень сильно? — сквозь зубы спросил доктор.

— Нет, доктор...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — ответил Рюхин, — я его вчера видел. Он речь говорил!

— Почему в белье? С постели взяли?

— Нет, доктор, он в ресторан пришел в таком виде.

— Ага, — сказал доктор так, как будто ему очень понравилось, что Иванушка в белье пришел в ресторан, — а почему окровавлен? Дрался?

Рюхин замялся.

— Так.

Тут совещание шепотом кончилось и все обратились к Иванушке.

— Здравствуйте, — сказал доктор Иванушке.

— Здорово, вредитель! — ясным громким голосом ответил Иванушка, и Рюхин от сраму захотел провалиться сквозь землю. Ему было стыдно поднять глаза на вежливого доктора, от бороды которого пахло явно одеколоном.

Тот, однако, не обиделся, а снял привычным ловким жестом пенсне с носа и спрятал его, подняв полу балахона, в задний карман брюк.

— Сколько вам лет? — спросил доктор.

— Поди ты от меня к чертям, в самом деле, — хмуро ответил Иванушка.

— Иван, Иван... — робко воскликнул Рюхин. А доктор сказал вежливо и печально, щуря близорукие глаза:

— Зачем же вы сердитесь? Я решительно не понимаю...

— Двадцать пять лет мне, — сурово ответил Иванушка, — и я завтра на вас на всех пожалуюсь. И на тебя, гнида! — отнесся он уже персонально к Рюхину.

— За что же вы хотите пожаловаться?

— За то, что меня силой схватили и притащили куда-то.

Рюхин глянул тут на Иванушку и похолодел. Глаза у Иванушки из перламутровых превратились в зеле-

ные, ясные. «Батюшки, да он вполне свеж и нормален, — подумал Рюхин. — Зачем же такая чепуха... зачем же мы малого в психическую поволокли. Нормален, только рожа расцарапана».

— Куда это меня приволокли? — надменно спросил Иван.

Рюхину захотелось конспирации, но врач сейчас же открыл тайну.

— Вы находитесь в психиатрической лечебнице, оборудованной по последнему слову техники. Кстати добавлю: где вам не причинят ни малейшего вреда и где вас никто не собирается задерживать силой.

Иванушка недоверчиво покосился, потом пробурчал:

— Хвала Аллаху, кажется, нашелся один нормальный среди идиотов, из которых первый — величайшая бездарность и балбес Пашка.

— Кто этот Пашка-бездарность? — спросил врач.

— Вот он — Рюхин, — ответил Иванушка и указал на Рюхина.

— Простите, — сказал доктор.

Рюхин был красен, и глаза его засверкали. «Вот так так, — думал он, — и сколько раз я давал себе слово не ввязываться ни в какие истории. Вот и спасибо. Свинья какая-то, и притом нормален». И горькое чувство шевельнулось в душе Рюхина.

— Типичный кулачок-подголосок, тщательно маскируется под пролетария, — продолжал Иванушка сурово обличать Рюхина, — «и развейтесь красные знамена», а посмотрели бы вы, что он думает, хе... — и Иванушка рассмеялся зловеще.

Доктор повернулся спиной к Иванушке и шепнул:

— У него нет белой горячки.

Затем повернулся к Ивану и заговорил:

— Почему, собственно, вас доставили к нам?

— Да черт их возьми, идиотов! Схватили, затолкали в такси и поволокли!

— Простите, вы пили сегодня, — осведомился доктор.

— Ничего я не пил, ни сегодня, ни вчера, — ответил Иван.

— Гм... — сказал врач, — но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?

— Вы Москву знаете? — спросил Иван.

— Да, более или менее... — протянул доктор.

— Как вы полагаете, — страстно спросил Иван, — мыслимо ли думать, чтобы вы в Москве оставили на берегу реки что-нибудь и чтобы вещь не попятили? Купаться я стал, ну и украли, понятно, и штаны, и толстовку, и туфли. А я спешил в «Шалаш».

— Свидание? — спросил врач.

— Нет, брат, не свидание, а я ловлю инженера!

— Какого инженера?

— Который сегодня на Патриарших, — раздельно продолжал Иван, — убил Антона Берлиоза. А поймать его требуется срочно, потому что он натворит таких дел, что нам всем небо с овчинку покажется.

Тут врач вопросительно отнесся к Рюхину. Переживающий еще жгучую обиду, Рюхин ответил мрачно:

— Председатель Всedруписа Берлиоз сегодня под трамвай попал.

— Он под трамвай попал, говорят?

— Его убил инженер.

— Толкнул, что ли, под трамвай?

— Да не толкнул! — Иван раздражился, — почему такое детское понимание вещей. Убил — значит толкнул! Он пальцем не коснулся Антона. Такой вам толкнет!

— А кто-нибудь еще видел кроме вас этого инженера?

— Я один. То-то и беда.

— Фамилию его знаете?

— На «Ве» фамилия, — хмуро ответил Иван. И стал потирать лоб.

— Инженер Наве?

— Да не Наве, а на букву «Ве» фамилия. Не прочитал я до конца на карточке фамилию. Да ну тебя тоже к черту. Что за допросчик такой нашелся! Убирайтесь вы от меня! Где выход?

— Помилуйте, — воскликнул доктор, — у меня и в мыслях не было допрашивать вас! Но ведь вы сообщаете такие важные вещи об убийстве, которого вы были свидетелем... Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь...

— Ну, вот именно, а эти негодяи волокут куда-то! — вскричал Иван.

— Ну вот! — вскричал и доктор, — возможно здесь недоразумение!.. Скажите же, какие меры вы приняли, чтобы поймать этого инженера?

— Слава тебе Господи, ты не вредитель, а молодец! — и Иван потянулся поцеловать, — меры я принял такие: первым делом с Москвы-реки бросился в Кремль, но у Спасских ворот стремянные стрельцы не пустили! Иди, говорят, Божий человек, проспись.

— Скажите! — воскликнул врач и головой покачал, а Рюхин забыл про обиды и вытянул шею.

— Ну-те-с, ну-те-с, — говорил врач крайне заинтересованный, и женщина за столом развернула лист и стала записывать. Санитары стояли тихо и руки держали по швам, не сводили с Ивана Безродного глаз. Часы стучали.

— Вооруженные были стрельцы?

— Пищали в руках, как полагается, — продолжал Иван, — тут я, понимаешь ли, вижу, ничего не поделаешь, и брызнул за ним на телеграф, а он проклятый вышел на Остоженку, я за ним в квартиру, а там голая гражданка в мыле и в ванне, я тут подобрал иконку и пришпилил ее к груди, потому что без иконки его не поймать... Ну... — тут Иван поднял голову, глянул на часы и ахнул.

— Батюшки, одиннадцать, — закричал он, — а я тут с вами время теряю. Будьте любезны, где у вас телефон?..

Один из санитаров тотчас загородил его спиной, но врач приказал:

— Пропустите к телефону.

И Иван уцепился за трубку и вытаращил глаза на блестящие чашки звонков. В это время женщина тихо спросила Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Родные в Москве есть?

— Нету.

— Член профсоюза?

Рюхин кивнул. Женщина записала.

— Дайте Кремль, — сказал вдруг Иван в трубку, в комнате воцарилось молчание. — Кремль? Передайте в Совнарком, чтобы послали сейчас же отряд на мотоциклетках в психиатрическую лечебницу... Говорит

Бездомный... Инженера ловить, который Москву погубит... Дура. Дура, — вскричал Иван и грохнул трубкой, — вредительница! — и с трубки соскочил рупор.

Санитар тотчас повесил трубку на крюк и загородил телефон.

— Не надо браниться в телефон! — заметил врач.

— Ну-ка, пустите-ка меня, — попросил Иван и стал искать выхода, но выход как сквозь землю провалился.

— Ну, помилуйте, — заметил врач, — куда вам сейчас идти. Поздно, вы не одеты. Я настойчиво советую вам переночевать в лечебнице, а уж днем будет видно.

— Пропустите меня, — сказал Иван глухо и грозно.

— Один вопрос, как вы узнали, что инженер убил?

— Он про постное масло знал заранее, что Аннушка его разольет! — вскрикнул Иван тоскливо, — он с Пилатом Понтийским лично разговаривал... Пустите...

— Помилуйте, куда вы пойдете!

— Мерзавцы, — вдруг взвыл Иван, и перед женщиной засверкала никелированная коробка и склянки, выскочившие из выдвижного ящика.

— Ах, так, ах, так... — забормотал Иван, — это, стало быть, нормального человека силой задерживать в сумасшедшем доме. Гоп! — И тут Иван, сбросив Пантелеево пальто, вдруг головой вперед бросился в окно, прикрытое наглухо белой шторой. Коварная сеть за шторой без всякого вреда для Ивана спружинила и мягко бросила поэта назад и прямо в руки санитаров. И в эту минуту в руках у доктора оказался шприц. Рюхин застыл на месте.

— Ага, — прохрипел Иван, — вот какие шторочки завели в домиках, ага... — Рюхин глянул в лицо Ивану и увидел, что оно покрылось потом, а глаза помутнели, — понимаем! Помогите! Помогите!

Но крик Ивана не разнесся по зданию. Обитые мягким, стеганые стены не пустили воплей несчастного никуда. Лица санитаров исказились и побагровели.

— Ад-ну... адну минуту, голову, голову... — забормотал врач, и тоненькая иголочка впилась в кожу поэта, — вот и все, вот и все... — и он выхватил иглу, — можно отпустить.

Санитары тотчас разжали руки, а женщина выпустила голову Ивана.

— Разбойники! — прокричал тот слабо, как бы томно, метнулся куда-то в сторону, — еще прокричал: — И был час девятый!.. — но вдруг сел на кушетку... — Какая же ты сволочь, — обратился он к Рюхину, но уже не криком, а печальным голосом. Затем повернулся к доктору и пророчески грозно сказал:

— Ну, пусть погибает Красная столица, я в лето от Рождества Христова 1943-е все сделал, чтобы спасти ее! Но... но победил ты меня, сын погибели, и заточили меня, спасителя.

Он поднялся и вытянул руки, и глаза его стали мутны, но неземной красоты.

— И увижу се в огне пожаров, в дыму увижу безумных бегущих по Бульварному Кольцу... — тут он сладко и зябко передернул плечами, зевнул... и заговорил мягко и нежно:

— Березки, талый снег, мостки, а под мостки с гор потоки. Колокола звонят, хорошо, тихо...

Где-то за стеной протрещал звоночек, и Рюхин раскрыл рот: стеганая стена ушла вверх, открыв лакированную красную стену, а затем та распалась и беззвучно на резиновых шинах въехала кровать. Ивана она не заинтересовала. Он глядел вдаль восторженно, слушал весенние громовые потоки и колокола, слышал пение, стихи...

— Ложитесь, ложитесь, — услышал Иван голос приятный и негрозный. Правда, на мгновение его перебил густой и тяжелый бас инженера и тоже сказал «ложитесь», но тотчас же потух.

Когда кровать с лежащим Иваном уходила в стену, Иван уже спал, подложив ладонь под изуродованную щеку. Стена сомкнулась. Стало тихо и мирно, и вверху на стене приятно стучали часы.

— Доктор... это что же, он, стало быть, болен? — спросил Рюхин тихо, смятенно.

— И очень серьезно, — ответил доктор, сквозь пенсне проверяя то, что написала женщина. Он устало зевнул, и Рюхин увидел, что он очень нервный, вероятно, добрый и, кажется, нуждающийся человек...

— Какая же это болезнь у него?

— Мания фурибунда, — ответил доктор и добавил, — по-видимому.

— Это что такое? — спросил Рюхин и побледнел.

— Яростная мания, — пояснил доктор и закурил дрянную смятую папироску.

— Это, что ж, неизлечимо?

— Нет, думаю, излечимо.

— И он останется здесь?

— Конечно.

Тут доктор изъявил желание попрощаться и слегка поклонился Рюхину. Но Рюхин спросил заискивающе:

— Скажите, доктор, что это он все инженера ловит и поминает! Видел он какого-нибудь инженера?

Доктор вскинул на Рюхина глаза и ответил:

— Не знаю.

Потом подумал, зевнул, страдальчески сморщился, поежился и добавил:

— Кто его знает, может быть, и видел какого-нибудь инженера, который поразил его воображение...

И тут поэт и врач расстались.

Рюхин вышел в волшебный сад с каменного крыльца дома скорби и ужаса. Потом долго мучился. Все никак не мог попасть в трамвай. Нервы у него заиграли. Он злился, чувствовал себя несчастным, хотел выпить. Трамваи пролетали переполненные. Задыхающиеся люди висели, уцепившись за поручни. И лишь в начале второго Рюхин совсем больным неврастеником приехал в «Шалаш». И тот был пуст. На веранде сидели только двое. Толстый и нехороший, в белых брюках и желтом поясе, по которому вилась золотая цепочка от часов, и женщина. Толстый пил рюмочкой водку, а женщина ела шницель. Сад молчал, и ад молчал.

Рюхин сел и больным голосом спросил малый графинчик... Он пил водку и чем больше пил, тем становился трезвей и тем больше темной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе...

**Помоги, Господи, кончить роман.**
**1931 г.**

# ПОЛЕТ ВОЛАНДА

— Об чем волынка, граждане? — спросил Бегемот и для официальности в слове «граждане» сделал ударение на «да». — Куда это вы скакаете?

..........................................................................

Кота в Бутырки? Прокурор накрутит вам хвосты.

..........................................................................

Свист.

...и стая галок поднялась и улетела.

— Это свистнуто, — снисходительно заметил Фагот, — не спорю, — свистнуто! Но, откровенно говоря, свистнуто неважно.

— Я не музыкант, — отозвался Бегемот и сделал вид, что обиделся.

— Эх, ваше здоровье! — пронзительным тенором обратился Фагот к Воланду, — дозвольте уж мне, старому регенту, свистнуть.

— Вы не возражаете? — вежливо обратился Воланд к Маргарите и ко мне.

— Нет, нет, — счастливо вскричала Маргарита, — пусть свистнет! Прошу вас! Я так давно не веселилась!

— Вам посвящается, — сказал галантный Фагот и предпринял некоторые приготовления. Вытянулся, как резинка, и устроил из пальцев замысловатую фигуру. Я глянул на лица милиционеров, и мне показалось, что им хочется прекратить это дело и уехать.

Затем Фагот вложил фигуру в рот. Должен заметить, что свиста я не услыхал, но я его увидал. Весь кустарник вывернуло с корнем и унесло. В роще не осталось ни одного листика. Лопнули обе шины в мотоциклетке и треснул бак. Когда я очнулся, я видел, как сползает берег в реку, а в мутной пене плывут эскадронные лошади. Всадники же сидят на растрескавшейся земле группами.

— Нет, не то, — со вздохом сказал Фагот, осматривая пальцы, — не в голосе я сегодня.

— А вот это уже и лишнее, — сказал Воланд, указывая на землю, и тут я разглядел, что человек с

портфелем лежит раскинувшись и из головы течет кровь.

— Виноват, мастер, я здесь ни при чем. Это он головой стукнулся об мотоциклетку.

— Ах, ах, бедняжка, ах, — явно лицемерно заговорил весельчак Бегемот, наклоняясь к павшему, — уж не осталась бы супруга вдовою из-за твоего свиста.

— Ну-с, едем!

.......................................................................................

Нежным голосом завел Фагот... «черные скалы мой покой...».

.......................................................................................

— Ты встретишь там Шуберта и светлые утра.

## КОНСУЛЬТАНТ С КОПЫТОМ

На закате двое вышли на Патриаршие Пруды. Первый был лет тридцати, второй — двадцати четырех. Первый был в пенсне, лысоватый, гладко выбритый, глаза живые, одет в гимнастерку, защитные штаны и сапоги. Ножки тоненькие, но с брюшком.

Второй в кепке, блузе, носящей идиотское название «толстовка», в зеленой гаврилке и дешевеньком сером костюме. Парусиновые туфли. Особая примета: над правой бровью грандиозный прыщ.

Свидетели? То-то, что свидетелей не было, за исключением одного: домработницы Анны Семеновой, служащей у гражданки Клюх-Пелиенко. Впоследствии на допросе означенная Семенова Анна показала, что: а) у Клюх-Пелиенко она служит третий год, б) Клюх — ведьма... Семенова собиралась подавать в народный суд за то, что та (Клюх) ее (Семенову) обозвала «экспортной дурой», желая этим сказать, что она (Семенова) не простая дура, а исключительная. Что в профсоюз она платит аккуратно, что на Патриарших Прудах она оказалась по приказанию Клюх, чтобы прогулять сына Клюх Вову. Что Вова золотушен, что Вова идиот (экспортный). Велено водить Вову на Патриаршие Пруды.

Товарищ Курочкин, на что был опытный человек, но еле избавился от всего этого потока чепухи и поставил вопрос в упор: о чем они говорили и откуда

вышел профессор на Патриаршие? По первому вопросу отвечено было товарищем Семеновой, что лысенький в пенсне ругал господа бога, а молодой слушал, а к тому времени, как человека зарезало, они с Вовой уже были дома. По второму — ничего не знает. И ведать не ведает. И если бы она знала такое дело, то она бы и не пошла на Патриаршие. Словом, товарищ Курочкин добился только того, что товарищ Семенова действительно дура, так что и в суд, собственно, у нее никаких оснований подавать на гражданку Клюх нету. Поэтому отпустил ее с миром. А более действительно в аллее у Пруда, как на грех, никого не было.

Так что уж позвольте мне рассказывать, не беспокоя домработницу.

Что ругал он господа бога — это, само собой, глупости. Антон Миронович Берлиоз (потому что это именно был он) вел серьезнейшую беседу с Иваном Петровичем Тешкиным, заслужившим громадную славу под псевдонимом Беспризорный. Антону Миронычу нужно было большое антирелигиозное стихотворение в очередную книжку журнала. Вот он и предлагал кой-какие установки Ване Беспризорному.

Солнце в громе, удушье, в пыли падало за Садовое Кольцо, Антон Миронович, сняв кепочку и вытирая платком лысину, говорил, и в речи его слышались имена ..............................................................................

Иванушка рассмеялся и сказал:

— В самом деле, если бог вездесущ, то, спрашивается, зачем Моисею понадобилось на гору лезть, чтобы с ним беседовать? Превосходнейшим образом он мог с ним и внизу поговорить.

В это время и показался в аллее гражданин. Откуда он вышел? В этом-то весь и вопрос. Но и я на него ответить не могу. Товарищу Курочкину удалось установить ..............................................................

# ГЛАВЫ РОМАНА, ДОПИСАННЫЕ И ПЕРЕПИСАННЫЕ В 1934—1936 ГОДАХ

**30/X.34.**

**Дописать раньше, чем умереть!**

## ОШИБКА ПРОФЕССОРА СТРАВИНСКОГО

В то время как раз, как вели Никанора Ивановича, Иван Бездомный после долгого сна открыл глаза и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с чистейшими белыми стенами, с удивительным ночным столиком, сделанным из какого-то неизвестного светлого металла, и с величественной белой шторой во всю стену.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, очень отчетливо припомнил страшную смерть Берлиоза, но она не вызвала уже прежнего потрясения. Иван огляделся, увидел в столике кнопку, и вовсе не потому, что в чем-нибудь нуждался, а по своей привычке без надобности трогать предметы позвонил.

Тотчас же перед Иваном предстала толстая женщина в белом халате, нажала кнопку в стене, и штора ушла вверх. Комната сразу посветлела, и за легкой решеткой, отгораживающей окно, увидел Иван чахлый подмосковный бор, понял, что находится за городом.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина, и, словно по волшебству, стена ушла в сторону, и блеснули краны, и взревела где-то вода.

Через минуту Иван был гол. Так как Иван придерживался мысли, что мужчине стыдно купаться при женщине, то он ежился и закрывался руками. Женщина заметила это и сделала вид, что не смотрит на поэта.

Теплая вода понравилась поэту, который вообще в прежней своей жизни не мылся почти никогда, и он не удержался, чтобы не заметить с иронией:

— Ишь ты! Как в «Национале»!

Толстая женщина на это горделиво ответила:

— Ну, нет, гораздо лучше. За границей нет такой лечебницы. Интуристы каждый день приезжают осматривать.

Иван глянул на нее исподлобья и ответил:

— До чего вы все интуристов любите. А среди них разные попадаются.

Действительно было лучше, чем в «Национале», и, когда Ивана после завтрака вели по коридору на осмотр, бедный поэт убедился в том, до чего чист, беззвучен этот коридор.

Одна встреча произошла случайно. Из белых дверей вывели маленькую женщину в белом халатике. Увидев Ивана, она взволновалась, вынула из кармана халатика игрушечный пистолет, навела его на Ивана и вскричала:

— Сознавайся, белобандит!

Иван нахмурился, засопел, а женщина выстрелила губами «Паф!», после чего к ней подбежали и увели ее куда-то за двери.

Иван обиделся.

— На каком основании она назвала меня белобандитом?

Но женщина успокоила Ивана.

— Стоит ли обращать внимание. Она больная. Со всеми так разговаривает. Пожалуйте в кабинет.

В кабинете Иван долго размышлял, как ему поступить. Было три пути. Первый: кинуться на все блестящие инструменты и какие-то откидные стулья и все это поломать. Второй: сейчас же все про Понтия Пилата и ужасного убийцу рассказать и добиться освобождения. Но Иван был человеком с хитрецой и вдруг сообразил, что, пожалуй, скандалом толку не добьешься. Относительно рассказа тоже как-то не было уверенности, что поймут такие тонкие вещи, как Понтий Пилат в комбинации с постным маслом, таинственным убийством и прочим.

Поэтому Иван избрал третий путь — замкнуться в гордом молчании.

Это ему выполнить не удалось, так как пришлось отвечать на ряд неприятнейших вопросов, вроде такого, например, что не болел ли Иван сифилисом. Иван ответил мрачно «нет» и далее отвечал «да» и «нет», подвергся осмотру и какому-то впрыскиванию и решил дожидаться кого-нибудь главного.

Главного он дождался после завтрака в своей комнате. Иван выпил чаю, без аппетита съел два яйца всмятку.

После этого дверь в его комнату открылась и вошло очень много народу в белых балахонах. Впереди шел, как предводитель, бритый, как актер, человек лет сорока с лишним, с приятными темными глазами и вежливыми манерами.

— Доктор Стравинский, — приветливо сказал бритый, усаживаясь в креслице с колесиками у постели Ивана.

— Вот, профессор, — негромко сказал один из мужчин в белом и подал Иванушкин лист. «Кругом успели исписать», — подумал Иван хмуро.

Тут Стравинский перекинулся несколькими загадочными словами со своими помощниками, причем слух Ивана, не знавшего никакого языка, кроме родного, поразило одно слово, и это слово было «фурибунда». Иван изменился в лице, что-то стукнуло ему в голову и вспомнились вдруг закат на Патриарших и беспокойные вороны.

Стравинский, сколько можно было понять, поставил себе за правило соглашаться со всем, что ему говорили, и все одобрять. По крайней мере, что бы ему ни говорили, он на все со светлым выражением лица отвечал: «Славно! Славно!»

Когда ординаторы перестали бормотать, Стравинский обратился к Ивану:

— Вы — поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван и вдруг почувствовал необыкновенное отвращение к поэзии и самые стихи свои, которые еще недавно ему очень нравились, вспомнил с неудовольствием. В свою очередь, он спросил Стравинского:

— Вы — профессор?

Стравинский вежливо наклонил голову.

— Вы здесь главный?

Стравинский и на это поклонился, а ординаторы улыбнулись.

— Мне с вами нужно поговорить.

— Я к вашим услугам, — сказал Стравинский.

— Вот что, — заговорил Иван, потирая лоб, — вчера вечером на Патриарших Прудах я встретился с неким таинственным гражданином, который заранее знал о смерти Миши Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.

— Пилат... Пилат... это тот, который жил при Хри-

сте? — прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый, — подтвердил Иван.

— А кто это Миша Берлиоз? — спросил Стравинский.

— Берлиоза не знаете? — неодобрительно сказал Иван.

Стравинский улыбнулся виновато и сказал:

— Фамилию композитора Берлиоза я слышал...

Это сообщение сбило Ивана с толку, потому что он про композитора Берлиоза не слыхал.

Опять он потер лоб.

— Композитор Берлиоз, — заговорил Иван, — однофамилец Миши Берлиоза. Миша Берлиоз — известнейший редактор и секретарь Миолита, — сурово сказал Иван.

— Ага, — сказал Стравинский. — Итак, вы говорите, он умер, этот Миша?

— Вчера он попал под трамвай, — веско ответил Иван, — причем этот самый загадочный субъект...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большою понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского, — сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло, а он и поскользнулся на Аннушкином масле ровно через час. Как вам это понравится? — многозначительно сказал Иван и прищурился на Стравинского.

Он ожидал большого эффекта, но такого эффекта не последовало, и Стравинский, при полном молчании ординаторов, задал следующий вопрос:

— Виноват, а кто эта Аннушка?

Иван расстроился, и лицо его передернуло.

— Аннушка здесь не важна, — сказал он, нервничая, — черт ее знает, кто она такая! Просто дура какая-то с Садовой улицы! А важно то, что он заранее знал о постном масле. Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно сказал Стравинский и коснулся Иванушкина колена, — продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и чувствуя, что только спокойствие может помочь делу. — Этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственная личность, обладающая необыкновенной силой, и зада-

ча заключается в том, чтобы его немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед в Москве.

— Вы хотите помочь его арестовать, я правильно вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен, — подумал Иван, — среди беспартийных иногда попадаются на редкость умные!»

— Мой долг советского подданного его немедленно арестовать, а меня силою задержали здесь! Прошу меня выпустить сейчас же!

— Слушаюсь, — покорно сказал Стравинский, — я вас не держу. Нет никакого смысла задерживать в лечебнице здорового человека, тем более что у меня и мест не хватает. И я немедленно выпущу вас отсюда, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы — нормальны?

Тут наступила полнейшая тишина, и толстая в белом благоговейно посмотрела на профессора, а Иван растерянно еще раз подумал: «Положительно, умен!»

Прежде чем ответить, он, однако, очень подумал и наконец сказал твердо:

— Я нормален.

— Ну, вот и славно! — с облегчением воскликнул Стравинский, — ну, а если так, то будем рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день.

Тут Стравинский вооружился исписанным Иванушкиным листом.

— В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия.

Стравинский начал загибать длинные пальцы на левой руке, глядя в исписанный лист.

— Прикололи себе к коже груди английской булавкой иконку. Было?

— Было.

— Явились в ресторан со свечкой в руке, в одном белье и в этом ресторане ударили по лицу одного гражданина. После этого вы ударили швейцара. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили прислать стрельцов на мотоциклетках. Затем сделали попытку выброситься в окно и ударили санитара. Спрашивается: возможно ли при этих условиях кого-либо поймать? Вы человек нормальный и сами ответите — никоим образом. Вы желаете уйти отсюда — пожалуйста! Позвольте узнать, куда вы направитесь отсюда?

— В Гепеу, — значительно ответил Иван.

— Непосредственно отсюда?

— Непосредственно, — сказал Иванушка, несколько теряясь под взглядом Стравинского.

— А на квартиру не заедете? — вдруг спросил Стравинский.

— Не заеду, — сказал Иван, — некогда мне тут по квартирам разъезжать. Он улизнет.

— Так! Что же вы скажете в Гепеу в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата, — сказал Иван, и глаза его вспыхнули сумрачным огнем.

— Ну, вот и славно! — окончательно покоренный, воскликнул профессор и, обратившись к толстой белой, приказал ей:

— Прасковья Васильевна! Выпишите гражданина Попова в город! Эту комнату не занимать, постельное белье не менять. Через два часа он будет опять здесь: ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках!

С этими словами профессор Стравинский поднялся. За ним поднялись все ординаторы.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

— На том основании, — немедленно усевшись опять, сказал Стравинский, — что, как только вы, явившись в кальсонах в Гепеу, скажете, что вы вчера виделись с человеком, который был знаком с Понтием Пилатом, как тотчас вас привезут туда, откуда вы уехали, то есть в эту самую комнату.

— При чем здесь кальсоны? — спросил, смятенно оглядываясь, Иван.

— Главным образом, Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь на вас казенное белье, мы его снимем и выдадим вам ваше одеяние. А вы явились к нам в ковбойке и в кальсонах. А домой вы не собирались заехать. Я же вам своих брюк дать не могу, на мне одна пара. А далее последует Пилат. И дело готово!

Тут странное случилось с Иваном. Его воля пропала. Он почувствовал себя слабым и нуждающимся в совете.

— Так что же делать? — спросил он тихо.

— Вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Зачем вам, спрашивается, самому, встревоженному, изнервничавшемуся человеку, бе-

гать по городу, рассказывать про Понтия Пилата! Вас примут за сумасшедшего! Останьтесь здесь и спокойно изложите все ваши обвинения против этого человека, которого вы хотите поймать, на бумаге. Ничего нет проще, как переслать этот документ куда следует. И если мы имеем дело с преступлением, как вы говорите, все это разъяснится очень быстро.

— Понял, — твердо сказал Иван, — прошу выдать мне бумагу, чернила и Евангелие.

— Вот и славно! — воскликнул покладистый Стравинский, — Прасковья Васильевна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову бумагу, коротенький карандаш и Евангелие.

— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно ответила Прасковья Васильевна.

— Напрасно нет, — сказал Стравинский, — нет, нет, а вот, видите, понадобилось. Велите немедленно купить у букинистов.

Тут Стравинский поднялся и обратился к Ивану:

— Попробуйте составить ваше заявление, но не напрягайте мозг. Если не выйдет сегодня, не беда. Выйдет завтра. Поймать всегда успеете, уверяю вас. Возьмите тепловатую ванну. Если станет скучно, позвоните немедленно: придет к вам ординатор, вы с ним поговорите. Вообще, располагайтесь поудобнее, — задушевно прибавил Стравинский и сейчас же вышел, а следом за ним вышла и вся его свита.

## ВЕСТИ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА

В это время в кабинете дирекции «Кабаре» сидели и, как обычно, занимались делами двое ближайших помощников Степы Лиходеева — финансовый директор Римский и администратор Варенуха.

День тек нормально. Римский сидел за письменным столом и, раздраженно глядя сквозь очки, читал и подписывал какие-то бумаги, а Варенуха то отвечал на бесчисленные телефонные звонки, присаживаясь в мягкое кресло под стареньким, запыленным макетом, то беседовал с посетителями, то и дело открывавшими дверь в кабинет. Среди них побывали: бухгалтер с ведомостью, дирижер в грязном воротничке. С этим дирижером Римский, отличавшийся странной манерой

никому и никогда не выдавать денег, поругался из-за какой-то кожи на барабане и сказал:

— Пусть они собственную кожу натягивают на барабан! Нету в смете!

Оскорбленный дирижер ушел, ворча что-то о том, что так он не может работать.

В то время как Римский оскорблял дирижера, Варенуха непрерывно лгал и хамил по телефону, отвечая бесчисленным лицам:

— Все продано! Нет-с, не могу! Не могу! — говорил Варенуха, приставив руку корабликом ко рту.

Но телефон трещал вновь, и вновь Варенуха кричал неприятным гусиным голосом:

— Да!

Приходил какой-то лысый униженный человек и принес скетч. Приходила какая-то накрашенная актриса просить контрамарку — ей отказали.

До часу дня все шло благополучно, но в час Римский стал злиться и нервничать из-за Степы. Тот обещал, что придет немедленно, а, между тем, его не было. А у Римского на столе накопилась большая пачка бумаг, требовавших немедленно Степиной подписи.

Варенуха через каждые пять минут звонил по телефону на квартиру к Степе, которая, кстати сказать, находилась в двух шагах от «Кабаре».

— Безобразие! — ворчал Римский каждый раз, как Варенуха, кладя трубку, говорил:

— Не отвечают. Значит, вышел.

Так продолжалось до двух часов дня, и в два часа Римский совершенно остервенился... И в два же часа дверь в кабинет отворилась и вошла женщина в форменной куртке, в тапочках, в юбке, в мужской фуражке, вынула из маленькой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут «Кабаре»? Распишитесь, «молния».

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та вышла, вскрыл конвертик. Прочитав написанное, он сказал: «Гм!..» — поднял брови и дал телеграмму Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее:

«Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ помощнику начальника Масловскому точно

ли субъект ночной сорочке брюках блондин носках без сапог признаками психоза явившийся сегодня отделение Владикавказа директор Кабаре Лиходеев Масловский».

— Здорово! — сказал Римский, дернув щекой.

— Лжедимитрий! — сказал Варенуха и тут же, взяв трубку, сказал в нее следующее:

— Дайте телеграф. «Молния». «Владикавказ Помощнику начальника Масловскому Лиходеев Москве Финдиректор Римский».

Независимо от сообщения о владикавказском самозванце принялись разыскивать Степу. Квартира его упорно не отвечала.

Варенуха начал звонить совершенно наобум и зря в разные учреждения. Но, конечно, нигде Степы не нашел.

— Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? — сказал Варенуха.

— А хорошо бы было, — сквозь зубы, чуть слышно буркнул Римский.

Тут принесли колоссальных размеров, ярко расписанную афишу, на которой крупными красными буквами стояло: **ВОЛАНД**, а ниже черными поменьше: «**Сеансы белой магии с полным их разоблачением**».

На круглом лице Варенухи выразилось удовольствие, но он не успел как следует полюбоваться афишей, как в дверь вошла та самая женщина, которая принесла первую «молнию», и вручила Варенухе новый конвертик.

Варенуха прочитал «молнию» и свистнул. В «молнии» стояло следующее:

«Умоляю молнируйте Масловскому что я действительно Лиходеев брошенный Воландом Владикавказ Примите меры наблюдения Воландом Лиходеев».

В течение минуты Римский и Варенуха молча, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму.

— Да ты же с ним в двенадцать часов разговаривал по телефону? — наконец с недоумением сказал Варенуха.

— Да смешно говорить! — воскликнул Римский,—

разговаривал, не разговаривал!.. Да не может он быть во Владикавказе! Это смешно!..

— Он пьян, — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Римский.

И дико уставились глазами друг на друга.

Женщина, которая принесла «молнию», вдруг рассердилась.

— Граждане! Расписывайтесь, а потом уж митинги устраивайте!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил у женщины Римский.

— Ничего я не знаю, не мое дело, — ответила женщина и удалилась, ворча.

Тут произошло совещание. Варенуха ежесекундно прерывал его восклицаниями:

— Это глупо!

Но сколько он ни кричал: «Это глупо!» — делу это нисколько не помогало.

Несомненно, из Владикавказа телеграфировал какой-то самозванец, но вот что было странно: слово «Воланд» в телеграмме. Откуда же владикавказский негодяй знает о приезде артиста и о связи, существующей между ним и Степой?

— При-ми-те ме-ры, — бормотал Варенуха, мигая вспухшими веками, — откуда он о нем знает и зачем меры?.. Это мистификация!

Решили ничего не молнировать в ответ.

Но ровно через пятнадцать минут появилась та же женщина, и Римский с Варенухой даже с мест поднялись навстречу ей.

Женщина вынула из сумки не беленький, а темный листок.

— Это становится интересным, — сказал Варенуха, ставя закорючку в книжке и отпуская злую женщину.

На фотографической бумаге отчетливо чернели писаные строки.

Варенуха без чинов навалился на плечо Римскому.

«Вот доказательство: фотография моего почерка Молнируйте подтверждение личности Масловскому Строжайшее наблюдение Воландом Случае попытки выехать Москвы арестовать Лиходеев».

Варенуха был известен в Москве как администра-

тор, не имеющий себе равных. За двадцать лет своей деятельности он видал всякие виды. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его как бы застилает пеленой, и он ничего не произнес, кроме житейской, но нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Римский поступил не так. Он поднялся, рявкнул в дверь:

— Никого! — и собственноручно запер эту дверь на ключ.

Затем достал из письменного стола пачку бумаг, начал тщательно сличать букву за буквой залихватские подписи Степы на ведомостях с подписью на фотограмме.

Варенуха, навалившись, жарко дышал в щеку Римскому.

— Это почерк Лиходеева, — наконец выговорил Римский, и Варенуха, глянув ему в лицо, удивился перемене, которая в нем произошла. Римский как будто бы постарел лет на десять. Глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть и уверенность, и в них появилась не то что тревога, а даже как будто печаль.

Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления, то есть и по кабинету прошелся, и руки вздымал, как распятый, и выпил целый стакан желтой воды из графина и восклицал:

— Не понимаю!

Но Римский смотрел не на Варенуху, а в окно и думал. Положение финансового директора «Кабаре» было затруднительное. Нужно было тут же, не сходя с места, представить обыкновенные объяснения для совершенно необыкновенного явления.

Римский зажмурился, представил себе Степу в ночной сорочке влезающим в Москве сегодня в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, представил себе Казбек, покрытый снегом, и тут же эту мысль от себя отогнал. Представил себе, что не Степа сегодня говорил по телефону в Москве, и эту мысль отринул. Представил себе какие-то пьяные шутки при участии почты и телеграфа, фальшивые «молнии», опять — Степу в носках среди бела дня во Владикавказе, и всякое

логическое здание в голове у Римского рухнуло, и остались одни черепки.

Ручку двери крутили и дергали, слышно было, как курьерша кричала:

— Нельзя!

Варенуха также кричал:

— Нельзя! Заседание!

Когда за дверью стихло, Римский спросил у Варенухи:

— Сколько километров до Владикавказа?

Варенуха ответил:

— Черт его знает! Не помню!.. Да не может он быть во Владикавказе!

Помолчали.

— Да, он не может быть во Владикавказе, — отозвался Римский, — но это писано Лиходеевым из Владикавказа.

— Так что же это такое? — даже взвизгнул Варенуха.

— Это непонятное дело, — тихо ответил Римский.

Помолчали. Грянул телефон. Варенуха схватил трубку, крикнул в нее: «Да!», потом тотчас «Нет!» — бросил трубку криво на рычаг и спросил:

— Что же делать?

Римский молча снял трубку и сказал:

— Междугородная? Дайте сверхсрочный с Владикавказом.

«Умно!» — подумал Варенуха. Подождали. Римский повесил трубку и сказал:

— Испортился телефон с Владикавказом.

Римский тотчас же опять позвонил и заговорил в трубку, в то же время записывая карандашом сказанное.

— Примите «молнию» Владикавказ Масловскому. Ответ фотограмму 803.

«Сегодня до двенадцати дня Лиходеев был Москве От двенадцати до половины третьего он неизвестно где Почерк подтверждаю Меры наблюдения за указанным фотограмме артистом принимаю Замдиректора Кабаре Римский».

«Умно! » — подумал Варенуха, а сейчас же подумал: «Глупо! Не может он быть во Владикавказе!»

Римский же взял обе «молнии» и фотограмму, по-

ложил в конверт, заклеил конверт, надписал «в ОГПУ» и вручил конверт Варенухе со словами:

— Отвези, Василий Васильевич, немедленно. Пусть они разбирают.

«Это очень умно!» — подумал Варенуха и спрятал в портфель таинственный пакет, потом взял трубку и навертел номер Степиной квартиры. Римский насторожился, и Варенуха вдруг замигал и сделал знак свободной рукой.

— Мосье Воланд? — ласково спросил Варенуха.

Римский затаил дыхание.

— Да, я, — ответил в трубке Варенухе бас.

— Добрый день, — сказал Варенуха, — говорит администратор «Кабаре» Варенуха.

— Очень приятно, — сказали в трубке, — как ваше здоровье?

— Мерси, — удивляясь иностранной вежливости, ответил Варенуха.

— Мне показалось, — продолжала трубка, — что вы вчера плохо выглядели, и я вам советую никуда сегодня не ходить.

Варенуха дрогнул от удивления, но, оправившись, сказал:

— Простите. Что, товарища Лиходеева нет дома?

— Нету, — ответила трубка.

— А, простите, вы не знаете, где он?

— Он поехал кататься на один час за город в автомобиле и сказал, что вернется в «Кабаре».

Варенуха чуть не уронил трубку и замахал рукой встревоженному Римскому.

— Мерси, мерси! — заговорил и закланялся Варенуха, — итак, ваше выступление сегодня в десять часов вечера.

— О да, я помню.

— Всего, всего добренького, — нежно сказал Варенуха и, грянув трубкой, победоносно воскликнул:

— Уехал кататься за город! Никакой не Владикавказ, а с дамой уехал! Вот-с!

— Если это так, то это черт знает что такое! — воскликнул бледный от негодования Римский.

— Все понятно! — ликовал Варенуха, — уехал, надрался и застрял.

— Но «молнии»? — глухо спросил Римский.

— Он же и телеграфирует в пьяном виде, — вскричал Варенуха и вдруг, хлопнув себя по лбу, закричал:

— Вспомнил! Вспомнил! В Звенигороде есть трактир «Владикавказ»! Вспомнил! Оттуда он и молнирует!

— Нет, это чересчур! — заговорил озлобленный Римский, — и в конце концов я буду вынужден...

Но Варенуха его перебил.

— А пакет нести?

— Обязательно нести, — ответил Римский.

Тут же открылась дверь и вошла... «Она!» — подумал Римский... И действительно вошла та самая женщина и опять с белым пакетиком.

В телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение Молнией пятьсот Вылетаю Москву Лиходеев».

— Ну, не сук... — вскричал Варенуха, — не переводи! Он с ума сошел!

Но Римский ответил:

— Нет, деньги я переведу.

Варенуха, открыв рот, глядел на Римского, думая, что не Римского видит перед собой.

— Да, помилуй, Григорий Максимович, этот Масловский будет поражен, если там только есть Масловский! Я говорю тебе, что это из трактира!

— Это будет видно часа через два, — сказал Римский, указывая на портфель Варенухи.

Варенуха подчинился своему начальнику и условились так: Варенуха повезет немедленно таинственные телеграммы, а Римский пойдет обедать, после чего оба опять сойдутся в «Кабаре» заблаговременно перед спектаклем, ввиду исключительной важности сегодняшнего вечера.

Варенуха вышел из кабинета, прошелся по коридорам, оглянул подтянувшихся капельдинеров командирским взглядом, зашел и в вешалки, всюду и все нашел в полном порядке, узнал в кассе, что сбор резко пошел вверх с выпуском афиши о белой магии, и наконец заглянул перед самым уходом в свой кабинет.

Лишь только он открыл дверь, как на клеенчатом столе загремел телефон.

— Да! — пронзительно крикнул Варенуха в трубку.

— Товарищ Варенуха? — сказал в телефоне треснувший тенор. — Вот что, вы телеграммы сейчас

никуда не носите. А спрячьте их поглубже и никому об них не говорите.

— Кто это говорит? — яростно закричал Варенуха. — Товарищ, прекратите ваши штуки! Я вас обнаружу! Вы сильно пострадаете!

— Товарищ Варенуха, — сказал все тот же препротивный голос в телефон, — вы русский язык понимаете? Не носите никуда телеграммы и Римскому ничего не говорите.

— Вот я сейчас узнаю, по какому номеру вы говорите! — заорал Варенуха и вдруг услышал, что трубку повесили и что никто его больше не слушает.

Тогда Варенуха оставил телефон, нахлобучил кепку, схватил портфель и через боковой выход устремился в летний сад, в который публика выходила во время антрактов из «Кабаре» курить.

Администратор был возбужден и чувствовал, что энергия хлещет из него. Кроме того, его обуревали приятные мысли. Он предвкушал много хорошего; как он сейчас явится куда следует, как возбудит большое внимание, и в голове его зазвучали даже целые отрывки из будущего разговора и какие-то комплименты по его адресу.

«Садитесь, товарищ Варенуха... гм... так вы полагаете, товарищ Варенуха... ага... так...», «Варенуха — свой парень... мы знаем Варенуху...правильно...», и слово «Варенуха» так и прыгало в голове у Варенухи.

Ветер дунул в лицо администратору, и в верхушках лип прошумело. Варенуха поднял голову и увидел, что темнеет. Сильно посвежело.

Как ни торопился Варенуха, он все же решился заглянуть по дороге в летнюю уборную, чтобы проверить, исполнили ли монтеры его повеление — провести в нее свет.

Мимо только что отстроенного тира по дорожке Варенуха пробежал к зданьицу, выкрашенному серой краской, с двумя входами и с надписями: «Мужская», «Женская». Варенуха пошел в мужское отделение и, прежде всего, увидел, что пять дней тому назад выкрашенные стены исписаны неплохо сделанными карандашом рисунками половых органов, четверостишиями и отдельными очень употребительными, но почему-то считающимися неприличными, словами. Самое корот-

кое из них было выписано углем большими буквами как раз над сиденьем, и сиденье это было загажено.

— Что же это за народ? — воскликнул Варенуха сам себе и тут же услышал за своим плечом голос:

— Товарищ Варенуха?

Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то небольшого толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и одетого в клетчатое.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот толстяк, конечно, сейчас же попросит у него контрамарку на сегодняшний вечер.

— Ах, вы? Очень приятно, — писклявым голосом сказал котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на запачканное сиденье.

Удару отозвался второй громовой удар в небе, блеснуло в уборной, и в ту же секунду в крышу ударил ливень. Еще раз блеснуло, и в зловещем свете перед администратором возник второй — маленького роста, но необыкновенно плечистый, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, изо рта клыки. Этот второй, будучи, очевидно, левшой, развернулся с левой руки и съездил сидящего администратора по другому уху. И опять бухнуло в небе и хлынуло сильнее. Крик «Караул!» не вышел у Варенухи, потому что перехватило дух.

— Что вы, товари... — прошептал совершенно ополоумевший администратор, но тут же сообразил, что слово «товарищи» никак не подходит к двум бандитам, избивающим человека в сортире в центре Москвы, прохрипел «граждане!», сообразил, что и названия граждан эти двое не заслуживают, и тут же получил тяжкий удар от того с бельмом, но уже не по уху, а по середине лица, так что кровь потекла по Варенухиной толстовке.

Тогда темный ужас охватил Варенуху. Ему почудилось, что его убьют. Но его больше не ударили.

— Что у тебя в портфеле, паразит, — пронзительно, перекрикивая шум грозы, спросил тот, который был похож на кота, — телеграммы?

— Те...телеграммы, — ответил администратор.

— А тебя предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда их носить?

— Преду...предупре...ждали...дили... — ответил администратор, задыхаясь от ужаса.

— Но ты все-таки потопал? Дай сюда портфель, гад! — прогнусил второй с клыками, одним взмахом выдрав у Варенухи портфель из рук.

— Ах ты, ябедник паршивый! — воскликнул возмущенный тип, похожий на кота, и пронзительно свистнул.

И тут безумный администратор увидел, что стены уборной завертелись вокруг него, потом исчезли, и во мгновение ока он оказался в темноватой и очень хорошо ему знакомой передней Степиной квартиры.

Дверь, ведущая в комнаты, отворилась, и в ней показалась рыжая с горящими глазами голая девица. Она простерла вперед руки и приблизилась к Варенухе. Тот понял, что это самое страшное из того, что с ним случилось, и отшатнулся, и слабо вскрикнул.

Но девица подошла вплотную к Варенухе, положила ладони ему на плечи, и Варенуха почувствовал даже сквозь толстовку, что ладони эти холодны как лед.

— Какой славненький! — тихо сказала девица, — дай, я тебя поцелую!

И тут Варенуха увидел перед самыми своими глазами сверкающие зеленые глаза и окровавленный извивающийся рот. Тогда сознание покинуло Варенуху.

## ГРОЗА И РАДУГА

Скудный бор, еще недавно освещенный майским солнцем, был неузнаваем сквозь белую решетку: он помутнел, размазался и растворился. Сплошная пелена воды валила за решеткой. Время от времени ударяло в небе, время от времени лопалось в небе, тогда всю комнату освещало, освещало и листки, которые предгрозовой ветер сдул со стола, и больного в белье, сидящего на кровати.

Иванушка тихо плакал, глядя на смешавшийся бор и отложив огрызок карандаша. Попытки Иванушки сочинить заявление относительно таинственного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил бумагу и карандаш, он хищно потер руки и

тотчас написал на листке начало: «В ОГПУ. Вчера около семи часов вечера я пришел на Патриаршие Пруды с покойным Михаилом Александровичем Берлиозом...»

И сразу же Иван запутался — именно из-за слова «покойный». Выходила какая-то безлепица и бестолочь: как это так с покойным пришел на Патриаршие Пруды? Не ходят покойники! «Еще, действительно, за сумасшедшего примут...» — подумал Иван, вычеркнул слово «покойный», написал «с М. А. Берлиозом, который потом попал под трамвай»... не удовлетворился и этим, решил начать с самого сильного, чтобы сразу остановить внимание читающего, написал про кота, садящегося в трамвай, потом про постное масло, потом вернулся к Понтию Пилату, для вящей убедительности решил весь рассказ изложить полностью, написал, что Пилат шел шаркающей кавалерийской походкой...

Иван перечеркивал написанное, надписывал сверху строк, попытался даже нарисовать страшного консультанта, а когда все перечел и сам ужаснулся, и вот, плакал, слушая, как шумит гроза.

Толстая белая женщина неслышно вошла в комнату, увидела, что поэт плачет, встревожилась, тотчас заявила, что вызовет Сергея Павловича, и прошел час, и уже бора узнать опять нельзя было. Вновь он вырисовался до последнего дерева и расчистилось небо до голубизны, и лежал Иван без слез на спине, и видел сквозь решетку, как, опрокинувшись над бором, в небе рисовалась разноцветная арка.

Сергей Павлович, сделав какой-то укол в плечо Ивану, ушел, попросив разрешения забрать листки, и унес их с собой, уверив, что Иван больше плакать не будет, что это его расстроила гроза, что укол поможет и что все теперь изменится в самом наилучшем смысле.

И точно, оказался прав. Иван и сам не заметил, как слизнуло с неба радугу, как небо это загрустило и потемнело, как бор опять размазался, и вдруг вышла из-за него неполная луна, и бор от этого совсем почернел.

Иван с удовольствием выпил горячего молока, прилег, приятно зевая, и стал думать, причем и сам подивился, до чего изменились его мысли.

Воспоминания об ужасной беззубой бабе, кричавшей про Аннушку, и о черном коте исчезли, а вместо них Иван стал размышлять о том, что, по сути дела, в больнице очень хорошо, что Стравинский очень умен, что воздух, текущий сквозь решетку, сладостен и свеж.

Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые лампы и загорались дежурные слабые голубые ночники. В камерах умолкали и бреды, и шепоты, и только отдельный корпус буйных до утра светился полной беспокойной жизнью. Толстую сменила худенькая, и несколько раз она заглядывала к Ивану, но, убедившись, что он мирно дремлет, перестала его навещать.

Иван же, лежа в сладкой истоме, сквозь полуопущенные веки смотрел и видел в прорезах решетки тихие мирные звезды и думал о том, почему он, собственно, так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?

— В конечном счете, ну его в болото! — прошептал Иван и сам подивился своему равнодушию и цинизму. — Что я ему, кум или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выясняется, что я совершенно не знал покойника. Что мне о нем было известно? Ничего кроме того, что он был лысый, и более ровно ничего.

— Далее, товарищи! — бормотал Иван, — почему я, собственно, взбесился на этого загадочного консультанта на Патриарших, мистика с пустым глазом? К чему вся эта петрушка в ресторане?

— Но, но, но, — вдруг сказал где-то прежний Иван новому Ивану, — а про постное-то масло он знал!

— Об чем, товарищ, разговор? — отвечал новый Иван прежнему, — знать заранее про смерть еще не значит эту смерть причинить! А вот, что самое главное, так это, конечно, Пилат, и Пилата-то я и проморгал! Вместо того чтобы устраивать дикую бузу с криками на Прудах, лучше было бы расспросить досконально про Пилата! А теперь дудки! А я чепухой занялся — важное кушанье, в самом деле, редактор под трамвай попал! Подремав еще немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал бас, не принадлежащий ни одному из Иванов. Иван, почему-то приятно

изумившись слову «дурак» и даже хихикнув, открыл глаза, но увидел, что в комнате никого нет, и опять задремал, причем ему показалось, что пальма качает шапкой за решеткой. Иван всмотрелся и разглядел за решеткой человеческую фигуру, поднялся без испуга и слышал, как фигура, погрозив ему пальцем сквозь решетку, прошептала:

— Тсс!

## БЕЛАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Высоко приподнятая над партером сцена «Кабаре» была освещена прожекторами так ярко, что казалось, будто на ней солнечный день.

И на эту сцену маленький человек в дырявом котелке, с грушевидным малиновым носом, в клетчатых штанишках и лакированных ботинках, выехал на двухколесном велосипеде. Выкатившись, он издал победный крик, отчего его велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на заднем колесе, человечек перевернулся кверху ногами, на ходу отвинтил заднее колесо и поехал на одном переднем, вертя педали руками. Громадный зал «Кабаре» рассмеялся, и аплодисмент прокатился сверху вниз.

Тут под звуки меланхолического вальса из кулисы выехала толстая блондинка в юбочке, усеянной звездами, на сиденье на конце высочайшей тонкой мачты, под которой имелось только одно маленькое колесо. И блондинка заездила по сцене. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал котелок. Затем выехал молодой человек с необыкновенно развитыми мускулами под красным трико и тоже на высокой мачте и тоже заездил по сцене, но не сидя в сиденье, а стоя в нем на руках. И, наконец, малютка со старческим лицом, на крошечной двухколеске, и зашнырял деловито между взрослыми, вызывая раскаты смеха и хлопки.

В заключение вся компания под тревожную дробь барабана подкатилась к самому краю сцены, и в первых рядах испуганно шарахнулись, потому что публике показалось, что компания со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипедисты остановились

как раз тогда, когда колеса уже должны были соскользнуть на головы джазбандистам, и с громким воплем соскочили с машин, причем блондинка послала воздушный поцелуй публике. Грохот нескольких тысяч рук потряс здание до купола, занавес пошел и скрыл велосипедистов, зеленые огни в проходах угасли, меж трапециями, как солнца, вспыхнули белые шары. Наступил антракт.

Единственным человеком, которого ни в какой мере не интересовали подвиги велосипедной семьи Рибби, выписанной из Вены, был Григорий Максимович Римский.

Григорий Максимович сидел у себя в кабинете, и если бы кто-либо увидел его в этот момент, поразился бы до глубины души. Никто в Москве никогда не видел Римского расстроенным, а сейчас на Григории Максимовиче буквально не было лица.

Дело в том, что не только Степа не дал больше ничего знать о себе и не явился, но пропал и совершенно бесследно Варенуха.

Что думал о Степе Римский, мы не знаем, но известно, что он думал о Варенухе, и, увы, это было до того неприятно, что Римский сидел бледный и одинокий и по лицу его проходила то и дело судорога.

Когда человек уходит и пропадает, не трудно догадаться, что случилось с ним, и Римский, кусая тонкие губы, бормотал только одно: «Но за что?»

Ему почему-то до ужаса не хотелось звонить по поводу Варенухи, но он все-таки принудил себя и снял трубку. Однако оказалось, что телефон испортился. Вызванный звонком курьер доложил, что испортились все телефоны в «Кабаре». Это, казалось бы, совершенно неудивительное событие почему-то окончательно потрясло Римского, и в глазах у него появилось выражение затравленности.

Когда до слуха финдиректора глухо донесся финальный марш велосипедистов, вошел курьер и доложил, что «они прибыли».

Замдиректора почему-то передернуло, и он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера.

В уборную, где поместили иностранного артиста, под разными предлогами заглядывали разные лица. В

душном коридоре, где уже начали трещать сигнальные звонки, шныряли фокусники в халатах с веерами, конькобежец в белой вязанке, прошел какой-то бледный в смокинге, бритый, мелькали пожарные.

Прибывшая знаменитость поразила всех, во-первых, своим невиданным по покрою и добротности материала фраком, во-вторых, тем, что был в черной маске, и, в-третьих, своими спутниками. Их было двое: один длинный, тонкий, в клетчатых брючонках и в треснувшем пенсне. Короче говоря, тот самый Коровьев, которого в одну секунду узнал бы товарищ Босой, но товарищ Босой, к сожалению, в «Кабаре» быть никак не мог в это время. И второй был неимоверных размеров черный кот, который как вошел, так и сел непринужденно на диван, щурясь на ослепительные огни гримировальных лампионов.

В уборной толкалось много народу; был маленький помощник режиссера в кургузом пиджачке, чревовещательница, пришедшая под тем предлогом, что ей нужно взять пудру, курьер и еще кто-то.

Римский с большим принуждением пожал руку магу, а длинный и развязный и сам поздоровался с Римским, отрекомендовавшись так: «ихний помощник».

Римский очень принужденно осведомился у артиста о том, где его аппаратура, и получил глухой ответ сквозь маску:

— Мы работаем без аппаратуры...

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный, — ввязался тут же клетчатый помощник, — вот она. При нас! Эйн, цвей, дрей! — И тут наглец, повертев узловатыми пальцами перед глазами отшатнувшегося Римского, вытащил внезапно из-за уха кота собственные золотые Римского часы, которые были у него до этого в кармане под застегнутым пиджаком, с продетой в петлю цепочкой.

Кругом ахнули, и заглядывавший в дверь портной крякнул.

Тут затрещал последний сигнал, и под треск этот кот отмочил штуку, которая была почище номера с часами. Именно он прыгнул на подзеркальный стол, лапой снял пробку с графина, налил воды в стакан и выпил ее, после чего пробку водрузил на место. Тут

даже никто не ахнул, а только рты раскрыли, и в дверях кто-то шепнул:

— Ай! Класс!

Через минуту шары в зале погасли, загорелись зеленые надписи «выход», и в освещенной щели голубой завесы предстал толстый, веселый, как дитя, человек в помятом фраке и несвежем белье. Видно было, что публика в партере, узнав в вышедшем известного конферансье Чембукчи, нахмурилась.

— Итак, граждане, — заговорил Чембукчи, улыбаясь, — сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный маг герр Воланд. Ну, мы-то с вами понимаем, — хитро подмигнув публике, продолжал Чембукчи, — что никакой белой магии на самом деле в природе не существует. Просто мосье Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса. Ну, а тут двух мнений быть не может! Мы все, начиная от любого уважаемого посетителя галерки и вплоть до почтеннейшего Аркадия Аполлоновича, — и здесь Чембукчи послал ручкой привет в ложу, где сидел с тремя дамами заведующий акустикой московских капитальных театров Аркадий Аполлонович Семплеяров, — все, как один, за овладение техникой и против всякой магии! Итак, попросим мистера Воланда!

Произнеся всю эту ахинею, Чембукчи отступил на шаг, сцепил обе ладони и стал махать ими в прорез занавеса, каковой и разошелся в обе стороны. Публике выход Воланда с его помощниками очень понравился. Замаскированного великана, клетчатого помощника и кота встретили аплодисментами.

Коровьев раскланялся с публикой, а Воланд не шевельнулся.

— Кресло мне, — негромко сказал Воланд, и в ту же минуту неизвестно кем и каким образом на сцене появилось кресло.

Слышно было, как вздохнула публика, а затем наступила тишина.

Дальнейшее поведение артистов поразило публику еще более, чем появление кресла из воздуха.

Развалившись на полинявшей подушке, знаменитый артист не спешил ничего показывать, а оглядывал публику, машинально покручивая ухо черного кота, приютившегося на ручке кресла.

Наконец послышались слова Воланда:

— Скажи мне, рыцарь, — очень негромко осведомился он у клетчатого гаера, который стоял, развязно опершись на спинку кресла, — это и есть московское народонаселение?

— Точно так, — почтительно ответил клетчатый циркач.

— Так... так... так... — загадочно протянул Воланд, — я, надо признаться, давненько не видел москвичей... Надо сказать, что внешне они сильно изменились, как и сам город... Появились эти... трамваи, автомобили...

Публика внимательно слушала, полагая, что это прелюдия к магическим фокусам.

Между кулисами мелькнуло бледное лицо Римского среди лиц артистов.

На физиономии у Чембукчи, приютившегося сбоку одного занавеса, мелькнуло выражение некоторого недоумения, и он чуть-чуть приподнял бровь. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая значительно выросла в техническом отношении, а равно также и москвичами, — приятно улыбаясь, проговорил Чембукчи, профессионально потирая руки.

Тут Воланд, клоун и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил артист у клетчатого.

— Нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — доложил клетчатый помощник.

— Так... что же он говорит?

— А он просто соврал, — звучно сказал клетчатый и, повернувшись к Чембукчи, прибавил:

— Поздравляю вас, соврамши!

На галерее рассмеялись, а Чембукчи вздрогнул и выпучил глаза.

— Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и... прочая...

— Мерзость! — подсказал клетчатый угодливо.

— Совершенно верно, благодарю, — отозвался артист, — сколько более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне, э?

— Важнейший вопрос, мессир, — озабоченно отозвался клетчатый.

В кулисах стали переглядываться, пожимать плечами, но, как бы отгадав тревогу за кулисами, артист сказал снисходительно:

— Ну, мы заговорились, однако, дорогой Фагот, а публика ждет от нас чудес белой магии. Покажи им что-нибудь простенькое.

Тут зал шевельнулся, и пять тысяч глаз сосредоточились на клетчатом. А тот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре!..

Тотчас поймал из воздуха атласную колоду карт, стасовал ее и лентой пустил через сцену.

Кот немедленно поймал колоду, в свою очередь стасовал ее, соскочил с кресла, встал на задние лапы и обратно выпустил ее к клетчатому. Атласная лента фыркнула, клетчатый раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

Даже аплодисмента не было, настолько кот поразил публику.

— Класс! — воскликнули за кулисами.

А Фагот указал пальцем в партер и сказал:

— Колода эта таперча, уважаемые граждане, в седьмом ряду, место семнадцатое, в кармане.

В партере зашевелились, и затем какой-то гражданин, пунцовый от смущения, извлек из кармана колоду и застенчиво тыкал ею в воздух, не зная, куда ее девать.

— Пусть она останется у вас на память, гражданин Парчевский, — козлиным голосом прокричал Фагот, — вы не зря говорили вчера, что без покера жизнь в Москве несносна.

Тот, фамилия которого действительно была Парчевский, вытаращил глаза и колоду положил на колени.

— Стара штука! — раздался голос с галерки, — они уговорились!

— Вы полагаете? — отозвался Фагот, — в таком случае она у вас в кармане!

На галерке произошло движение, послышался радостный голос:

— Червонцы!

Головы поднялись кверху. Какой-то смятенный гражданин на галерке обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом, с надписью «Одна тысяча рублей». Соседи навалились на него, а он начал ковырять пачку пальцем, стараясь дознаться, настоящие это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Истинный Бог, червонцы! — заорали на галерке.

— Сыграйте со мной в такую колоду! — весело попросил женский голос в ложе.

— Авек плезир, медам, — отозвался клетчатый и крикнул: — Прошу глядеть в потолок!

Головы поднялись, Фагот рявкнул:

— Пли!

В руке у него сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями подтянутых трапеций, начали падать в партер белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и в ложи, и на сцену.

Через несколько секунд бумажки, дождь которых все густел, достигли кресел, и немедленно зрители стали их ловить. Сперва веселье, а затем недоумение разлилось по всему театру. Сотни рук поднялись к лампам и на бумажках /увидели/ самые праведные, самые несомненные водяные знаки. Запах также не оставлял ни малейших сомнений: это был единственный, лучший в мире и ни с чем не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Слово «червонцы! червонцы!» загудело в театре, послышался смех, вскрики «ах, ах», зрители вскакивали, откидывали спинки, ползали в проходах.

Эффект, вызванный фокусом белой магии, был ни с чем не сравним. На лицах милиции в проходах выразилось смятение, из кулис без церемоний стали высовываться артисты. На галерее вдруг послышался голос: «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкну!» и грянула плюха, произошла возня, видно было, как кого-то повлекли с галереи. На лицо Чембукчи было страшно глянуть. Он круглыми глазами глядел то на вертящиеся бумажки, то на замаскированного артиста в кресле, то старался диким взором поймать за кулисами Римского, то в ложе взгляд Аркадия Аполлоновича.

Трое молодых людей из партера, плечистые, в так называемых пуловерах под пиджаками, нахватав падающих денег, вдруг бесшумно смылись из партера, как будто по важной и срочной надобности.

В довершение смятения дирижер, дико оглянувшись, взмахнул палочкой, и тотчас оркестр заиграл, а мужской голос ни к селу ни к городу запел: «У самовара я и моя Маша!» Возбуждение от этого усилилось, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы кот вдруг не дунул с силой в воздух, отчего червонный снег прекратился.

Публика мяла и смотрела на свет бумажки, охала, разочарованно глядела вверх, глаза у всех сияли.

Тут только Чембукчи нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собой, он потер руки и звучным голосом заговорил:

— Итак, товарищи, мы с вами сейчас видели так называемый случай массового гипноза. Научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Итак, попросим мосье Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились!

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице конферансье сохранял при этом выражение уверенности, но в глазах этой уверенности не было и даже выражалась мольба. Публике его речь не понравилась, наступило молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это так называемый случай вранья, — заявил он своим козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — восторженно крикнули на галерке.

— Между прочим, этот, — тут клетчатый нахал указал на бледного Чембукчи, — мне надоел, суется все время, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — крикнул злобно какой-то мужчина.

— О? Идея! — воскликнул Фагот, и тут произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному Чембукчи и пух-

лыми лапами вцепился в его жидкую шевелюру, в два поворота влево и вправо — и кот, при мертвом молчании театра, сорвал голову Чембукчи с пухлой шеи.

Две с половиной тысячи человек, как один, вскрикнули. Песня про самовар и Машу прекратилась.

Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками побежала по засаленному фраку.

Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова вдруг плаксиво на весь театр крикнула:

— Доктора!

В партере послышались истерические крики женщин, а на галерке грянул хохот.

— Ты будешь нести околесину в другой раз? — сурово спросил клетчатый.

— Не буду, — ответила, плача, голова.

— Ради Христа, не мучьте его! — вдруг на весь театр прозвучал женский голос в партере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить, что ли, его? — спросил клетчатый у публики.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор вместе с мужскими.

— Что же, все в порядке, — тихо, сквозь зубы, проговорил замаскированный, — алчны, как и прежде, но милосердие не вытравлено вовсе уж из их сердец. И то хорошо.

И громко сказал:

— Наденьте голову!

Кот с клетчатым во мгновенье ока нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова эта, к общему потрясению, прочно и крепко села на место, как будто никогда и не отлучалась. Клетчатый мгновенно нахватал из воздуха червонцев, сунул их в руку бессмысленно улыбавшемуся Чембукчи, подпихнул его в спину и со словами:

— Катитесь отсюда, без вас веселей! — выпроводил его со сцены.

Чембукчи, все так же безумно улыбаясь, дошел только до пожарного поста и возле него упал в обморок.

К нему кинулись, в том числе Римский, лицо которого было буквально страшно.

Пока окружавшие Чембукчи смотрели, как растерянный доктор совал в нос бедному конферансье склянку с нашатырным спиртом, клетчатый Фагот отпорол новую штуку, которая вызвала неописуемый восторг в театре, объявив:

— Таперича, граждане, мы открываем магазин!

Клетчатый вдруг всю сцену осветил разноцветными огнями, и публика увидела ослепительные дамские платья разных цветов, отражающиеся в громадных зеркалах, опять-таки неизвестно откуда взявшихся.

Сладко ухмыляясь, клетчатый объявил, что производит обмен старых дамских платьев на парижские модели и притом совершенно бесплатно.

Колебание продолжалось около минуты, пока какая-то хорошенькая и полная блондинка, улыбаясь улыбкой, которая показывала, что ей наплевать, не последовала из партера по боковому трапу на сцену.

— Браво! — вскричал Фагот и тут же развернул широчайший черный плащ, блондинка скрылась за ним, из-за плаща вылетело прежнее блондинкино платье, которое подхватил кот, и эта блондинка вдруг вышла в таком туалете, что в публике прокатился вздох, и через секунду на сцене оказалось около десятка женщин.

— Я не позволяю тебе! — послышался придушенный мужской голос в партере.

— Дурак, деспот и мещанин! Не ломайте мне руку! — ответил придушенный женский голос.

Кот не успевал подхватывать вылетающие из-за плаща прежние старенькие платьица, комкать их.

Через минуту на сцене стояли десять умопомрачительно одетых женщин, и весь театр вдруг разразился громовым аплодисментом.

Тут клетчатый потушил огни, убрал зеркала и объявил зычно, что все продано.

*И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.*

— Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, — интеллигентным и звучным баритоном проговорил Аркадий Аполлонович, и театр затих, слушая

его, — если бы вы разоблачили нам технику массового гипноза, в частности денежные бумажки.

И, чувствуя на себе взоры тысяч людей, Аркадий Аполлонович поправил пенсне на носу.

— Пардон, — отозвался клетчатый, — это не гипноз, я извиняюсь. И в частности, разоблачать тут нечего.

— Браво! — рявкнул на галерке бас.

— Виноват, — сказал Аркадий Аполлонович, — все же это крайне желательно. Зрительская масса...

— Зрительская масса, — заговорил клетчатый нахал, — интересуется, Аркадий Аполлонович, вопросом о том, где вы были вчера вечером?

— Браво! — крикнули на галерке.

И тут многие увидели, что лицо Аркадия Аполлоновича страшно изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании, — неожиданно сказала надменным голосом пожилая дама, сидящая рядом с Аркадием Аполлоновичем.

— Нон, мадам, — ответил клетчатый, — вы в заблуждении. Выехав вчера на машине на заседание, Аркадий Аполлонович повернул в Третью Мещанскую улицу и заехал к нашей очаровательной артистке Клавдии Парфеновне Гаугоголь...

Клетчатый не успел договорить. Сидящая в той ложе, где и Аркадий Аполлонович, неописуемой красоты молодая дама приподнялась и, крикнув мощным голосом:

— Давно подозревала! — и размахнувшись, лиловым зонтиком ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

— Мерзавка! — вскричала пожилая, — как смела ты ударить моего мужа!

И тут неожиданно кот на задних лапах подошел к рампе и рявкнул так, что дрогнули трапеции под потолком:

— Сеанс окончен! Маэстро, марш!

И ополоумевший маэстро, сам не понимая, что он делает, взмахнул палочкой, и оркестр грянул залихватский, чудовищный, нелепый, нестерпимый марш, после чего все смешалось.

Видно было только одно, что все три артиста, то есть замаскированный, клетчатый и кот, бесследно исчезли.

## ПОЛНОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Погрозив Иванушке пальцем, фигура прошептала:

— Тсс!..

Иван изумился и сел на постели.

Тут решетка отодвинулась, и в комнату Ивана, ступая на цыпочках, вошел человек лет 35-ти примерно, худой и бритый блондин, с висящим клоком волос и с острым птичьим носом.

Сказавши еще раз: «Тсс», пришедший сел в кресло у Иванушкиной постели и запахнул свой больничный халатик.

— А вы как сюда попали? — спросил шепотом Иван, повинуясь острому осторожному пальцу, который ему грозил, — ведь решеточки-то на замочках?

— Решеточки-то на замочках, — повторил гость, — а Прасковья Васильевна человек добродушный, но неаккуратный. Я у нее ключ стащил.

— Ну? — спросил Иван, заражаясь таинственностью гостя.

— Таким образом, — продолжал пришедший, — выхожу на балкон... Итак, сидим?..

— Сидим, — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые зеленые глаза пришельца.

— Вы, надеюсь, не буйный? — спросил пришедший. — А то я не люблю драк, шума и всяких таких вещей.

Преображенный Иван мужественно ответил:

— Вчера в ресторане одному типу я засветил по рылу.

— Основание?

— Без основания, — признался Иван.

— Напрасно, — сказал пришедший и спросил отрывисто:

— Профессия?

— Поэт, — неохотно признался Иван.

Пришедший расстроился.

— Ой, как мне не везет! — воскликнул он. Потом заговорил:

— Впрочем, простите. Про широкую реку, в которой прыгают караси, а кругом тучный край, *про солнечный размах,* про ветер, и полевую силу, и гармонь — *писали?*

— А вы читали? — спросил Иван.

— И не думал, — ответил пришедший, — я таких вещей не читаю. Я человек больной, мне нельзя читать про это. Ужасные стишки?

— Чудовищные, — отозвался Иван.

— Не пишите больше, — сказал пришедший.

— Обещаю, — сказал Иван торжественно.

Тут пожали друг другу руки.

Пришедший прислушался испуганно, потом сказал:

— Нет, фельдшерица больше не придет. Из-за чего сели?

— Из-за Понтия Пилата, — сказал Иван.

— Как? — воскликнул пришедший и сам себе зажал рот, испугавшись, что его кто-нибудь услышит. Потом продолжал тише: — Удивительное совпадение. Расскажите.

Иван, почему-то испытывая доверие к неизвестному посетителю, вначале робко, а затем все более расходясь, рассказал вчерашнюю историю, причем испытал полное удовлетворение. Его слушатель не только не выражал никакого недоверия, но, наоборот, пришел в величайший восторг. Он то и дело прерывал Ивана, восклицая: «Ну-ну», «Так, так», «Дальше!», «Не пропускайте!». А рассказ о коте в трамвае положительно потряс слушателя. Он заставил Ивана подробнейшим образом описывать неизвестного консультанта и в особенности добивался узнать, какая у него борода. И когда узнал, что острая, торчащая из-под подбородка, воскликнул:

— Ну, если это только так, то это потрясающе!

А когда узнал, что фамилия начиналась на букву «W», изменился в лице и торжественно заявил, что у него почти и нет никаких сомнений.

— Так кто же он такой? — спросил ошеломленный Иван.

Но собеседник его сказал, что сообщить он этого пока не может, на том основании, что *Иван этого не поймет.* Иван почему-то не обиделся, а просто спро-

сил: что же делать, чтобы поймать таинственного незнакомца?

На это собеседник расхохотался, зажимая рот самому себе, и только проговорил:

— И не пробуйте!

Затем, возбужденно расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кой-какие справки необходимые, чтобы дописать его роман, но что, к сожалению, он нищий, заплатить ничего не может, да и встретить его, этого... ну, словом, того, кого встретил Иван, он, увы, не встретит...

— Вы писатель? — спросил Иван, сочувствуя расстроенному собеседнику.

— *Я — мастер,* — ответил тот и, вынув из кармана черную шелковую шапочку, надел ее на голову, отчего его нос стал еще острей, а глаза близорукими.

Неизвестный тут же сказал, что он носил раньше очки, но в этом доме очков носить не позволяют и что это напрасно... не станет же он сам себе пилить горло стеклом от очков? Много чести и совершеннейшая нелепость! Потом, увлекшись и взяв с Ивана честное слово, что все останется в тайне, рассказал, что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что, так как она женщина замужняя, то именно ее открыть не может... А что пробовал он его читать коекому, но его и половины не понимают. Что не видел ее уже полтора года и видеть не намерен, так как считает, что жизнь его закончена и показываться ей в таком виде ужасно.

— А где она? — расспрашивал Иван, очень довольный ночной беседой.

Гость сказал, что она в Москве... Но обстоятельства сложились прекурьезно. То есть *не успел он дописать свой роман до половины, как* ..................................

...........................................................................................

— Но, натурально, этим ничего мне не доказали, — продолжал гость и рассказал, как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог, и вот, его привезли сюда и что она, конечно, навестила бы его, но знать о себе он не дает и не даст... Что ему здесь даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь

прекрасно и, главное, нет людей. Что же касается Ивана, то, по заключению гостя, Иван совершенно здоров, но вся беда в том, что Иван (гость извинился) невежествен, а Стравинский, хотя и гениальный психиатр, но сделал ошибку, приняв рассказы Ивана за бред больного.

Иван тут поклялся, что больше в невежестве коснеть не будет, и осведомился, о чем роман. Но гость не сразу сказал о чем, а хихикая в ночи и поблескивая зелеными глазами, рассказал, что когда прочел Износкову, приятелю редактора Яшкина, то Износков так удивился, что даже ужинать не стал и все разболтал Яшкину, а Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды. Короче же говоря, роман этот был про молодого Ешуа Га-Ноцри. Иванушка тут сел и заплакал, и лицо у гостя перекосилось, и он заявил, что повел себя как доверчивый мальчишка, а Износков — Иуда!

— Из Кериота! — пламенно сказал Иван.

— Откуда вы знаете? — удивленно вопросил гость, а Иван, отирая слезы, признался, что знает и больше, но вот горе, вот увы! — не все, но страстно желает знать, что случилось дальше-то после того, как Ешуа двинулся с лифостротона, и был полдень.

И что все неважно, и ловить этого удивительного рассказчика тоже не нужно, а нужно слушать лежа, закрыв глаза, про Ешуа, который шел, обжигаемый солнцем, с лифостротона, когда был полдень.

— За полднем, — заговорил гость, — пришел первый час, за ним второй час, и час третий, и так наконец настал самый мучительный — час шестой.

## НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

*Настал самый мучительный час шестой.* Солнце уже опускалось, но косыми лучами все еще жгло Лысую Гору над Ершалаимом, и до разбросанных камней нельзя было дотронуться голой рукой.

Солдаты, сняв раскаленные шлемы, прятались под плащами, развешанными на концах копий, то и дело

припадали к ведрам и пили воду, подкисленную уксусом.

Солдаты томились и, тихо ворча, проклинали ершалаимский зной и трех разбойников, которые не хотели умирать.

Один лишь командир дежурящей и посланной в оцепление кентурии Марк Крысобой, кентурион-великан, боролся со зноем мужественно. Под шлем он подложил длинное полотенце, смоченное водой, и методически, пугая зеленоватых ящериц, которые одни ликовали по поводу зноя, ходил от креста к кресту, проверяя казнимых.

Холм был оцеплен тройным оцеплением. Вторая цепь опоясывала белесую гору пониже и была реже первой, а у подножия горы, там, где начинался пологий подъем на нее, находился спешенный эскадрон.

Сирийцы пропускали всех граждан, которые желали видеть казнь троих, но смотрели, чтобы ершалаимские жители не скоплялись бы в большие толпы и не проходили бы с какой-нибудь поклажей, не учиняли бы каких-либо демонстраций. А за вторую цепь уже не пропускали никого. Бдительность спешенных сирийцев, повязанных чалмами из мокрых полотенец, во вторую половину дня была, в сущности, излишней. Если в первые часы у подножия холма еще были кучки зевак, глядевших, как на горе поднимали кресты с тремя пригвожденными и устанавливали *громадный щит с надписью на ... языке «Разбойники»*, то теперь, когда солнце уходило за Ершалаим, караулить было некого. Меж сирийской цепью и цепью спешенных легионеров находились только какой-то мальчишка, оставивший своего осла на дороге близ холма, неизвестная старуха с пустым мешком, которая, как она бестолково пыталась объяснить сирийцам, желала получить какие-то и чьи-то вещи, и двух собак — одной лохматой желтой, другой — гладкой запаршивевшей.

Но в стороне от гладкого спуска, под корявой и чахлой смоковницей поместился один зритель, который явился к самому началу казни и вот уже пятый час, прикрывшись грязной тряпкой от солнца, сидел под совершенно не отбрасывающей тень смоковницей.

Явившись к началу казни, зритель повел себя странно. Когда процессия поднялась на холм и цепь

замкнулась за ней, он сделал наивную попытку, не слушая окриков, подняться следом за легионерами, за что получил страшный удар тупым концом копья в грудь и слетел с ног.

Оглядев ударившего его воспаленными глазами, человек поднялся, собрался с силами и, держась за грудь, тронулся в сторону, пытаясь проникнуть в другом месте, но тут же вернулся, сообразив, что если сделает еще одну попытку, будет арестован, а быть задержанным в этот день в его план не входило.

Он вернулся и утвердился под смоковницей, там, где ротозеи не мешали ему. Место он выбрал так, чтобы видеть вершину с крестами.

Сидя на камне, человек чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами, тосковал.

Он то, вздыхая, открывал на груди таллиф и обнажал грудь, по которой стекал пот, то глядел в небо и следил за тремя орлами-стервятниками, которые в стороне от холма делали тихие коварные круги или повисали неподвижно над холмом, дожидаясь неизбежного вечера, то вперял безнадежный взор в землю и видел выбеленный собачий череп под ногами и шныряющих веселых ящериц.

Мучения человека были так велики, что иногда он заговаривал вслух сам с собой.

— О, я трус, — бормотал он, от внутренней боли царапая ногтями расшибленную грудь, — падаль, падаль, собака, жалкая тварь, пугливая женщина!.. Глупец! Проклинаю себя!

Он поникал головой, потом оживал вновь, напившись из фляжки тепловатой воды, хватался то за нож, спрятанный за пазухой, то за покрытую воском таблицу. Нож он, горько поглядев на него, прятал обратно, а на таблице украдкой заостренной палочкой выцарапывал слова.

На таблице было им выцарапано так.

«Второй час. Я — Левий Матвей нахожусь на Лысой Горе. Ничего».

Далее:

«Третий час. Там же. Ничего».

И теперь Левий безнадежно записал, поглядев на солнце:

«И шестой час ничего».

И от тоски расцарапал себе грудь, но облегчения не получил.

Причина тоски Левия заключалась в той тяжкой ошибке, которую он сделал. Когда Га-Ноцри и других двух осужденных, окруженных конвоем, вели на Лысую Гору, Левий Матвей бежал рядом с конвоем, толкаясь в толпе любопытных и стараясь какими-нибудь знаками показать Ешуа, что он здесь. В страшной сутолоке в городе этого сделать не удалось, но когда вышли за черту города, толпа поредела, конвой на дороге раздался, и Левий дал Ешуа себя увидеть. Ешуа узнал его и вздрогнул, и вопросительно поглядел. Тогда Левия осенила великая мысль, и он сделал Ешуа знак, радостный и успокоительный, такой, что Ешуа поразился.

Левий бросился бежать изо всех сил в сторону, добежал до первой лавчонки и, прежде чем кто-нибудь опомнился, на глазах у всех схватил с прилавка мясной нож и, не слушая криков, скрылся.

Замысел Левия был прост. Ничего не стоило прорваться сквозь редкую цепь идущего конвоя, подскочить к Ешуа и ударить его ножом в грудь, затем ударить себя в грудь. Молясь в быстром беге и задыхаясь, Левий бежал в зное по дороге, догоняя процессию, и опоздал. Он добежал до холма, когда сомкнулась цепь.

В шестом часу мучения Левия достигли такой степени, что он поднялся на ноги, бросил на землю бесполезный украденный нож, бросил деревянную флягу, раздавил ее ногой и, простерши руки к небу, стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, проклинал своих родителей, породивших глупца, не догадавшегося захватить с собою нож, а более всего проклинал себя адскими клятвами за бесполезный, обнадеживший Ешуа знак.

Видя, что клятвы его не действуют, он, зажмурившись, уперся в небо и потребовал у Бога немедленного чуда, чтобы тотчас же он послал Ешуа смерть.

Открыв глаза, он глянул и увидел, что на холме все без изменений и по-прежнему ходит, сверкая, не поддающийся зною кентурион.

Тогда Левий закричал:

— Проклинаю Бога! — и *поднял с земли нож. Но он не успел ударить себя.*

Он оглянулся в последний раз и увидел, что все изменилось вокруг. Исчезло солнце, потемнело сразу, пробежал ветер, шевельнув чахлую растительность меж камней, и, как показалось Левию, ветром гонимый римский офицер поднялся между расступившихся солдат на вершину холма.

Левий нож сунул под таллиф и, оскалившись, стал смотреть вверх. Там, наверху, прискакавший был встречен Крысобоем. Прискакавший что-то шепнул Крысобою, тот удивился, сказал тихо: «Слушаю...» Солдаты вдруг ожили, зашевелились.

Крысобой же двинулся к крестам. С крайнего доносилась тихая хриплая песня. Пригвожденный к нему к концу четвертого часа сошел от мух с ума и пел что-то про виноград, но головой, закрытой чалмой, изредка покачивал, и мухи тогда вяло поднимались с его лица и опять возвращались.

Распятый на следующем кресте качал чаще и сильней вправо, так, чтобы ударять ухом по плечу, и чалма его размоталась.

*На третьем кресте шевеления не было*. Прокачав около двух часов головой, Ешуа ослабел и впал в забытье. Мухи поэтому настолько облепили его, что лицо его исчезло в черной шевелящейся маске. Жирные слепни сидели и под мышками у него, и в паху.

Кентурион подошел к ведру, взял у легионера губку, обмакнул ее, посадил на конец копья и, придвинувшись к Ешуа, так что голова его пришлась на уровне живота, копьем взмахнул. Мухи снялись с гудением, и открылось лицо Ешуа, совершенно заплывшее и неузнаваемое.

— Га-Ноцри! — сказал кентурион.

Ешуа с трудом разлепил веки, и на кентуриона глянули совсем разбойничьи глаза.

— Га-Ноцри! — важно повторил кентурион.

— А? — сказал хрипло Га-Ноцри.

— Пей! — сказал кентурион и поднес губку к губам Га-Ноцри.

Тот жадно укусил губку и долго сосал ее, потом отвел губы и спросил:

— Ты зачем подошел? А?

— Славь великодушного Кесаря, — звучно сказал

кентурион, и тут ветер поднял в глаза Га-Ноцри тучу красноватой пыли.

Когда вихрь пролетел, кентурион приподнял копье и тихонько кольнул Ешуа по мышку с левой стороны.

Тут же висящий рядом беспокойно дернул головой и прокричал:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он! Убей и меня!

Кентурион отозвался сурово:

— Молчи на кресте!

И висящий испуганно смолк.

Ешуа повернул голову в сторону висящего рядом и спросил:

— Почему просишь за себя одного?

Распятый откликнулся тревожно:

— Ему все равно. Он в забытьи!

Ешуа сказал:

— Попроси и за товарища!

Распятый откликнулся:

— Прошу, и его убей!

Тогда Ешуа, у которого бежала по боку узкой струей кровь, вдруг обвис, изменился в лице и произнес одно слово по-гречески, но его уже не расслышали. Над холмами рядом с Ершалаимом ударило, и Ершалаим трепетно осветило.

Кентурион, тревожно покосившись на грозовую тучу, в пыли подошел ко второму кресту, крикнул сквозь ветер:

— Пей и славь великодушного игемона! — поднял губку, прикоснулся к губам второго и заколол его. Третьего кентурион заколол без слов, и тотчас, преодолевая грохот грома, прокричал:

— Снимай цепь!

И счастливые солдаты кинулись с холма.

Тотчас взрезало небо огнем и хлынул дождь на Лысый Холм, и снизился стервятник.

## НА РАССВЕТЕ

— ...и хлынул дождь и снизился орел-стервятник, — прошептал Иванушкин гость и умолк.

Иванушка лежал неподвижно со счастливым, спо-

койным лицом, дышал глубоко, ровно и редко.

Когда беспокойный гость замолчал, Иванушка шевельнулся, вздохнул и попросил шепотом:

— Дальше! Умоляю — дальше...

Но гость привстал, шепнул:

— Тсс! — прислушался тревожно. В коридоре послышались тихие шаги. Иванушка приподнялся на локтях, открыл глаза. Лампочка горела радостно, заливая столик розовым светом сквозь колпачок, но за шторой уже светало. Гость, которого вспугнули шаги, уже приготовился бежать, как шаги удалились и стихли.

Тогда гость опять поместился в кресле.

— Я ничего этого не знал, — сказал Иван, тревожась.

— Откуда же вам знать! — рассудительно отозвался гость, — неоткуда вам что-нибудь знать.

— А я, между прочим, — беспокойно озираясь, проговорил Иван, — написал про него стишки обидного содержания, и художник нарисовал его во фраке.

— Чистый вид безумия, — строго сказал гость, — вас следовало раньше посадить сюда.

— Покойник подучил, — шепнул Иван и повесил голову.

— Не всякого покойника слушать надлежит, — заметил гость и добавил: — Светает.

— Дальше! — попросил Иван. — Дальше, — и судорожно вздохнул.

Но гость не успел ничего сказать. На этот раз шаги послышались отчетливо и близко.

Собеседник Ивана поднялся и, грозя пальцем, бесшумной воровской походкой скрылся за шторой. Иван слышал, как тихонько щелкнул ключ в металлической раме.

И тотчас голова худенькой фельдшерицы появилась в дверях.

Тоска тут хлынула в грудь Ивану, он заломил руки и, плача, сказал:

— Сжечь мои стихи! Сжечь!

Голова скрылась, и через минуту в комнате Ивана появился мужчина в белом и худенькая с металлической коробкой, банкой с ватой в руке, флаконом. Плачущего Ивана посадили, обнажили руку, по ней поте-

кло что-то холодное как снег, потом кольнули, потом потушили лампу, потом как будто поправили штору, потом ушли.

Тут вдруг тоска притупилась, и самые стихи забылись, в комнате установился ровный свет, бледные сумерки, где-то за окном стукнула и негромко просвистала ранняя птица, Иван затих, лег и заснул.

## БОЙТЕСЬ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ

В то время когда Иванушка, лежа со строгим и вдохновленным лицом, слушал рассказы о том, как Ешуа Га-Ноцри умирал на кресте, финансовый директор «Кабаре» Римский вошел в свой кабинет, зажег лампы на столе, сел в облупленное кресло и сжал голову руками.

Здание еще шумело: из всех проходов и дверей шумными потоками выливалась публика на улицу. Директору казалось, хотя до него достигал лишь ровный, хорошо знакомый гул разъезда, что он сквозь запертую дверь кабинета слышит дикий гогот, шуточки, восклицания и всякое свинство.

При одной мысли о том, как могут шутить взволнованные зрители, что они разнесут сейчас по всей Москве, судорога прошла по лицу директора. Он тотчас вспомнил лицо Аркадия Аполлоновича без пенсне с громаднейшим шрамом на правой щеке, лицо скандальной дамы, сломанный зонтик, суровые лица милиции, протокол, ужас, ужас...

Но ранее этого: окровавленный и заплаканный Чембукчи. Как его сажали в такси; ополоумевшие капельдинеры и почему-то с подмигивающими рожами! Отъезд Чембукчи в психиатрическую лечебницу к профессору Стравинскому; ранее этого кот, произнесший человеческим голосом слова... ужас, ужас. Часы на стене пробили — раз — и глянув больными глазами, Римский на циферблате увидел половину двенадцатого.

В то же мгновение до обострившегося слуха финансового директора долетела с улицы отчетливая трель милицейского свистка и явный гогот. Трель повторилась, и лицо директора перекосило, как при зубной боли. Он не сомневался, что эта трель относится не-

посредственно опять-таки к «Кабаре» и к диким происшествиям этого вечера.

И он ничуть не ошибся.

Кабинет помещался во втором этаже и одной стеной с окном выходил в сад, а другой — на площадь.

С искаженным лицом директор приподнялся и глянул в окно, выходящее на площадь.

— Так я и знал! — испуганно и злобно шепнул Римский.

Прямо под собой, в ярком освещении площадных прожекторов, он увидел даму-блондинку в сорочке, заправленной в шелковые дамские штаны фиолетового цвета, на голове у дамы была шляпенка, сдвинутая на одно ухо, в руках зонтик.

Вокруг дамы стояла толпа, издавая тот самый гогот, который доводил директора до нервного расстройства.

Какой-то гражданин, выпучив глаза, сдирал с себя летнее пальто и от волнения никак не мог выпростать руку из рукава, и слова раздетой дамы отчетливо долетели сквозь стекла до исступленного директора:

— Скорей же, дурак!

Едва растерянный, выпучивший глаза гражданин сорвал с себя пальто, как улюлюканье и крики послышались с левой стороны у бокового подъезда, и Римский увидел, как другая дама, одетая совершенно так же, как и первая, с той разницей только, что штаны на ней были не фиолетовые, а розовые, сиганула с тротуара прямо в подъезд, причем за ней устремился милиционер, а за милиционером какие-то жизнерадостные молодые люди в кепках. Они хохотали и улюлюкали.

Усатый лихач подлетел к подъезду и осадил костлявую в яблоках лошадь. Усатое лицо лихача радостно ухмылялось.

Римский хлопнул себя кулаком по голове и перестал смотреть. Он просидел некоторое время молча в кресле, глядя воспаленными глазами в грязный паркет, и дождался того, что здание стихло. Прекратился и скандал на улице.

— «Увезли на лихаче», — подумал Римский, подпер голову руками и стал смотреть на промокательную бумагу. Сейчас у него было только одно неодоли-

мое желание — снять трубку телефона, и какая-то неодолимая сила не позволяла ему это сделать.

Римский был осторожен, как кошка. Он сам не понимал, какой голос шепчет ему «не звони», но он слушался его. Он перевел косящие тревожно глаза на диск с цифрами, и вдруг молчавший весь вечер аппарат разразился громом.

Римский побледнел и отшатнулся. «Что с моими нервами?» — подумал он и тихо сказал в трубку:

— Да.

Голос женский хриплый, развратный и веселый ответил директору:

— С каким наслаждением, о Римский, я поцеловала бы тебя в твои тонкие и бледные уста! Пусть мой гонец передаст тебе этот поцелуй!

Тут голос пропал, сменился свистом, и чей-то бас, очень отдаленно, тоскливо и грозно пропел:

— Голые скалы — мой приют...

Римский трясущейся рукой положил трубку, поднялся на дрожащих ногах, беззвучно сказал сам себе:

— Никуда не позвоню ............................................
... постарался, при помощи своей очень большой воли, не думать о странном звонке, взялся за портфель.

Кто-то торопил Римского. Римский ощутил вдруг, что он один во всем здании; и он хотел только одного — сейчас же бежать домой. Он двинулся, часы на стене зазвенели — полночь. С последним ударом дверь раскрылась и в кабинет вошел Варенуха.

Финансовый директор почему-то вздрогнул и отшатнулся. Вид у него был такой странный, что Варенуха справедливо изумился.

— Здорово, Григорий Петрович! — вымолвил Варенуха каким-то не своим голосом. — Что с тобой?

— Как ты меня испугал! — дрожащим голосом отозвался Римский, — вошел внезапно... Ну, говори же, где ты пропадал?!

— Ну, пропадал!.. Там и был...

— Я уж думал, не задержали ли тебя... — принужденно вымолвил Римский.

— Зачем же меня задерживать? — с достоинством ответил Варенуха, — просто выясняли дело.

— Ну, ну?..

— Ну, был в Звенигороде, как я и думал, а потом в милицию попал.

— Но как же фотограммы?

— Ах, плюнь ты на эти фотограммы, — ответил Внучата, отдуваясь, как очень уставший человек, сел в кресло и заслонил от себя лампу афишей.

Тут Римский всмотрелся в администратора и, несмотря на затемненный свет, убедился в том, что администратор очень изменился ..................................

## ЧТО СНИЛОСЬ БОСОМУ

С того самого момента, как Никанора Ивановича Босого взяли под руки и вывели в ворота, он не сомневался в том, что его ведут в тюрьму.

И странное, никогда еще в жизни им не испытанное, чувство охватило его. Никанор Иванович глянул на раскаленное солнце над Садовой улицей и вдруг сообразил, что прежняя его жизнь кончена, а начинается новая. Какова она будет, Никанор Иванович не знал, да и не очень опасался, что ему угрожает что-нибудь страшное. Но Никанор Иванович неожиданно понял, что человек после тюрьмы не то что становится новым человеком, но даже как бы обязан им стать. Как будто бы внезапно макнули Никанора Ивановича в котел, вынули и стал новый Никанор Иванович, на прежнего совершенно не похожий.

Вот это-то и есть самое главное, а вовсе не страхи, иногда не оправдывающиеся. Понял это и Никанор Иванович, хотя был, по секрету говоря, тупым человеком. Первые ожидания Никанора Ивановича как будто оправдались: спутники привезли его на закате солнца на окраину Москвы к неприглядному зданию, о котором Никанор Иванович понаслышке знал, что это тюрьма. Следующие впечатления тоже были как будто тюремные. Никанору Ивановичу пришлось пройти ряд скучных формальностей. Никанора Ивановича записали в какую-то книгу, подвергли осмотру его одежду, причем лишили Никанора Ивановича подтяжек и пояса. А после этого все пошло совершенно не так, как представлял себе Никанор Иванович.

Придерживая руками спадающие брюки, Никанор

Иванович, вслед за молчаливым спутником, пошел куда-то, по каким-то коридорам и не успел опомниться, как оказался голым и под душем. В то время, пока Никанор Иванович намыливал себя и тер мочалкой, одежда его куда-то исчезла, а когда настало время одеваться, она вернулась, причем была сухая, пахла чем-то лекарственным, брюки стали короче, а рубашка и пиджак съежились, так что полный Никанор Иванович не застегивал больше ворота.

А далее все сложилось так, что Никанор Иванович впал в полное изумление и пребывал в нем до тех пор, пока не сообразил, что видит сон.

Именно Никанора Ивановича повели по светлым, широким коридорам, в которых из-под потолка лампы изливали ослепительный, радостный и вечный свет.

Никанору Ивановичу смутно показалось, что его подвели к большим лакированным дверям, и тут же сверху веселый гулкий бас сказал:

— Здравствуйте, Никанор Иванович! *Сдавайте валюту!*

Никанор Иванович вздрогнул, поднял глаза и увидел над дверью черный громкоговоритель. Затем Никанор Иванович очутился в большом зале и сразу убедился, что это театральный зал. Под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, на стенах — кенкеты, была сцена, перед ней суфлерская будка, на сцене большое кресло малинового бархата, столик с колокольчиком и черный бархатный задний занавес.

Удивило Никанора Ивановича то, что все это безумно пахло карболовой кислотой.

Кроме того, поразился Никанор Иванович тем обстоятельством, что зрители, а их было по первому взгляду человек полтораста, сидели не на стульях, а просто на полу — довольно тесно.

Тут смутно запомнил Никанор Иванович, что все зрители были мужеского пола, все с бородами и с усами, отчего казались несколько старше своих лет.

На Никанора Ивановича никто не обратил внимания, и тогда он последовал общему примеру, то есть уселся на пол, оказавшись между худым дантистом, как выяснилось впоследствии, и каким-то здоровяком с рыжей бородой, бывшим рыбным торговцем, тоже как узналось в свое время.

Глядя с любопытством на сцену, Никанор Иванович увидел, как на ней появился хорошо одетый, в сером костюме, гладко выбритый, гладко причесанный молодой человек с приятными чертами лица.

Зал затих при его появлении, глядя на молодого человека с ожиданием и весельем.

— Сидите? — спросил молодой человек мягким баритоном и улыбнулся залу.

Многие улыбнулись ему в ответ в зале, и послышались голоса:

— Сидим... сидим...

— И как вам не надоест? — удивился молодой человек, — все люди, как люди, ходят по улицам, прекрасная погода, а вы здесь торчите! Ну, ладно!

И продолжал:

— Итак, следующим номером нашей программы — Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета. Попросим его!

И тут громовой аплодисмент потряс ярко освещенный зал.

Никанор Иванович странно удивился, а молодой человек поманил его пальцем, и Никанор Иванович, не помня себя, очутился на сцене. Тут ему в глаза ударил яркий цветной свет снизу, из рампы.

— Ну, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой человек, — и сдавайте валюту.

Зал затих.

Тут Никанор Иванович вспомнил все те страстные, все убедительные слова, которые он приготовил, пока влекся в тюрьму, и выговорил так:

— Богом клянусь...

Но не успел кончить, потому что зал ответил ему негодующим криком. Никанор Иванович заморгал глазами и замолчал.

— Нету валюты? — спросил молодой человек, с любопытством глядя на Никанора Ивановича.

— Нету! — ответил Босой.

— Так, — отозвался молодой человек, — а откуда же появились триста долларов, которые оказались в сортире?

— Подбросил злодей переводчик! — со страстью ответил Босой и застыл от удивления: зал разразился

диким негодующим воплем, а когда он утих, молодой человек сказал с недоумением:

— Вот какие басни Крылова приходится выслушивать! Подбросили триста долларов! Все вы, валютчики! Обращаюсь к вам, как к специалистам! Мыслимое ли дело, чтобы кто-нибудь подбросил триста долларов?

— Мы не валютчики, — раздались голоса в зале, — но дело это немыслимое.

— Спрошу вас, — продолжал молодой человек, — что могут подбросить?

— Ребенка! — ответил в зале кто-то.

— Браво, правильно! — сказал молодой человек, — ребенка могут подбросить, прокламацию, но таких идиотов, чтобы подбрасывали триста долларов, нету в природе!

И, обратившись к Никанору Ивановичу, молодой человек сказал печально:

— Огорчили вы меня, Никанор Иванович! А я на вас надеялся! Итак, номер наш не удался.

Свист раздался в зале.

— Мерзавец он! Валютчик! — закричал кто-то в зале, негодуя, — а из-за таких и мы терпим невинно!

— Не ругайте его! — сказал добродушно молодой человек, — он раскается. — И, обратив к Никанору Ивановичу глаза, полные слез, сказал:

— Не ожидал я от вас этого, Никанор Иванович!

И, вздохнув, добавил:

— Ну, идите, Никанор Иванович, на место.

После чего повернулся к залу и, позвонив в колокольчик, громко воскликнул:

— Антракт, негодяи!

После чего исчез со сцены совершенно бесшумно.

Потрясенный Никанор Иванович не помнил, как протекал антракт. После же антракта молодой человек появился вновь, позвонил в колокольчик и громко заявил:

— Попрошу на сцену *Сергея Герардовича* Дунчиль!

Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным гражданином лет пятидесяти, а без бороды — сорока двух.

— Сергей Бухарыч, — обратился к нему молодой человек, — вот уж полтора месяца вы сидите здесь, а между тем государство нуждается в валюте. Вы чело-

век интеллигентный, прекрасно это понимаете и ничем не хотите помочь.

— К сожалению, ничем помочь не могу, валюты у меня нет, — ответил Дунчиль.

— Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов, — спросил тоскливо молодой человек.

— И бриллиантов нет, — сказал Дунчиль.

Молодой человек печально повесил голову и задумался. Потом хлопнул в ладоши.

Черный бархат раздвинулся, и на сцену вышла дама, прилично одетая, в каком-то жакете по последней моде без воротника.

Дама эта имела крайне встревоженный вид. Дунчиль остался спокойным и поглядел на даму высокомерно.

Зал с величайшим любопытством созерцал неожиданное и единственное существо женского пола на сцене.

— Кто эта дама? — спросил у Дунчиля молодой человек.

— Это моя жена, — с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею без воротника с некоторым отвращением.

— Вот какого рода обстоятельство, мадам Дунчиль, — заговорил молодой человек, — мы потревожили вас, чтобы спросить, нет ли у вашего супруга валюты.

Дама встревоженно дернулась и ответила с полной искренностью:

— Он все решительно сдал.

— Так, — отозвался молодой человек, — ну что ж, в таком случае мы сейчас отпустим его. Раз он все сдал, то надлежит его немедленно отпустить, как птицу на свободу. Приношу вам мои глубокие извинения, мадам, что мы задержали вашего супруга. Маленькое недоразумение: мы не верили ему, а теперь верим. Вы свободны, Сергей Герардович! — обратился молодой человек к Дунчилю и сделал царственный жест.

Дунчиль шевельнулся, повернулся и хотел уйти со сцены, как вдруг молодой человек произнес:

— Виноват, одну минуточку!

Дунчиль остановился.

— Позвольте вам на прощание показать фокус! — и молодой человек хлопнул в ладоши.

Тут же под потолком сцены вспыхнули лампионы, черный занавес распахнулся, и вздрогнувший Никанор Иванович Босой увидел, как выступила на помост красавица в прозрачном длинном балахоне, сквозь который светилось горячим светом ее тело. Красавица улыбалась, свéркая зубами, играя черными мохнатыми ресницами.

В руках у красавицы была черная бархатная подушка, а на ней, разбрызгивая во все стороны разноцветные искры, покоились бриллианты, как лесные орехи, связанные в единую цепь. Рядом с бриллиантами лежали три толстые пачки, перевязанные конфетными ленточками.

— Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом, — объявил молодой человек при полном молчании всего театра, — хранились у Сергея Герардовича Дунчиль в городе Харькове в квартире его любовницы, — молодой человек указал на красавицу, — Иды Геркулановны Косовской. Вы, Сергей Герардович, охмуряло и врун, — сурово сказал молодой человек, уничтожая Дунчиля огненным взглядом, — ступайте же теперь домой и постарайтесь исправиться!

Тут дама без воротника вдруг пронзительно крикнула: «Негодяй» — и, меняясь в цвете лица из желтоватого в багровый, из багрового в желтый, а затем в чисто меловой, Сергей Герардович Дунчиль качнулся и стал падать в обмороке, но чьи-то руки подхватили его. И тотчас по волшебству погасли лампионы на сцене, провалилась в люк красавица, исчезли супруги Дунчиль.

**21/VI. 35. в грозу.**

*И опять наступил антракт, ознаменов*..............
......................................................................

Раскисший в собственном поту Никанор Иванович открыл глаза, но убедился, что продолжает спать и видит сны. На сей раз ему приснилось, что появились между зрителей повара в белых колпаках и стали раздавать суп. Помнится, один из них был веселый круглолицый и, черпая суп громадной ложкой, все приговаривал:

— Сдавайте, ребята, валюту. Ну чего вам тут на полу сидеть!

Похлебав супу без аппетита, Босой опять вынужден был зажмуриться, так как засверкали лампионы на сцене.

Вышедший из бархата молодой человек звучно объявил, что известный артист Прюнин исполнит отрывки из сочинения Пушкина «Скупой рыцарь». Босой хорошо знал фамилию сочинителя Пушкина, ибо очень часто слышал, да и сам говорил: «А за квартиру Пушкин платить будет?» — и поэтому с любопытством уставился на сцену.

А на ней появился весьма пожилой бритый человек во фраке, тотчас скроил мрачное лицо и, глядя в угол, заговорил нараспев:

— Счастливый день!..

Фрачник рассказал далее, что сокровища его растут, и делал это столь выразительно, что притихшей публике показалось, будто действительно на сцене стоят сундуки с золотом, принадлежащим фрачнику. Сам о себе фрачный человек рассказал много нехорошего. Босой, очень помрачнев, слышал, что какая-то несчастная вдова под дождем на коленях стояла, но не тронула черствого сердца артиста. Затем фрачник стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе отвечал, причем у Босого все спуталось, потому что артист называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на «вы», то на «ты». И понял Босой только одно, что артист умер злою смертью, выкликнув: «Ключи! Ключи мои!» и повалившись после этого на колени, хрипя и срывая с себя галстук.

Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, улыбаясь поклонился и при жидких аплодисментах удалился.

Молодой человек вышел из бархата и заговорил так:

— Ну-с, вы слышали, граждане, сейчас, как знаменитый артист Потап Петрович со свойственным ему мастерством прочитал вам «Скупого рыцаря». Рыцарь говорил, что резвые нимфы сбегутся к нему и прочее. Предупреждаю вас, дорогие граждане, что ничего этого с вами не будет. Никакие нимфы к вам не сбегутся, и

музы ему дань не принесут, и чертогов он никаких не воздвигнет, и вообще он говорил чепуху. Кончилось со скупым рыцарем очень худо — он помер от удара, так и не увидев ни нимф, ни муз, и с вами будет тоже очень нехорошо, если валюты не сдадите.

И тут свет в лампах превратился в тяжелый красный и во всех углах зловеще закричали рупоры:

— Сдавайте валюту!

**22/VI.35.**

Поэзия Пушкина, видимо, произвела сильнейшее впечатление на зрителей. Босому стало сниться, что какой-то маленький человек, дико заросший разноцветной бородой, застенчиво улыбаясь, сказал, когда смолкли мрачные рупоры:

— Я сдаю валюту...

Через минуту он был на сцене.

— Молодец, Курицын Владимир! — воскликнул распорядитель, — я всегда это утверждал. Итак?

— Сдаю, — застенчиво шепнул молодец Курицын.

— Сколько?

— Тыщу двести, — ответил Курицын.

— Все, что есть? — спросил распорядитель, и стала тишина.

— Все.

Распорядитель повернул за плечо к себе Курицына и несколько секунд смотрел не отрываясь Курицыну в глаза. Босому показалось, что лучи ударили из глаз распорядителя и пронизывают Курицына насквозь. В зале никто не дышал.

— Верю! — наконец воскликнул распорядитель, и зал дыхнул как один человек. — Верю. Глядите — эти глаза не лгут!

И верно: мутноватые глаза Курицына ничего не выражали, кроме правды.

— Ну, где спрятаны? — спросил распорядитель, и опять замер зал.

— *Пречистенка, 2-й Лимонный,* дом 103, квартира 15.

— Место?

— У тетки Пороховниковой Клавдии Ильинишны. В леднике под балкой, поворотя направо, в коробке из-под сардинок.

Гул прошел по залу. Распорядитель всплеснул руками.

— Видали вы, — вскричал он, — что-либо подобное? Да ведь они же там заплесневеют? Ну мыслимо ли доверить таким людям деньги? Он их в ледник засунет или в сортир. Чисто как дети, ей-богу!

Курицын сконфуженно повесил голову.

— Деньги, — продолжал распорядитель, — не в ледниках должны храниться, а в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях. И на эти деньги не теткины крысы должны любоваться, а на деньги эти государство машины будет закупать, заводы строить! Стыдно, Курицын!

Курицын и сам не знал, куда ему деваться, и только колупал ногтем свой вдрызг засаленный пиджачок.

— Ну, ладно, кто старое помянет, — сказал распорядитель и добавил: — Да... кстати... за одним разом чтобы... у тетки есть? Ну, между нами? А?

Курицын, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул и выпучил глаза. Настало молчание.

— Э, Курицын! — ласково и укоризненно воскликнул распорядитель. — А я-то еще похвалил его! А он, на тебе! Взял да и засбоил! Нелепо это, Курицын! Ведь по лицу видно, что у тетки есть валюта. Зачем же заставлять нас лишний раз машину гонять.

— Есть! — крикнул залихватски Курицын.

— Браво! — вскричал распорядитель, и зал поддержал его таким же криком «браво!».

Распорядитель тут же велел послать за коробкой в ледник, заодно, чтобы не гонять машину, захватить и тетку — Клавдию Ильинишну, и Курицын исчез с эстрады.

Далее сны Босого потекли с перерывами. Он то забывался в непрочной дреме на полу, то, как казалось ему, просыпался. Проснувшись, однако, убеждался, что продолжает грезить. То ему чудилось, что его водили в уборную, то поили чаем все те же белые повара. Потом играла музыка.

Босой забылся. Ногами он упирался в зад спящему дантисту, голову повесил на плечо, а затем прислонил ее к плечу рыжего любителя бойцовых гусей. Тот первоначально протестовал, но потом и сам затих и даже всхрапнул. Тут и приснилось Босому, что будто

бы все лампионы загорелись еще ярче и даже где-то якобы тренькнул церковный колокол. И тут с необыкновенною ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса-муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза, острые, деловые и немного бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену.

Рыжий со сна хриплым голосом сказал:

— Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.

Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и, даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнес красивым голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!

Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повел с исключительным искусством проповедь.

Рыжий не соврал, отец Аркадий был мастером своего дела. Первым же долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но кесарево, что бы ни было, принадлежит кесарю.

Возражать против этого не приходилось. Но тут же, сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял ныне существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя неуместность сравнения. Но надо полагать, что блестящему риторику — отцу Аркадию — дали возможность говорить, что ему нравится.

Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от Бога. А если так, то нарушающий постановления власти выступает против кого?..

Говорят же русским языком — «сдайте валюту».

# ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ПРОЧЕЕ

В бою, когда из строя выбывает командир, команда переходит к его помощнику; ежели выбывает и помощник, принимает команду следующий за ним по должности. Но если и он выбывает?

Короче говоря, расхлебывать все, что произошло в «Кабаре» накануне, пришлось бухгалтеру Василию Степановичу Захарову, который и оказался единственным командиром «Кабаре» и при том тяжелом условии, что вся команда находилась в полном смятении, близком, пожалуй, к панике.

Аккуратнейший человек Захаров прибыл на службу, лишь только стрелка часов показала девять по московскому времени, и, к ужасу своему, застал в помещении «Кабаре» милицию и представителей уголовного розыска. В пять минут десятого прибыли следственные власти.

Дело было неслыханное. Нюра, дежурный накануне ночью капельдинер, была найдена в вестибюле «Кабаре» лежащей в луже крови и с перерезанным горлом.

Дело осложнилось дикой и соблазнительной деталью — исчез директор «Кабаре» Степан Лиходеев, исчез финансовый директор Римский и исчез главный администратор Варенуха Николай. Все трое в разное время, но все бесследно.

Захаров был допрошен тут же и поступил, как всякий в его положении, то есть испугался до смерти, все свои усилия направив к тому, чтобы доказать, что он тут вообще ни при чем и ни к чему никакого отношения не имеет. Это ему удалось сделать легко — сразу же стало ясно, что тишайший и скромнейший Василий Степанович, всю жизнь сидевший в бухгалтерии, ни в чем решительно не виноват, а клятвенные его уверения, что он и представления не имеет о том, куда девались директора и администратор, заслуживают полного доверия.

Но руководить «Кабаре» в тот день пришлось все-таки ему. Узнав об этом Василий Степанович, едва в обморок не упал, но его тут же значительно утешило то, что следствие категорически заявило, что сегод-

няшний спектакль отменяется. Тут же двери «Кабаре» были закрыты, вывешены всюду надписи «Сегодняшний спектакль отменяется», и Захаров, стоя в толпе растерянных и бледных капельдинеров и билетерш, видел, как остроухая собака со вздыбленной шерстью, почему-то оскалившись и рыча, кинулась прямехонько из вестибюля к кабинету финансового директора, встала на задние лапы, а передними начала царапать дверь.

Все население «Кабаре» тихо ахнуло, узнав об этом, а уголовный розыск открыл дверь и впустил знаменитую ищейку. Она повела себя чрезвычайно странно. Во-первых, стала прыгать вверх, а затем, все более раздражаясь и даже тоскливо подвывая, бросилась к окну, выходящему в сад. Окно открыли, и собака высунула морду в него и тут же явно завыла, глядя злыми глазами вверх.

Что дальше происходило, Захаров не знал, так как отправился, куда ему было велено. А велено ему было немедленно добиться в управлении кабаретными зрелищами присылки заместителей Лиходееву, Римскому и Варенухе.

Захаров облегченно вздохнул, когда покинул здание, где совершилось странное злодейство, и вышел на раскаленную солнцем площадь.

Прежде всего он увидел громаднейшую толпу, теснящуюся возле кассовых дыр и читающую с неудовольствием надпись об отмене спектакля. Вспомнив вчерашний необыкновенный спектакль, Захаров пробормотал: «Ну и ну!» — крепче прижал к себе взбухший портфель со вчерашней кассой и направился к стоянке таксомоторов.

Тотчас подошла машина. Но шофер ее мрачно сказал «еду за бензином», и уехал. Второй спросил: «Вам куда?», получил ответ: «На Остоженку», махнул рукой, сказал: «В гараж» и исчез. Захаров терпеливо дожидался третьей машины. Третий шофер сказал что-то, что поразило бухгалтера до глубины души, именно:

— Покажите деньги, гражданин.

Захаров, изумляясь, вынул червонец.

— Не поеду! — сказал шофер.

— Я извиняюсь, — сказал Захаров, моргая глазами.

— Пятерки есть? — спросил шофер.

Пораженный Захаров вынул пятерку.

— Садитесь, — сказал шофер, почему-то свирепея.

Когда в пыли и дыму Захаров летел, подпрыгивая на сиденье, он робко осведомился у мрачного возницы:

— А почему это вы насчет червонца?..

— Третий случай сегодня, — отозвался шофер, — третий сукин сын, — и с этим вынул из кармана ярлык с надписью «Абрау-Дюрсо-полусухое». — Дает червонец как миленький, — продолжал рычать шофер, — я ему сдачи три рубля... Вылез, сволочь... Через полчаса смотрю — и шофер скомкал ярлык... — Потом другой — опять червонец... смотрю... Оказывается, в «Кабаре» сиянс вчера сделал какая-то гадюка-фокусник...

Тут Захаров затаил дыхание и сделал вид, что он впервые слышит и самое слово «кабаре», а про себя подумал: «Ну и ну!» Шофер же до того расстроил себя воспоминанием, что едва не раздавил какую-то женщину и ее же обругал непечатными словами.

Наконец дотряслись до нужного места. Шофер щупал пятерку, глядел сквозь нее на солнце, что-то ворчал, но дал сдачи рубль, а насчет двугривенного сказал, что двугривенного нету.

Захаров решил не спорить — пусть пропадает двугривенный — лишь бы только скорее сплавить с плеч все это дело и с облегченной душой убраться домой.

Однако так не вышло.

Бухгалтер поднялся по лестнице во второй этаж и только что собирался пройти по коридору в конец к двери, на которой была надпись: «заведующий — прием от 2 до 3», как мимо него промчалась курьерша, бормоча что-то вроде... «вот так-так!», и скрылась. Лишь только показалась заветная дверь, бухгалтер остановился, как будто прилип к полу, и выпучил глаза. Дверь была полуоткрыта и вся облеплена людьми. Они прилипли к щелям, и лица у них были искаженные. Потом вдруг вся компания кинулась бежать и рассеялась в явном ужасе, кто куда. Загремели двери по коридору. Захаров отчетливо слышал, как визгнула женщина, а пронесшийся мимо него знакомый заведу-

ющий сектором был в таком состоянии, что явно не узнавал людей.

«Распекает?» — подумал Захаров и, движимый неодолимой силой, заглянул в дверь. Заглянув, тут же сел на стул, потому что ноги подкосились.

В комнате теперь находились трое. *Блистающая красотой женщина* с размазанной губной краской по подбородку и заплаканным лицом, сам Захаров и третий был шевиотовый костюм с самопишущим пером в борту пиджака, и костюм этот помещался за столом заведующего в кресле.

Увидев Захарова, красавица, в которой нетрудно было узнать личную секретаршу заведующего, взрыдала, а затем и вскричала:

— О, Боже! Боже! Боже! Да где же он?

Тут грянул телефон на столе и холодный пот потек по спине бухгалтера. Костюм, протянув руку, снял трубку, поднес ее к пустоте над воротником и голосом, совершенно похожим на голос заведующего, взревел: «Да!» Затем захлопал рукавом по столу и закричал раздраженно: «Двадцать раз я говорил, чтоб они прислали мне, лично мне!» Тут швырнул трубку на вилку и, уставившись на Захарова, спросил грозно:

— В чем дело, товарищ? Я не принимаю!

Красавица вскочила и, указывая рукой на костюм, рыдая и топоча ножками, вскричала:

— Вы видите?! Видите? Спасите его, верните! О, Боже! — стала ломать руки.

Из коридора донеслись тревожные голоса, затем кто-то сунулся в дверь, охнул, кинулся бежать.

— Я всегда останавливала, когда он чертыхался, в отчаянии кричала красавица, терзая носовой платок, — вот и дочертыхался! Проша!

— Кто вам тут «Проша»? — спросил страшным голосом костюм.

— Не узнает! Не узнает! — взрыдала красавица.

— Попрошу не кричать в кабинете, — заходясь, сказал костюм в полоску.

Красавица зажала рот платком, а костюм невидимой кистью подтянул к себе пачку бумаг и стал размашисто и косо ставить какие-то пометки на бумагах.

«Резолюции ставит!» — подумал бухгалтер, и волосы его шевельнулись.

Красавица еще что-то пискнула, но костюм так злобно рыкнул, что она умолкла. Но, движимая желанием рассказать, она зашептала Захарову:

— Приходит сегодня какая-то сволочь толстая, похож на кота, и прямо ломит в кабинет... Я говорю: «Вы видите надпись, гражданин?» А он влез, говорит: «Я уезжаю сейчас...» Ну, Прохор Наумыч, он человек нервный несколько. Вспылил. Он добрейшей души человек, но нервный. «Понимаете вы русский язык, товарищ? Что вам надо?» А этот нахал отвечает, вообразите: «Я пришел с вами поболтать!» Как вам это покажется? А? Ну, тут Прохор Наумыч не вытерпел и крикнул: «Да вывести его вон, чтоб меня черти взяли!» Тот, вообразите, этот негодяй, улыбнулся, и в ту же минуту Прохор Наумыч исчез, а костюм... — и здесь красавица разрыдалась и затем понесла какую-то околесину о том, что нужно немедленно звонить, про каких-то врачей, уголовный розыск...

Захаров вдруг поднялся, задом скользнул в дверь и, чувствуя, что близок к умопомешательству, покинул управление. И очень вовремя, по лестнице навстречу ему поднялась милиция. Другой на месте Захарова уже тут сообразил бы, что на сегодняшний день лучше выйти из игры и никуда больше не ходить, но бухгалтер, во-первых, был недалек, а во-вторых, добросовестен. Проклятый портфель, в котором лежало 17 тысяч вчерашней кассы, жег ему руки. Захаров, чего бы это ни стоило, хотел сдать казну и поэтому пешком, в известковой пыли, пробежал с Остоженки в Ваганьковский переулок и явился в отдел сметы и распределения того же управления с целью избавиться от денег, распиравших портфель.

Отдел сметы разместился в облупленном особняке и замечателен был своими колоннами. Но не порфировые колонны в этот знаменитый день поражали посетителей отдела.

В вестибюле сбилась целая кучка их и, открыв рты, глядела на барышню, продающую под колонной литературу. Барышня эта плакала и что-то злобно пыталась рассказать. Второе из ряда вон выходящее обстоятельство заключалось в том, что из всех комнат

особняка несся непрерывный грохот телефонов, к которым, по-видимому, никто не подходил.

Лишь только Захаров оказался в вестибюле, барышня прервала рассказ, истерически крикнула: «Опять!» — и вдруг запела дрожащим сопрано:

— Славное море, священный Байкал!

Курьер, показавшийся на лестнице со стаканами на подносе, выругался коротко и скверно, расплескал чай и запел в тон барышне:

— Славен корабль, омулевая бочка!..

Через несколько секунд во всех комнатах пели служащие про славное море. Хор ширился, гремел, в финансово-счетном секторе особенно выделялись два мощных баса. Аккомпанировал хору усилившийся грохот телефонных аппаратов и плач девицы.

— Молодцу плыть недалечко! — рыдая и стараясь стиснуть зубы, пела девица.

Курьер пытался прервать пение, вставляя матерные слова, но это ему плохо удавалось.

Прохожие в переулке стали останавливаться, пораженные весельем, доносившимся из учреждения. Группа посетителей под колоннами, дико вытаращив глаза, смотрела на поющую девицу. Улыбки блуждали по лицам. Лишь только первый куплет пришел к концу, пение оборвалось, курьер получил возможность выругаться, выпустил несколько ругательств подряд, схватил поднос и исчез.

Тут в парадных дверях показался гражданин, при котором тут же в группе посетителей зашептали «доктор... доктор приехал»... и двое милицейских.

— Примите меры, доктор! — истерически крикнула девица.

Тут же на лестницу выбежал секретарь и, видимо сгорая от стыда и растерянности, начал говорить:

— Видите ли, доктор, у нас случай массового... — но не кончил, стал давиться словами и вдруг запел неприятным козлиным тенором о том, что Шилка и Нерчинск нестрашны теперь...

— Дурак! Дурак! — крикнула девица, но не объяснила, кого ругает, а вывела руладу, из которой явствовало, что горная стража ее не поймала.

Недоумение разлилось по лицу врача, но он поста-

рался совладать с собой и сурово прикрикнул на секретаря:

— Замолчите!

Видно было по всему, что секретарь и сам бы отдал все на свете, чтобы замолчать, но сделать этого не мог и, могучий, рассеянный по всему учреждению хор вместе с секретарем донес до вконец соблазненных ваганьковских прохожих вопль о том, что в дебрях не тронул прожорливый зверь.

Девицу поволокли куда-то под руки, явился лекарский помощник с сумкой.

Захаров через минуту от взволнованных посетителей учреждения узнал в чем дело.

Оказалось, что в перерыве, предназначенном по закону для завтрака, заведующий учреждением явился в столовую как раз в тот момент, когда все служащие доедали питательную и вкусную свинину с бобами.

Заведующий, по словам озлобленной девицы, сиял как солнце и вел под руку какого-то «сукина сына, неизвестно откуда взявшегося» (так точно выразилась девица), тощего в паршивых брючках и в разбитом пенсне.

Дело в том, что устройство кружков было манией заведующего. В течение полугода он организовал шахматно-шашечный кружок, кружок пинг-понга, любителей классической литературы, духовой музыки (последний быстро распался, так как проворовался кассир, игравший на валторне) и к июню угрожал организовать кружок гребли на пресных водах и альпинистов. Коротко говоря, заведующий ввел под руку Коровьева и отрекомендовал его всем любителям бобов как товарища-специалиста по созданию хоровых кружков. Лица будущих альпинистов стали мрачны. Но заведующий призвал всех к бодрости, а Коровьев тут же и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость: «На ходу! на ходу! — трещал Коровьев, — но удовольствия и пользы три вагона». И тут «этот подхалим Косарчук» (выражение девицы) первый вскочил и восторженно заявил, что записывается. Тут все увидели, что пения не миновать, и, как один, записались. Петь решили, так как все остальное время было занято пинг-понгом и шашками, в этом самом для завтрака перерыве.

Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло как сон скверный (девица так говорила). Коровьев проорал «до-ми-соль-до», самых застенчивых извлек из-за шкафов, за которые они прятались в надежде отлынуть, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, попросил уважить старого регента-певуна грянуть «Славное море», камертоном стучал по пальцу.

Было 12. Грянули. И славно грянули, Коровьев действительно понимал дело. Первый куплет допели в столовой до конца, после чего Коровьев исчез.

Недоумение. Пауза. Радость. Но ненадолго. Как-то сами собой двинули второй куплет, Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Хотели остановиться — не тут-то было. Пауза. Полился третий куплет. Поняли, что беда. Заведующий стал бледен, как скатерть в столовой.

Через час был скандал, неслыханный, страшный, всемосковский скандал.

К трем часам занятия были остановлены милицией. Врачи сделать ничего не могли. Захаров был уже на улице, когда к особняку подъехали три грузовых платформы.

Милиция распорядилась очень хорошо: весь состав учреждения — восемьдесят семь человек — разбили на три партии и на этих трех грузовиках и увезли. Способ был умный, простой и наименее соблазнительный.

Лишь только первый грузовик, качнувшись, выехал за ворота, улицы огласились пением про славное море, и никому из прохожих и в голову не пришло, куда везут распевшихся служащих из отдела смет и распределения. Но, конечно, не трудно догадаться, что все три хора приехали как раз в то здание, которым руководил профессор Стравинский.

Появление такой большой партии больных вызвало смятение. Стравинский начал, кажется, с того, что всем приехавшим были даны большие дозы снотворного. А дальнейшая судьба несчастных жертв Коровьева москвичам неизвестна. Что касается Захарова, то он все-таки добился неприятности. Он добрался со своим портфелем до главного коллектора зрелищ облегченного типа, написал по форме приходный ордер и выва-

лил кассиру все пачки денег, которые привез в портфеле.

Лишь только кассир макнул пальцы в алюминиевую тарелочку, в которой плавала губка, обнаружилось, что пачки состоят частью из резаной газетной бумаги, частью из денежных знаков различных стран, как-то: долларов канадских, гульденов голландских, лат латвийских, иен японских и других.

На вопрос о том, что это значит, Захаров ничего не мог сказать, ибо у него отнялся язык.

Его немедленно арестовали.

**6/VII.36 г.**
**Загорянск.**

# ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Была полночь, когда снялись со скалы и полетели. Тут мастер увидел преображение. Скакавший рядом с ним Коровьев сорвал с носа пенсне и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишко, дрянные брючонки. Луна лила бешеный свет, и теперь он заиграл на золотых застежках кафтана, на рукояти, на звездах шпор. Не было никакого Коровьева, невдалеке от мастера скакал, колол звездами бока коня рыцарь в фиолетовом. Все в нем было печально, и мастеру показалось даже, что перо с берета свешивается грустно. Ни одной черты Коровьева нельзя было отыскать в лице летящего всадника. Глаза его хмуро смотрели на луну, углы губ стянуло книзу. И, главное, ни одного слова не произносил говоривший, не слышались более назойливые шуточки бывшего регента.

Тьма вдруг налетела на луну, жаркое фырканье ударило в затылок мастеру. Это Воланд поравнялся с мастером и концом плаща резнул его по лицу.

— Он неудачно однажды пошутил, — шепнул Воланд, — и вот, осужден был на то, что при посещениях земли шутит, хотя ему и не так уж хочется этого. Впрочем, надеется на прощение. Я буду ходатайствовать.

Мастер, вздрогнув, всмотрелся в самого Воланда, тот преображался постепенно, или, вернее, не преобра-

жался, а лишь точнее и откровеннее обозначался при луне. Нос его ястребино свесился к верхней губе, рот вовсе сполз на сторону, еще острее стала раздвоенная из-под подбородка борода. Оба глаза стали одинаковыми, черными, провалившимися, но в глубине их горели искры. Теперь лицо его не оставляло никаких сомнений — это был Он.

Вокруг кипел и брызгал лунный свет, слышался свист. Теперь уж летели в правильном строю, как понял мастер, и каждый, как надо, в виде своем, а не чужом.

Первым — Воланд, и плащ его на несколько саженей трепало по ветру полета, и где-то по скалам еще летела за ним тень.

Бегемот сбросил кошачью шкуру, оставил лишь круглую морду с усами, был /в/ кожаном кафтане, в ботфортах, летел веселый по-прежнему, свистел, был толстый, как Фальстаф.

На фланге, скорчившись, как жокей, летел на хребте скакуна, звенел бубенцами, держал руку убийцы на ноже огненно-рыжий Азазелло.

Конвой воронов, пущенных, как из лука, выстроившись треугольником, летел сбоку, и вороньи глаза горели золотом огнем.

Не узнал Маргариту мастер. Голая ведьма теперь неслась в тяжелом бархате, шлейф трепало по крупу, трепало вуаль, сбруя ослепительно разбрызгивала свет от луны.

Амазонка повернула голову в сторону мастера, она резала воздух хлыстом, ликовала, хохотала, манила, сквозь вой полета мастер услышал ее крик:

— За мной! Там счастье!

Очевидно, она поняла что-то ранее мастера, тот подскакал к Воланду ближе и крикнул:

— Куда ты влечешь меня, о великий Сатана?

Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать.

— *Ты награжден. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа,* которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как цепляясь ползет по стене. Крас-

ные вишни будут усыпать ветви в саду. Маргарита, подняв платье чуть выше колен, держа чулки в руках и туфли, вброд будет переходить через ручей.

Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудреной косе, в стареньком привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить гулять и мыслить.

Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но и исчезнет мысль о Га-Ноцри и о прощенном игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой приют. Мы прилетели. Вот Маргарита уже снизилась, манит тебя. Прощай!

Мастер увидел, как метнулся громадный Воланд, а за ним взвилась и пропала навсегда свита и боевые черные вороны. Горел рассвет, вставало солнце, исчезли черные кони. Он шел к дому, и гуще его путь и память оплетал дикий виноград. Еще был какой-то отзвук от полета над скалами, еще вспоминалась луна, но уж не терзали сомнения, и угасал казнимый на Лысом Черепе, и бледнел и уходил навеки, навеки шестой прокуратор Понтийский Пилат.

Конец.

# ГЛАВЫ ИЗ ВТОРОЙ ПОЛНОЙ РУКОПИСНОЙ РЕДАКЦИИ (1937—1938 гг.)

## ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

– Я — мастер, — сурово ответил гость и вынул из кармана засаленную черную шапочку. Он надел ее и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он.

— А как ваша фамилия?

— У меня нет больше фамилии, — мрачно ответил странный гость, — я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней!

Иван умолк, а гость шепотом повел рассказ.

История его оказалась действительно не совсем обыкновенной. Историк по образованию, он лет пять тому назад работал в одном из музеев, а кроме того, занимался переводами. Жил одиноко, не имея родных нигде и почти не имея знакомых. И представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.

— Можете вообразить мое изумление! — рассказывал гость, — я эту облигацию, которую мне дали в музее, засунул в корзину с бельем и совершенно про нее забыл. И тут, вообразите, как-то пью чай утром и машинально гляжу в газету. Вижу — колонка каких-то цифр. Думаю о своем, но один номер меня беспокоит. А у меня, надо вам сказать, была зрительная память. Начинаю думать: а ведь я где-то видел цифру «13», жирную и черную, слева видел, а справа цифры цветные и на розоватом фоне. Мучился, мучился и вспомнил! В корзину — и, знаете ли, я был совершенно потрясен!..

Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил на пять тысяч книг и из своей комнаты

на Мясницкой переехал в переулок близ Пречистенки, в две комнаты в подвале маленького домика в садике. Музей бросил и начал писать роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик. — Маленькие оконца выходили в садик, и зимою я редко видел чьи-нибудь черные ноги, слышал хруст снега. В печке у меня вечно пылал огонь. Но наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем зеленеющие кусты сирени. И тогда весною случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А сто тысяч, как хотите, колоссальная сумма денег!

— Это верно, — согласился внимательный Иван.

— Я шел по Тверской тогда весною. Люблю, когда город летит мимо. И он мимо меня летел, я же думал о Понтии Пилате и о том, что через несколько дней я допишу последние слова, и слова эти будут непременно — «шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Но тут я увидел ее, и поразила меня не столько даже ее красота, сколько то, что у нее были тревожные, одинокие глаза. Она несла в руках отвратительные желтые цветы. Они необыкновенно ярко выделялись на черном ее пальто. Она несла желтые цветы. Она повернула с Тверской в переулок и тут же обернулась. Представьте себе, что шли по Тверской сотни, тысячи людей, я вам ручаюсь, что она видела меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как-то болезненно.

И я повернул за нею в переулок и пошел по ее следам, повинуясь. Она несла свой желтый знак так, как будто это был тяжелый груз.

Мы прошли по кривому скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, она по другой. Я мучился, не зная, как с нею заговорить, и тревожился, что она уйдет и я никогда ее более не увижу.

И тогда заговорила она.

— Нравятся ли вам эти цветы?

Отчетливо помню, как прозвучал ее низкий голос и мне даже показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от грязных желтых стен.

Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:

— Нет.

Она поглядела на меня удивленно, а я вгляделся в нее и вдруг понял, что никто в жизни мне так не нравился и никогда не понравится, как эта женщина.

— Вы вообще не любите цветов? — спросила она и поглядела на меня, как мне показалось, враждебно.

Я шел с нею, стараясь идти в ногу, чувствовал себя крайне стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я и прочистил голос.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тогда она бросила цветы в канаву. Я настолько растерялся, что было поднял их, но она усмехнулась и оттолкнула их, тогда я понес их в руках.

Мы вышли из кривого переулка в прямой и широкий, на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении поглядел в ее темные глаза. Она усмехнулась и сказала так:

— *Это опасный переулок,* — видя мое недоумение, пояснила, — *здесь может проехать машина, а в ней человек...*

Мы пересекли опасный переулок и вошли в глухой, пустынный. Здесь бодрее застучали ее каблуки.

Она мягким, но настойчивым движением вынула у меня из рук цветы, бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли тесно рядом.

Любовь поразила нас как молния, как нож. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет.

На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило приветливо нам.

И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.

Она приходила ко мне днем, я начинал ее ждать за полчаса до срока. В эти полчаса я мог только курить и переставлять с места на место на столе предметы. Потом я садился к окну и прислушивался, когда стукнет ветхая калитка. Во дворик наш мало кто приходил, но теперь мне казалось, что весь город устремил-

ся сюда. Стукнет калитка, стукнет мое сердце, и, вообразите, грязные сапоги в окне. Кто ходил? Почему-то точильщики какие-то, почтальон, ненужный мне.

Она входила в калитку один раз, как сами понимаете, а сердце у меня стучало раз десять, я не лгу. А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала полдень, оно уже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука почти, совсем бесшумно не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками.

Иногда она шалила и, задержавшись, у второго оконца постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал, я шел ей открывать.

Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особняке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.

— А кто же такая она была? — спросил Иван, заинтересовавшись этой любовной историей.

Гость сделал жест, означавший «ни за что, никогда не скажу», и продолжал свой рассказ.

Ивану стало известно, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что не могли уже жить друг без друга. Иван представлял себе уже ясно и две комнаты в подвале особняка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель в первой, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка, и печку.

Диван в узкой второй, и опять-таки книги, коврик возле этого дивана, крохотный письменный стол.

Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек.

Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и надевала фартук, и в той узкой передней, где помещался умывальник, а на деревянном столе керосинка, готовила завтрак и завтрак этот накрывала в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслепова-

тых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и завтракали при огненных отблесках, игравших на хрустальных рюмках с красным вином. Кончились грозы, настало душное лето, и в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы.

Герой этого рассказа работал как-то лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и героиню.

— Право, временами я начинал ревновать ее к нему, — шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану.

Как выяснилось, она, прочитав исписанные листы, стала перечитывать их, сшила из черного шелка вот эту самую шапочку.

Если герой работал днем, она, сидя на корточках у нижних полок или стоя на стуле у верхних в соседней комнате, тряпкой вытирала пыльные корешки книг с таким благоговением, как будто это были священные и бьющиеся сосуды.

Она подталкивала его и гнала, сулила славу и стала называть героя мастером. Она в лихорадке дожидалась конца, последних слов о прокураторе Иудеи, шептала фразы, которые ей особенно понравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь.

И этот роман был дописан в августе. Героиня сама отнесла его куда-то, говоря, что знает чудную машинистку. Она ездила к ней проверять, как идет работа.

В конце августа однажды она приехала в таксомоторе, герой услышал нетерпеливое постукивание руки в черной перчатке в оконце, вышел во двор. Из таксомотора был выгружен толстеннейший пакет, перевязанный накрест, *в нем оказалось пять экземпляров романа.*

Герой долго правил эти экземпляры, и она сидела рядом с резинкой в руках и шепотом ругала автора за то, что он пачкает страницы, и ножичком выскабливала кляксы. Настал наконец день и час покинуть тайный приют и выйти с этим романом в жизнь.

— И я вышел, держа его в руках, и тогда кончилась моя жизнь, — прошептал мастер и поник головой, и качалась долго черная шапочка.

Мастер рассказал, что он привез свое произведение в одну из редакций и сдал его какой-то женщине,

и та велела ему прийти за ответом через две недели.

— Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю его с содроганием и ненавистью! — прошептал торжественно мастер и поднял руку.

Действительно, того, кто называл себя мастером, постигла какая-то катастрофа.

Он рассказал Ивану про свою встречу с редактором. Редактор этот чрезвычайно изумил автора.

— Он смотрел на меня так, как будто у меня флюсом раздуло щеку, как-то косился и даже сконфуженно хихикал. Без нужды листал манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он стал спрашивать, кто я таков и откуда взялся, давно ли я пишу, и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал совсем идиотский вопрос: как это так мне пришла в голову мысль написать роман на такую тему?

Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик: будет ли он печатать роман или не будет?

Тут он как-то засуетился и заявил, что сам он решить этот вопрос не может, что с этим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно *критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.*

Я ушел и через две недели получил от той самой девицы со скошенными к носу от постоянного вранья глазами...

— Это Лапшенникова, секретарь редакции, — заметил Иван, хорошо знающий тот мир, что так гневно описывал его гость.

— Может быть, — отрезал тот и продолжал: — ...да, так вот от этой девицы получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Девица сообщила, водя выворoченным глазом мимо меня, что редакция обеспечена материалом уже на два года вперед и поэтому вопрос о напечатании Понтия Пилата отпадает.

И мой роман вернулся туда, откуда вышел. Я помню осыпавшиеся красные лепестки розы на титульном листе и полные раздражения глаза моей жены.

Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезап-

ное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, *сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.*

— А, помню, помню! — вскричал Иван, — но я забыл, как ваша фамилия?

— Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, — ответил гость, — дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить и *крепко ударить по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал ее протащить* (опять это проклятое слово!) в печать.

Остолбенев от этого неслыханного слова «Пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна Латунского, а другая подписанная буквами «М.З.».

Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что *называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец».* Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом и, стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского!

Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.

— Настали безрадостные осенние дни, — продолжал гость, — чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию.

И вот в это время случилось что-то со мною. Черт знает что, в чем Стравинский, наверное, давно уж разобрался. Именно нашла на меня тоска и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Клянусь вам, что они смешили меня. Я твердо знал, что в них нет правды, и в особенности это

отличало статьи Мстислава Лавровича (а он писал о Пилате и обо мне еще два раза). Что-то удивительно фальшивое, неуверенное чувствовалось буквально в каждом слове его статей, несмотря на то что слова все были какие-то пугающие, звонкие, крепкие и на место поставленные. Так вот, я, повторяю, смеялся, меня не пугал ни Мстислав, ни Латунский. А между тем, подумайте, снизу где-то под этим подымалась во мне тоска. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу.

Моя возлюбленная изменилась. Она похудела и побледнела и настаивала на том, чтобы я, бросив все, уехал бы на месяц на юг. Она была настойчива, и я, чтобы не спорить, совершил следующее — вынул из сберегательной кассы последнее, что оставалось от ста тысяч — увы — девять тысяч рублей. Я отдал их ей, на сохранение до моего отъезда, сказав, что боюсь воров. Она настаивала на том, чтобы я послезавтра же взял бы билеты на юг, и я обещал ей это, хотя что-то в моей душе упорно подсказывало мне, что ни на какой юг и никогда я не уеду.

В ту же ночь я долго не мог заснуть, и вдруг, таращa глаза в темноту, понял, что я заболел боязнью. Не подумайте, что боязнью Мстислава, Латунского, нет, нет. Сквернейшая штука приключилась со мною. Я стал бояться оставаться один в комнате. Я зажег свет. Передо мною оказались привычные предметы, но легче мне от этого не стало. Симптомы атаковали меня со всех сторон, опять померещился спрут. Малодушие мое усиливалось, явилась дикая мысль уйти куда-нибудь из дому. Но часы прозвенели четыре, идти было некуда. Я попробовал снять книгу с полки. Книга вызвала во мне отвращение. Тогда я понял, что дело мое плохо. Чтобы проверить себя, я отодвинул занавеску и глянул в оконце. Там была черная тьма, и ужас во мне возник от мысли, что она сейчас начнет вливаться в мое убежище. Я тихо вскрикнул, задернул занавеску, зажег все огни и затопил печку. Когда загудело пламя и застучала дверца, мне как будто стало легче. Я открыл шкаф в передней, достал бутылку белого, ее любимого, вина и стал пить его стакан за стаканом.

Мне полегчало, не от того, что притупились страшные мысли, а оттого, что они пришли вразброд. Тогда я, понимая, конечно, что этого быть не может, пытался вызвать ее. Я знал, что это она — единственное существо в мире — может помочь мне. Я сидел, съежившись на полу у печки, жар обжигал мне лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди!

Но никто не шел. Гудело в печке, и в оконца нахлестывал дождь.

Тогда случилось последнее. Я вынул из ящиков стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это не так-то просто сделать. Исписанная бумага горит неохотно. Ломая изредка ногти, я разодрал тетради, вкладывая их между поленьями, ставил стоймя, кочергой трепал листы. Ломкий пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман погибал. Покончив с тетрадями, я принялся за машинные экземпляры. Я отгреб гору пепла в глубь печки и, разняв толстые манускрипты, стал погружать их в пасть. Знакомые слова мелькали предо мною, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх, но слова все-таки виднелись на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и кочергой я яростно добивал мои мысли. Мне стало как бы легче.

В это время в окно тихо постучались, как будто кто-то царапался. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последние слои в огонь, пошел отворять.

Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери наверх, пахнуло сыростью. У двери я с тревожным сердцем спросил тихо:

— Кто там?

И голос, ее голос ответил мне:

— Это я.

Не помня себя, не помня как, я совладал с цепью и ключом.

Она лишь только шагнула внутрь, припала ко мне вся мокрая, с мокрыми щеками, развившимися волосами, дрожащая.

Я мог произнести только слова:

— Ты... ты, — и голос мой прервался, и мы вбежали в переднюю. Она освободилась от пальто и по-

дошла к огню. Она тихо вскрикнула, голыми руками выбросила из печи последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату мгновенно. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Отдельные слова прорывались сквозь горький плач.

— Я чувствовала... знала... Я бежала... я знала, что беда... Опоздала... он уехал, его вызвали телеграммой... и я прибежала... я прибежала!

Тут она отняла руки и, глядя на меня страшными глазами, спросила:

— Зачем ты это сделал? Как ты смел погубить его?

Я помолчал, глядя на валявшиеся обожженные места, и ответил:

— Я все возненавидел и боюсь... Я даже тебя звал. Мне страшно.

Слова мои произвели необыкновенное действие. Она поднялась, утихла и спросила, и в голосе ее был ужас:

— Боже, ты нездоров? Ты нездоров... Но я спасу тебя, я тебя спасу... Что же это такое? Боже!

Я не хотел ее пугать, но я обессилел и в малодушии признался ей во всем, рассказал, как обвил меня черный спрут, сказал, что я знаю, что случится несчастье, что романа своего я больше видеть не мог, он мучил меня.

— Ужасно! Ужасно! — бормотала она, глядя на меня, и я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, я чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб, — но ничего. О, нет! Ты восстановишь его! *Я тебя вылечу, не дам тебе сдаться,* ты его запишешь вновь! Проклятая! Зачем я не оставила у себя один экземпляр!

Она скалилась от ярости, что-то еще бормотала. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Она сложила их аккуратно, завернула в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости, что она овладела собой. Выпив вина, она стала торопливо собираться. Это было мучительно для нее, она хотела остаться у меня, но сделать этого не могла.

Она солгала прислуге, что смертельно заболела ее близкая приятельница, и умчалась, изумив дворника.

— Как приходится платиться за ложь, — говорила

она, — и я больше не хочу лгать. Я приду к тебе и останусь навсегда у тебя. Но, быть может, ты не хочешь этого?

— Ты никогда не придешь ко мне, — тихо сказал я, — и первый, кто этого не допустит, буду я. У меня плохие предчувствия, со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мною.

— Клянусь, клянусь тебе, что так не будет, — с великою верою произнесла она, — брось, умоляю, печальные мысли. Пей вино! Еще пей. Постарайся уснуть, через несколько дней я приду к тебе навсегда. Дай мне только разорвать цепь, мне жаль другого человека. Он ничего дурного не сделал мне.

— И наконец мы расстались, и расстались, как я и предчувствовал, навсегда. Последнее, что я помню в жизни — это полосу света из моей передней и в этой полосе света развившуюся прядь из-под шапочки и ее глаза, молящие, убитые глаза несчастного человека. Потом помню черный силуэт, уходящий в непогоду с белым свертком.

На пороге во тьме я задержал ее, говоря:

— Погоди, я пойду проводить тебя. Но я боюсь идти назад один...

— Ни за что! — это были ее последние слова в жизни.

— Тсс! — вдруг сам себя прервал больной и поднял палец, — беспокойная ночка сегодня. Слышите?

Глухо послышался голос Прасковьи Васильевны в коридоре, и гость Ивана, согнувшись, скрылся на балконе за решеткой.

Иван слышал, как прокатились мягкие колесики по коридору, слабенько кто-то не то вскрикнул, не то всхлипнул...

Гость отсутствовал некоторое время, а вернувшись, сообщил, что еще одна комната получила жильца. Привезли кого-то, который вскрикивает и уверяет, что у него оторвали голову.

Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному.

— Дальше! — попросил Иван.

Гость раскрыл было рот, но ночка была действительно беспокойная, неясно из коридора слышались два голоса, и гость поэтому начал говорить Ивану на

ухо так тихо, что ни одного слова из того, что он рассказал, не стало известно никому, кроме поэта. Но рассказывал больной что-то, что очень взволновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу, в них была то ярость, то ужас, то возникало что-то просто болезненное, а в глазах плавал и метался страх. Рассказчик указывал рукой куда-то в сторону балкона, и балкон этот уже был темен, луна ушла с него.

Лишь тогда, когда перестали доноситься какие-нибудь звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче:

— Я стоял в том же самом пальто, но с оторванными пуговицами, и жался от холода, вернее не столько от холода, сколько от страху, который стал теперь моим вечным спутником. Сугробы возвышались за моею спиной под забором, из-под калитки, неплотно прикрытой, наметало снег. А впереди меня были слабенько освещенные мои оконца: я припал к стене, прислушался — там играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог, и так и не удалось мне узнать, кто живет в моих комнатах и что сталось с моими книгами, бьют ли часы, гудит ли в печке огонь.

Я вышел за калитку, метель играла в переулке вовсю. Меня испугала собака, я перебежал от нее на другую сторону. Холод доводил меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего было бы броситься под трамвай, покончив всю эту гнусную историю, благо их, совершенно заледеневших, сколько угодно проходило по улице, в которую выходил мой переулок. Я видел издали эти наполненные светом ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука и заключалась в том, что страх пронизывал меня до последней клеточки тела. Я боялся приближаться к трамваю. Да хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!

— Но вы же могли дать знать ей, — растерянно сказал Иван, — ведь она, я полагаю, сохранила ваши деньги?

— Не сомневаюсь в этом, — сухо ответил гость, — но вы, очевидно, не понимаете меня? Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, не жаль этой способ-

ности, она мне больше не нужна. Перед моей женой предстал бы человек, заросший грязной бородой, в дырявых валенках, в разорванном пальто, с мутными глазами, вздрагивающий и отшатывающийся от людей. Душевно больной. Вы шутите, мой друг! Нет, — оскалившись, воскликнул больной, — на это я не способен. Я был несчастный, трясущийся от душевного недуга и от физического холода человек, но сделать ее несчастной... нет! На это я не способен!

Иван умолк. Новый Иван в нем сочувствовал гостю, сострадал ему.

А тот кивал в душевной муке воспоминаний головой и говорил с жаром и слезами:

— Нет... Я верю, я знаю, что вспоминала она меня всякий день и страдала... Бедная женщина! Но она страдала бы гораздо больше, если бы я появился перед нею такой, как я был! Впрочем, теперь она, я полагаю, забыла меня. Да, конечно...

— Но вы бы выздоровели... — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — глухо ответил гость, — я не верю Стравинскому только в одном: когда он говорит, что вернет меня к жизни. Он гуманен и просто утешает меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше.

Тут глаза гостя вспыхнули, и слезы исчезли, он вспомнил что-то, что вызвало его гнев.

— Нет, — забывшись, почти полным голосом вскричал он, — нет! Жизнь вытолкнула меня, ну, так я и не вернусь в нее. Я уж повисну, повисну... — он забормотал что-то несвязное, встревожив Ивана. Но потом поуспокоился и продолжал свой горький рассказ.

— Да-с... так вот, летящие ящики, ночь, мороз и... куда? Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел... Безумие. За городом я наверно замерз бы... Но меня спасла случайность, как любят думать... Что-то сломалось в грузовике, я подошел, и шофер, к моему удивлению, сжалился он надо мною... Машина шла сюда. Меня привезли... Я отделался тем, что отморозил пальцы на ноге и на руке, но это вылечили.

И вот я пятый месяц здесь... И знаете, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться боль-

шими планами. Право! Я хотел объехать весь земной шар под руку с нею... Ну что ж, это не суждено... Я вижу только незначительный кусок этого шара... Это далеко не самое лучшее, что есть на нем, но для одного человека хватит... Решетка, лето идет, на ней завьется плющ, как обещает Прасковья Васильевна. Кража ключей расширила мои возможности. По ночам луна... ах... она уходит... Свежеет, ночь валится через полночь... Пора... До свидания!

— Скажите мне, что было дальше, дальше, — попросил Иван, — про Га-Ноцри...

— Нет, — опять оскалившись, отозвался гость уже у решетки, — никогда. Он, ваш знакомый на Патриарших, сделал бы это лучше меня. Я ненавижу свой роман!

Спасибо за беседу.

И раньше, чем Иван опомнился, с тихим звоном закрылась решетка, и гость исчез.

## ПОЛЕТ

Свобода! Свобода! Первое, что ощутила Маргарита Николаевна, проскочив над гвоздями, что полет представляет наслаждение, которое ни с чем вообще сравнить нельзя.

Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, *кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки,* где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила второе, именно, что, даже будучи совершенно свободной, нужно быть хоть крошечку благоразумной. Что по городу и ходить, и ездить, и летать нужно медленно. Только чудом затормозившись, она едва не разбилась насмерть о старый покосившийся газовый фонарь на углу. Вильнув в сторону, Маргарита сжала покрепче щетку и полетела медленно, всматриваясь в электрические провода и вывески, выступающие поперек тротуаров.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Вылетая на него, Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой и поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук и ног и что нужно только одно — быть

внимательной, не буйствовать... Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие ее не видят. Никто не задирал голову, не кричал: «Гляди! Гляди!», не шарахался в сторону, не визжал, не падал в обморок, не улюлюкал, не хохотал диким смехом.

Маргарита летела беззвучно и не очень высоко.

Да, буйствовать не следовало, но именно буйствовать-то и хотелось больше всего. При самом влете на сияющий Арбат освещенный диск с черной конской головой преградил всаднице дорогу.

Маргарита осадила послушную щетку, отлетела, подняла щетку на дыбы и, бросившись назад, внезапно концом вдребезги разбила эту конскую голову. Посыпались осколки, тут прохожие шарахнулись, засвистели свистки, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, припала к жесткой щетине и расхохоталась.

«А на Арбате надо быть еще повнимательнее, — подумала ведьма, — тут черт знает что».

И действительно. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, по тротуарам, сколько хватало глаз, плыли кепки, миллионы кепок, как показалось Маргарите. В кепочной реке вскипали изредка водоворотики. От реки отделялись ручейки кепок и вливались в огненные пасти универмагов, и выливались из них. Весь Арбат был опутан какими-то толстыми проводами, затруднявшими летящую, и вывески торчали на каждом шагу.

— Фу, какое месиво! — раздраженно вскричала Маргарита, — повернуться нельзя!

Рассердившись, она сползла к концу щетки, взяла поближе к окнам над самыми головами и высадила головой щетки стекло в аптеке. Грохот, звон и визг были ей наградой.

В разрушении есть наслаждение тоже мало с чем сравнимое. Нагло хохоча, Маргарита приподнялась повыше и видела, как тащили кого-то и кто-то кричал: «Держите сукина сына! Он, он! Я видел!»

— Да ну вас к черту! — опять раздражилась Маргарита. Засмотревшись на скандал, она стукнулась головой о семафор с зеленым волнистым глазом.

Захотелось отомстить. Маргарита подумала, прицелилась, снизилась и на тихом ходу сняла с двух голов две кепки и бросила на мостовую. Первый, ли-

шившись кепки, ахнул, повернулся, в свою очередь прицелился, сделал плачущее лицо и ударил по уху шедшего за ним какого-то молодого человека.

— Не он, дурак ты! — захохотав над его головой, вскричала Маргарита, — не того треснул!

Драчун поморгал глазами и послушно ударил другого.

Маргарита под тот же неизбежный свист отлетела от драки в сторону.

*Приятно разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в человеке исступленный восторг.* Через минуту по обеим сторонам Арбата гремели разбиваемые стекла, кричали и бежали пешеходы, вскипали драки. Троллейбус, шедший к Смоленскому, вдруг погас и остановился, загромоздив дорогу машинам. Кто-то снял ролик с провода. На укатанном асфальте валялись раздавленные помидоры и соленые огурцы.

Но опять-таки все на свете приедается. Арбат надоел Маргарите, и, взмыв, она мимо каких-то сияющих зеленым ослепительным светом трубок на угловом здании театра вылетела в переулок.

— *Царствую над улицей!* — *прокричала Маргарита,* и кто-то выглянул в изумлении из окна четвертого этажа.

Зажав щетку ногами, Маргарита сдирала кожуру с копченой колбасы и жадно вгрызалась в нее, утоляя давно уже терзавший ее голод. Колбаса оказалась неслыханно вкусная. Кроме того, придавало ей еще большую прелесть сознание того, как легко она досталась Маргарите. Маргарита просто спустилась к тротуару и вынула сверток с колбасой из рук у какой-то гражданки.

Теперь Маргарита медленно плыла на уровне четвертого этажа в узком, но сравнительно хорошо сохранившемся переулке, причем и по левую и по правую руку у нее были громадные, высокие дома, по левую — старой стройки, по правую — недавно отстроенные. И в тех и в других окна были раскрыты, из многих из них слышалось радио — музыка.

Маргарите захотелось пить после колбасы. Она повернулась и мягко высадилась на подоконнике в четвертом этаже и убедилась, что попала в кухню. Два

примуса грозно ревели на громадной плите, заваленной картофельными очистками. Голубовато-зеленое пламя хлестало из них и лизало дно кастрюлек, и казалось, что еще секунду и примусы лопнут. Две женщины стояли у кастрюль и, отворачивая носы, ложками мешали одна кашу, другая зловонную капусту, ведя между собою беседу.

Маргарита прислонила щетку к раме, взяла грязный стакан со столика, сполоснула его над засоренной спитым чаем раковиной и, с наслаждением напившись, прислушалась к тому, что говорили две домохозяйки.

— Вы, Пелагея Павловна, — грустно покачивая головой, говорила та, что кашу мешала, — и при старом режиме были стервой, стервой и теперь остались!..

— Свет, свет тушить, тушить надо в клозете за собою! Тушить надо, — отвечала резким голосом Пелагея Павловна, — на выселение на вас подадим! Хулиганье!

— Пельмени воруешь из кастрюль, — бледнея от ненависти, ответила другая, — стерва!

— Сама стерва! — ответила та, что якобы воровала пельмени.

— Обе вы стервы! — сказала Маргарита звучно.

Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита повернула краники, и сразу оба примуса, зашипев, умолкли.

— Ты... ты чужой примус... будешь тушить? — глухим и страшным голосом спросила Пелагея Павловна и вдруг ложкой спихнула кастрюлю соседки с примуса. Пар облаком поднялся над плитой. Та, у которой погибла каша, швырнула ложку на плиту и с урчанием вцепилась в жидкие светлые волосы Пелагеи Павловны, которая немедленно испустила высокий крик «Караул!». Дверь кухни распахнулась, и в кухню вбежал мужчина в ночной сорочке и с болтающимися сзади подтяжками.

— Жену бить?! — страдальчески спросил он и кинулся к сцепившимся женщинам, но Маргарита подставила ему ножку, и он обрушился на пол с воплем.

— Опять дерутся! — провизжал кто-то в коридоре, — звери!

Еще кто-то влетел в кухню, но уж трудно было

разобрать кто — мужчина или женщина, потому что слетела кастрюля с другого примуса и зловонным паром как в бане затянуло всю кухню.

Маргарита перескочила через катающихся по полу в клубке двух женщин и одного мужчину, схватила щетку, ударила по стеклу так, что брызнуло во все стороны, вскочила на щетку и вылетела в переулок. Вслед ей полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль «Зарежу!» и хрустение давленого стекла.

Хохоча, Маргарита галопом пошла вниз и поплыла в переулке, раздумывая о том, куда бы еще направиться. Так доплыла она до конца переулка, и тут ее внимание привлекла роскошная громада вновь отстроенного дома.

Маргарита приземлилась и увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом виднеется фуражка и пуговицы швейцара, что над дверьми золотом наложена надпись «Дом Драмлита».

Что-то соображая, Маргарита щурилась на надпись, ломая голову над вопросом, что означает слово «Драмлит».

Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела лифт, а возле лифта на табуретке женщину, голова которой была обвязана, несмотря на теплое время, пуховым платком.

И вот тут Маргарите бросилась в глаза черная громадная доска на стене и на этой доске выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов.

Венчающая список крупная надпись «Дом Драматурга и Литератора» заставила Маргариту испустить хищный, задушенный вопль.

Подпрыгнув, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский...

— Латунский! — визгнула Маргарита. — Латунский!

Глаза ее побежали дальше:

...Семейкина-Галл, Мстислав Лавровский...

— Лавровский?! — зарычала Маргарита...

Швейцар у дверей вертел головой и даже подпрыги-

вал, стараясь понять чудо — заговоривший список жильцов.

— Ах, я дура, ах, я дура! — шипела Маргарита, — я теряла время... я, я...

Через несколько мгновений она подымалась вверх, в каком-то упоении повторяя:

— Латунский, 34, Латунский, 34...

В лифте она не нуждалась, щетка плавно несла ее вверх, отщелкивая концом палки ступени...

Маргарита мурлыкала по-кошачьи, напевала: «34, сейчас, сейчас...»

Вот 32 налево, 33 направо, сейчас, сейчас!

Вот налево — он, 34-й номер! Карточка «О. Латунский».

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка.

Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен обитатель квартиры № 34 покойному Берлиозу за то, что тот попал под трамвай и траурное заседание было назначено как раз на этот вечер. Никто не открывал, и Маргарита с размаху ударила щеткой в дверь, но тут же сама себя сдержала.

Во весь мах она неслась вниз, считая этажи, во весь мах вырвалась на улицу, опять поразив швейцара тем, что дверь открылась и захлопнулась сама собой, и, прыгая и приплясывая возле машин, стоявших у шикарного подъезда, мерила и отсчитывала этажи.

Отсчитав, взвилась и через мгновение через раскрытое окно входила в темную комнату.

Пол серебрился дорожкой от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель, и тотчас осветилась комната. Через минуту вся квартира полыхала светом. Щетка стояла, прислоненная к роялю. Маргарита обежала все углы. В квартире не было никого.

Тогда она сделала проверку, открыв дверь и глянув на карточку. Убедившись, что попала в самую точку, заперла дверь и ринулась в кухню.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер. До сих пор

он с благоговением произносит имя Берлиоза. И недаром. Темной гнусной уголовщиной мог ознаменоваться этот вечер — в руках у Маргариты по возвращении из кухни оказался тяжелый, сплошь железный молоток.

Теперь ведьма сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись, в помутневших глазах плавало бешенство... рот кривился улыбкой.

— Организованно, организованно, — шептала Маргарита, — и спокойно... — и, вскрикнув тихо: «Ля бемоль!» — она ударила молотком по клавише.

Попала она, правда, в чистое белое ля, и по всей квартире пронесся жалобный стон. Потом клавиши завопили. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши вдавливались, костяные накладки полетели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел.

Со звуком выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная крышка.

Тяжело дыша, красная и растрепанная Маргарита мяла и рвала молотком струны.

Наконец отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы перевести дыхание, и прислушалась. В кухне гудела вода, в ванной тоже. «Кажется, уже пошла на пол, — подумала Маргарита и добавила вслух: — Однако, засиживаться нечего! Надо работать...» И работа кипела в руках распаренной Маргариты. Шлепая босыми ногами по лужам, ведрами она носила из кухни воду в уютный кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола и в пышно взбитые постели в спальной.

Выбившись из сил, взялась за более легкое: топила костюмы в ванне, топила там же книги, поливала чернилами паркет, а сверху посыпала землей из разбитого вазона с фикусом. Со сладострастием поглядывала на люстру, зеркальный шкаф и шептала: «Ну это на закуску...»

В то время, когда Маргарита Николаевна, сидя в спальне, ножницами резала наволочки и простыни, вынутые из шкафа, прислуга драматурга Кванта пила чай, сидя в кухне на табуретке, недоумевая по поводу топота и буханья, глухо слышавшихся сверху из квартиры Латунских.

Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах ее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока наконец из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила таз под струи, но дождь пошел шире, полилось на газовую плиту, на стол с посудой.

Тут, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры, и тотчас в квартире Латунских начались звонки.

— Ну, пора, стало быть! — сказала Маргарита и поднялась.

Через минуту она садилась на щетку, слушая, как женский голос кричит в скважину двери:

— Откройте! Откройте! Дуся, открой! У нас вода течет!

Маргарита поднялась на аршин от полу, подъехала к окну, ударила молотком, взвилась, ударила по люстре. Разорвало две лампочки, полетели подвески.

Крики в скважине смолкли. На лестнице затопотали.

Маргарита выплыла в окно и увидела внизу людей, глядящих вверх. Из машины вылезал шофер. Снаружи было удобнее бить стекла, и Маргарита, покачиваясь, поехала вдоль пятого этажа... Взмах, всхлипывание стекла и затем каскадом по стене осколки. Крик в окне. В переулке внизу забегали, две машины загудели и отъехали. Из подъезда выбежал швейцар, всунул в рот свисток, надул щеки и бешено засвистел.

— Гроза гнула и ломала гранатовые деревья, — в упоении прокричала Маргарита, — гнула! Трепала розовые кусты!

С особенным азартом рассадив крайнее стекло, Маргарита переехала в следующий этаж и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим бдением за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой. В паузах, когда она перелетала от подоконника к подоконнику, он набирал духу, в то же время оглядывая верхние этажи. Удар Маргариты — и он заливался кипящим свис-

том, буравя ночной воздух в переулке до самого неба.

Его усилия, соединенные с усилиями ведьмы, дали замечательные результаты. В доме уже шла паника, цельные еще окна распахивались, в них появлялись головы людей, раскрытые, наоборот, закрывались. В противоположных домах во всех окнах возникли темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются окна в новом доме Драмлита.

Народ сбегался к дому, но не подбегал к подъездам, а глазел с противоположного тротуара. По всем лестницам топали бегущие то вверх, то вниз без всякого смысла люди.

Домработница Кванта поступала теперь так: она то вбегала в квартиру и любовалась на то, как взбухает и синеет штукатурка в кухне и как дождь хлещет, наполняя вымытые чашки на столе, как из кухни выкатывается волна в коридор, то выбегала на лестницу и там кричала пробегавшим, что их залило.

Через некоторое время к ней присоединилась домработница Хустовых из квартиры № 30, помещавшейся под квантовской квартирой. Хлынуло с потолка у Хустовых и в кухне, и в уборной.

Наконец у Квантов обрушился большой пласт штукатурки, после чего с потолка хлынуло широкой струей между клетками обвисшей дранки.

Проезжая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека, в панике напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты.

В последнее окно Маргарита заглянула и спросила:

— Уж не Лавровского ли это квартира?

— Семейкиной! Семейкиной! — отчаянно ответил женский голос и в испуге прокричал: — Аэропланы! Да? Аэропланы?

— Семейкиной, так Семейкиной, — ответила Маргарита и во всех четырех рамах не оставила ни куска стекла. И вдруг дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с зашнурованными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался.

— Стекла бьют, — проговорил он робко и позвал: — Мама! Мама, я боюсь!

Ему никто не ответил, очевидно, из квартиры все выбежали.

Маргарита откинула штору и влетела в окно.

— Я боюсь, — повторил мальчик и оглянулся.

— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить осипший на ветру голос, — это мальчишки стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик.

— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — ты спи, маленький.

— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.

— Конечно, он. Он, наверное!

Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:

— А ты где, тетя?

— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снюсь.

— Я так и думал, — сказал мальчик.

— Ты ложись, ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться.

— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и моментально лег, и руку подложил под щеку.

— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову, — была одна тетя. И у нее не было детей и счастья, вообще, тоже не было, и она тогда стала зла...

Маргарита смолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита подошла к окну и выскользнула вон.

Она попала в самую гущу и кутерьму. На асфальтированной площадке перед домом, усеянной битым стеклом, бегали и суетились жильцы. Между ними мелькали милиционеры. Тревожно ударил колокол, и с Арбата въехала в переулок красная пожарная машина с лестницей. Сидящие спинами друг к другу на линейке пожарные были исполнены решимости и хладнокровия.

Но дальнейшая судьба дома уже не интересовала Маргариту.

Прицелившись, чтобы не задеть за провода, она покрепче вцепилась в щетку и во мгновение ока оказалась выше злополучного дома.

Переулок под нею покосился и провалился вниз, вместо одного переулка под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, перерезанное под углами сверкающими дорожками. Все это скопище поехало в сторону, цепочки огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось озеро дрожащих электрических огней, и это озеро стало вертикально стеной, а затем появилось над головой у Маргариты, а луна блеснула под ногами. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что сзади нее только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над ее головой луною.

От парикмахерской завивки не осталось ничего, волосы Маргариты взбило копной, и лунный свет со свистом побежал по ее телу.

По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как они вовсе пропали, Маргарита догадалась о том, что она летит со сверхчудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд новое озерцо электрического света повалилось под ноги ведьме и сгинуло. Через несколько секунд на земле внизу слева блеснуло еще одно. «Города!» — крикнула Маргарита и не успела ничего разглядеть, как озерцо исчезло.

Огни света вспыхивали то по сторонам, то с боков и уходили в землю. Маргариту вдруг забеспокоило то обстоятельство, что она, собственно, не знает маршрута, летит черт знает куда, но по поведению щетки, уверенно пожирающей пространство, догадалась, что та несет ее правильно по маршруту.

И так она летела в течение минуты примерно. Раза два-три видела тусклые, отсвечивающие какие-то клинки, лежащие в земной черноте, решила, что это реки. Поворачивая голову кверху, любовалась тем, что луна летит над нею как сумасшедшая обратно в Москву и в то же время стоит на месте и отчетливо виден на ней загадочный рисунок: какой-то не то дракон,

не то конек-горбунок темный и острой мордой обращенный к покинутой Москве.

Предалась размышлениям о летании и очень осудила аэропланы и под свист разрываемого воздуха беззвучно посмеялась над человеком, который летает в воздухе воровато, норовя пронырнуть повыше и поскорее в воздухе, ежесекундно опасаясь полететь вверх тормашками вместе со своей сомнительной машинкой или вместе с нею же сгореть в высотах, куда его никто решительно не приглашал подниматься.

Такие размышления навели ее на мысль о том, что, по сути дела, она зря исступленно гонит щетку. Что-то подсказывало ей, что там, куда она летит, ее прекрасным образом и подождут и незачем ей терпеть скуку быстрого полета.

Она затормозила щетку, и тотчас все под нею изменилось. Все безличное черное месиво внизу, до сих пор стоявшее как бы неподвижно, теперь поплыло медленно под Маргаритой, в то же время поднимаясь к ней и начиная выдавать свои контуры, детали, тайны. Через несколько мгновений Маргарита была невысоко над землей и убедилась в том, что, как бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так, что хвост ее поднялся вверх, и тихо пошла к самой земле. Она как бы скользила на салазках с крутой горы. Когда земля была так близка, что можно было коснуться травы рукою, Маргарита пролетела над росистым лугом и высадилась на плотине, чтобы отдохнуть. Сзади нее показывала свои толстые освещенные бревна мельница, впереди блестел пруд. Слышно было, как у колеса журчит струйка, где-то далеко, волнуя душу, шумел поезд.

С наслаждением разминая ноги, Маргарита походила по широкой песчаной дороге, держа щетку на плече, рассматривая окрестности и прислушиваясь. На холме за прудом виднелся красноватый огонек. Он светился в каком-то большом доме, темно громоздившемся под луной рядом с лесом. Оттуда доносился негромкий собачий лай, под вербами близ плотины стрекотали лягушки. Маргарите нравилось, что здесь пустынно, ей захотелось погулять, и тут же она сказа-

ла сама себе, что летать можно только одним способом — низко и очень медленно, изредка вот так высаживаясь на землю.

Однако щетка вела себя странно. Она была какая-то напряженная, как будто тянула руку вверх, стремилась подняться. Тут беспокойство охватило наездницу. Подумалось о том, что, по сути дела, ей бы следовало не прерывать полета и не прохлаждаться здесь, потому что залетела она неизвестно куда, не зная никакого адреса, находится, по-видимому, ой-ой как далеко от Москвы, легко может опоздать и никуда не поспеть.

Она оседлала щетку, дала ей волю, и та сразу понесла ее над прудом, потом над крышей дома, все больше забирая ходу. Маргарита успокоилась — щетка знала дорогу. Она заботилась только об одном, чтобы щетка не забирала высоко, к луне поближе, и чтобы не струилось под ногами так, что ничего нельзя разобрать, кроме мелькания каких-то пятен.

И щетка, осаживаемая наездницей, несла ее над самыми верхушками сосен, над лугами, над линией какой-то железной дороги, на которой сыпал искрами прилипший как бы к месту гусеница-поезд, над водными зеркалами, в которых показывалась на мгновение луна, над реками и ручьями.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Потом к этому шуму чего-то летящего присоединился слышный на много верст хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет темный предмет. Наконец он поравнялся с Маргаритой, уменьшил ход, и Маргарита увидела Наташу. Та была нагая и растрепанная, и тело ее отражало лунные лучи, в руке у Наташи светилось что-то золотое. Наташа летела верхом на толстом борове, в передних копытцах зажимавшем портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Сбившееся с носа пенсне летело на шнурке рядом с боровом, и шляпа то и дело наезжала ему на глаза. Всмотревшись хорошенько, Маргарита Николаевна узнала в борове Николая Ивановича, и хохот ее загремел над лесом, смешался с хохотом Наташи.

— Наташа! — визгнула Маргарита, — ты кремом намазалась?!

— Душенька! Королева моя! — долетел до Марга-

риты голос Наташи, — И ему, подлецу, намазала лысину! И ему!

— Королева! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.

— Душенька, Маргарита Николаевна! — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой, — намазалась! Ведь и мы жить-летать хотим. Не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна! Предложение мне делал! — Наташа тыкала пальцем в шею сконфуженного пыхтящего борова, — предложение! Ты как меня называл, а? А? — кричала она в ухо борову.

— Богиня! — завывал боров. — Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять! Наталья Прокофьевна!

— Знаешь, где твоим бумагам место? — дерзко хохоча, кричала Наташа.

— Что вы, Наталья Прокофьевна! Услышит кто-нибудь, — моляще орал боров.

Задыхаясь от наслаждения, Наташа рассказала бессвязно о том, что произошло после того, как Маргарита улетела. Как только Наташа увидела, что хозяйка исчезла, не прикасаясь ни к каким подаренным вещам, сбросила с себя одежду и кинулась к крему и помаде. С нею произошло то же, что и с хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упиваясь своею красой, стояла перед зеркалом, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. В руках у него была сорочка Маргариты и собственные шляпа и портфель. Николай Иванович обомлел. Придя в себя, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести...

— Предложение сделал мне! Предложение! — визжала и хохотала Наташа, — клялся, что с Клавдией Акимовной разведется! Что, скажешь, вру? — кричала она борову, и тот сконфуженно отворачивал морду.

Расшалившись, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, руки-ноги превратились в копытца. Глянув в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту над Москвой, рыдая от горя.

— Требую возвращения нормального облика моего, — вдруг не то исступленно, не то моляще прокричал боров и захрюкал от негодования, — не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна! Вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, теперь я тебе домработница? Домработница? — вскричала Наташа, накручивая ухо борову. — А то была богиня? Богиня? Ты как меня звал? А?

— Венера! — плаксиво ответил боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней, копытцами задевая за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись и грозя луне кулаком, в котором было зажато что-то блестящее.

— Маргарита Николаевна, коробки я захватила, берите! Мне не нужно чужого золота!

Она разжала кулак и протянула Маргарите футляр и коробочку.

— Возьми на память себе!

— Спасибо! Спасибо! — отозвалась Наташа и, содрав шляпу с борова, зажала в ней золотые вещи.

Потом, пролетая над вершинами безмолвных сосен, указала свободной рукой на луну и сказала:

— Поторапливайтесь, Маргарита Николаевна! Ждут вас! Мне велено сказать, что вы будете на купанье! Королевой вас сделали! А я — принцесса Венера!

И тут Наташа закричала:

— Эгей! Эгей! Эгей! Ну-ка надбавь!

Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять зашумел воздух, и через мгновение Наташа превратилась в черную точку впереди и пропала, и шум затих.

Маргарита ускорила лёт, и вновь заструилась и побежала под нею ночная земля.

Потом щетка сама стала замедлять ход, и Маргарита поняла, что цель близко. Она оглянулась. Щетка несла ее над холмами, усеянными редкими валунами, валяющимися между отдельных громадных сосен. Природа была какая-то незнакомая, и Маргарита подумала о том, что очень далеко от Москвы.

Сосны сдвинулись, но щетка полетела не над вершинами, а между стволами, посеребренными светом.

Легкая тень ведьмы скользила впереди, луна светила Маргарите в спину.

Почувствовалась близость воды. Опять разошлись сосны, и Маргарита тихо подъехала к обрыву. Внизу была река в тени от холма. Туман висел по берегам, противоположный берег был плоский, низменный. На нем под группой раскидистых деревьев метался огонек от костра, виднелись движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая музыка. А далее, сколько хватает глаз, на посеребренной равнине не виднелось ни признаков жилья, ни людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и вдоль утеса плавно опустилась к воде. Телу ее после воздушной гонки хотелось в воду. Отбросив щетку, она разбежалась и прыгнула. Легкое ее тело вынесло почти до середины неширокой реки. Маргарита перевернулась вниз головой и как стрела вонзилась в воду. Столб воды выбросило почти до самого неба. Сердце Маргариты замерло в тот момент, когда она кидалась в воду. Ей показалось, что ее насмерть сожжет холодная вода. Но вода оказалась теплой, как в ванне, и, вынырнув из бездны, необыкновенное наслаждение испытала Маргарита, ныряя и плавая в одиночестве ночью в реке.

Впрочем, в отдалении изредка слышались всплески и фырканье, там за кустами кто-то купался.

Поплавав, Маргарита выбралась на берег и начала плясать на росистой траве, прислушиваясь к музыке, доносящейся с островка, приглядываясь к непонятным фигурам, мечущимся вокруг пламени костра.

После купания тело ведьмы пылало, усталости не осталось и следа, и мысли в голове проносились пустые, легкие. Тут фырканье объяснилось. Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк, в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни ног его были в илистой грязи, так что казалось, будто он в ботинках.

Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши. Маргарита прекратила пляску. Толстяк стал вглядываться, потом заорал:

— Ба! ба! ба! Ее ли я вижу. Клодина? Неунывающая вдова! И ты здесь?

И полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

— Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Смотри, с кем разговариваешь! — подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство.

Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

— Ой! — тихо вскрикнул он и вздрогнул, — простите великодушно, светлая королева Марго! Обознался я! Коньяк, будь он проклят!

Он опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал по-французски какую-то чушь *про кровавую свадьбу какого-то своего друга Гессара,* про коньяк, про то, что он подавлен грустной ошибкой, объясняющейся единственно тем, что он давно не имел чести видеть изображений королевы...

— Ты бы брюки надел, сукин сын, — сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и не плюхнулся в воду. Но и плюхнувшись, сохранил на окаймленной бакенбардами физиономии улыбку восторга и преданности.

Маргарита же пронзительно свистнула и, вскочив на подлетевшую щетку, перенеслась над водной гладью на островок.

Сюда не достигала тень от горы высокого берега, и весь островок был освещен луною.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка ударила сильней и веселей взлетел сноп искр от костра. Под вербами, усеянными нежными пушистыми сережками, сидели в два ряда тостомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли бравурный марш на дудочках. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках, и свет их, призрачный и мягкий, смешивался с адским, мечущимся светом от костра.

Марш играли в честь Маргариты. Об этом она сразу догадалась по необыкновенному приему, который оказали ей на островке.

Прозрачные русалки остановили свой хоровод над речкой и замахали Маргарите руками, и застонали над пустынными окрестностями их приветствия. Нагие ведьмы выстроились в ряд и стали кланяться придворными поклонами. Какой-то козлоногий подлетел, припал к руке, раскинул на траве шелк, предложил раскинуться отдохнуть после купания.

Маргарита так и сделала. Прилегла, и на теле ее заиграли отблески огня. Ей поднесли бокал с шампанским, она выпила, и сердце ее радостно вскипело. Она осведомилась о том, где же верная ее Наташа, и получила ответ: Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и приготовить для нее наряд.

Короткое пребывание Маргариты под ивами ознаменовалось еще одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись мимо острова, обрушилось в воду.

Через минуту предстал перед Маргаритой тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился ей на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей и обратно, ибо был во фрачном наряде, но мокрый с головы до ног. Коньяк подвел его: высаживаясь, он все-таки попал в реку. Но улыбки своей не утратил и в этом печальном случае и был Маргаритою допущен к руке.

Затем все стали торопиться. И многие улетели с острова. Растаяли в лунном свете призрачные зеленоватые русалки. Козлоногий почтительно осведомился у Маргариты, на чем прилетела госпожа. Узнав, что она явилась верхом на щетке, всплеснул руками и отнес это к нераспорядительности Азазелло и тут же, крикнув кого-то с раздутой харей, возившегося у погасшего костра, велел сию минуту доставить из «Метрополя» «линкольн».

Это было исполнено действительно и точно в одну минуту. И на остров обрушилась буланого цвета открытая машина, на шоферском месте коей сидел черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами.

Островок опустел. В лунном пылании растворились последние точки отлетевших ведьм.

Костер догорал, на глазах угли одевались седою золой.

Бакенбардист и козлоногий распахнули дверцу перед Маргаритой, и она села на широкое заднее сиденье. Машина взвыла, и тотчас остров ухнул вниз, машина понеслась на большой высоте.

Теперь два света светили Маргарите. Льющийся с лунного диска сверху и бледный фиолетовый от приборов в машине, которою сосредоточенно управлял клеенчатый грач.

## ПРИ СВЕЧАХ

Ровное гудение машины убаюкивало Маргариту, лунный свет приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру и думала с какою-то грустью о покинутом ею неизвестном островке на далекой реке. Она прекрасно догадывалась, куда именно в гости ее везут, и это волновало ее. Ей хотелось вернуться на этот обрыв над рекой.

Долго ей мечтать не пришлось. Грач отлично знал свое дело, и метрополевская машина была хороша. Внезапно Маргарита открыла глаза и увидела, что под нею пылает электрическим светом Москва.

Однако шофер не повез ее в город, а поступил иначе. На лету он отвинтил правое переднее колесо, а затем снизился *на каком-то кладбище в районе Дорогомилова.* Высадив покорную и ни о чем не спрашивающую Маргариту вместе с ее щеткой на какой-то дорожке, грач почтительно раскланялся, сел на колесо верхом и улетел.

Маргарита оглянулась, и тотчас от одного из надгробных памятников отделилась черная фигура. Азазелло нетрудно было узнать, хотя он был закутан в черный плащ и черная же шляпа его была надвинута на самые брови. Выдавал его в лунном свете его поразительный клык.

Безмолвно Азазелло указал Маргарите на щетку, сам сел верхом на длиннейшую рапиру. Они взвились и, никем не замеченные, через несколько секунд вы-

саживалась у ворот дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда проходили подворотню, Маргарита увидела томящегося в ней человека в кепке, толстовке и высоких сапогах. Услыхав шаги, человек обеспокоенно дернулся, но ничего не увидел, а Азазелло покосился на него из-под шляпы почему-то иронически.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у подъезда во дворе. И опять повторилась та же сцена. Шаги, человек беспокойно обернулся, нахмурился, когда дверь открылась и закрылась за входящими.

Третий, точная копия второго, а стало быть, и первого, дежурил на скамейке, украшавшей площадку третьего этажа. Он курил, и Маргарита невольно кашлянула, пройдя мимо него. Третий тотчас поднялся, как будто его кольнули, *на цыпочках подошел к перилам, глянул вниз.*

Сердце Маргариты учащенно забилось, когда она и спутник ее оказались перед скромной дверью с дощечкой «Квартира № 50». Теперь, конечно, Маргарита понимала, что никакой пошлый вечерок с радиолой, играющей фокстроты и блюзы, ей не угрожает. Маргарита знала, что ее ожидает нечто необыкновенное, и силилась это нечто себе представить. Но представить не могла.

Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Издалека, впрочем, маячил огонек, слабый, похожий на огонек лампады.

Второе, что удивило ее, это что передней обыкновенной московской квартиры конца нет и не чувствуется. Третье, что под ногами у нее ступеньки, покрытые, как чувствовали ее босые ноги, очень толстым ковром, и что по этим ступеням она бесконечно поднимается вверх.

Еще сбоку мелькнул и уплыл огонь лампады. Азазелло на ходу вынул у Маргариты из рук щетку и как будто провалился. Наконец подъем кончился, и Маргарита ощутила себя находящейся на площадке. Тут приплыла в воздухе лампада в чьей-то невидимой руке и, как казалось Маргарите, из-за колонны черной как уголь вышел некто. Рука поднесла к нему лампаду

поближе, и Маргарита увидела тощего высокого мужчину. Те, кому он уже попался на дороге в эти дни, конечно, всмотревшись даже при слабом и неверном освещении, которое давал язычок пламени в лампаде, узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот.

Но, правда, изменился он очень сильно. Не было на нем ни пенсне, которое давно следовало бы выбросить на помойку, ни клетчатых брючек, ни грязных носков. Усишек куриных не стало. Усы Коровьева были подстрижены коротко.

Пламя мигало и освещало белую крахмальную грудь и галстук, отразилось внизу в лакированных туфлях, отразилось в широком и тонком стекле монокля, всаженного в правый глаз.

Коровьев почтительнейше раскланялся и жестом пригласил Маргариту следовать далее.

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — электричество, что ли, у них потухло? Но самое главное, что поражает, это размеры этого помещения. Каким образом все это может поместиться в московской квартире? То есть просто-напросто не может никак!»

Следуя за Коровьевым, Маргарита попала в совершенно необъятный зал. Здесь на золоченой тумбе горела одинокая свеча. Коровьев пригласил жестом Маргариту сесть на диванчик и сам поместился на краю его.

— Разрешите мне представиться вам теперь, — заговорил он, — Коровьев. Вас, без сомнения, удивляет отсутствие света? Но не думайте, чтобы мы из экономии не зажигали ламп.

Просто мессир не любит электрического света. Когда же начнется бал, свет дадут сразу, и недостатка в нем не будет, уверяю вас.

Несколько скрипучий голос Коровьева действовал успокоительно на Маргариту. А папироса, предложенная Коровьевым, окончательно утихомирила ее нервы, и, осмелев, она сказала:

— Нет, более всего меня поражает, где все это помещается? — она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев вежливо усмехнулся, и тени от свечи шевельнулись в складках у носа.

— О, это самое несложное из всего, — снисходи-

тельно сказал он, — тем, кто изучил пятое измерение, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.

Профиль Коровьева осветился, он закурил от свечи, окружаясь дымом, уплывавшим во тьму.

— Я, впрочем, — продолжал Коровьев, — знал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но даже и о четвертом и, тем не менее, проделавших чудеса в смысле расширения помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном Валу, превратил ее в четырехкомнатную, поселив домработницу в кухне возле газовой плиты. Затем он обменял эту квартиру на две отдельных в разных районах — одну в две, другую в три комнаты. Их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем шести комнат, правда, рассеянных в причудливом беспорядке по всей Москве. Он уже собирался сделать последний и самый блестящий вольт, именно поместить объявление в газете: «Меняю шесть комнат в разных районах Москвы на одну шестикомнатную квартиру желательно на Земляном Валу», как его деятельность прекратилась, и он остался без единой комнаты.

— Ну, это другое дело, — возразила Маргарита, которую болтовня Коровьева забавляла и успокаивала.

— О! Уверяю вас, то, что проделал этот проныра, сложнее, чем это... — и Коровьев указал в темную даль, где черт знает где возвышались темные колонны.

Докурили, и Коровьев поднес Маргарите пепельницу.

— Итак, позвольте перейти к делу, — заговорил Коровьев серьезно, — до начала бала у нас полчаса. Вы, Маргарита Николаевна, женщина весьма умная и, конечно, уже догадались, кто наш хозяин.

Маргарита опять ощутила свое сердце и только молча кивнула головой.

— Ну, вот и прекрасно. Так позвольте же вас поставить в курс дела, — продолжал Коровьев, опуская веки и из-под них наблюдая Маргариту, — без всяких недомолвок. Ежегодно Воланд дает один бал, малых

приемов я не считаю. Этот бал называется *весенним балом полнолуния,* и на него съезжаются... Ну, словом, очень большое количество народу. Хозяин мой холост, и установилась традиция, согласно которой хозяйкой на балу должна быть женщина по имени Маргарита...

Под сердцем Маргариты стало холодно.

— Мы путешествуем, — продолжал Коровьев, — но бал должен быть, где бы мы ни находились, а женщина должна быть жительницей местной. В Москве мы обнаружили девяносто шесть Маргарит, и только одна из них, а именно вы, были признаны вполне достойной исполнить роль хозяйки. Я надеюсь, что вы не откажетесь взять на себя это?

— Нет, не откажусь, — твердо сказала Маргарита.

Коровьев просиял, встал, почтительно поклонился, показав как по шнуру ровный пробор, и пригласил Маргариту идти с ним.

— Я представлю вас ему сейчас, — говорил Коровьев, ведя под руку Маргариту в тьму, — вы позволите мне... несколько наставлений... — шепот Коровьева слышался у самого уха Маргариты, — ничего лишнего в смысле вопросов... вы не сердитесь на меня, Маргарита Николаевна, мы прекрасно знаем, что вы воспитаны... но условия уж очень необычны...

Голос Коровьева был мягок и вкрадчив, но в нем слышались не советы, а, скорее, категорическое приказание, настойчивые внушения...

Во тьме сильно пахло лимонами, что-то задело Маргариту по голове, она вздрогнула...

— Не пугайтесь, это листья растений, — шептал ласково Коровьев и стал продолжать наставления.

— На балу будут лица, объем власти которых в свое время, да и теперь еще был очень, очень велик... Я говорю о лицах королевской крови, которые будут здесь... но по сравнению с возможностями хозяина бала, в свите которого я имею честь состоять, их возможности, я бы сказал, микроскопически малы... Следует учесть масштаб, Маргарита Николаевна... И подчиняться этикету... Повторяю: только ответы на вопросы, и притом абсолютно правдивые!

Глаза Маргариты, привыкающие к тьме, теперь различали смутный переплет ветвей и широких листьев над собою и вокруг себя, уши Маргариты

не проронили ничего из того, что говорил Коровьев.

А тот шептал и шептал, увлекая Маргариту все дальше и дальше... «Нет, нет этого гражданину с Земляного Вала не сделать, — думала Маргарита. — Где же конец?»

— Почтительность... но не бояться... ничего не бояться... Вы сами королевской крови, — чуть слышно свистел Коровьев...

— Почему королевской крови? — испуганно шепнула Маргарита.

— Если разрешите... потом... это долго, — голос Коровьева становился все тише, — тут вопрос переселения душ... В шестнадцатом веке вы были королевой французской... Воспользуюсь случаем принести вам сожаления о том, что знаменитая свадьба ваша ознаменовалась столь великим кровопролитием...

Тут Коровьев прервал сам себя и сказал:

— Королева, мы пришли.

Впереди блеснул свет. Он выходил из широкой щели наполовину открытой тяжелой окованной двери. Из-за двери слышались голоса...

— Одну минуту прошу обождать, королева, — тихо сказал Коровьев и ушел в дверь... От стены отлепилась тотчас темная фигура и преградила путь Маргарите. Когда она мелькнула в освещенной полосе, Маргарита разобрала только одно, что это мужчина с белой грудью, то есть тоже во фраке, как и Коровьев, что он худ, как лезвие ножа, черен, как черный гроб, необыкновенно траурен.

Отделившийся всмотрелся в Маргариту странными, пустыми глазами, но тотчас отступил почтительно и шепнул глухо:

— Одну минуту! — и слился опять со стеной.

Тотчас вышел Коровьев и заулыбался в широкой полосе уже настежь открытой двери.

— Мессир извиняется, что примет вас без церемонии в спальне, — медово говорил Коровьев и тихо, тихо добавил: — Подождите, пока он заговорит с вами сам... —/затем/ громко: — Мессир кончает шахматную партию...

Маргарита вошла, неслышно стуча зубами. Ее бил озноб.

В небольшой комнате стояла широкая дубовая кро-

вать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушками. Перед кроватью дубовый же на резных ножках стол с шахматной доской и фигурками. Скамеечка у постели на коврике. В тускло поблескивающем канделябре, в гнездах его в виде птичьих лап, горели, оплывая, толстые восковые свечи.

Другой канделябр, в котором свечи были вложены в раскрытые пасти золотых змеиных голов, горел на столике под тяжелой занавеской. Тени играли на стенах, перекрещивались на полу. В комнате пахло серой и смолой.

Среди присутствующих Маргарита узнала одного знакомого — это был Азазелло, так же, как и Коровьев, уже одетый во фрак и стоящий у спинки кровати. Увидев Маргариту, он поклонился ей, показав в улыбке клыки.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, сидела на коврике на полу у кровати, возясь с каким-то месивом в кастрюльке, из которой валил серный пар.

Кроме этих был еще в комнате, сидящий спиной к Маргарите, громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот. Он шаркнул лапой и уронил коня и полез под кровать его искать.

Замирая от страху, все это Маргарита разглядела в колыщущихся тенях кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой, что было несомненно, сидел Воланд.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотою искрой на дне, сверлящий до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как вход, узкое игольное ухо в царство теней и тьмы.

Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол оттянут книзу, брови черные острые на разной высоте, высокий облысевший лоб изрезан морщинами параллельными бровям, кожа лица темная, как будто сожженная загаром.

*Воланд сидел,* раскинувшись на постели *в одной ночной рубашке, грязной* и на плече заштопанной. Одну ногу он поджал под себя, другую вытянул. Колено этой темной ноги и натирала какой-то дымящейся мазью Гелла.

Еще *разглядела* Маргарита на раскрытой безволосой груди темного камня искусно вырезанного *жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке.*

Несколько секунд продолжалось молчание. «Он экзаменует меня...» — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего глаз его как бы вспыхнул.

— Приветствую вас, светлая королева, и прошу меня извинить.

Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал оттяжку в хрип.

Он взял с простыни длинную шпагу, погремел ею под кроватью и сказал:

— Вылезай. Партия отменяется... Прибыла дорогая гостья.

— Ни в каком слу... — тревожно свистнул суфлерски над ухом Коровьев.

— Ни в каком случае... — сказала Маргарита.

— Мессир! Мессир! — дохнул Коровьев в ухо.

— Ни в каком случае, мессир! — ясным, но тихим голосом ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы бешеные деньги заплатили бы за то, чтобы ее напечатать у себя.

Азазелло тихо, но восторженно крякнул.

Воланд поглядел внимательно на Маргариту и затем сказал как бы про себя:

— Кровь! Кровь всегда скажется...

Он протянул руку, Маргарита подошла. Тогда Воланд наложил ей горячую как огонь руку на плечо, дернул Маргариту к себе и с размаху посадил на кровать рядом с собой.

— Если вы так очаровательно любезны, — заговорил он, — а я другого ничего и не ожидал, так будем же без церемонии. Простота наш девиз! Простота!

— Великий девиз, мессир, — чувствуя себя просто и спокойно, ничуть не дрожа больше, ответила Маргарита.

— Именно, — подтвердил Воланд и закричал, наклоняясь к краю кровати и шевеля шпагой под нею: — Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, *окаянный Ганс*!

— Коня не могу найти, — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот, — вместо него какая-то лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? — притворяясь суровым, спрашивал Воланд. — Никакой лягушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете! Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался.

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа коня в лапе.

— Рекомендую вам... — начал было Воланд и сам себя перебил, делая опять-таки вид, что возмущен. — Нет, я видеть не могу этого шута горохового!

Стоящий на задних лапах кот, выпачканный в пыли, раскланивался перед Маргаритой.

Все присутствующие заулыбались, а Гелла засмеялась, продолжая растирать колено Воланда.

На шее у кота был надет белый фрачный галстук бантиком, а на груди висел на ремешке перламутровый дамский бинокль. Кроме того, усы кота были вызолочены.

— Ну что это такое! — восклицал Воланд. — Зачем ты позолотил усы и на кой черт тебе галстук, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир, — с большим достоинством отвечал кот, — уж не скажете ли вы, чтобы я надел и сапоги? Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен быть в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!

— Но усы?!

— Не понимаю, — сухо возражал кот, — почему, бреясь сегодня, Азазелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор, если бы я побрился! Тут я понимаю. Бритый кот — это безобразие, тысячу раз подтверждаю это. Но вообще, — тут голос кота дрогнул, — по тем придиркам, которые применяют ко мне, я вижу, что передо мною стоит серьезная проблема — быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, мессир? А?

И кот от обиды так раздулся, что, казалось, он лопнет сию секунду.

— Ах, мошенник, мошенник, — качая головою, говорил Воланд, — каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, как самый последний шарлатан на мосту, оттягивая момент поражения. Садись и прекрати эту словесную пачкотню!

— Я сяду, — ответил кот, садясь, — но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволили выразиться, а великолепную вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству *такие знатоки, как Секст Эмпирик, Мартиан Капелла,* а то, чего доброго, и сам Аристотель!

— Прекрати словесную окрошку, повторяю, — сказал Воланд, — шах королю!

— Пожалуйста, пожалуйста, — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

— Итак, — обратился к Маргарите Воланд, — рекомендую вам, госпожа, мою свиту. Этот, валяющий дурака с биноклем, кот Бегемот. С Азазелло вы уже знакомы, с Коровьевым также. Мой первый церемониймейстер. Ну, «Коровьев» — это не что иное, как псевдоним, вы сами понимаете. Горничную мою Геллу весьма рекомендую. Расторопна, понятлива. Нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать...

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои зеленые глаза, зачерпывала пригоршней мазь, накладывала на колено.

— Кроме того, — продолжал Воланд, и в комнату *неслышно вскользнул тот траурный,* что преградил было Маргарите путь в спальню, — *Абадонна.* Командир моих телохранителей, заместителем его является Азазелло. Глаза его, как видите, в темных очках. Приходится ему их надевать потому, что большинство людей не выдерживает его взгляда.

— *Я знаком с королевой,* — каким-то пустым бескрасочным голосом, как будто простучал, отозвался Абадонна, — правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года.

Абадонна устремил черные пятна, заменяющие ему

глаза, на Маргариту, и той показалось, что в спальне потянуло сыростью.

— Ну вот и все, — говорил Воланд, морщась, когда Гелла особенно сильно сжимала колено, — общество, как изволите видеть, небольшое, смешанное и бесхитростное. Прошу любить и жаловать...

Он замолчал и стал поворачивать перед собою какой-то диковинный глобус на ножке. Глобус, представляющий точную копию земного шара, сделанную столь искусно, что синие океаны на нем шевелились и шапка на полюсе лежала, как настоящая ледяная и снежная.

На доске тем временем происходило смятение, и Маргарита с любопытством наблюдала за живыми шахматными фигурками.

Совершенно расстроенный и испуганный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки... Три белые пешки, ландскнехты с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, сидели черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Кот отставил от глаз бинокль и тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот, одною рукою придерживая зубчатую корону, а другою поднимая полу мантии, в ужасе оглядываясь, перебрался с черной на соседнюю белую клетку.

Воланд, не спуская глаз с глобуса, коснулся черной шеи одного из коней. Всадник поднял лошадь на дыбы, перескочил через клетку, взмахнул мечом, и белый ландскнехт упал.

— Шах, — сказал Воланд.

Маргарита, увлеченная живыми фигурками, видела, как белый король в отчаянии закрыл лицо руками.

— Дельце плоховато, дорогой Бегемот, — сказал Коровьев.

— Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Анализ положения он начал проводить довольно странным способом, именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать белому своему королю.

— Ничего не помогает, — ядовито заметил Коровьев.

— Ай! — вскричал Бегемот, — попугаи разлетелись, что я и предсказывал! — Действительно, где-то в отдалении послышался шорох и шум крыльев. Коровьев и Азазелло бросились вон.

— А черт вас возьми с вашими бальными затеями! — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Король вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски и скрылся в толпе убитых фигур. Слон-офицер накинул на себя королевскую мантию и занял место короля.

Коровьев и Азазелло вернулись.

— Враки, как и всегда, — бурчал Азазелло.

— Мне послышалось, — сказал кот, — и прошу мне не мешать, я думаю.

— Шах королю! — сказал Воланд.

— Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, — сказал кот, глядя в бинокль на переодетого офицера, — шаха королю нет и быть не может.

— Повторяю: шах королю!

— Мессир! Молю вас обратить внимание на себя, — сказал в тревоге кот, — вы переутомились: нет шаха королю.

— Король на клетке g2, — сказал Воланд.

— Мессир! Я в ужасе! — завыл кот, изображая ужас на морде, — вас ли слышу я? Можно подумать, что перед собой я вижу одного из сапожников-гроссмейстеров!

— Что такое? — в недоумении спросил Воланд, обращаясь к доске, где офицер стыдливо отворачивался, прикрывая лицо мантией.

— Ах ты, подлец, — задумчиво сказал Воланд.

— Мессир! Опять обращаюсь к логике, — заговорил кот, прижимая лапы к груди, — если игрок объявляет шах королю, а короля, между тем, нету и в помине, шах признается недействительным?

— Ты сдаешься или нет! — вскричал страдальчески Воланд.

— Разрешите подумать, — ответил кот, поло-

жил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать.

Думал он долго и наконец сказал:

— Сдаюсь.

— Убить упрямую сволочь! — шепнул Азазелло.

— Да сдаюсь, — сказал кот, — но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников.

Он встал, и фигурки полезли в ящик.

— Гелла, пора, — сказал Коровьев.

Гелла удалилась.

— Охота пуще неволи, — говорил Воланд, — нога разболелась, а тут этот бал.

— Позвольте мне, — тихо шепнула Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено.

Горячая как огонь жижа обжигала руки, но Маргарита не морщась, стараясь не причинить боли, ловко массировала колено.

— Близкие говорят, что это ревматизм, — рассказывал Воланд, — но я сильно подозреваю, что эта *боль в колене оставлена мне* на память одною очаровательнейшей *ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах* на Чертовой Кафедре.

— Какая негодяйка! — возмутилась Маргарита.

— Вздор! Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я придерживаюсь бабушкиных средств по старинке, не любя современных патентованных лекарств... Кстати: не страдаете ли вы чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу, — спрашивал Воланд, глядя на огни свечей, — тоска? Я бы помог вам... Поразительные травы оставила в наследство поганая старуха бабушка...

— Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как у вас, мессир, — тихо, отвечала умная Маргарита, — а предчувствие бала меня волнует...

— Кровь, кровь... — тихо сказал Воланд.

После молчания он заговорил опять:

— Я вижу, вас интересует мой глобус?

— О, да.

— Очень хорошая вещь. Она заменяет мне радио. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки,

говорящие в нос и перевирающие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Если же к этому прибавить, что они считают обязательным для себя о радостных событиях сообщать мрачным до ужаса тоном, а о печальных, наоборот, игриво, можно считать эти их голоса в помещении по меньшей мере лишними.

А при помощи моего глобуса можно в любой момент знать, что происходит в какой хотите точке земного шара. Вот например... — Воланд нажал ножку шара и тот медленно повернулся... — видите этот зеленый кусок, квадратный кусок, бок которого моет океан? Глядите... глядите... вот он наливается огнем, как будто светится изнутри. *Там началась война.* А если вы приблизите глаза и начнете всматриваться, то увидите и детали...

Маргарита, горя от любопытства, наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, распался многокрасочно и превратился в рельефную карту. Она увидела горы, ленточку реки и какое-то селение возле нее. Маленькие с горошину домики взбухали, и один из них разросся до размеров спичечной коробки. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыму, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки дымящихся кирпичей. Маргариту заинтересовало поведение какой-то малюсенькой фигурочки в полсантиметра вышиной, которая перед взрывом промчалась перед домиком, а теперь оказалась горизонтальной и неподвижной. Она сосредоточила свой взор на ней и, когда та разрослась, увидела, как в стереоскопе, маленькую женщину, лежащую на земле, разметав руки, а возле нее в луже крови ребенка, уткнувшегося в землю.

— Вот и все, — сказал Воланд и повернул глобус, — Абадонна только сегодня оттуда. По традиции он лично сам несет слубжу при мне во время весеннего бала, а поэтому и приехал. Но завтра же он опять будет там. Он любит быть там, где война.

— Не желала бы я быть на той стороне, против которой он, — сказала Маргарита, догадываясь об обязанностях Абадонны на войне. — На чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами, — любезно ото-

звался Воланд, — тем более убеждаюсь в том, что вы очень умны. Он удивительно беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и *результат для обеих сторон бывает одинаков.*

Воланд вернул глобус в прежнее положение и подтолкнул голову Маргариты к нему. Мгновенно разросся квадратик земли. Вот уже вспыхнула в солнце какая-то дымящаяся желтая равнина, и в этом дыму Маргарита разглядела лежащего неподвижно человека в одежде, потерявшей свой цвет от земли и крови. Винтовка лежала шагах в двух от него. Равнина съежилась, ушла, перед глазами у Маргариты проплыл голубой качающийся океан.

— Вот и он, легок на помине, — весело сказал Воланд, и Маргарита, увидев черные пятна, тихо вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.

— Да ну вас! — крикнул тот, — какая нервность у современных людей! — Воланд с размаху шлепнул Маргариту по спине, — ведь видите же, что он в очках! Я же говорю вам... И кроме того, имейте в виду, что не было случая с того времени, как основалась земля, чтобы Абадонна появился где-нибудь преждевременно или не вовремя. Ну и, наконец, я же здесь... Вы у меня в гостях!..

— А можно, чтобы он на минутку снял очки, — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.

— А вот этого нельзя, — очень серьезно ответил Воланд, — и вообще забыть все это сразу и глобус... и очки... Раз! Два! Три! Что хочешь сказать нам, ангел бездны?

— Я напугал, прошу извинить, — глухо сказал Абадонна, — тут, мессир, есть один вопрос. Двое посторонних... девушка, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже... и кроме того, с нею боров...

— Наташа! — радостно воскликнула Маргарита.

— Оставить при госпоже не может быть и разговоров. Борова на кухню!

— Зарезать? — визгнула Маргарита, — помилуйте, мессир, — это Николай Иванович!.. Тут недоразумение... Видите ли, она мазнула его...

— Да помилуйте! — воскликнул Воланд, — на кой черт и кто его станет резать? Кто возьмет хоть кусок его в рот! Посидит с поварами и этим, как его, Варенухой, только и всего. Не могу же я его пустить на бал, согласитесь!

— Да уж, — добавил Абадонна и,покачав головой, сказал: — Мессир, полночь через десять минут.

— А! — Воланд обратился к Маргарите: — Ну-с, не теряйте времени. И сами не теряйтесь. Ничего не бойтесь. Коровьев будет при вас безотлучно. Ничего не пейте кроме воды, а то разомлеете. Вам будет трудно. Пора!

Маргарита вскочила, и в дверях возник Коровьев.

## ВЕЛИКИЙ БАЛ У САТАНЫ

Пришлось торопиться. В одевании Маргариты принимали участие Гелла, Наташа, Коровьев и Бегемот. Маргарита волновалась, голова у нее кружилась, и она неясно видела окружающее. Понимала она только, что в освещенной свечами ванной комнате, где ее готовили к балу, не то черного стекла, не то какого-то дымчатово камня ванна, вделанная в пол, выложенный самоцветами, и что в ванной стоит одуряющий запах цветов.

Гелла командовала, исполняла ее команды Наташа.

Начали с того, что Наташа, не спускающая с Маргариты влюбленных, горящих глаз, пустила из душа горячую густую красную струю. Когда эта струя ударила и окутала Маргариту, как мантией, королева ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая струя сменилась густой, прозрачной розоватой, и голова пошла кругом у королевы от одуряющего запаха розового масла. После крови и масла тело у Маргариты стало розоватым, блестящим, и еще до большего блеска ее натирали раскрасневшиеся мохнатыми полотенцами. Особенно усердствовал кот с мохнатым полотенцем в руке. Он уселся на корточки и натирал ступни Маргариты с таким видом, как будто чистил сапоги на улице.

Пугая Маргариту, над нею вспыхнули щипцы, и в несколько секунд ее волосы легли покорно.

Наташа припала к ногам и, пока Маргарита тянула из чашечки густой, как сироп, кофе, надела ей на обе ноги туфли, сшитые тут же кем-то из лепестков бледной розы. Туфли эти как-то сами собою застегнулись золотыми пряжками.

Коровьев нервничал, сквозь зубы подгонял Геллу и Наташу: «Пора... Дальше, дальше». Подали черные по локоть перчатки, поспорили (кот орал: «Розовые! Или я не отвечаю ни за что!»), черные отбросили и надели темно-фиолетовые. Еще мгновение — и на лбу у Маргариты на тонкой нити засверкали бриллиантовые капли.

Тогда Коровьев вынул из кармана фрака тяжелое в овальной раме и в алмазах изображение черного пуделя и собственноручно повесил его на шею Маргарите. Украшение чрезвычайно обременило Маргариту. Цепь натирала шею, пудель тянул согнуться.

— Ничего, ничего не поделаешь... надо, надо, надо... — бормотал Коровьев, и во мгновение ока и сам оказался в такой же цепи. Задержка вышла на минутку примерно и все из-за борова Николая Ивановича. Ворвался в ванную какой-то поваренок-мулат, а за ним сделал попытку прорваться и Николай Иванович. При этом прорезала цветочный запах весьма ощутительная струя спирта и луку. Николай Иванович почему-то оказался в одном белье. Но его ликвидировали быстро, разъяснив дело. Он требовал пропуска на бал, отчего и совлек с себя одежду в намерении получить фрак. Коровьев мигнул кому-то, мелькнули какие-то чернокожие лица, что-то возмущенно кричала Наташа, словом, борова убрали.

В последний раз глянула на себя в зеркало нагая Маргарита, в то время как Гелла и Наташа, высоко подняв канделябры, освещали ее.

— Готово! — воскликнул Коровьев удовлетворенно, но кот все же потребовал еще одного последнего осмотра и обежал вокруг Маргариты, глядя на нее в бинокль.

В это время Коровьев, склонившись к уху, шептал последние наставления:

— Трудно, будет трудно... Но не унывать! И главное полюбить... Среди гостей будут различные, но никакого никому преимущества... Ни, ни, ни! Если кто-

нибудь не понравится, но только, конечно, нельзя подумать об этом... Заметит, заметит в то же мгновение! Но необходимо изгнать эту мысль и заменить ее другою — что вот этот-то и нравится больше всех... Сторицей будет вознаграждена хозяйка бала! Никого не пропустить... Никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть поворот головы! Невнимание не прощает никто! Это главное... Да еще... — Коровьев шепнул, — языки, — дунул Маргарите в лоб, — ну, пора!

И из ванной Коровьев, Маргарита и Бегемот выбежали в темноту.

— *Я! Я!* — шептал кот, — я дам сигнал.

— Давай! — послышался в темноте голос Коровьева.

— *Бал! — пронзительно взвизгнул кот*, и тотчас Маргарита вскрикнула и закрыла на секунду глаза. Коровьев подхватил ее под руку.

На Маргариту упал поток света и вместе с ним — звука, а вместе — и запаха. Испытывая кружение головы, уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые, зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы и оглушительно трещали: «аншанте!»... Банная духота сменилась тотчас прохладой необъятного бального зала, окаймленного колоннами из какого-то желтоватого искрящегося самоцвета. Зал был пуст совершенно, и лишь у колонн стояли неподвижно в серебряных тюрбанах голые негры. Лица их от волнения стали грязно-бурыми, когда в зале показалась Маргарита со свитой, в которую тут включился и Азазелло.

Тут Коровьев выпустил руку Маргариты, шепнул: «Прямо на тюльпаны...» Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Оглушительный рев труб придавил Маргариту, а вырвавшийся из-под этого рева змеиный взмыв скрипок потек по ее телу. Оркестр человек в полтораста играл полонез. Человек во фраке, стоявший выше всего оркестра, увидев Маргариту, побледнел, и заулыбался, и вдруг рывком поднял весь оркестр. Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту как волнами.

Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, потрясла рукой.

— Нет, мало, мало, — зашептал Коровьев, — что вы, он не будет спать всю ночь! Крикните ему что-нибудь приятное! Например: «Приветствую вас, король вальсов!» Маргарита крикнула и подивилась, что голос ее, полный как колокол, был услышан сквозь вой оркестра.

Человек от счастья вздрогнул, руку прижал к крахмальной груди.

— Мало, мало, — шептал Коровьев, глядите на первые скрипки и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали отдельно... Так, так... *Вьетан за первым пультом!* Рядом с ним Шпор, Массар, Оль-Булль! Крейцер, Виотти, вот хорошо! Дальше! Дальше! Спешите!

— Кто дирижер? — на лету спросила Маргарита.

— *Иоганн Штраус!* — ответил кот, — и пусть меня повесят сегодня вечером, если где-нибудь еще есть такой оркестр. А приглашал я!

В следующем зале не было видно колонн. Их закрывала стена из роз, красных, как венозная кровь, розовых, молочно-белых, возникшая по левую руку, а по правую — стена японских махровых камелий.

Между стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых первый был прозрачный фиолетовый, второй — рубиново-красный, третий — хрустальный.

В этом зале метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наливая из бассейнов опаловые чаши.

Хрустальные столики были завалены зернами жареного миндаля.

В розовой стене был пролом, и там на эстраде метался человек во фраке с ласточкиным хвостом. Перед ним гремел, квакал, трещал джаз. Музыканты в красных куртках остервенело вскочили при появлении Маргариты и ударили сумасшедшую дробь ногами. Дирижер их согнулся вдвое, так что руками коснулся эстрады, затем выпрямился и, наливаясь кровью, пронзительно прокричал:

— Аллилуйя!

После чего музыканты ударили сильнее, а дирижер хлопнул себя по коленам раз, потом — два, потом сорвал тарелку у крайнего музыканта, ударил ею по колонне. В спину тек страшной мощной рекой под ударами бесчисленных смычков полонез, а этот джаз уже врезался в него сбоку, и в ушах бурлила какофония.

— Кивок и дальше! — крикнул Коровьев.

Откуда-то грянули развязные гармоники и «светит месяцем» залихватским страшным залили джаз.

Улетая, Маргарита, оглянувшись, видела только, что виртуоз джазбандист, борясь с полонезом и «светит месяцем», бьет по головам тарелкой джазбандистов и те, приседая в комическом ужасе, дуют в свои дудки.

Вылетели, наконец, на площадку и остановились. Маргарита увидела себя над лестницей, крытой красным ковром. Внизу она видела, как бы держа перед глазами бинокль обратным способом, швейцарскую темного дуба с двумя каминами: маленьким, в котором был огонь, и громадным, в темную холодную пасть которого мог легко въехать пятитонный грузовик. Раззолоченная прислуга строем человек в тридцать стояла лицом к холодному отверстию, не спуская с него глаз. Лестница пылала белым заревом, потому что на стене по счету ступенек висели налитые электрическим светом виноградные гроздья.

Маргарита чувствовала, что ее глушит новая какая-то музыка, но уже не пропавший где-то в тылу «светит месяц», а другая — медная, мощная.

Маргариту устанавливали на место. Под рукой левой у нее оказалась срезанная аметистовая колонка.

— Руку можно положить будет, если очень станет трудно, — шептал Коровьев.

Кто-то чернокожий, нырнув под ноги, подложил мягкую скамеечку, и на нее Маргарита, повинуясь чьим-то рукам, поставила правую ногу, немного согнув ее в колене.

Кто-то поправил сзади волосы на затылке. Маргарита, встав, огляделась. Коровьев и Азазелло стояли возле нее в парадных позах, в одной линии с ними выстроились два молодых человека, смутно чем-то напоминавших Абадонну, тоже с затененными глазами. Сзади били и шипели струи; покосившись, Марга-

рита увидела, что и там шампанский буфет. Из бледно-розовой стены шампанское лилось по трем трубкам в ледяной бассейн. Шеренга негров уже стояла с подносами с плоскими, широкими, покрытыми инеем чашами. Двое держали на подносах горки миндалю.

Музыка обрушивалась сверху и сбоку из зала, освещенного интимно; там горели лампы настольные, прикрытые цветным шелком. Трубы доносились с хор.

Осмотревшись, Маргарита почувствовала теплое и мохнатое у левой ноги. Это был Бегемот. Он волновался и в нетерпении потирал лапы.

— Ой, ой, — восторженно говорил Бегемот, — ой, сейчас, сейчас. Как ударит и пойдет!

— Да уж ударит, — бормотал Коровьев, так же как и все глядя вниз, — я предпочел бы рубить дрова... Помоему, это легче.

— Я предпочел бы, — с жаром отвечал кот, — служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этого нет работы на свете!

Волнение кота заразило и Маргариту, и она шепнула Коровьеву:

— Но ведь никого нет, а музыка гремит...

Коровьев усмехнулся и тихо ответил:

— Ну, за народом дело не станет...

— Музыка гремит, — почтительно сказал кот, обращая к Маргарите сверкающие усы, — я извиняюсь, правильно. Ничего не может быть хуже, чем когда гость мыкается, не зная точно, что делать, куда идти и зачем, и сморкается. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева!

— Первым приехавшим очень трудно, — объяснял Коровьев.

— Пилят очень после бала мужей. «Зачем спешили?.. Видишь, никого нету! Это унизительно...» — писклявым голосом изображал пилящих жен неугомонный кот, и вдруг остановился, и переменил интонации: — Раз, два... десять секунд до полночи! Смотрите, что сейчас будет!

Но десять секунд пробежали, и ничего ровно не произошло. Маргарита, капризно оттопырив губу, презрительно щипнула за ухо кота, но тот мигнул и ответил:

— Ничего, ничего, ничего. Еще запроситесь отсюда с поста!

И еще десять секунд протащились медленно, как будто муха тащилась по блюдечку с вареньем.

И вдруг золотая прислуга внизу шевельнулась и устремилась к камину, и из него выскочила женская фигура в черной мантии, а за нею мужчина в цилиндре и черном плаще. Мантия улетела куда-то в руки лакеев, мужчина сбросил на руки им свой плащ, и пара — нагая женщина в черных туфельках, черных по локоть перчатках, с черными перьями в прическе, с черной сумочкой на руке, и мужчина во фраке — стали подниматься по лестнице.

— Первый! — восторженно шепнул кот.

— *Господин Жак Ле-Кёр с супругой,* — сквозь зубы у уха Маргариты зашептал Коровьев, — интереснейший и милейший человек, убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник и недурной алхимик. В 1450 году прославился тем, что ухитрился отравить королевскую любовницу.

— Мы так хохотали, когда узнали, — шепнул кот, и вдруг взвыл: — Аншантэ!

Ле-Кёр с женой были уже вверху, когда из камина внизу появились две фигуры в плащах, а следом за ними — третья.

Жена Ле-Кёра оказалась перед Маргаритой, и та улыбнулась ей ясно и широко, что самой ей стало приятно.

Госпожа Ле-Кёр согнула колени, наклонилась и поцеловала колено Маргариты холодными губами.

— Вотр мажесте, — пробормотала госпожа Ле-Кёр...

— Вотр мажесте, — повторил Ле-Кёр, и опять холодное прикосновение губ к колену поразило Маргариту...

— Вотр мажесте, жэ лоннёр... — воскликнул Коровьев и, даже не сочтя нужным продолжать, затрещал, — эн верри...

— Милль мерси! — крикнул в ответ Ле-Кёр...

— Аншантэ! — воскликнул Азазелло.

Молодые люди уже теснили мадам Ле-Кёр к подносу с шампанским, и Коровьев уже шептал:

— *Граф Роберт Лейчестер...* По-прежнему интересен... Здесь история несколько иная. Этот был сам любовником королевы, но не французской, а английской, и отравил свою жену.

— Граф! Мы рады! — вскричал Коровьев.

Красавец блондин в изумительном по покрою фраке уже целовал колено.

— Я в восхищении! — заговорила Маргарита.

— Я в восхищении! — орал кот, варварски выговаривая по-английски.

— Бокал шампанского, — шептали траурные молодые люди, — мы рады... Графа давно не видно...

Из камина тем временем одни за другими появлялись черные цилиндры, плащи, мантии. Прислуга уже не стояла строем, а шевелилась, цилиндры летали из рук в руки и исчезали где-то, где, вероятно, была вешалка.

Дамы иногда задерживались внизу у зеркала, поворачиваясь и пальцами касаясь волос, потом вдевали рука в руку кавалера и легко начинали подниматься на лестницу.

— Почтенная и очень уважаемая особа, — пел Коровьев в ухо Маргарите и в то же время махая рукою графу Лейчестеру, пившему шампанское, — *госпожа Тофана*.

Дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная поднималась по лестнице, опираясь на руку какого-то черненького человека небольшого роста.

Дама, по-видимому, любила зеленый цвет. На лбу у нее поблескивали изумруды, на шее была зачем-то зеленая лента с бантом, и сумочка зеленая, и туфли из зеленого листа водяной линии. Дама прихрамывала.

— Была чрезвычайно популярна, — рассказывал Коровьев, — среди очаровательных неаполитанок, а ранее — жительниц Палермо, и именно тех, которым надоели их мужья. Тофана продавала таким... Ведь может же в конце концов осточертеть муж?

— О, да — смеясь ответила королева Маргарита.

— Продавала, — продолжал Коровьев, какую-то водичку в баночках, которая прямо чудесно помогала от всех болезней... Жена вливала эту водичку в суп, муж его съедал и чувствовал себя прекрасно, только вдруг начинал хотеть пить, затем жаловался на усталость, ложился в постель, и через два дня прекрасная неаполитанка была свободна, как ветер.

— До чего она вся зеленая! — шептала Маргари-

та, — и хромая. А зачем лента на шее? Блеклая шея?

— Прекрасная шея, — пел Коровьев, делая уже приветственные знаки спутнику Тофаны и улыбаясь во весь рот, — но у нее неприятности случились. Хромает потому, что на нее испанский сапог надевали, а узнав, что около пятисот неудачно выбранных мужей, попробовав ее воды, покинули и Палермо, и Неаполь навсегда, сгоряча в тюрьме удавили, — я в восхищении! — завыл он.

— Госпожа Тофана! Бокал шампанского... — ласково говорила Маргарита, помогая хромой подняться с колена и в то же время всматриваясь в плаксиво улыбающегося ее спутника.

— Королева! — тихо воскликнула Тофана.

— Как ваша нога? — участливо спрашивала Маргарита, восхищаясь своею властью легко говорить на всех языках мира, сама вслушиваясь в певучесть своей итальянской речи.

— О, добрейшая королева! Прекрасно! — искренне и благодарно глядя водяными зеленоватыми глазами в лицо Маргариты...

Молодой человек уже вкладывал в сухую ручку госпожи Тофаны бокал.

— Кто этот с нею? — торопливо справилась Маргарита, — с богомерзкой рожей? Муж?

— Не знаю я этого сукиного сына, — озабоченно шептал Коровьев, — кажется, какой-то неаполитанский аптекарь... У нее всегда была манера ронять себя и связываться со всякой сволочью. Ну, Азазелло пропустил... Все в порядке... Он должен по должности знать всех.

— *Как рады мы, граф!* — вскричал он по-французски и, пока очень беспокойный какой-то фрачник целовал колени Маргариты, говорил ей:

— Не правда ли, светлейшая королева, граф Алессандро Феникс очень, очень понравился Калиостро, — вдунул он в ухо Маргарите...

Поцелуи теперь шли один за другим...

— С этой чуть нежней, — одним дыханием проговорил Коровьев, — она мрачная. Неврастеничка. Обожает балы, носится с бредовой мыслью, что мессир ее увидит, насчет платка ему что-то хочет рассказать...

— Где? Где?

— Вон между двумя, — взглядом указывал Коровьев.

Маргарита поймала взглядом женщину лет двадцати, необыкновенную по красоте сложения, с дымными топазами на лбу и такими же дымными глазами.

— Какой платок? Не понимаю! — под рев музыки, звон и начинающий уже нарастать гул голосов говорила Маргарита довольно громко.

— Камеристка к ней приставлена, — пояснял Коровьев, в то же время пожимая руки какому-то арабу, — и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок с каемочкой... Как проснется она, платок тут. Она сжигала его в печке, топила в реке, но ничего не помогает.

— Какой платок?

— С синей каемочкой. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин ее как-то завел в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика. И унесла его в лес, и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде плакала, говорила, что кормить нечем ребенка. Ничего не понимает.

— А хозяин кафе где? — каким-то странным голосом спросила Маргарита. — Где хозяин?

— Ваше величество, — заскрипел снизу кот, — позвольте вас спросить, при чем же здесь хозяин? Он платка младенцу не совал в рот!

Маргарита вдруг скрутила острыми когтями ухо Бегемота в трубку и зашептала, в то же время улыбаясь кому-то:

— Если ты, сволочь, еще раз это скажешь...

Бегемот как-то не по-бальному пискнул и захрипел:

— Ваше... ухо вспухнет... зачем портить бал?.. я говорил юридически... с юридической точки... Молчу, молчу! Как рыба молчу!

Маргарита выпустила ухо кота и глянула сверху вниз. Мрачные глаза взмолились ей, но рот шептал по-немецки:

— Я счастлива, королева, быть приглашенной на великий бал полнолуния или ста королей...

— А я, — отвечала по-немецки Маргарита, — рада вас видеть... Очень рада... Любите ли вы шампанское?

— Что вы делаете, королева?! — на ухо беззвучно взревел Коровьев, — затор получится!

— Я люблю, — моляще говорила женщина.

— Так вот вы...

— *Фрида,* Фрида, Фрида, — жадно глядя на Маргариту, шептала женщина, — меня зовут Фрида, о, королева!

— Так вот, напейтесь сегодня пьяной, Фрида, — сказала Маргарита, — и ни о чем не думайте!

Фрида, казалось, хотела войти в глаза Маргарите, тянулась к ней, но кот уже помогал ей подняться и увлекал в сторону.

Затор действительно мог получиться. Теперь уже на каждой ступеньке было по двое человек. Снизу из бездны на Маргариту по склону, как будто штурмуя гору, подымался народ.

Из швейцарской снизу уже послышалось жужжанье голосов. Прислуги там прибавилось... Там была толчея.

Маргарита теперь уже не имела времени для того, чтобы произносить что-либо, кроме слов:

— Я рада вас видеть...

— Герцог! — подсказывал Коровьев и пел теперь за двух на всех языках.

Голые женские тела, вкрапленные меж фрачных мужчин, подвигались снизу как стеной. Шли смуглые и белотелые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные и сверкающие, как будто смазанные маслом. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых как лен в ливне света играли снопами, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин, брызгали светом с грудей бриллиантовые капли запонок.

Маргарита теперь ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в вечную улыбающуюся маску привета.

— Но разнообразьте глаза... глаза, — теперь уже в громе музыки и жужжанье и с лестницы и сзади, в реве труб и грохоте, не стесняясь, говорил Коровьев, — ничего не говорите, не поспеете, только делайте вид, что каждого знаете... Я восхищен! *Маркиза де Бренвиллье... Отравила отца,* двух братьев и двух сестер и завладела наследством... *Господин де Годен*, вас ли мы видим? В карты играют в том зале, через

площадку... *Госпожа Минкина,* ах, хороша! Не правда ли, королева, она красива... Излишне нервна... зачем же было жечь лицо горничной щипцами и вырывать мясо... Впрочем... Настасья Федоровна! Бокал шампанского... Маленькая пауза... Пауза... Ему несколько слов... Что-нибудь о его чудесах на...

— Кто? Кто?

— Паганини... играет сегодня у нас...

Горящие, как угольки, глаза, изжеванное страстью лицо склонилось перед Маргаритой...

— Я счастлива услышать дивные звуки...

— Барон Паганини! — Коровьев кричал и тряс руки Паганини, — все мы будем счастливы услышать ваши флажолеты после этой чертовской трескотни, которую устроил профан Бегемот... Как, ни одного стакана шампанского?.. Ну, после концерта, я надеюсь... Не беспокойтесь, ваш Страдиварий уже в зале... он под охраной... Ни одно существо в мире не прикоснется к нему... За это я вам ручаюсь!..

Лица плыли, качались, и казалось, что одна огромная, как солнце, улыбка разлилась по ним всем...

— Все одинаковы во фраках... но, *вот и император Рудольф...*

— У которого безумные глаза?..

— Он, он... Алхимик и сошел с ума... Еще алхимик, тоже неудачник, повешен. Еще алхимик, опять-таки неудача... Рад видеть вас, господин Сендзивей! Вот эта... чудесный публичный дом держала в Страсбурге, идеальная чистота, порядок... Он? Ударил по лицу друга, а на другой день на дуэли его же заколол... Кровосмеситель...

Этот лысый — господин Руфо, идеальный сводник... Бегемот, пора! Давай своих медведей, которыми ты так хвастался. Видишь, в зале у первого буфета скопился народ. Отсасывай их своими медведями, а то на площадке нельзя будет повернуться. Господин Казанова, королева рада вас видеть... Московская портниха, приятнейшая женщина, мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку — провертела круглые дыры в стене той комнаты, где дамы примеривали туалеты. Бокал шампанского! Я в восхищении!

— И они не знали?

— Все до единой знали. Я в восхищении!.. Этот двадцатилетний мальчуган всегда отличался дикими фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, красавица, и он продал ее в публичный дом. Рядом с ним отцеубийца. За ними госпожа Калиостро, с нею высокий, обрюзгший, — князь Потемкин. Да, тот самый, ее любовник.

По лестнице текла снизу вверх людская река — чинно, медленно и ровно. Шорох лакированных туфель стоял непрерывный, монотонный. И главное, что конца этой реке не было видно. Источник ее — громадный камин — продолжал питать ее.

Так прошел час, и пошел второй час. Тогда Маргарита стала замечать, что силы ее истощаются. Цепь стала ненавистна ей, ей казалось, что с каждой минутой в ней прибавляется веса, что она впивается углами в шею. Механически она поднимала правую руку для поцелуя и, подняв ее более тысячи раз, почувствовала, что она тяжела и что поднимать ее просто трудно. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые, и черные сделались безразличны, сливались по временам в глазах, и воздух почему-то начинал дрожать и струиться.

Несколько, не ненадолго оживили Маргариту обещанные Бегемотом медведи. Стена рядом с площадкой распалась, и тайна «светит месяца» разъяснилась. Возник ледяной зал, в котором синеватые глыбы были освещены изнутри, и пятьдесят белых медведей грянули на гармониках. Один из них, вожак и дирижер, надев на голову картуз, плясал перед ними.

— Глупо до ужаса, — бормотал Коровьев, — но цели достигло. Туда потянулись, здесь стало просторнее... Я в восхищении!

Маргарита не выдержала и, стиснув зубы, положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы шелест крыльев по стенам, теперь доносился из зала сзади, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища, и даже казалось, будто массивные мраморные мозаичные хрустальные полы в этом диковинном здании ритмично пульсируют.

Ни *Гай Цезарь Калигула*, ни Чингисхан, прошедшие в потоке людей, ни *Мессалина* уже не заинтересо-

вали Маргариту. Как не интересовали ни десятки королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников, сводниц, тюремщиков, убийц, шулеров, палачей, доносчиков, изменников, куртизанок, безумцев, сыщиков, растлителей, мошенников, названных Коровьевым. Все их имена спутались в голове, лица стерлись в лепешку, из которых назойливо лезло в память только одно: окаймленное действительно огненной бородой лицо Малюты Скуратова. Маргарита чувствовала только, что поясницу ее нестерпимо ломит, что ноги подгибаются.

Она попросила пить, и ей подали чашу с лимонадом. Наихудшие страдания ей причиняло колено, которое целовали. Оно распухло, кожа посинела, несмотря на то что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой, чем-то душистым и смягчающим смачивала она измученное тело.

В конце третьего часа Маргарита глянула безнадежными глазами в бездну и несколько ожила; поток редел, явно редел.

— Законы бального съезда одинаковы, королева Маргарита — заговорил Коровьев, — я мог бы вычертить кривую его. Она всегда одинакова. Сейчас волна начнет спадать, и, клянусь этими идиотскими медведями, мы терпим последние минуты. Я восхищен!

Медведи доиграли рязанские страдания и пропали вместе со льдом.

Маргарита стала дышать легче. Лестница пустела. Было похоже на начало съезда.

— Последние, последние, — шептал Коровьев, — вот группа наших брокенских гуляк.

Он еще побормотал несколько времени: *эмпузы, мормолика,* два вампира. Все.

Но на пустой лестнице еще оказались двое пожилых людей. Коровьев прищурился, узнал, мигнул подручным и сказал Маргарите:

— А, вот они...

— У них почтенный вид, — говорила, щурясь, Маргарита.

— Имею честь рекомендовать вам, королева, директора театра и доктора прав *господина Гёте* и также *господина Шарля Гуно*, известнейшего композитора.

— Я в восхищении, — говорила Маргарита.

И директор театра, и композитор почтительно поклонились Маргарите, но колено не целовали.

Перед Маргаритой оказался круглый золотой поднос и на нем два маленьких футляра. Крышки их отпрыгнули, и в футлярах оказалось по золотому лавровому веночку, который можно было носить в петлице, как орден.

— Мессир просил вас принять эти веночки, — говорила Маргарита одному из артистов по-немецки, а другому по-французски, — на память о сегодняшнем бале.

Оба приняли футляры и проследовали к подносам.

— Ах, вот и самый последний, — сказал Коровьев, кивая на последнего, очень мрачного человека с малюсенькими, коротко подстриженными под носом усиками и тяжелыми глазами.

— *Новый знакомый,* — продолжал Коровьев, — большой приятель Абадонны. Как-то раз Абадонна навестил его и нашептал за коньяком совет, как избавиться от одного человека, проницательности которого наш знакомый весьма боялся. И вот, *он велел своему секретарю обрызгать стены кабинета* того, кто внушал ему опасения, *ядом.*

— Как его зовут? — спросила Маргарита.

— Право, еще не спросил, Абадонна знает.

— А с ним кто?

— Этот самый, исполнительный его секретарь. Я восхищен! — привычным голосом закричал Коровьев.

Лестница опустела. Маргарита, Коровьев в сопровождении кота покинули свой пост. Они сбежали вниз по лестнице, юркнули в камин и оттуда какими-то окольными и темными путями проникли в ту самую ванную комнату, где Маргариту одевали для бала.

— О, как я устала! — простонала Маргарита, повалившись на скамейку.

Но Гелла и Наташа опять повлекли ее под кровавый душ, тело ее размяли и размассировали, и Маргарита ожила вновь.

Неумолимый Коровьев дал только три минуты на то, чтобы полежать на скамье. Теперь Маргарите предстояло облететь бал, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.

Бал дал себя знать, лишь только Маргарита, чуть

касаясь мраморного пола, скользя по нему, вылетела в тропический сад. Ей показалось, что рядом идет сражение. Сотни голосов сливались в мощный гул, и в этом гуле слышались страшные удары металлических тарелок, какое-то мощное буханье и даже выстрелы. Иногда вырывался смех, его выплескивало, как пену с волны.

Но в самой оранжерее было тихо... В густейшей зелени сидело несколько парочек с бокалами, да еще бродил одинокий человек, с любопытством изучающий отчаянно орущих на всех языках попугаев.

Человек этот оказался директором театра Гёте, и ему Маргарита успела послать только обольстительную улыбку и одну фразу — что-то о попугаях.

В соседнем зале уже не было оркестра Штрауса, на эстраде за тюльпанами его место занял обезьяний джаз. Громадная горилла, мохнато-бакенбардная горилла в красном фраке, с трубой в руке, приплясывая, дирижировала громадным и стройным джазом. В один ряд сидели орангутанги с блестящими трубами и дули в них. На плечах у них сидели веселые шимпанзе с гармониями. В гриве, похожей на львиную, два гамадрила играли на роялях, и роялей этих не было слышно в громе и писке, буханьях и вое инструментов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек со скрипками.

На зеркальном полу пар пятьсот, словно слившись, поражая Маргариту ловкостью и чистотой движения, стеною, вертясь в одном направлении, шли, угрожая смести все с своего пути.

Свет менялся через каждые десять секунд. То светили с хор разноцветные прожектора, и женские тела то блистали розово и тепло, то становились трупно-зелеными, то красно-мясными. Атласные живые бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпался цветочный дождь. То погасали прожекторы, и тогда на капителях колонн загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.

Лишь только Маргариту увидели, полчище распалось само собою, и, проходя по образовавшемуся коридору, Маргарита слышала восхищенный шепот, разросшийся до гула:

— Королева Марго!

Как в танцевальном зале одурял запах цветов, духов и драгоценных цветочных масел, здесь вертел голову запах шампанского, клокочущего в бассейнах. Сверкающие чаши взлетали в руках у фрачников, сотни женских глаз провожали Маргариту. Смех словно сдуло с уст, и здесь шепот разросся до громового крика:

— Здоровье королевы!

Из зала, где били шампанские фонтаны, Маргарита попала в чудовищных размеров бассейн, окаймленный колоннадой. Из пасти десятисаженного Нептуна хлестала широкая розовая струя. Одуряющий запах шампанского поднимался из бассейна. Здесь царствовало бурное веселье. Дамы, хохоча, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим фрачным кавалерам или неграм, мечущимся с нагретыми простынями меж колонн, и ласточкой бросались в воду. Столбы игристого вина взметало вверх. Хрустальное дно бассейна играло светом, свет пронизывал толщу вина, в котором ныряли, как рыбки в аквариуме, дамы.

Они выскакивали из воды, держась за золотые поручни, хохоча и шатаясь, совершенно пьяные. От хохота и крика звенело над колоннами, фрачники отскакивали от брызг, негры укутывали купальщиц в простыни, и, не будучи в силах перекрыть звенящий в колоннах крик, лягушки со своими саксофонами, сидящие на плечах Нептуна, бешено играли фокстрот.

В честь Маргариты шесть дам выстроились в ряд и под звуки лягушачьего марша вскочили на плечи своим кавалерам и с них взвились в воздух, а оттуда — головами вниз в бассейн. Маргарита видела, как их сверкающие тела разлетались над водой как вспугнутая рыбья золотая стая.

Запомнилось ей в этой кутерьме одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности своей молящими глазами, и одно короткое слово вспомнилось: «Фрида». Затем пробежали коротенькие мыслишки житейского порядка: «Интересно, сколько может стоить такой бал?», «никогда в гости ходить не буду... гости... чушь собачья... балы надо уметь устраивать...». Голова ее начинала кружиться, но кот устроил и в бассейне номер, задержавший Маргариту со свитой. Резким пронзительным го-

лосом он провыл предложение джентльменам искупаться и сделал какой-то повелительный жест неграм.

Тотчас с шипеньем и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета.

Дамы с визгом и воплями «Коньяк!» кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон и кот, перевернувшись трижды в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстуком, со слезшей с усов позолотой, потеряв бинокль. Но он объявил, что он ни в одном глазу.

Та самая портниха-затейница оказалась единственной особой женского пола, отважившейся искупаться в коньяке. Кавалер ее, мулат, вмиг освободился от фрачной одежды и шелкового белья и вместе с нею прыгнул в бассейн.

Но тут Коровьев властно подхватил под руку хозяйку бала и увлек ее вон.

Они оказались в буфете. Сотни гостей осаждали каменные ванны. Пахло соленым морем. Прислуга бешено работала ножами, вскрывая аркашонские устрицы, выкладывая их на блюда, поливая лимонным соком. Маргарита глянула под ноги и невольно ухватилась за руку Коровьева, ей показалось, что она провалится в ад. Сквозь хрустальный пол светили бешеные красные огни плит, в дыму и пару метались белые дьявольские повара. Тележки на беззвучных колесиках ездили между столиками, и на них дымились и сочились кровавые горы мяса. Прислуга на ходу тележек резала ножами это мясо, и ломти ростбифа разлетались по рукам гостей. Снизу из кухни подавали раскроенную розовую лососину, янтарные балыки. Серебряными ложками проголодавшиеся гости глотали икру.

Снизу по трапам подавали на столиках столбы тарелок, груды серебряных вилок и ножей, откупоренные бутылки вина, коньяков, водок.

Пролетев через весь буфет, Маргарита, посылая улыбки гостям, попала в темный закопченный погреб с бочками. Налитый жиром, с заплывшими глазками хозяин погреба в фартуке наливал вино любителям

пить в погребах из бочек. Прислуга была здесь женская. Разбитные девицы подавали здесь пряные блюда на раскаленных сковородках, под которыми светили красным жаром раскаленные угли.

Из погреба перенеслись в пивную, здесь опять гремел «светит месяц», плясали на эстраде те же белые медведи. Маргарита слышала рычащий бас:

— Королева матушка! Свет увидели. Вот за пивко спасибо!

В табачном дыму померещилась ей огненная борода Малюты и, кажется, кривоглазая физиономия Потемкина.

Из пивной толпа стремилась в бар... Но дамы взвизгивали, кидались обратно. Слышался хохот. За ослепляющей отражением миллионов свечей зеркальной стойкой помещались пять громадных тигров. Они взбалтывали, лили в рюмки опаловые, красные, зеленые смеси, изредка испускали рык.

Из бара попали в карточные. Маргарита видела бесчисленное множество зеленых столов и сверкающее на них золото. Возле одного из них сгрудилась особенно большая толпа игроков, и некоторые из них стояли даже на стульях, жадно глядя на поединок. Обрюзгшая, седоватая содержательница публичного дома играла против черноволосого банкомета, перед которым возвышались две груды золотых монет. Возле хозяйки же не было ни одной монеты, но на сукне стояла, улыбаясь, нагая девчонка лет шестнадцати с развившейся во время танцев прической, племянница почтенной падуанки.

— Миллион против девчонки, — шептал Коровьев, — вся она не стоит ста дукатов.

Почтительно раздавшаяся толпа игроков восторженно косилась на Маргариту и в то же время разноязычным вздохом: «бита... дана... бита... дана...» сопровождала каждый удар карты.

— Бита! — простонал круг игроков.

Желтизна тронула скулы почтенной старухи, и она невольно провела по сукну рукой, причем вздрогнула, сломав ноготь. Девчонка оглянулась растерянно.

Маргарита была уже вне карточной. Она почти не задерживаясь пролетела мимо гостиной, где на эстра-

де работал фокусник-саламандра, бросающийся в камин, сгорающий в нем и выскакивающий из него вновь невредимым, и вернулась в танцевальный зал.

Как раз когда она подлетала к дверям, оркестр обезьян ударил особенно страшно, и танец немедленно прекратился. Пары распались, и гости выстроились в две шеренги, и шеренги эти стали бесконечны, потому что выстроились гости и в зале с шампанскими фонтанами.

— Последний выход, — шепнул озабоченно Коровьев.

Между стен гостей шел Воланд, за ним Абадонна и несколько стройных подтянутых копий Абадонны. Воланд был во фраке и двигался чуть прихрамывая и опираясь на трость.

Молчание стало мертвым.

Маргарита стояла неподвижно. Воланд шел прямо на нее, улыбаясь.

Подойдя, он протянул ей руку и сказал негромко:

— Благодарю вас, — и стал рядом с нею.

Тотчас перед группой Воланда появился слуга с блюдом, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека в засохших и замытых потеках крови, с приоткрытым ртом, с выбитыми передними зубами.

Тишина продолжала стоять полнейшая, и ее прервал только где-то далеко послышавшийся звонок, как бывает с парадного хода.

— *Александр Александрович,* — негромко сказал Воланд, и тогда веки убитого приподнялись и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.

— Вот все и сбылось, — продолжал Воланд, глядя в глаза голове, — и голова отрезана женщиной, не состоялось заседание, и живу я в вашей квартире. Самая упрямая в мире вещь есть факт. Но теперь и вас и нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он уходит в темное небытие, в золу. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Во всяком случае, одна теория, как гово-

рится, стоит другой. Есть и такая, согласно которой каждому дано будет по его вере. Да сбудется! Вы уходите в небытие, и мне радостно сообщить вам, что из чаши, в которую вы превращаетесь, я выпью за бытие! Итак, чашу!

И тут же потухли глаза и закрылись веками, покровы головы потемнели и съежились, отвалились кусками, исчезли глаза, и перед Маргаритой на блюде оказался череп желтоватый, с изумрудными глазами, с зубами из жемчуга, на золотой ноге. Крыша черепа откинулась.

— Где же он? — спросил Воланд, повернувшись к Коровьеву — церемониймейстеру.

— Сию секунду, мессир, он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли, как звенит бокал, который он поставил на стол, в последний раз в этой жизни выпив шампанского. Да вот и он!

Между шеренгами гостей в зал, направляясь к Воланду, вступал новый гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей — мужчин. И также безукоризненно был одет. Но величайшее волнение выдавали, даже издали видные, пятна на его щеках и неустанно бегающие его глаза. Гость был ошарашен, это было очевидно. И, конечно, не только нагими дамами, но и многим другим, например тем, что он, ухитрившись как-то опоздать, и теперь входит нелепым образом один-одинешенек, встречаемый любопытными взорами гостей, которых, собственно, даже и сосчитать трудно! Встречен был поздний гость отменно.

— А, милейший барон Майгель! — приветливо вскричал Воланд гостю, который решительно не знал, на что ему глядеть — на череп ли, лежащий на блюде в руках у голого негра, на голую ли Маргариту? Голова его стала кружиться. Но кое-как справившись с собою, благодаря своей долголетней практике входить в гости и не теряться, Майгель пробормотал что-то о том, что он восхищен, и приложился к руке Маргариты.

— Вас, как я вижу, поражают размеры помещений? — улыбаясь и выручая гостя, продолжал Воланд, — мы здесь произвели кое-какую перестройку, как видите. Как вы находите ее?

Майгель проглотил слюну и, вертя левой рукой брелок, свешивающийся из кармана белого жилета, сообщил, что перестройку он находит грандиозной и что она его приводит в восхищение.

— Я очень счастлив, что она вам нравится! — галантно отозвался Воланд и звучно обратился к толпам замерших неподвижно гостей:

— Я счастлив, месье, медам, рекомендовать вам почтеннейшего барона Майгеля, служащего комиссии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы.

Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и ресторанах. «Позвольте... — подумала Маргарита, — стала быть, он умер? Ничего не понимаю!»

Но дело разъяснилось тут же.

— Милый барон, — говорил Воланд, расплываясь в улыбке радости, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде, тотчас позвонил ко мне, предлагая мне свои углуги по ознакомлению меня с достопримечательностями столицы. Я счастлив был пригласить его. Кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она превосходит все до сих пор виденное в этом направлении и равняется вашей разговорчивости. Параллельно с этим дошел до меня страшный слух о том, что именно ваша разговорчивость стала производить неприятное впечатление и не позже чем через месяц станет причиной вашей смерти.

Желая избавить вас от томительного ожидания скучной развязки, мы решили прийти вам на помощь...

Тут Воланд перестал улыбаться, а Абадонна вырос перед Майгелем и, подняв очки на лоб, глянул барону в лицо.

Барон сделался смертельно бледен, вздохнул и стал валиться набок. Показалось еще Маргарите, что что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, оказавшегося рядом с Абадонной, что-то стукнуло или как будто в ладоши хлопнуло, и алая кровь хлынула из груди барона, заливая белый жилет.

Как обвал в горах, ударил аплодисмент гостей,

барона подхватили, и чаша до краев наполнилась его кровью.

— За жизнь! — крикнул Воланд, поднимая чашу, и прикоснулся к ней губами.

И тогда произошла метаморфоза. Фрак Воланда исчез. Воланд оказался не то в черном плаще, не то в сутане. Перед глазами Маргариты все закружилось, когда рука в перчатке с раструбом приблизила к ней чашу и загорелся перед ней один глаз.

Маргариту шатнуло, но ее поддержали, и чей-то голос, кажется Коровьева, зашептал:

— Не бойтесь, не бойтесь... Кровь давно ушла в землю... Пейте! В чаше вино!

Маргарита, закрыв глаза, дрожа, сделала глоток. Сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат петухи, что оглушительный оркестр играет марш. Тут толпа гостей стала видоизменяться. Фраки мужчин рассыпались в прах и почернели, и сгнили тела женщин, показались кости, стали сыпаться на пол. Тление охватило зал, потек печальный запах склепа. А потом и колонны распались, и угасли огни, и все съежилось, и не стало никаких фонтанов и бальных зал и цветов... А просто была скромная гостиная ювелирши, и в камине пылал огонь, а из приоткрытой двери виднелся свет свечей. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА

Все в комнате оказалось таким, каким и было до бала. Воланд в сорочке сидел на кровати, но Гелла не растирала ему ногу, а ставила на стол рядом с глобусом поднос с закуской и графином. Коровьев, сняв надоевший фрак, сидел на стуле, плотоядно потирая руки. Кот помещался на соседнем стуле. Галстук его, превратившийся в серую тряпку, съехал за ухо, но Бегемот с ним расстаться не желал.

Абадонны не было, но был Азазелло. Сидящие встретили Маргариту приветливо, заулыбались ей, а Воланд указал ей место рядом с собою на кровати. ... — *сказал Воланд, погля...* погашая свой прожигающий глаз, — вас замучили эти затейники?

— Нет, нет, бал был превосходный, — ответила живо Маргарита.

— Ноблесс оближ, — сказал кот и налил Маргарите прозрачной жидкости в лафитный стакан.

— Это водка? — спросила Маргарита.

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Маргарита захохотала и оттолкнула стакан от себя.

— Пейте смело! — сказал Воланд.

Маргарита взяла стакан.

— Нет, погодите, — заметил Воланд и сквозь свой стакан поглядел на Маргариту, причем той показалось, что красный далекий *огонек сем... еще раз благод...* в восхищении.

— Потрясающе! Очарованы, влюблены, раздавлены! — орал Коровьев.

— Гелла, садись! — приказал Воланд, — эта ночь предпраздничная у нас, — пояснил он Маргарите, — и мы держим себя попросту.

— Вотр санте! — вскричал Коровьев, обращаясь к Маргарите.

Маргарита глотнула, думая, что тут же ей и будет конец от спирту. Но ничего этого не произошло. Живительное тепло потекло по ее животу, что-то стукнуло в затылок, она почувствовала волчий голод. Тут же перед ней оказалось золотое блюдце, и после первой же ложки икры тепло разлилось и по рукам и по ногам.

Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирту, что все ахнули.

Маргарита ела жадно, и все казалось необыкновенно вкусным, да и в самом деле было необыкновенно вкусно.

После второй стопки огни в канделябрах загорелись как будто поярче, в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Только сила и бодрость вливались в нее и постепенно затихал голод. Ей не хотелось спать, а мысли были не связанные между собою, но приятные. Кроме всего прочего смешил кот.

Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась

текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывал горчицей устрицу и посыпал ее сахаром.

— Ты еще винограду положи, — говорила ему Гелла, — и сверху сам сядь.

— Попрошу меня не учить, — огрызался Бегемот, — сиживал за столом, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак при огоньке камелька, запросто, — дребезжал Коровьев, — в интимном кругу...

— Нет, Фагот, — возражал кот, — в бальном буфете имеется своя прелесть и размах!

— Никакой прелести в этом нет, — сказал Воланд, — и менее всего ее в этих тиграх, рев которых едва не довел меня до мигрени.

— Слушаю, мессир, — сказал дерзкий кот, — если вы находите, что нет размаха, и я немедленно буду держаться того же мнения.

— Ты у меня смотри, — ответил на это Воланд.

— Я пошутил, — смиренно сказал кот, — что касается тигров, я велю их зажарить.

— Тигров нельзя есть! — заметила Гелла.

— Нельзя-с? Тогда прошу послушать, — оживился кот и, переселившись к камину с рюмочкой ликеру, жмурясь от удовольствия, рассказал, как однажды оказался в пустыне, где один-одинешенек скитался девятнадцать дней и питался мясом убитого им тигра. Все с интересом слушали занимательное описание пустыни, а когда Бегемот кончил повесть, все хором воскликнули: «Вранье!»

— Интересно то, что *вранье это от первого до последнего слова*, — сказал Воланд.

— История рассудит нас, — ответил кот, но не очень уверенно.

— А скажите, — обратилась Маргарита к Азазелло, — вы его застрелили? Этого барона?

— Натурально, — ответил Азазелло.

— Я так взволновалась... Так неожиданно...

— Как же не взволноваться, — взвыл Коровьев, — у меня у самого поджилки затряслись. Бух! Раз! Барон набок!

— Со мною едва истерика не сделалась, — подтвердил и кот, облизывая ложку с икрой.

— Вот что мне непонятно, — заговорила Маргарита оживленно, и золотые искры от золота и хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не слышно было ни грохота музыки, ни голосов?

— Мертвая тишина, — ответил Коровьев.

— Ах, как это интересно все, — продолжала Маргарита. Дело в том, что этот человек на лестнице... и другой у подъезда... Я думаю, что он...

— Агент! Агент! — вскричал Коровьев, — дорогая Маргарита Николаевна, вы подтверждаете мои подозрения! Агент. Я сам принял было его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице, но нет, но нет. Что-то сосало мое сердце! Ах! Он — агент. И тот у подъезда тоже! И еще хуже в подворотне — тоже!

— Интересно, а если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита, обращая к Воланду глаза.

— Непременно придут, непременно! — вскричал Коровьев, — чует сердце, что придут! В свое время, конечно, но придут!

— Ну что же в этом интересного, — отозвался Воланд и сам налил Маргарите играющее иглами вино в чашу.

— Вы, наверное, хорошо стреляете? — кокетливо спросила у Азазелло Маргарита.

— Подходяще, — ответил Азазелло.

— А на сколько шагов? — спросила Маргарита.

— Во что, смотря по тому, — резонно ответил Азазелло, — одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое — ему же в сердце.

— В сердце! — сказала Маргарита.

— В сердце я попадаю на сколько угодно шагов и по выбору в любое предсердие его или в желудочек, — ответил Азазелло, исподлобья глядя на Маргариту.

— Да ведь... они же закрыты!

— Дорогая, — дребезжал Коровьев, — в том-то и штука, что закрыты! В этом вся соль! А в открытый предмет...

Он вынул из стола семерку пик. Маргарита ногтем наметила угловое верхнее очко. Азазелло отвернулся. Гелла спрятала карту под подушку, крикнула «готово!».

Азазелло, не оборачиваясь, вынул из кармана фрач-

ных брюк черный револьвер, положил его на плечо дулом к кровати и выстрелил.

Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное очко было прострелено.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер!

— Королева драгоценная, — завыл Коровьев, — я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и нету револьвера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы! От всей души не поздравляю того, кто встретится!

— Берусь перекрыть рекорд с семеркой, — заявил кот.

Азазелло прорычал что-то. Кот потребовал два револьвера. Азазелло вынул и второй револьвер. Наметили два очка на семерке. Кот отвернулся, выставил два дула. Выстрелил из обоих револьверов. Послышался вопль Геллы, а с камина упала убитая наповал сова, и каминные часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, тут же вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они покатились клубком по полу.

— Оттащите от меня эту чертовку, — завыл кот.

Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

— Я не могу стрелять, когда под руку говорят! — кричал кот и старался приладить на место выдранный у него из спины порядочный клок шерсти.

— Держу пари, — тихо сказал Воланд Маргарите, — что проделал он эту штуку нарочно. Он очень порядочно стреляет.

Геллу с котом помирили, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали карту, проверили. Ни одного очка не было затронуто.

Ужин такой же веселый пошел дальше. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами ходило тепло от камина. Маргарита наелась, и чувство блаженства охватило ее. Она смотрела, как сине-серые кольца от сигареты Азазелло уплывали в камин и как кот ловил их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, но было по ее расчетам поздно, судя по всему, часов около шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора...

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд, и Маргарита потупилась, не будучи в силах вынести блеска глаза.

Остальные промолчали и сделали вид, что увлечены дымными кольцами.

— Да, пора, — смущаясь повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее.

Воланд молча снял с кровати свой вытертый засаленный халат, а Коровьев закутал Маргариту.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита, и черная тоска вдруг охватила ее. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды, по-видимому, ей никто не собирался предлагать, никто ее и не удерживал. А между тем ей ясно представилось, что идти ей некуда. Попросить, как советовал Азазелло? «Ни за что», — сказала она себе и вслух добавила:

— Всего хорошего... — а сама подумала: «Только бы выбраться, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

Мысль о том, что она придет домой и навсегда останется наедине со своим сном, показалась ей нелепой, больной, нестерпимой.

— Сядьте! — повелительно сказал Воланд.

Маргарита села.

— Что-нибудь хотите сказать на прощание? — спросил Воланд.

— Нет, ничего, мессир, — голос Маргариты прозвучал гордо, — впрочем, если я нужна еще, то я готова исполнить все, что надобно.

Чувство полной опустошенности и скуки охватило ее. «Фу, как мерзко все».

— Вы совершенно правы! — гулко и грозно сказал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего и ни у кого. Сами предложат! Сами!

Потом он смягчил голос и продолжал:

— Мне хотелось испытать вас. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Что вы хотите за то, что были нагой? Чего стоит ваше истерзанное поцелуями колено? Во что цените созерцание моих клиентов и друзей? Говорите! Теперь уж без стеснений: предложил я!

Сердце замерло у Маргариты, она тяжело вздохнула.

— Вот шар, — Воланд указал на глобус, — в пределах его. А? Ну, смелее! Будите свою фантазию. Одно присутствие при сцене с этим отпетым негодяем бароном стоит того, чтобы человека наградили как следует. Да-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные, давно хранимые в душе слова, как вдруг остановилась, даже раскрыла рот, изменилась в лице.

Откуда-то перед мысленными глазами ее выплыло пьяное лицо Фриды и ее взор умученного вконец человека.

Маргарита замялась и сказала спотыкаясь:

— Так, я, стало быть, могу попросить об одной вещи?..

— Потребовать, потребовать, многоуважаемая Маргарита Николаевна, — ответил Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи!

Да, никак слово «вещь» не переходило во множественное число! А лицо Фриды назойливо колыхалось перед глазами в сигарном дыму.

Маргарита заговорила:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка, — и вздохнула.

Кот послал Коровьеву неодобрительный взгляд, но, очевидно, помня накрученное ухо, не промолвил ни слова.

— Гм, — сказал Воланд и усмехнулся, — ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой Фриды совершенно, конечно, исключена, остается обзавестись тряпками и заткнуть все щели в моей спальне!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — не выдержал кот, — именно тряпками! — Он с раздражением запустил лапу в торт и стал выковыривать из него апельсинные корки.

— О милосердии говорю, — объяснил Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза, — иногда, совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узкие щели. Вот я и говорю о тряпках!

— И я об этом же говорю! — сурово сказал кот и

отклонился на всякий случай от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон! — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же я уйду? Неужели, мессир, в предпраздничную ночь гостей за столом у нас разделят на два сорта? Одни первой, а другие, как выражался этот печальный негодяй буфетчик, второй свежести?

— Молчи! — сказал Воланд и обратился к Маргарите с вежливой улыбкой: — Позвольте спросить, вы, надо полагать, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет! — с силой ответила Маргарита. — И, так как я все-таки не настолько глупа, чтобы, разговаривая с вами, прибегать ко лжи, скажу вам со всею откровенностью: я прошу у вас об этом потому, что, если Фриду не простят, я не буду иметь покоя всю жизнь. Я понимаю, что всех спасти нельзя, но я подала ей твердую надежду. Так уж вышло. И я стану обманщицей.

— Ага, — сказал Воланд, — понимаю.

А кот, закрывшись лапой, что-то стал шептать Коровьеву.

— Так вы сделаете? — спросила неуверенно Маргарита.

— Ни в каком случае, — ответил Воланд.

Маргарита побледнела и отшатнулась.

— Я ни за что не сделаю, — продолжал Воланд, — а вы, если вам угодно, можете сделать сами. Пожалуйста.

— Но по-моему исполнится?

Азазелло вытаращил иронически кривой глаз на Маргариту, покрутил рыжей головой и тихо фыркнул.

— Да делайте же! Вот мучение, — воскликнул Воланд и повернул глобус, бок которого стал наливаться огнем.

— Фрида! — крикнул пронзительно кот.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите.

Та сказала:

— Прощают тебя. Платок больше подавать не будут.

Фрида испустила вопль, упала на пол и простерлась крестом перед Маргаритой.

Воланд досадливо махнул рукой, и Фрида исчезла.

— Прощайте, благодарю вас, — твердо сказала Маргарита и поднялась, запахнув халат.

— По улице в таком виде идти нельзя. Сейчас дадим вам машину, — сказал Воланд сухо и затем добавил, — поступок ваш обличает в вас патологически непрактичного человека. Пользоваться этим мы считаем неудобным, поэтому Фрида не в счет. Говорите, что вы хотите?

— Драгоценное сокровище, Маргарита Николаевна! — задребезжал Коровьев, — на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то фортуна может ускользнуть!

— Верните мне моего любовника, — сказала Маргарита и вдруг заплакала.

— Маргарита Николаевна! — запищал Коровьев в отчаянии.

— Нет, не могу! — возмущенно отозвался кот и выпил объемистую рюмку коньяку.

Занавеска на окне отодвинулась, и далеко в высоте открылась полная луна. От подоконника на пол упал зеленоватый платок ночного света. Сидящие, на лицах которых играл живой свет свечей, повернули головы к лунному косому столбу. В нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером.

Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке. Небритое лицо его дергало гримасой, он пугливо косился на огни свечей.

Маргарита узнала его, всплеснула руками, подбежала и обняла. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и слезы бежали по ее лицу.

Она произносила только одно слово:

— Ты... ты...

Мастер отстранил ее наконец и сказал глухо:

— Не плачь, Марго. Я тяжко болен.

Он ухватился за подоконник рукою, оскалился, всматриваясь в сидящих, и сказал:

— Мне страшно, Марго. У меня галлюцинация.

Маргарита подтащила его к стулу, усадила и, гладя плечи, шею, лицо, зашептала:

— Ничего, ничего не бойся. Я с тобою. Не бойся ничего.

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к Маргарите второй стул, и она опустилась на него, обняла

пришедшего за шею, голову положила на плечо и так затихла, а мастер опустил голову и стал смотреть в землю больными угрюмыми глазами. Наступило молчание, и первый прервал его Воланд.

— Да, хорошо отделали человека, — проговорил он сквозь зубы и приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, ему выпить.

Через секунду Маргарита дрожащим голосом просила мастера:

— Выпей, выпей... Нет, нет. Не бойся. Тебе помогут, за это я ручаюсь. Сразу, сразу пей!

Больной взял стакан и выпил содержимое. Рука его дрогнула, и пустой стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью, милейшая Маргарита Николаевна! К счастью, — зашептал трескучий Коровьев.

Маргарита с ложечки кормила мастера икрой. Лицо его менялось, по мере того как он ел, порозовели скулы и взор стал не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил он.

— Я! Я! — ответила Маргарита.

— Еще, — строго сказал Воланд.

Коровьев подал Воланду стакан, и Воланд бросил в него щепотку какого-то черного порошку. Больной выпил поданную ему жидкость и глянул живее и осмысленнее.

— Ну вот, это — другое дело, — сказал Воланд, прищурившись, — теперь поговорим. Кто вы такой? — обратился он к пришедшему.

— Я теперь никто, — ответил оживающий больной, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я душевнобольной, — ответил пришелец.

Маргарита заплакала и проговорила сквозь слезы:

— Он — мастер, мастер, верьте мне! Вылечите его!

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? — спросил Воланд, — у кого находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — соседом моим в сумасшедшем доме был Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших пру-

дах, — ответил Воланд, — и вы верите, что это действительно я?

— Верю, — сказал пришелец, — но, конечно, спокойнее мне было бы считать вас плодом галлюцинаций. Извините меня...

— Если спокойнее, то и считайте галлюцинацией, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет, — испуганно обратилась к мастеру Маргарита, — перед тобою мессир!

— Это не важно, обаятельнейшая Маргарита Николаевна! — встрял в разговор Коровьев, а кот увязался вслед за ним и заметил горделиво:

— А я, действительно, похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль... — кот хотел еще что-то сказать, но его попросили замолчать, и он ответил: — Хорошо, хорошо. Готов молчать. Я буду молчаливая галлюцинация! — замолчал.

— Верно ли, что вы написали роман? — спросил Воланд.

— Да.

— О чем?

— Роман о Понтии Пилате.

Воланд откинулся назад и захохотал громовым образом, но так добродушно и просто, что никого не испугал и не удивил. Коровьев стал вторить Воланду, хихикая, а кот неизвестно зачем зааплодировал. Отхохотавшись, Воланд заговорил, и глаз его сиял весельем.

— О Понтии Пилате? Вы?.. В наши дни? Это потрясающе! И вы не могли найти более подходящей темы? Позвольте-ка посмотреть...

— К сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — я сжег его в печке...

— Этого нельзя сделать, простите, не верю, — снисходительно ответил Воланд, — рукописи не горят, — и обратившись к коту, велел ему: — Бегемот, дай-ка роман сюда!

Тут кот вскочил со стула, и все увидели, что сидел он *на толстой пачке рукописей в нескольких экземплярах*. Верхний экземпляр кот подал Воланду с поклоном.

Маргарита задрожала, вскрикнула, потом заговорила, волнуясь до слез:

— Вот он, вот он! О, верь мне, что это не галлюцинация! — и, повернувшись к Воланду: — Всесильный, всесильный повелитель!

Воланд проглядел роман с такой быстротой, что казалось, будто вращает страницы струя воздуха из вентилятора. Перелистав манускрипт, Воланд положил его на голые колени и молча, без улыбки, уставился на мастера.

Но тот впал в тоску и беспокойство, встал со стула, заломил руки и пошел в лунном луче к луне, вздрагивая, бормоча что-то.

Коровьев выскочил из-под света свечей и темною тенью закрыл больного, и зашептал:

— Вы расстроились? Ничего, ничего... До свадьбы заживет!.. Еще стаканчик... И я с вами за компанию...

И стаканчик подмигнул — блеснул в лунном свете и помог стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо его теперь стало спокойно.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем с черным камнем на нем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелло? — спросил он у молчащего Азазелло.

— Я говорю, — прогнусавил тот, — что тебя хорошо бы утопить.

— Будь милосерден, Азазелло, — смиренно сказал кот, — и не наводи моего господина на эту мысль. Поверь мне, что я являлся бы тебе каждую ночь в таком же лунном покрывале, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, Азазелло? Не пришлось бы тебе еще хуже, чем этой глупой Фриде? А?

— Молчание, молчание, — сказал Воланд и, когда оно наступило, сказал так:

— Ну, Маргарита Николаевна, теперь говорите все, что вам нужно.

Маргарита поднялась и заговорила твердо, и глаза ее пылали. Она сгибала пальцы рук, как бы отсчитывая на них все, чтобы ничего не упустить.

— Опять вернуть его в переулок на Арбате, в подвал, и чтобы загорелась лампа, как было.

Тут мастер засмеялся и сказал:

— Не слушайте ее, мессир. Там уже давно живет другой человек. И вообще, нельзя сделать, чтобы все «как было»!

— Как-нибудь, как-нибудь, — тихо сказал Воланд и потом крикнул: — Азазелло! — И Азазелло очутился у плеча Воланда.

— Будь так добр, Азазелло, — попросил его Воланд.

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный, близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом и в кепке. От страху человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азазелло.

— А... Алоизий Могарыч, — дрожа ответил гражданин.

— Это вы написали, что в романе о Понтии Пилате контрреволюция, и после того, как мастер исчез, заняли его подвал? — спросил Азазелло скороговоркой.

Гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

Маргарита вдруг как кошка кинулась к гражданину и завывая и шипя:

— А! Я — ведьма! — и вцепилась Алоизию Могарычу в лицо ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь! — кричал мастер страдальчески. — Ты покрываешь себя позором!

— Протестую, это не позор! — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил, — стуча зубами, нес исцарапанный Могарыч какую-то околесицу, — и побелил... один купорос...

— Владивосток, — сухо сказал Азазелло, — подавая Могарычу бумажку с адресом, — Банная, 13, квартира 7. Там ванну пристроишь. Вот билет, плацкарта. Поезд идет через 2 минуты.

— Пальто? А пальто?! — вскрикнул Могарыч.

— Пальто и брюки в чемодане, — объяснил расторопный Азазелло, — остальное малой скоростью уже пошло. Вон!

Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни. Слышно было, как грохнула дверь, выводящая на лестницу.

Мастер вытаращил глаза, прошептал:

— Однако! Это, пожалуй, почище будет того, что рассказывал Иван... А, простите, это ты... это вы... — сбился он, не зная, как обратиться к коту, «на ты» или «на вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил кот и добавил: — Приятно слышать, что вы обращаетесь ко мне на «вы». Котам всегда почему-то говорят «ты».

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, — нерешительно ответил мастер.

— Что же еще, Маргарита Николаевна? — осведомился Воланд у Маргариты.

— Вернуть его роман и... — Маргарита подбежала к Воланду, припала к его коленям и зашептала: — ...верните ему рассудок...

— Ну, это само собой, — шепотом ответил Воланд, а вслух сказал: — И все?

— Все, — подтвердила Маргарита, розовея от радости.

— Позвольте мне сказать, — вступил в беседу мастер, — я должен предупредить, что в лечебнице меня хватятся. Это раз. Кроме того, у меня нет документа. Кроме того, хозяин-застройщик поразится тем, что исчез Могарыч... И... И главное то, что Маргарита безумна не менее, чем я. Марго! Ты хочешь уйти со мною в подвал?

— И уйду, если только ты меня не прогонишь, — сказала Маргарита.

— Безумие! Безумие, — продолжал мастер, — отговорите ее.

— Нет, не будем отговаривать, — покосившись на мастера, ответил Воланд, — это не входило в условие. А вот насчет чисто технической стороны дела... документ этот и прочее. Азазелло!

Азазелло тотчас вытащил из кармана фрака книжечку, вручил ее мастеру со словами:

— Документ!

Тот растерянно взял книжечку, а Азазелло стал вынимать из кармана бумаги и даже большие прошнурованные книги.

— Ваша история болезни...

Маргарита подвела мастера к свечам со словами «ты только смотри, смотри...»

— ... прописка в клинике...

— Раз, и в камин! — затрещал Коровьев, — и готово! Ведь раз нет документа — и человека нет? Не правда ли?

Бумаги охватило пламя.

— А это домовая книга, — пояснил Коровьев, — видите, прописан Могарыч Алоизий... Теперь: эйн, цвей, дрей...

Коровьев дунул на страницу, и прописка Могарыча исчезла.

— Нету Могарыча, — сладко сказал Коровьев, — что Могарыч? Какой такой Могарыч? Не было никакого Могарыча. Он снился.

Тут прошнурованная книга исчезла.

— Она уже в столе у застройщика, — объяснил Коровьев. — И все в порядочке.

— Да, — говорил мастер, ошеломленно вертя головой, — конечно, это глупо, что я заговорил о технике дела...

— Больше я не смею беспокоить вас ничем, — начала Маргарита, — позвольте вас покинуть... Который час?

— Полночь, пять минут первого, — ответил Коровьев.

— Как? — вскричала Маргарита, — но ведь бал шел три часа...

— Ничего неизвестно, Маргарита Николаевна!.. Кто, чего, сколько шел! Ах, до чего все это условно, ах, как условно! — эти слова, конечно, принадлежали Коровьеву.

Появился портфель, в него погрузили роман, кроме того, Коровьев вручил Маргарите книжечку сберкассы, сказав:

— Девять тысяч ваши, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо! Мы не заримся на чужое.

— У меня пусть лапы отсохнут, если к чужому прикоснусь, — подтвердил и кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него роман.

— Все это хорошо, — заметил Воланд, — но, Маргарита Николаевна, куда прикажете девать вашу свиту? Я лично в ней не нуждаюсь.

И тут дверь открылась, и вошли в спальню взволнованная и голая Наташа, а за нею грустный, не проспавшийся после бала Николай Иванович.

Увидев мастера, Наташа обрадовалась, закивала ему головой, а Маргариту крепко расцеловала.

— Вот, Наташенька, — сказала Маргарита, — я буду жить с мастером теперь, а вы поезжайте домой. Вы хотели выйти замуж за инженера или техника. Желаю вам счастья. Вот вам тысяча рублей.

— Не пойду я ни за какого инженера, Маргарита Николаевна, — ответила Наташа, не принимая денег, — я после такого бала за инженера не пойду. У вас буду работать. Вы уж не гоните.

— Хорошо. Сейчас вместе и поедем, — сказала Маргарита Николаевна и попросила Воланда, указывая на Николая Ивановича: — А этого гражданина я прошу отпустить с миром. Он случайно попал в это дело.

— То есть с удовольствием отпущу, — сказал Воланд, — с особенным. Настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, — о том, где я провел упомянутую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.

— На предмет представления милиции и супруге, — объяснил Николай Иванович.

— Удостоверений мы не даем, — кот насупился, — но для вас сделаем исключение.

И тут появилась пишущая машинка, Гелла села за нее, а кот продиктовал:

— Сим удостоверяется, что предъявитель сего Николай Иванович Филармонов провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен в качестве перевозочного средства, в скобках — боров ведьмы Наташи. Подпись Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подписал бумагу, вынул откуда-то печать, подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил ее Николаю Ивановичу. И тот немедля исчез, и опять стукнула передняя дверь.

В ту же минуту еще одна голова просунулась в дверь.

— Это еще кто? — спросил, заслоняясь от свечей, Воланд.

Варенуха всунулся в комнату, стал на колени, вздохнул и тихо сказал:

— *Поплавского до смерти я напугал* с Геллой... Вампиром быть не могу, отпустите...

— Какой такой вампир? Я его даже не знаю... Какой Поплавский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — сказал Азазелло и обратился к Варенухе:

— Хамить не надо по телефону, ябедничать не надо, слушаться надо, лгать не надо.

Варенуха просветлел лицом и вдруг исчез, и опять-таки стукнула парадная дверь.

Тогда, управившись наконец со всеми делами, подняли мастера со стула, где он сидел безучастно, накинули на него плащ. Наташа, тоже уже одетая в плащ, взяла чемодан, стали прощаться, выходить и вышли в соседнюю темную комнату. Но тут раздался голос Воланда:

— Вернитесь ко мне, мастер и Маргарита, а остальные подождите там.

И вот перед Воландом, по-прежнему сидящим на кровати, оказались оба, которых он позвал.

Маргарита стояла, уставив на Воланда блестящие, играющие от радости глаза, а мастер, утомленный и потрясенный всем виденным и пережитым, с глазами потухшими, но не безумными. И теперь в шапочке, закутанный в плащ, он казался еще худее, чем был, и нос его заостренный еще более как-то заострился на покрытом черной щетиной лице.

— Маргарита! — сказал Воланд.

Маргарита шевельнулась.

— Маргарита! — повторил Воланд, — вы довольны тем, что получили?

— Довольна, и ничего больше не хочу! — ответила Маргарита твердо.

Воланд приказал ей:

— Выйдите на минуту и оставьте меня с ним наедине.

Когда Маргарита, тихо ступая туфлями из лепестков, ушла, Воланд спросил:

— Ну, а вы?

Мастер ответил глухо:

— А мне ничего и не надо больше, кроме нее.

— Позвольте, — возразил Воланд, — так нельзя. А мечтания, вдохновение? Великие планы? Новые работы?

Мастер ответил так:

— Никаких мечтаний у меня нет, как нет и планов. Я ничего не ищу больше от этой жизни и ничто меня в ней не интересует. Я ее презираю. Она права, — он кивнул на Маргариту, — мне нужно уйти в подвал. Мне скучно на улице, они меня сломали, я хочу в подвал.

— А чем же вы будете жить? Ведь вы будете нищенствовать?

— Охотно, — ответил мастер.

— Хорошо. Теперь я вас попрошу выйти, а она пусть войдет ко мне.

И Маргарита была теперь наедине с Воландом.

— Иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать судьбу, — начал Воланд, — вам предоставлялись широкие возможности, Маргарита Николаевна! Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?

Маргарита испугалась и заговорила горячо:

— Я все сделала так, как хочет он... Я шепнула ему все самое соблазнительное... и он отказался...

— Слепая женщина! — сурово сказал Воланд, — я прекрасно знаю то, о чем вы шептали ему. Но это не самое соблазнительное. Ну, во всяком случае, что сделано, то сделано. Претензий вы ко мне не имеете?

— О, что вы! Что вы?

— Так возьмите же это на память, — и Воланд подал Маргарите два темных платиновых кольца — мужское и женское.

— Прощайте, — тихо шепнула Маргарита.

— До свидания, — ответил Воланд, и Маргарита вышла.

В передней провожали все, кроме Воланда. На площадку вышли Маргарита и мастер, Наташа с чемоданом и Азазелло.

Маргарита сделала знак Азазелло глазами «там, мол, агент»... Азазелло мрачно усмехнулся и кивнул «ладно, мол».

Шелковые плащи зашумели, компания тронулась вниз. Тут Азазелло дунул в воздух, и, когда проходили мимо окна, на следующей площадке лестницы, Маргарита увидела, что человека в сапогах там нету.

Тут что-то стукнуло на полу, никто не обратил на это внимания, спустились к выходной двери, возле которой опять-таки никого не оказалось. У крыльца стояла темная закрытая машина с потушенными фарами...

## ПОГРЕБЕНИЕ

Громадный город исчез в кипящей мгле. Пропали висячие мосты у храма, ипподром, дворцы, как будто их и не было на свете.

Но время от времени, когда огонь зарождался и трепетал в небе, обрушившемся на Ершалаим и пожравшем его, вдруг из хаоса грозового светопреставления вырастала на холме многоярусная как бы снежная глыба храма с золотой чешуйчатой головой. Но пламя исчезало в дымном черном брюхе, и храм уходил в бездну. И грохот катастрофы сопровождал его уход.

При втором трепетании пламени вылетал из бездны противостоящий храму на другом холме дворец Ирода Великого, *и страшные безглазые золотые статуи простирали к черному вареву руки*. И опять прятался огонь, и тяжкие удары загоняли золотых идолов в тьму.

*Гроза переходила в ураган.* У самой колоннады в саду переломило, как трость, гранатовое дерево. Вместе с водяной пылью на балкон под колонны забрасывало сорванные розы и листья, мелкие сучья деревьев и песок.

В это время под колоннами находился только один человек. Этот человек был прокуратор.

Он сидел в том самом кресле, в котором вел утром допрос. Рядом с креслом стоял низкий стол и на нем кувшин с вином, чаша и блюдо с куском хлеба. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки другого разбитого кувшина.

Слуга, подававший красное вино прокуратору еще

при солнце до бури, растерялся под его взглядом, чем-то не угодил, и прокуратор разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь? Разве ты что-нибудь украл?

Слуга кинулся было подбирать осколки, но прокуратор махнул ему рукою, и тот убежал.

Теперь он, подав другой кувшин, прятался возле ниши, где помещалась статуя нагой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время боясь и пропустить момент, когда его позовут.

Сидящий в грозовом полумраке прокуратор наливал вино в чашу, пил долгими глотками, иногда притрагивался к хлебу, крошил его, заедал вино маленькими кусочками.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривает сам с собою. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными от последних бессонниц и вина глазами выражает нетерпение, что он ждет чего-то, подставляя лицо летящей водяной пыли.

Прошло некоторое время, и пелена воды стала редеть, яростный ураган ослабевал и не с такою силою ломал ветви в саду. Удары грома, блистание становились реже, над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая туча. Грозу сносило к Мертвому морю.

Теперь уже можно было расслышать отдельно и шум низвергающейся по желобам и прямо по ступеням воды с лестницы, по которой утром прокуратор спускался на площадь. И наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело, в серой пелене неба появились синие окна.

Тут вдали, прорываясь сквозь стук уже слабенького дождика, донеслось до слуха прокуратора стрекотание сотен копыт. Прокуратор шевельнулся, оживился. Это *ала,* возвращаясь с Голгофы, проходила там внизу за стеною сада по направлению *к крепости Антония.*

И наконец он услышал и долгожданные шаги, шлепание ног на лестнице, ведущей к площадке сада перед

балконом. Прокуратор вытянул шею, глаза его выражали радость.

Показалась сперва голова в капюшоне, а затем и весь человек, совершенно мокрый в прилипающем к телу плаще. Это был тот самый, что сидел во время казни на трехногом табурете.

Пройдя, не разбирая луж, по площадке сада, человек в капюшоне вступил на мозаичный пол и, подняв руку, сказал приятным высоким голосом:

— Прокуратору желаю здравствовать и радоваться.

— Боги! — воскликнул Пилат по-гречески, — да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? Прошу вас немедленно ко мне. Переоденьтесь!

Пришедший откинул капюшон, обнаружив мокрую с прилипшими ко лбу волосами голову, и, вежливо поклонившись, стал отказываться переодеться, уверяя, что небольшой дождик не может ему ничем повредить.

Но Пилат и слушать не захотел. Хлопнув в ладоши, он вызвал прячущихся слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а также накрыть стол.

Немного времени понадобилось пришельцу, чтобы в помещении прокуратора привести себя в порядок, высушить волосы, переодеться, и вскорости он вышел в колоннаду в сухих сандалиях, в сухом военном плаще, с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи, золотившие ступени балкона. Фонтан ожил и пел замысловато, голуби выбрались на песок, гулькали, расхаживали, что-то клюя. Красная лужа была затерта, черепки убраны, стол был накрыт.

— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат, указывая на другое кресло.

Пришедший сел, слуга налил в чашу густое красное вино. Пока пришедший пил и ел, Пилат, смакуя вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя.

Гость был человеком средних лет, с очень приятным округлым лицом, гладко выбритым, с мясистым носом. Основное, что определяло это лицо, это, пожа-

луй, выражение добродушия, нарушаемое, в известной степени, глазами. Маленькие глаза пришельца были прикрыты немного странными, как будто припухшими веками. Пришедший любил держать свои веки опущенными, и в узких щелочках светилось лукавство. Пришелец имел манеру во время разговора внезапно приоткрывать веки пошире и взглядывать на собеседника в упор, как бы с целью быстро разглядеть какой-то малозаметный прыщик на лице.

После этого веки опять опускались, оставались щелочки, в которых и светились лукавство, ум, добродушие.

Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением съел кусок мяса, отведал вареных овощей.

Похвалил вино:

— Превосходная лоза. *Фалерно?*

— *Цекуба,* тридцатилетнее, — любезно отозвался хозяин.

После этого гость объявил, что сыт. Пилат не стал настаивать. Африканец наполнил чаши, прокуратор поднялся, и то же сделал его гость.

Оба они отлили немного вина из своих чаш, и прокуратор сказал громко:

— За нас, за тебя, Кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!

После этого допили вино, и африканцы вмиг убрали чуть тронутые яства со стола. Жестом прокуратор показал, что слуги более не нужны, и колоннада опустела.

Хозяин и гость остались одни.

— Итак, — заговорил Пилат негромко, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?

Он невольно обратил взор в ту сторону, где за террасой сада видна была часть плоских крыш громадного города, заливавшегося последними лучами солнца.

Гость, ставший после еды еще благодушнее, чем до нее, ответил ласково:

— Я полагаю, прокуратор, что настроение в этом городе теперь хорошее.

— Так что можно ручаться, что никакие беспорядки не угрожают более?

— Ручаться можно, — проговорил гость, с удо-

вольствием поглядывая на голубей, — лишь за одно в мире — мощь великого кесаря...

— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — сейчас же продолжил Пилат, — и всеобщий мир. Да, а как вы полагаете, можно ли увести теперь войска?

— Я полагаю, что *когорта Громоносного легиона* может уйти, — ответил гость и прибавил: — Хорошо бы, если бы еще завтра она продефилировала по городу.

— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и, *клянусь пиром двенадцати богов, ларами клянусь,* я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.

— О, помилуйте, — светски улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более беспокойного места на всей земле! Маги, чародеи, волшебники, фанатики, богомольцы... И каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем кровопролития. Тасовать войска все время, читать доносы и ябеды, из которых половина на тебя самого. Согласитесь, что это скучно!

— Праздники, — снисходительно отозвался гость.

— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат, — и я получил бы возможность уехать в Кесарию. А оттуда мне нужно ехать с докладом к наместнику. Да, кстати, этот проклятый Вар-Равван вас не тревожит?

Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору. Но тот глядел скучающими глазами вдаль, брезгливо созерцая край города, лежащий у его ног и угасающий перед вечером. И взгляд гостя угас, и веки опустились.

— Я думаю, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки улыбки появились на круглом лице, — ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, изображая улыбку.

— Прокуратор как всегда тонко понимает вопрос, — ответил гость, — он стал притчей во языцех.

— Но во всяком случае... — озабоченно заметил

прокуратор, и тонкий длинный палец с черным камнем в перстне поднялся вверх.

— О, прокуратор может быть уверен, что в Иудее Вар не сделает шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я спокоен, — ответил прокуратор, — как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.

— Прокуратор слишком добр.

— А теперь прошу сделать мне доклад о казни, — сказал прокуратор.

— Что именно интересует прокуратора?

— Не было ли попыток выражать возмущение ею, попыток прорваться к столбам?

— Никаких, — ответил гость.

— Очень хорошо, очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?

— Конечно. Прокуратор может быть уверен в этом.

— Скажите. Напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. *Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить.*

— Кто именно? — спросил Пилат, дернув щекой.

— Простите, игемон! — воскликнул гость, — я не назвал? — Га-Ноцри.

— Безумец! — горько и жалостливо сказал Пилат, гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, — умирать от ожогов солнца, с пылающей головой... Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — закрыв глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он не сказал, игемон.

— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственно, что он сказал, — это что *в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.*

— К чему это было сказано? — услышал гость треснувший внезапно голос.

— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он улыбался растерянной улыбкой и все пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих.

— Больше ничего? — спросил хриплый голос.

— Больше ничего.

Прокуратор стукнул чашей, наливая гостю и себе вина.

После того как чаши были осушены, он заговорил.

— Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, никто не может.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот, предположим, — продолжал прокуратор, — что кто-нибудь из тайных его последователей овладеет его телом и похоронит. Нет сомнений, это создаст возле его могилы род трибуны, с которой, конечно, польются какие-либо нежелательные речи.

Эта могила станет источником нелепых слухов. В этом краю, где каждую минуту ожидают мессию, где головы темны и суеверны, подобное явление нежелательно. Я слишком хорошо знаю этот чудесный край!

Поэтому я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех и похоронить их так, чтобы о них не было ни слуху ни духу.

Я думаю, что какой-нибудь грот в совершенно пустынной местности пригоден для этой цели. Вам это виднее, впрочем.

— Слушаю, игемон, — отозвался гость и встал, говоря, — ввиду сложности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, сядьте, — сказал Пилат, — есть еще два вопроса. Второй: ваши громадные заслуги, ваша исполнительность и точность на труднейшей работе в Иудее заставляют меня доложить о вас в Риме. О том же я сообщу и наместнику Сирии. Я не сомневаюсь в том, что вы получите повышение или награду.

Гость встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю долг императорской службы.

— Но я хотел просить вас, если вам предложат

перевод отсюда, отказаться от него и остаться здесь. Мне не хотелось бы расстаться с вами. Пусть наградят вас каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Итак, третий вопрос, — продолжал прокуратор, — касается он этого, как его... Иуды из Кериафа.

Гость послал прокуратору свой взгляд и как всегда убрал его.

— Говорят, что он, — понизив голос, говорил прокуратор, — что он деньги получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.

— Получит, — негромко ответил гость.

— А велика ли сумма?

— Этого никто знать не может, игемон.

— Даже вы? — изумлением своим выражая комплимент, сказал игемон.

— Даже я, — спокойно ответил гость, — но что он получит деньги сегодня вечером, это я знаю.

— Ах, жадный старик, — улыбаясь заметил прокуратор, — ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, — ответил гость, — но на сей раз ошибся. Это молодой человек.

— Скажите. У него большая будущность, вне сомнений.

— О, да.

— Характеристику его можете мне дать?

— Трудно знать всех в этом громадном городе.

— А все-таки?

— Очень красив.

— А еще. *Страсть имеет ли какую-нибудь?*

— *Влюблен.*

— Так, так, так. Итак, вот в чем дело: я получил сведения, что его зарежут этой ночью.

Тут гость открыл глаза и не метнул взгляд, а задержал его на лице прокуратора.

— Я не достоин лестного доклада прокуратора обо мне, — тихо сказал гость, — у меня этих сведений нет.

— Вы — достойны, — ответил прокуратор, — но это так.

— Осмелюсь спросить — от кого эти сведения?

— Разрешите мне покуда этого не говорить, — ответил прокуратор, — тем более что сведения эти слу-

чайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все, увы, такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало.

Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенных поступком этого человека из Кериафа, сговариваются его убить, а деньги его подбросить первосвященнику с запиской: «Иуда возвращает проклятые деньги».

Три раза метал свой взор гость на прокуратора, но тот встретил его, не дрогнув.

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? — спросил прокуратор, нервно потирая руки.

— Не только неприятно, — почему-то улыбнувшись прокуратору, сказал гость, — но это будет скандал.

— Да, да! И вот, я прошу вас заняться этим делом, — сказал прокуратор, — то есть принять все меры к охране Иуды из Кериафа. *Иудейская власть и их церковники, как видите, навязали нам неприятное дело об оскорблении величества,* а мы — римская администрация — обязаны еще за это заботиться об охране какого-то негодяя! — голос прокуратора выражал скуку и в то же время возмущение, а гость не спускал с него своих закрытых глаз.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил он, — но я должен успокоить игемона; замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только: выследить его, зарезать, да еще узнать сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каиафе! Да еще в одну ночь!

— И тем не менее его зарежут сегодня! — упрямо повторил Пилат, — зарежут этого негодяя! Зарежут!

Судорога прошла по лицу прокуратора, и опять он потер руки.

— Слушаю, слушаю, — покорно сказал гость, не желая более волновать прокуратора, и вдруг встал, выпрямился и спросил сурово:

— Так зарежут, игемон?

— Да! — ответил Пилат, — и вся надежда только на вас и вашу изумительную исполнительность.

Гость обернулся, как будто искал глазами чего-то в

кресле, но не найдя, сказал задумчиво, поправляя перед уходом тяжелый пояс с ножом под плащом:

— Я не представляю, игемон, самого главного: где злодеи возьмут деньги. Убийство человека, игемон, — улыбнувшись, пояснил гость, — влечет за собою расходы.

— Ну, уж это чего бы ни стоило! — сказал прокуратор, скалясь, — нам до этого дела нет.

— Слушаю, — ответил гость, — имею честь...

— Да! — вскричал Пилат негромко, — ах, я совсем и забыл! Ведь я вам должен!..

Гость изумился:

— Помилуйте, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну, как же нет! При въезде моем в Ершалаим толпа нищих... помните... я хотел швырнуть им деньги... у меня не было... я взял у вас...

— Право, не помню. Это какая-нибудь безделица...

— И о безделице надлежит помнить!

Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на третьем кресле, вынул из-под него небольшой кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая и пряча его под плащ.

— Слушайте, — заговорил Пилат, — я жду доклада о погребении, а также и по делу Иуды из Кериафа сегодня же ночью, слышите, сегодня! Я буду здесь, на балконе. Мне не хочется идти внутрь, ненавижу это пышное сооружение Ирода! Я дал приказ конвою будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас!

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — молвил гость и, повернувшись, вышел из-под колоннады, захрустел по мокрому песку. Фигура его вырисовывалась четко на фоне линяющего к вечеру неба. Потом пропала за колонной.

Лишь только гость покинул прокуратора, тот резко изменился. Он как будто на глазах постарел и сгорбился, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал отброшенный его рукою плащ. В надвигающихся сумерках, вероятно, прокуратору померещилось, что кто-то третий сидел и сидит в кресле.

В малодушии пошевелив плащ, прокуратор забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу,

хватаясь за чашу, то останавливаясь и глядя страдальчески в мозаику, как будто стараясь прочитать в ней какие-то письмена. На него обрушилась тоска, второй раз за сегодняшний день. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое воспоминание, прокуратор старался понять, в чем причина его мучений. Он понял это быстро, но старался обмануть себя. Он понял, что сегодня что-то было безвозвратно упущено и теперь он, это упустивший, какими-то мелкими и ничтожными действиями старается совершенное исправить, внушая себе, что действия эти большие и не менее важные, чем утренний приговор. Но они не были серьезными действиями, увы, он это понимал.

На одном из поворотов он остановился круто и свистнул, и прислушался. На этот свист в ответ послышался грозный низкий лай и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти, в ошейнике с золочеными бляшками.

— Банга... Банга... — слабо крикнул прокуратор.

Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил его на пол, хотел лизнуть в губы, но прокуратор уклонился от этого и опустился в кресло. Банга, высунув язык, часто дыша, улегся у ног своего хозяина, и в глазах у пса выражалась радость от того, во-первых, что кончилась гроза, которой пес не любил и боялся, и от того, что он опять тут, рядом с этим человеком, которого любил, уважал и считал самым главным, могучим в мире повелителем, благодаря которому и себя считал существом высшим.

Но, улегшись и поглядев в вечереющий сад, пес сразу понял, что с хозяином его случилась беда. Поэтому он переменил позу, подошел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, *вымазав пóлы палюдаментума* мокрым песком. Вероятно, это должно было означать, что он готов встретить несчастье вместе со своим хозяином. Это он пытался выразить и в глазах, скошенных к хозяину, и в насторожившихся, навостренных ушах.

Так оба они, и пес и человек, и встретили вечер на балконе.

В это время гость, покинувший прокуратора, находился в больших хлопотах. Покинув балкон, он отпра-

вился туда, где помещались многочисленные подсобные службы великого дворца и где была расквартирована часть когорты, пришедшей в Ершалаим вместе с прокуратором, а также та, не входящая в состав ее, команда, непосредственно подчиненная гостю.

Через четверть часа примерно пятнадцать человек в серых плащах верхом выехали из задних черных ворот дворцовой стены, а за ними тронулись легионные дроги, запряженные парой лошадей. Дроги были загружены какими-то инструментами, прикрытыми рогожей. Эти дроги и конный взвод выехали на пыльную дорогу за Ершалаимом и под стенами его с угловыми башнями направились на север к Лысой Горе.

Гость же, через некоторое время переодетый в старенький невоенный плащ, верхом выехал из других ворот дворца Ирода и поехал к крепости Антония, где квартировали вспомогательные войска. Там он пробыл некоторое, очень незначительное время, а затем след его обнаружился *в Нижнем Городе,* в кривых его и путаных улицах, куда он пришел уже пешком.

Придя в ту улицу, где помещались несколько греческих лавок, он подошел к той из них, где торговали коврами. Лавка была уже заперта. Гость прокуратора вошел в калитку, повернул за угол и у терраски, увитой плющом, негромко позвал:

— Низа!

На зов этот на террасе появилась молодая женщина без покрывала. Увидев, кто пришел, она приветливо заулыбалась, закивала. Радость на ее красивом лице была неподдельна.

— Ты одна? — по-гречески негромко спросил Афраний.

— Одна, — шепнула она, — муж уехал. Дома только я и служанка.

Она сделала жест, означающий «входите». Афраний оглянулся и потом вступил на каменные ступени. И он и женщина скрылись внутри.

Афраний пробыл у этой женщины недолго, не более пяти минут. Он вышел на террасу, спустил пониже капюшон на глаза и вышел на улицу.

Сумерки надвигались неумолимо быстро. Предпраздничная толчея была велика, и Афраний потерялся среди снующих прохожих, и дальнейший путь его неизвестен.

Женщина же, Низа, оставшись одна, стала спешить, переодеваться, искать покрывало. Она была взволнована, светильника не зажгла.

В несколько минут она была готова, и послышался ее голос:

— Если меня спросят, скажи, что я ушла в гости к Энанте. — Ее сандалии застучали по камням дворика, старая служанка закрыла дверь на террасу.

В это же время из домика в другом переулке Нижнего Города вышел молодой чернобородый человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом голубом таллифе с кисточками внизу, в новых сандалиях.

Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спеша к дворцу Каиафы, помещавшемуся недалеко от храма.

Его и видели входящим во двор этого дворца, в котором пробыл недолгое время.

Посетив дворец, в котором уже стали загораться светильники, молодой человек вышел еще бодрее, еще радостнее, чем раньше, и заспешил в Нижний Город.

На углу ему вдруг пересекла дорогу идущая как бы танцующей походкой легкая женщина в черном, в покрывале, скрывающем глаза. Женщина откинула покрывало, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не замедлила легкого шага.

Молодой человек вздрогнул, остановился, но тотчас бросился вслед женщине. Нагнав ее, он в волнении сказал:

— Низа!

Женщина повернулась, прищурилась, холодно улыбнулась и молвила по-гречески:

— А это ты, Иуда? А я тебя не узнала...

Иуда, волнуясь, спросил шепотом, чтобы не слышали прохожие:

— Куда ты идешь, Низа?

Голос его дрожал.

— А зачем тебе это знать? — спросила Низа, отворачиваясь.

Сердце Иуды сжалось, и он ответил робко:

— Я хотел зайти к тебе...

— Нет, — ответила Низа, — скучно мне в городе. У вас праздник, а мне что делать? Сидеть и слушать,

как ты вздыхаешь? Нет. И я ухожу за город слушать соловьев.

— Одна? — шепнул Иуда.

— Конечно, одна.

— Позволь мне сопровождать тебя, — задохнувшись, сказал Иуда.

Сердце его прыгнуло, и мысли помутились.

Низа ничего не ответила и ускорила шаг.

— Что же ты молчишь, Низа? — спросил Иуда, равняя по ней свой шаг.

— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и обернулась к Иуде.

В сумерках глаза ее сверкнули, и мысли Иуды совсем смешались.

— Ну, хорошо, — вдруг смягчилась Низа, — иди. Но только отойди от меня и следуй сзади. Я не хочу, чтобы про меня сказали, что видели меня с любовником.

— Хорошо, хорошо, — зашептал Иуда, — но только скажи, куда мы идем.

Тогда Низа приблизилась к нему и прошептала:

— *В масличное имение, в Гефсиманию за Кедрон...* Иди к масличному жому, а оттуда к гроту. Отделись, отделись от меня и не теряй меня из виду.

И она заспешила вперед, а Иуда, делая вид, что идет один, что он сам по себе, пошел медленнее.

Теперь он не видел окружающего. Прохожие спешили домой, праздник уже входил в город, в воздухе слышалась взволнованная речь. По мостовой гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Мимо мелькали окна, и в них зажигались огни.

Иуда не заметил, как пролетела мимо крепости Антония. Конный патруль с факелом, обливавший тревожным светом тротуары, проскакал мимо, не привлекши внимания Иуды.

Он летел вперед, и сердце его билось. Он напрягался в одном желании не потерять черной легкой фигурки, танцующей впереди. Когда он был у городской восточной стены, луна выплыла над Ершалаимом. Народу здесь было мало. Проскакал конный римлянин, проехали двое на ослах. Иуда был за городской стеной.

Дорогу над стеною заливала луна. Воздух после душного города был свеж, благоуханен.

Черная фигурка бежала впереди. Иуда видел, как она оставила дорогу под стеной и пошла прямо на Кедронский ручей. Иуда хотел прибавить шагу, но фигурка обернулась и угрожающе махнула рукою.

Тогда Иуда отстал.

Фигурка вступила на камни ручья, где воды было по щиколотку, и перебралась на другую сторону.

Немного погодя то же сделал и Иуда. Вода тихо журчала у него под ногами. Перепрыгивая с камешка на камешек, он вышел на гефсиманский берег. Фигурка скрылась в полуразрушенных воротах имения и пропала.

Иуда прибавил шагу.

Ко всему прибавился одуряющий запах весенней ночи. Благоухающая волна сада накрыла Иуду, лишь только он достиг ограды. Запах мирта и акаций, тюльпанов и орхидей вскружил ему голову.

И он после пустынной дороги, сверкающей в лунном неудержимом сиянии, проскочив за ограду, попал в таинственные тени развесистых, громадных маслин. Дорога вела в гору, и Иуда подымался тяжело дыша, из тьмы попадая в узорчатые лунные ковры. Он увидел на поляне по левую руку от себя темное колесо масличного жома и груду бочек... Нигде не было ни души.

Над ним теперь гремели и заливались соловьи.

Цель его была близка. Он знал, что сейчас он услышит тихий шепот падающей из грота воды. И услыхал его. Теперь цель была близка.

И негромко он крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, перед ним выпрыгнула на дорогу мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло тускло в руке у нее и погасло.

*Как-то сразу Иуда понял, что погиб,* и слабо вскрикнул: «Ах!»

Он бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды. Он отчаянно вскричал:

— Тридцать денариев, тридцать денариев. Вот они! Берите! Но сохраните жизнь!

Передний мгновенно выхватил у него из рук кошель. В то же мгновение сзади него взлетел нож и как молния ударил его под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил вверх. Передний размахнулся и по рукоять всадил кривой нож ему в сердце. Тело Иуды тогда рухнуло наземь.

Передний осторожно, чтобы не замочить в крови сандалий, приблизился к убитому, погрузил кошель в кровь. Тот, что был сзади, торопливо вытащил кусок кожи и веревку.

Третья фигура тогда появилась на дороге. Она была в плаще с капюшоном.

— Всё здесь? — спросил третий.

— Всё, — ответил первый убийца.

— Не медлите, — приказал третий.

Первый и второй торопливо упаковали кошель в кожу, *перекрестили веревкой.* Второй сверток засунул за пазуху, и затем оба устремились из Гефсимании вон. Третий же присел на корточки и глянул в лицо убитому. *В тени оно представилось ему белым как мел и неземной красоты.*

Через несколько секунд на дороге никого не осталось. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Одна нога попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии.

Человек в капюшоне, покинув зарезанного, устремился в чащу и гущу маслин, к гроту и тихо свистнул. От скалы отделилась женщина в черном, и тогда оба побежали из Гефсимании, по тропинкам в сторону, к югу.

Бежавшие удалились из сада, перелезли через ограду там, где вывалились верхние камни кладки, и оказались на берегу Кедрона. Молча они пробежали некоторое время вдоль потока и добрались до двух лошадей и человека на одной из них. Лошади стояли в потоке. Мужчина, став на камень, посадил на лошадь женщину и сам поместился сзади нее. Лошади тогда вышли на ершалаимский берег. Коновод отделился и поскакал вперед вдоль городской стены.

Вторая лошадь со всадником и всадницей была

пущена медленнее и так шла, пока коновод не скрылся. Тогда всадник остановился, спрыгнул, вывернул свой плащ, снял с пояса свой плоский шлем без гребня перьев, надел его. Теперь на лошадь вскочил *человек в хламиде*, с коротким мечом.

Он тронул поводья, и горячая лошадь пошла рысью, потряхивая всадницу, прижимавшуюся к спутнику.

После молчания женщина тихо сказала:

— А он не встанет? А вдруг они плохо сделали?

— *Он встанет*, — ответил круглолицый шлемоносный гость прокуратора, — *когда прозвучит над ним труба Мессии, но не раньше*, — и прибавил: — Перестань дрожать. Хочешь, я тебе дам остальные деньги?

— Нет, нет, — отозвалась женщина, — мне сейчас их некуда деть. Вы передадите их мне завтра.

— Доверяешь? — спросил приятным голосом ее спутник.

Путь был недалек. Лошадь подходила к южным воротам. Тут военный ссадил женщину, пустил лошадь шагом. Так они появились в воротах. Женщина стыдливо закрывала лицо покрывалом, идя рядом с лошадью.

Под аркой ворот танцевало и прыгало пламя факела. Патрульные солдаты из 2-й кентурии второй когорты Громоносного легиона сидели, беседуя, на каменной скамье.

Увидев военного, вскочили; военный махнул им рукою, женщина, опустив голову, старалась проскользнуть как можно скорее. Когда военный со своей спутницей углубился в улицу, солдаты перемигнулись, захохотали, тыча пальцами вслед парочке.

Весь город, по которому двигалась парочка, был полон огней. Всюду горели в окнах светильники, и в теплом воздухе отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия.

*Над городом висела неподвижная полная луна, горевшая ярче светильников.*

Где разделилась пара, неизвестно, но уже через четверть часа женщина стучалась в греческой улице в дверь домика неунывающей вдовы ювелира Энанты. Из открытого окна виден был свет, слышался мужской и женский смех.

— Где же ты была? — спрашивала Энанта, обнимая подругу, — мы уже потеряли терпение.

Низа под строгим секретом шепотом сообщила, что ездила кататься со своим знакомым. Подруги обнимались, хихикали. Энанта сообщила, что в гостях у нее командир манипула, очаровательный красавец.

Гость же прибыл в Антониеву башню и, сдав лошадь, отправился в канцелярию своей службы, предчувствуя, что пасхальная ночь может принести какие-либо случайности.

Он не ошибся. Не позже чем через час по его приезде явились представители храмовой охраны и сделали заявление о том, что какие-то негодяи осквернили дом первосвященника, подбросив во двор его окровавленный пакет с серебряными деньгами.

Гостю пришлось поехать с ними и на месте произвести расследование. Точно, пакет был подброшен. Храмовая полиция волновалась, требовала розыска, высказывала предположение, что кого-то убили, а убив, уже нанесли оскорбление духовной власти.

С последним предположением гость согласился, обещая беспощадный поиск начать немедленно с рассветом. Тут же пытался добиться сведений о том, не были ли выплачены какие-либо деньги представителями духовной власти кому-либо, что облегчило бы нахождение следа. Но получил ответ, что никакие деньги никому не выплачивались. Взяв с собою пакет с вещественным доказательством, пакет, запечатанный двумя печатями — полиции храма и его собственной, гость прокуратора уехал в Антониеву башню, чтобы там дожидаться возвращения отряда, которому было поручено погребение тел трех казненных. Он знал, что ему предстоит бессонная и полная хлопот ночь в городе, где как светляки горели мириады светильников, где совершалось волнующее торжество праздничной трапезы.

Дворец Ирода не принимал участия в этом торжестве. Во второстепенных его покоях, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты, пришедшей с прокуратором в Ершалаим, светились огни, было какое-то движение и жизнь, передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец — прокуратор, вся она со своими колоннадами как ослепла под ярчайшей луной.

В ней была тишина, мрак внутри и насторожившееся отчаяние.

Прокуратор бодрствовал до полуночи, все ждал прихода Афрания, но того не было. Постель прокуратору приготовили на том же балконе, где он вел допрос, где обедал, и он лег, но сон не шел. Луна висела оголенная слева и высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Около полуночи сон сжалился над ним; он снял пояс с тяжелым широким ножом, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся на ложе. Банга тотчас поднялся к нему на ложе и лег рядом, голова к голове, и смежил наконец прокуратор глаза. Тогда заснул и пес.

Ложе было в полутьме, но от ступеней крыльца к нему тянулась лунная дорога. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он тронулся по этой дороге и пошел прямо вверх и к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на светящейся голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Конечно, сегодняшняя казнь оказалась чистым недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший невероятно смешные вещи, вроде того что все люди добры, шел рядом, значит, был жив. И конечно, совершенно ужасно было бы даже подумать, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия по лестнице луны ввысь!

Времени свободного сколько угодно, а гроза будет только к вечеру и трусость один из самых страшных пороков. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Ведь не трусил же ты в Долине Дев, когда германцы едва не загрызли Крысобоя-великана! Но помилуйте меня, философ! Неужели вы допускаете мысль, что из-за вас погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

«Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат. — Конечно, погубит, на все пойдет, чтобы спасти от

казни ни в чем, решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!»

«Мы теперь вместе всегда», — говорил ему во сне бродячий оборванный философ, неизвестно откуда взявшийся.

Раз я, то, значит, и ты! Помянут меня, помянут и тебя! Тебя, сына короля-звездочета и дочери мельника красавицы Пилы!

«Помяни, помяни меня, сына короля-звездочета», — просил во сне Пилат. И, заручившись кивком идущего рядом бедняка из Эн-Назиры, от радости плакал и смеялся.

Тем ужаснее, да, тем ужаснее было пробуждение прокуратора. Он услышал рычание Банги, и лунная дорога под ним провалилась. Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что казнь была! Он больными глазами искал луну. Он нашел ее: она немного отошла в сторону и побледнела. Но резкий неприятный свет играл на балконе, жег глаза прокуратора. В руках у Крысобоя-кентуриона пылал и коптил факел, кентурион со страхом косился на опасную собаку, не лежащую теперь, а приготовившуюся к прыжку.

— Не трогать, Банга, — сказал прокуратор и охрипшего голоса своего не узнал.

Он заслонился от пламени и сказал:

— И ночью, и при луне мне нет покоя. Плохая у вас должность, Марк. Солдат вы калечите...

Марк взглянул на прокуратора удивленно, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, он добавил:

— Не обижайтесь, Марк, у меня еще хуже... Что вам надо?

— К вам начальник тайной службы, — сказал Марк.

— Зовите, зовите, — хрипло сказал прокуратор, садясь.

На колоннах заиграло пламя, застучали *калиги* кентуриона по мозаике. Он вышел в сад.

— И при луне мне нет покоя, — скрипнув зубами, сказал сам себе прокуратор.

Тут на балконе появился Афраний.

— Банга, не трогать, — тихо молвил прокуратор и прочистил голос.

Афраний, прежде чем начать говорить, оглянулся по своему обыкновению и, убедившись, что, кроме Банги, которого прокуратор держал за ошейник, лишних нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кериафа. Его зарезали.

Четыре глаза в ночной полутьме глядели на Афрания, собачьи и волчьи.

— Как было? — жадно спросил Пилат.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови мешок с двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами Иуды подбросили убийцы в дом первосвященника, — спокойно объяснял Афраний, — кровь на этом мешке Иуды.

— Сколько там? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.

— Тридцать денариев.

Прокуратор рассмеялся, потом спросил:

— А где убитый?

— Этого я не знаю, — ответил Афраний, — утром будем его искать.

Прокуратор вздрогнул, глянул на пришедшего.

— Но вы,наверное, знаете, что он убит?

На это прокуратор получил сухой ответ:

— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу *еще при Валерии Грате*. И мне не обязательно видеть труп, чтобы сказать, что человек убит. Я официально вам докладываю, что человек, именуемый Иудой из города Кериафа, этою ночью убит.

— Прошу простить, Афраний, — отозвался вежливый Пилат, — я еще не проснулся, оттого и говорю нелепости. И сплю я плохо и вижу лунную дорогу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, Афраний.

— Я собираюсь его искать у масличного жома в Гефсиманском саду.

— Почему именно там?

— Игемон, Иуда убит не в самом Ершалаиме и не далеко от него. Он убит под Ершалаимом.

— Вы замечательный человек. Почему?

— Если бы его убили в самом городе, мы уже знали бы об этом, и тело уже было бы обнаружено. Если бы его убили вдалеке от города, пакет с деньгами не мог быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его выманили за город.

— Каким образом?

— Это и есть самый трудный вопрос, прокуратор, — сказал Афраний, — и даже я не знаю, удастся ли его разрешить.

— Да, — сказал Пилат во тьме, ловя лицо Афрания, — это действительно загадочно. Человек в праздничный вечер уходит неизвестно зачем за город и там погибает. Чем, как и кто его выманил?

— Очень трудно, прокуратор...

— Не сделала ли это женщина? — вдруг сказал прокуратор и поверх головы Афрания послал взгляд на луну.

А Афраний послал взгляд прокуратору и сказал веско:

— Ни в каком случае, прокуратор. Это совершенно исключено. Более того скажу: такая версия может только сбить со следу, мешать следствию, путать меня.

— Так, так, так, — отозвался Пилат, — я ведь только высказал предположение...

— Это предположение, увы, ошибочно, прокуратор. Единственно, что в мире может выманить Иуду, это деньги...

— Ага... но какие же деньги, кто и зачем станет платить ночью за городом?

— Нет, прокуратор, не так. У меня есть другое предположение, и пожалуй, единственное. Он хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.

— Ага... ага... это, вероятно, правильно. Еще: кто мог убить его?

— Да это тоже сложно. Здесь возможно лишь одно объяснение. Очевидно, как вы и предполагали, у него были тайные поклонники. Они и решили отомстить Каиафе за смертный приговор.

— Так. Ну, что же теперь делать?

— Я буду искать убийцу, а меня тем временем вам надлежит отдать под суд.

— За что, Афраний?

— Моя охрана упустила его в Акре.

— Как это могло случиться?

— Не постигаю. Охрана взяла его в наблюдение немедленно после нашего разговора с вами. Но он ухитрился на дороге сделать странную петлю и ушел.

— Так. Я не считаю нужным отдавать вас под суд, Афраний. Вы сделали все, что могли, и больше вас никто не мог бы сделать. Взыщите с сыщика, потерявшего его. Хотя и тут я не считаю нужным быть особенно строгим. В этой каше и путанице Ершалаима можно потерять верблюда, а не то что человека.

— Слушаю, прокуратор.

— Да, Афраний... Мне пришло в голову вот что: *не покончил ли он сам с собою?*

— Гм... гм, — отозвался в полутьме Афраний, — это, прокуратор, маловероятно.

— А по-моему, ничего невероятного в этом нет. Я лично буду придерживаться этого толкования. Да оно, кстати, и спокойнее всех других. Иуду вы не вернете, а вздувать это дело... Я не возражал бы даже, если бы это толкование распространилось бы в народе.

— Слушаю, прокуратор.

Особенно резких изменений не произошло ни в небе, ни в луне, но чувствовалось, что полночь далеко позади и дело идет к утру. Собеседники лучше различали друг друга, но это происходило оттого, что они присмотрелись.

Прокуратор попросил Афрания поиски производить без шума и ликвидировать дело, и прежде всего погребение Иуды, как можно скорее.

А затем он спросил, сделано что-либо для погребения трех казненных.

— Они погребены, прокуратор.

— О, Афраний! Нет, не под суд вас надо отдавать, нет! Вы достойны наивысшей награды! Расскажите подробности.

Афраний начал рассказывать. В то время как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи достигла Голгофы еще засветло. И не обнаружила одного тела.

Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

Афраний продолжал повествовать. Тела Дисмаса и Гестаса, с выклеванными уже хищными птицами глазами, подняли и бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили очень скоро. Некий человек...

— Левий Матвей, — тихо, не вопросительно, а както горько, утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Голгофы, дожидаясь тьмы. Голое тело убитого Иешуа было с ним. Когда стража вошла в пещеру, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал, что не совершил никакого преступления, что всякий по закону имеет право похоронить казненного преступника, если желает. Что он не желает расставаться с этим телом. Он говорил бессвязно, о чем-то просил и даже угрожал и проклинал...

— Меня, — сказал тихо Пилат, — ах, я не предвидел... Неужели его схватили за это?

— Нет, прокуратор, нет, — как-то протяжно и мягко ответил Афраний, — дерзкому безумцу объяснили, что тело будет погребено.

Левий Матвей, услыхав, что речь идет об этом, поутих, но заявил, что он не уйдет и желает участвовать в погребении. Что его могут убить, но он не уйдет, и предлагал даже для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет.

Что-то вроде улыбки в полутьме мелькнуло на лице Афрания.

Левию Матвею было разрешено участвовать в погребении. Тут Афраний скромно сказал, что не знал, как поступить, и что если он сделал ошибку, допустив к участию этого Левия Матвея, то она поправима. Левий Матвей, свидетель погребения, может быть легко так или иначе устранен.

— Продолжайте, — сказал Пилат, — ошибки не было. И вообще, я начинаю теряться, Афраний. Я имею дело с человеком, который, по-видимому, никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

Левия Матвея взяли на повозку, так же как и тела, и через два часа уже, в сумерках, достигли пустынного

ущелья. Там команда, работая посменно по четыре человека, в течение часа выкопала глубокую яму и похоронила в ней трех казненных.

— Обнаженными?

— Нет, прокуратор. Хитоны были взяты командой. На пальцы я им надел медные кольца. Ешуа с одною нарезкою, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя.

Яма зарыта, завалена камнями. Поручение ваше исполнено.

— Если бы я мог предвидеть... Я хотел бы видеть этого Левия Матвея.

— Он здесь, прокуратор, — ответил Афраний, вставая и кланяясь.

— О, Афраний!..

Пилат поднялся, потер руки, заговорил так:

— Вы свободны, Афраний. Я вам благодарен. Прошу вас принять от меня это, — и он достал из-под плаща, как тогда днем, спрятанный мешок.

— Раздайте награды вашей команде. А лично от меня вот вам на память... — Пилат взял со стола тяжелый перстень и подал его Афранию.

Тот склонился низко, говоря:

— Такая честь, прокуратор...

— Итак, Афраний, — заговорил Пилат, плохо слушая последние слова своего гостя, нервничая почему-то и потирая руки, что, по-видимому, становилось привычкой прокуратора, — вы свободны, я не держу вас. Мне пришлите сюда этого Левия сейчас же. Я поговорю с ним. Мне нужны еще кое-какие подробности дела Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор обернулся, хлопнул в ладоши и вскричал:

— Эй! Кто там? Свету в колоннаду мне! Свету!

Из тьмы у занавеса тотчас выскочили две темные как ночь фигуры, заметались, а затем на столе перед Пилатом появились три светильника.

Лунная ночь отступила с балкона, ее как будто унес с собою уходящий Афраний, а через некоторое время громадное тело Крысобоя заслонило луну.

Вместе с ним на балкон вступил другой человек, маленький и тощий по сравнению с кентурионом.

Кентурион удалился, и прокуратор остался наедине с пришедшим.

Огоньки светильников дрожали, чуть-чуть коптили.

Прокуратор смотрел на пришедшего жадными, немного испуганными глазами, как смотрят на того, о ком слышали много, о ком сами думали и кто наконец появился.

Пришедший был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Он был неприглядeн и скорее всего походил на городского нищего, каких много толпится у террас храма или на базарах Нижнего Города.

Молчание продолжалось долго и нарушилось оно каким-то странным поведением пришельца. Он изменился в лице, шатнулся и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.

— Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опала.

— Что с тобою? Отвечай, — повторил Пилат.

— Я устал, — ответил Левий и поглядел мрачно в пол.

— Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло.

Левий недоверчиво-испуганно поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, поглядел на сиденье и золотые ручки и сел на пол рядом с креслом, поджав ноги.

— Почему не сел в кресло? — спросил Пилат.

— Я грязный, я его запачкаю, — сказал Левий, глядя в землю.

— Ну хорошо, — молвил Пилат и, помолчав, добавил: — Сейчас тебе дадут поесть.

— Я не хочу есть, — ответил Левий.

— Зачем же лгать? — спросил Пилат тихо. — Ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше. Ну, хорошо. Не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты взяли его, когда вводили сюда, — ответил Левий и обнаружил беспокойство. — Мне его надо вернуть хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Нужно было веревки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — позвал прокуратор, и кентурион вступил под колонны.

— Нож его покажите мне.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и, подав его прокуратору, ушел.

— Его вернуть надо, — неприязненно повторил Левий, не глядя на прокуратора.

— Где взял его?

— В хлебной лавке у ворот. Жену хозяина Лией зовут.

Пилат утвердительно кивнул головой и сказал, накладывая руку на лезвие ножа:

— Относительно этого будь спокоен. Нож будет в лавке тотчас же. Теперь второе: покажи хартию, которую ты носишь с собою и в которой записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось.

— Все хотите отнять? И последнее? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — сказал Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порылся за пазухой и вытащил свиток пергамента.

Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать чернильные знаки.

Это продолжалось довольно долго.

Пилат, с трудом разбираясь в корявых знаках, иногда склонялся к пергаменту, морщась, читал написанное рукою бывшего сборщика податей.

Он быстро понял, что записанное представляет несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и обрывки стихов.

Пилат обратился к концу записанного, увидел и разобрал слова:

«Смерти нет...» — поморщился, пошел в самый конец и прочитал слова:

«...чистую реку воды жизни...», *несколько далее... «кристалл».*

Это было последним словом. Пилат свернул пергамент, протянул его Левию со словом:

— Возьми. — Потом, помолчав, заговорил: — Ты книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть

библиотека. Я могу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и сказал:

— Нет, я не хочу.

Пилат спросил:

— Почему? — И сам ответил: — Я тебе неприятен, и ты меня боишься.

Опять улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— *Нет, потому что ты будешь меня бояться.*

Пилат побледнел, но сдержал себя и сказал:

— Возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой.

Тогда прокуратор заговорил так:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было не так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь, — лицо Пилата задергалось, он поднял значительно палец вверх, — непременно взял бы. Ты жесток.

Левий вспыхнувшими глазами посмотрел на Пилата, а тот на коптящие огни.

— Чего-нибудь возьми, — монотонно сказал Пилат, — перед тем как уйти.

Левий молчал.

— Куда пойдешь? — спросил Пилат.

Левий оживился, подошел к столу и, наклонившись к уху Пилата, испытывая наслаждение, прошептал:

— Ты, игемон, знай, что я зарежу человека... Хватай меня сейчас... Казни... Зарежу.

— Меня? — спросил Пилат, глядя на язычок огня.

Левий подумал и ответил тихо:

— Иуду из Кериафа.

Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, усмехнувшись, ответил:

— Не трудись. Иуду этой ночью зарезали уже. Не беспокой себя.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— *Не будь ревнив,* — скалясь ответил Пилат и потер руки, — *ты один, один ученик у него!* Не беспокой себя.

— Кто это сделал? — шепотом спросил клинобородый Левий, наклоняясь к столу.

Пилат приблизил губы к грязному уху Левия и шепнул:

— Я...

Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал тихо:

— Возьми чего-нибудь.

Левий подумал, смягчился и попросил:

— Дай кусочек чистого пергамента.

Прошел час. Левия не было во дворце. Дворец молчал, и тишину ночи, идущей к утру, нарушал только тихий хруст шагов часовых в саду. Луна становилась белой, с края неба с другой стороны было видно беловатое пятнышко утренней звезды.

Светильники погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал, дышал беззвучно. В ногах лежал Банга, спал.

## СТРЕЛЬБА В КВАРТИРЕ

Когда Маргарита прочитала последние слова романа «...пятый прокуратор Иудеи...» и «...конец...», наступало утро. Слышно было, как во дворе на ветвях ветлы и двух лип вели беспокойный, быстрый разговор неунывающие никогда воробьи.

Маргарита поднялась, потянулась и теперь только ощутила, как изломано ее тело, как хочет она спать. Интересно отметить, что душевное хозяйство Маргариты находилось в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно, что видела бал у сатаны, что чудом вернулся мастер к ней, что возник из пепла роман ее любовника, что был изгнан поганец и ябедник Алоизий Могарыч и мастер получил возможность вернуться в свой подвал. Словом, знакомство с Воландом не нанесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.

Она ощутила радость, а тело ее усталость.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит мертвым сном, погасила настольную лампу и сама протянулась на диванчике, покрытом старой простыней. Через минуту она спала, и снов никаких в то утро она не видела.

Подвал молчал, молчал весь маленький домишко застройщика. Тихо было и в переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал почти целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом громаднейшую площадь, которую специальные машины, разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным ночным светом, борющимся со светом восходящего дня.

Там шло следствие, и занято им было немало народу, пожалуй, человек десять в разных кабинетах.

Собственно говоря, следствие началось уже давно, со вчерашнего дня пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии.

Теперь следствие по какому-то странному делу, отдающему совершенно невиданной не то чертовщиной, не то какою-то особенной, с какими-то гипнотическими фокусами уголовщиной, вступило в тот период, когда из разносторонних и путаннейших событий, происшедших в разных местах Москвы, требовалось слепить единый ком и найти связь между событиями. А затем вскрыть сердцевину этого чертова яблока. А также найти, куда, собственно, тянется нить от этой сердцевины.

Не следует думать, что следствие работало мешкотно, этого отнюдь не было.

Первый, кто побывал в светящемся сейчас электричеством этаже, был злосчастный Аркадий Аполлонович Семплеяров, заведующий акустикой. Днем в квартире его, помещающейся у Каменного моста, раздался звонок. Голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича заявила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти не может. Однако подойти ему пришлось. На вопрос супруги, кто спрашивает Аркадия Аполлоновича, голос назвал свою фамилию.

— Сию секунду... сейчас, сию минуту, — пролепетала обычно надменная супруга Аркадия Аполлоновича и как пуля полетела в спальню поднимать супруга с ложа, на котором лежал он, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем вечере.

Правда, не через секунду, но через две минуты

Аркадий Аполлонович в одной туфле на левой ноге, в белье уже был у аппарата, внимательно слушая то, что ему говорят.

Супруга, забывшая на эти мгновения омерзительное преступление супруга против верности, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:

— Туфлю надень!.. Туфлю...

На что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая зверские глаза ей, бормотал в телефон:

— Да, да... Сейчас же выезжаю...

Совершенно понятно, что после первого же разговора с Аркадием Аполлоновичем все в том же этаже учреждения, разговора тягостного, ибо пришлось, увы, правдиво, как на исповеди, рассказывать попутно и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, что, конечно, доставляло Аркадию Аполлоновичу невыразимые мучения...

Само собой разумеется, что сопоставление показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями служащих Варьете, и главным образом курьера Карпова, немедленно проложило дорогу куда надо, именно — в квартиру № 50 по Садовой в доме 302-бис.

И, конечно, следствие ничуть не удовольствовалось сообщениями о том, что в квартире Лиходеева никого нет, равно так же как и всякими сплетнями Аннушки о том, что Груня украла мешок рафинаду.

В квартире № 50 побывали еще раз. И не только побывали, но и осмотрели ее чрезвычайно тщательно, не пропустив даже каминов.

Однако никого не нашли в ней. Собственно говоря, достаточно было семплеяровских показаний, карповский показаний, а также показаний раздетых гражданок, чтобы твердо установить короткий путь от сеанса к некоему артисту Воланду, тут же заняться им и так или иначе его разъяснить. Но дело чрезвычайно осложнилось тем, что не только в квартире № 50, не только вообще где-либо в Москве не обнаруживалось следов пребывания этого Воланда со своим ассистентом и черным котом, но, что хуже, никак не устанавливался самый факт его приезда в Москву!

Решительно нигде он не зарегистрировался, нигде

не предъявлял ни паспорта, ни каких-либо бумаг и никто о нем ничего не слыхал! *Ласточкин* из программного отдела зрелищ клялся и божился, что никакой программы, никакого Воланда он не разрешал и не подписывал и ровно ничего не знает о приезде мага Воланда в Москву. И уж по глазам Ласточкина можно было смело сказать, что он чист как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович — заведующий главным сектором зрелищных площадок...

Кстати, он вернулся в свой костюм так же внезапно, как и выскочил из него. Не успела милиция войти в кабинет, как Прохор Петрович оказался на своем месте за столом к исступленной радости Сусанны Ричардовны, но к недоумению зря потревоженной милиции...

Да, так Прохор Петрович, так же как и Ласточкин, решительно ничего не знал ни о каком Воланде.

Выходило что-то странное: тысячи зрителей, весь состав Варьете, Семплеяров, культурный и интеллигентный человек, видели мага и ассистента и кота, многие пострадали от их фокусов, а следов этого мага, иностранца, никаких в Москве нет!

Оставалось допустить, что он провалился сквозь землю, бежал из Москвы тотчас же после своего отвратительного сеанса или же другое: что он вовсе в Москву не приезжал.

Но если первое, то несомненно, что, исчезая, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то, стало быть, сама администрация, учинив предварительно какую-то пакость, скрылась из Москвы.

Разбитое окно в кабинете, опрокинутое кресло, поведение Тузабубен весьма выразительно свидетельствовало в пользу первого, и все усилия следствия сосредоточились на обнаружении Воланда и его поимке.

Надо отдать справедливость тому, кто вел следствие. *Поплавского* разыскали с исключительной быстротой. Лишь только дали телеграмму в Ленинград, на нее пришел ответ, что Поплавский обнаружен в гостинице «Астория» в № 412, том самом, что рядом с лифтом и в котором серо-голубая мебель с золотом.

Тут же он был арестован и допрошен. Затем в Москву пришла телеграмма, что Поплавский в состоя-

нии полувменяемом, никаких путных ответов не дает, а плачет и просит спрятать его в бронированную комнату и приставить к нему вооруженную охрану. Была послана телеграмма: под охраной доставить финдиректора немедленно в Москву.

В тот же день, но позже был найден и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Владикавказа был получен ответ о том, что Лиходеев был во Владикавказе и что он вылетел на аэроплане в Москву. Такие же точно вопросы о Варенухе пока что результатов не принесли. Известный всей столице администратор как в воду канул.

Тем временем тем лицам, которые вели следствие по этому необыкновенному делу, пришлось принимать и рассматривать все новый и новый материал о необычайных происшествиях в Москве. Тут оказались и поющие служащие, из-за которых пришлось останавливать работу целого учреждения, и временно пропавший Прохор Петрович, и бесчисленные происшествия с денежными бумажками, и таинственные превращения их то в иностранную валюту, то в обрывки газет, путаница, неприятности и аресты, связанные с этим, и многое другое все в этом же и очень неприятном роде.

Самое неприятное, самое скандальное и неразрешимое было, конечно, похищение головы покойного Берлиоза прямо из гроба среди бела дня из грибоедовского зала на бульваре, произведенное с поражающей чистотой и ловкостью. Пришитая к шее голова была отшита и пропала.

По ходу работы следствия, нечего и говорить, ему пришлось побывать и в знаменитой клинике Стравинского за городом, и здесь обнаружен был богатейший материал. К первому явились к злосчастному Жоржу Бенгальскому, но у него получили мало. Несчастный плакал, хватался за шею, волновался, нес бредовые путаные речи. Несомненно было только, что показания его совершенно сходились с показаниями Аркадия Аполлоновича и других: да, было трое, этот Воланд, длинный по кличке Фагот и черный кот.

Конферансье оставили в его комнате, успокоив ласковыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления, и перешли к другим делам в этой же клинике.

Лучший следователь города Москвы, молодой еще человек с приятными манерами, ничуть не похожий на следователя, лишенный роковой проницательности в глазах, в то время как помощник его занимался с Жоржем Бенгальским, пришел к дежурному ординатору и попросил список лиц, поступивших в клинику за последнее время, примерно за неделю.

Он тот же час обратил внимание на Босого Никанора Ивановича, попросил историю его болезни, и второй помощник его проследовал к Никанору Ивановичу. Бездомный Иван Николаевич заинтересовал следователя еще более, чем Никанор Иванович, хоть он и не жил в доме на Садовой и к происшествиям в Варьете не имел никакого отношения.

Рассказы Ивана о консультанте, о Понтии Пилате, записанные в истории болезни, вызвали в следователе самое сугубое внимание, и к Ивану он отправился сам.

Дверь Иванушкиной комнаты отворилась, и в нее вошел упомянутый уже следователь, круглолицый, спокойный и сдержанный блондин. Он увидел лежащего на кровати побледневшего и осунувшегося молодого человека.

Следователь представился, сказал, что зашел на минутку потолковать именно о тех происшествиях, которых свидетелем был Иван позавчера вечером на Патриарших Прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему раньше, в ночь на четверг, скажем, когда Иван исступленно добивался, чтобы его выслушали, чтобы кинулись ловить консультанта!

Да, к нему пришли, его искали и бегать ни за кем не надо было, его слушали, и консультанта явно собирались поймать. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он отвечал на мягкие и вежливые вопросы следователя довольно охотно, но равнодушие чувствовалось во взгляде Ивана, его интонациях. Его не трогала больше судьба Берлиоза.

Иванушка спал перед приходом следователя и видел во сне город странный. С глыбою мрамора, изрезанной колоннадами, с чешуйчатой крышей, горящей на солнце, на противоположном холме террасы дворца с бронзовыми статуями, тонущими в тропической зе-

лени. Он видел идущие под древними стенами римские когорты.

И видел сидящего неподвижно, положив руки на поручни, бритого человека в белой мантии с кровавым подбоем, ненавистно глядящего в пышный сад, потом снимающего руки с поручней, без воды умывающего их.

Нет, не интересовали Ивана Бездомного более ни Патриаршие Пруды, ни происшедшее на них трагическое событие!

Следователь получил богатейший материал. Да, проклятый кот оказался и здесь. Длинный клетчатый также!

— Скажите, Иван Николаевич, а вы сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай? — спросил следователь.

Чуть заметная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:

— Я был далеко.

— А как примерно... в скольких шагах?

Иван поморщился, припоминая, ответил:

— Шагах в сорока...

— Стояли или сидели?

— Сидел.

— А этот клетчатый был возле самого турникета?

— Нет, он сидел на скамеечке, недалеко.

— Хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?

— Помню. Не подходил. Он, развалившись, сидел.

— Разве так хорошо было видно за сорок шагов?

— Хорошо. Фонарь горел на углу Ермолаевского, и вывеска над турникетом.

Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, пожал руку Иванушке, пожелал скорее поправиться, выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет, — тихо ответил Иван, — я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность, что поэт сейчас в состоянии депрессии, но это скоро пройдет.

— Нет, — тихо отозвался Иван, глядя вдаль на гаснущий небосклон, — это не пройдет. Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я дал клятву их более не писать.

— Ну, ну, — усмехнувшись ответил следователь и вышел.

Сомнений более не было. На Патриарших Прудах действовал тот же самый со своим помощником, что и в Варьете. Значит, деятельность его началась еще ранее, чем на скандальном сеансе в Варьете. Деятельность эта, увы, началась с убийства. Следователь не сомневался в том, что Иванушка не повинен в ней. Он не толкал под страшные колеса своего редактора. Возможно, что клетчатый действительно был в некотором отдалении от турникета и физически не способствовал падению на рельсы.

Но, следователь в этом не сомневался, какая-то шайка во главе с сильнейшим гипнотизером, невиданно сильнейшим гипнотизером, внедрилась в Москву и совершила страшные вещи. Берлиоз шел на смерть загипнотизированным.

Все по сути было уже ясно. Теперь оставалось только одно: взять этого Воланда. А вот брать-то было некого! Хоть и было известно, что гнездо Воланда, вне всяких сомнений, в проклятой квартире № 50!

Днем, как нам известно, бывший барон Майгель напросился по телефону на вечер к Воланду. Ему отвечали. Шайка или кто-то входящий в нее был в квартире. Нечего и говорить, что ее навестили (по времени это было тотчас после ухода буфетчика) и ничего в ней не нашли. А между тем по всем комнатам квартиры прошли с шелковой сеткой, проверили все углы.

Под вечер в квартиру № 50 опять звонили, оттуда отвечал козлиный голос. Опять явились и опять — никого!

Тогда поставили наблюдение на лестнице, во дворе, под воротами. Этого мало: у дымохода на крыше была поставлена охрана. В квартиру время от времени звонили, квартиру время от времени навещали. Но всякий раз никого не заставали.

Так тянулось до полуночи. В полночь на лестнице появился барон Майгель в лакированных туфлях, во фраке, сверх которого было накинуто английского материала светлое пальто.

Барона впустили в квартиру и немедленно затем в квартиру без звонка, открыв дверь ключом, вошли и не обнаружили в ней барона.

Шайка явно шутила шутки, волнуя тех, на чьей обязанности было обнаружить Воланда с его приспешниками. Дело получалось невиданное, скверное. Мнения разделялись. Одни находили, что шайка гипнотизирует входящих и, таким образом, они перестают видеть ее, другие — что в квартирке, давно пользующейся омерзительной репутацией, есть тайник, в котором скрываются преступники при первых звуках открываемых дверей. Второе объяснение, как бы ни было оно хорошо, все-таки имело меньше сторонников, чем первое. Тайник-то тайник... Ну а где же он находится? Ведь квартиру-то выстукивали, осматривали так тщательно, что уж тщательнее и невозможно.

Тот лучший следователь, что разговаривал с Иваном, на вопрос о том, как он объясняет исчезновение Майгеля, сквозь зубы пробормотал прямо, что у него нет ни малейших сомнений в том, что барон убит.

Так дело тянулось вечером в пятницу и ночью в субботу, и, как уже сказано, пылал электричеством до белого дня бессонный встревоженный и, признаться, пораженный этаж.

В восемь часов утра на московском аэродроме совершил посадку шестиместный самолет, из которого вышли еще пьяные от качки трое пассажиров. Двое были пассажиры как пассажиры, а третий какой-то странный.

Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, неумытый, с красными глазами, без багажа и одетый причудливо. В папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких туфлях.

Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускаются из кабины, к нему подошли двое граждан, дожидавшихся прилета именно этого аэроплана, и ласково и тихо осведомились:

— Степан Богданович Лиходеев?

Пассажир вздрогнул, глянул отчаянными глазами и зашептал, озираясь, как травленый волк:

— Тсс! Да я... Лиходеев... Прилетел... Немедленно арестуйте меня, но, умоляю, незаметно... Умоляю... И отвезите к следователю...

Просьбу Степана Богдановича дожидавшиеся исполнили с великой охотой, ибо, признаться, за тем и приехали на аэродром.

Через десять минут Степан Богданович уже стоял перед тем самым следователем и внес существенный материал в дело.

После того как Лиходеев закончил свой рассказ о том, как у притолоки в собственной квартире упал в обморок, а после того *очутился на берегу Терека во Владикавказе,* после того как он описал и Воланда, и клетчатого помощника, и страшного говорящего кота, — решительно все уже разъяснилось. Этот Воланд проник в Москву под видом артиста, заключил договор с Варьете и внедрился в квартиру № 50, и с клетчатым негодяем в пенсне, и с котом, и еще с каким-то гнусавым и клыкастым, о котором следователь узнал впервые от Степы.

Материалу, таким образом, добавилось, но легче от этого не стало. Никто не знал, каким образом можно овладеть фокусником, умеющим посылать людей в течение минуты во Владикавказ или в Воронежскую область, исчезать и опять появляться.

Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру с приставленной к ней охраной, а перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Варенуха, несмотря на данное им у Воланда обещание более не лгать, именно со лжи перед следователем и начал. Блуждая глазами, он заявлял, что напился у себя в квартире днем в четверг, после чего куда-то попал, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит. Лишь после того, как ему сурово сказали, что он мешает следствию по особо важному делу и за это может поплатиться, Варенуха разрыдался и зашептал, дрожа и озираясь, что он боится, что молит его куда-нибудь запереть, и непременно в бетонированную камеру.

— Далась им эта бетонированная камера, — проворчал один из ведущих следствие.

— Напугали их сильно эти негодяи, — ответил тихо наш следователь.

Варенуху успокоили как умели, поместили в отдельную, правда не бетонированную, но хорошо охраняемую камеру, а там он сознался, что все налгал, что

никакой старки он не пил и под забором не валялся, а был избит в уборной двумя, одним клыкастым, а другим толстяком...

— Похожим на кота? — спросил мастер-следователь.

— Да, да, да, — зашептал, в ужасе озираясь, Варенуха.

...Что был вовлечен под ливнем в квартиру № 50 на Садовой, что там был расцелован голой рыжей Геллой, после чего упал в обморок, а затем в течение суток примерно состоял в должности вампира и был наводчиком. Что хотела Гелла расцеловать и Поплавского, но того спас крик петуха...

Таким образом, и тайна разбитого окна разъяснилась. Поплавского, которого после снятия с ленинградской стрелы уже вводили в кабинет следователя, можно было, собственно, и не спрашивать ни о чем.

Тем не менее его допросили. Но этот трясущийся от страху седой человек (в «Астории» он прятался в платяном шкафу) оказался на редкость стойким. Он сказал только, что после спектакля, будучи у себя в кабинете, почувствовал себя дурно, в помутнении ума неизвестно зачем уехал в Ленинград и ничего более не знает и не помнит.

Как ни упрашивали его, как ни старались на него повлиять, он не сознавался в том, что к нему Варенуха явился в полночь, что рыжая Гелла пыталась ворваться в кабинет через окно.

Его оставили в покое, тем более что приходилось допрашивать Аннушку, арестованную в то время, так как она пыталась приобрести в универмаге на Арбате пять метров ситцу и десять кило пшеничной муки, предъявив в кассу пятидолларовую бумажку.

Ее рассказ о вылетающих из окна людях и о дальнейшем на лестнице выслушали внимательно.

— Коробка была золотая, действительно? — спросил следователь.

— Мне ли золота не знать, — как-то горделиво ответила Аннушка.

— Но дал-то он тебе червонцы, ты говоришь? — спрашивал следователь, с трудом сдерживая зевоту и морщась от боли в виске (он не спал уже сутки).

— Мне ли червонцев не знать, — ответила Аннушка.

— Но как же они в доллары превратились? — спрашивал следователь, указывая пером на американскую бумажку.

— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела никаких долларов, — визгливо отвечала Аннушка, — мы в своем праве. Нам дали, мы ситец покупаем...

И тут понесла околесину о нечистой силе и о том, что, вот, воровок, которые по целому мешку рафинаду прут у хозяев, тех, небось, не трогают...

Следователь замахал на нее пером и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом пошел Загривов, бухгалтер, затем Николай Иванович, арестованный утром исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей в два часа ночи знать в милицию о том, что муж ее пропал.

Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол дурацкое удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. Не очень большое внимание привлекли и его рассказы о том, как он возил по воздуху на себе голую горничную куда-то на реку купаться, но очень большое — рассказ о самом начале событий, именно о появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, об ее исчезновении. Надо присовокупить к этому, что в рассказе Николай Иванович несколько видоизменил события, ничего не сказав о том, что он вернулся в спальню с сорочкой в руках, о том, что называл Наташу Венерой. По его выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и что он...

— Повинуясь насилию... — рассказывал Николай Иванович и тут же просил ничего не говорить его супруге...

Что ему и было обещано.

За Николаем Ивановичем пошли шоферы, потом служащие, запевшие «славное море» (Стравинскому путем применения подкожных впрыскиваний удалось остановить это пение)...

Так шел день в субботу. В городе в это время возникали и расплывались чудовищные слухи. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после которого выскочили из театра в чем мать родила, что накрыли

типографию фальшивых бумажек в Ваганьковском переулке, что на Садовой завелась нечистая сила, что кот появился, ходит по Москве раздевает, что украли заведующего в секторе развлечений, но что милиция его сейчас же нашла, и многое еще, что даже и повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду, и тогда в кабинете следователя раздался звонок. Он очень оживил вконец измученного следователя, сообщали, что проклятая квартира подала признаки жизни. Именно видели, что в ней открывали окно и что слышались из него звуки патефона.

Около четырех часов дня большая компания мужчин частью в штатском, частью в гимнастерках высадилась из трех машин, не доезжая до дома 302-бис по Садовой, подошла к маленькой двери в одном из крыльев дома, двери, обычно закрытой и даже заколоченной, открыла ее и через ту самую каморку, где отсиживался дядя Берлиоза, вышла на переднюю лестницу и стала подниматься по ней. Одновременно с этим по черному ходу стали подниматься еще пять человек.

В это время Коровьев и Азазелло сидели в столовой ювелиршиной квартиры, доканчивая завтрак. Воланд по своему обыкновению находился в спальне, а кот и Гелла неизвестно где. Но, судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот развлекался там, валяя дурака по обыкновению.

— А что это за шаги такие внизу на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил коньяку. Он не любил кофе.

— А?.. Ну-ну, — отозвался Коровьев.

Идущие тем временем были уже на площадке третьего этажа. Там двое возились с ключами возле парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительными взглядами.

— Все, кажется, дома, — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молоточком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул маузер из-за пазухи гимнастерки, а шедший рядом с ним — отмычки.

Вообще шедшие были снаряжены очень хорошо. У двух из них в карманах были тонкие, легко развертывающиеся сети (на предмет кота), у одного аркан, еще у одного под пальто марлевые маски и ампулы с хлороформом. У всех, кроме этого, маузеры.

Вслед за человеком, вынувшим маузер, и другими с отмычками поднимался следователь и другие, а замыкал шествие знаменитый гипнотизер Фаррах-Адэ, человек с золотыми зубами и горящими экстатическими глазами. Он был бледен и, видимо, волновался. Все остальные шли без всякого волнения, стараясь не стучать, и молча.

Поднимаясь из третьего в четвертый этаж, Фаррах вынул из кармана зеленую стеклянную палочку, поднял ее вертикально перед собою, возвел взор сквозь пролет лестницы вверх. Цель его заключалась в том, чтобы загипнотизировать жильцов квартиры № 50 и лишить их возможности сопротивляться. Немножко задержались на площадке, чтобы Фаррах успел сосредоточиться. Затем он отступил, а вооруженные устремились к дверям. Двери открыли в две секунды, и все один за другим вбежали в переднюю, а затем рассыпались по всей квартире. Хлопнувшие где-то двери показали, что вошла и группа с черного хода через кухню.

На этот раз удача была налицо. Ни в одной из комнат никого не оказалось, как не было никого ни в ванной, ни в кухне, ни в уборной, но зато в гостиной на каминной полке рядом с разбитыми часами сидел громадный черный кот. Он держал в лапах примус.

В молчании вошедшие созерцали кота в течение нескольких секунд.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, сказал кот, — и еще предупреждаю, что кот неприкосновенное животное.

— Да, неприкосновенное, но тем не менее, дорогой говорящий кот... — начал кто-то.

— Живым, — шепнул кто-то.

Взвилась шелковая сеть, и бросающий ее промахнулся. Захваченные сетью часы с громом и звоном рухнули на пол.

— Ремиз! — крикнул кот, еще громче вскричал: — ура! — и выхватил, отставив примус, из-за спины браунинг. Он мигом навел его на первого стоящего, но

в этот момент в руке у того полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом кот шлепнулся вниз головой с каминной полки наземь, уронив браунинг и сбросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О, мой друг Азазелло! — сказал кот, истекая кровью, — где ты? — тут кот зарыдал, — ты не пришел мне на помощь... Завещаю тебе мой браунинг... — тут кот прижал к груди примус.

— Сеть, сеть, — беспокойно шепнул кто-то...

Шевельнулись... Сеть зацепилась у кого-то в кармане, не полезла. Тот побледнел...

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — заговорил кот, — это глоток бензина... — И не успели присутствующие мигнуть, как кот приложился к круглому отверстию примуса и напился бензину. Тотчас перестала струиться кровь из-под верхней левой лопатки кота. Он вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним на камин, оттуда полез, раздирая обои, по стене и через секунду оказался высоко в тылу вошедших сидящим на металлическом карнизе.

Жульнически выздоровевший кот поместился высоко на карнизе и примус поставил на него. Пришедшие метнулись. Но они были решительны и сообразительны. Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни кот, ни примус не свалились вниз. Каким-то чудом кот ухитрился не расстаться с примусом, махнуть по воздуху и перескочить на люстру, висящую в центре комнаты.

— Стремянку! — крикнули внизу, — сеть!

Стекляшки посыпались вниз на пришедших.

— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и опять в лапах у него оказался браунинг. Он прицелился и, летая над головами как маятник, открыл по ним стрельбу.

Вмиг квартира загремела. Полетели хрустальные осколки из люстры, треснуло зеркало в камине, взвилась из штукатурки пыль, звездами покрылись стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уже не могло быть и речи о том,

чтобы взять кота живым, и пришедшие бешено били из маузеров в наглую морду летающему коту, в живот, в грудь, в спину.

Грохот стрельбы из квартиры вызвал сумятицу на асфальте во дворе. Люди кинулись бежать в подворотню и в подъезды.

Но стрельба длилась недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что стало ясно, что ни коту, ни пришедшим она не причиняет никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен, и кот остался совершенно невредим. Один из пришедших, чтобы проверить это, приложился и обстрелял кота накрест в лапы задние и передние и в заключение в голову. Кот в ответ, сменив обойму, выпустил ее в стрелявшего, и ни на кого ни малейшего впечатления это не произвело. Кот покачивался на люстре, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании пришедших лица изменились. Вся их задача заключалась лишь в том, чтобы скрыть свое совершенно законное недоумение: это был единственный, пожалуй, в истории человечества случай, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Ни в одной гимнастерке не было дырочки, ни на ком ни единой царапины. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать, и, конечно, ясно стало, что первая рана кота была не чем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензину.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Швырнули аркан, зацепились за одну из ветвей люстры, дернули и сорвали ее. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих обдало осколками, и двоим поранило руки, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на карнизе каминного в золотой раме зеркала. Можно было не спешить. Кот никуда не собирался удирать, а наоборот, сидя на зеркале, повел речь:

— Я протестую, — заговорил он сурово, — против такого обращения со мной...

Но тут раздался тяжелый низкий голос неизвестно откуда:

— Что происходит в квартире?

Другой голос, гнусавый и неприятный, отозвался:
— Ну, конечно, Бегемот...
И третий, дребезжащий:
— Мессир! Суббота, солнце склоняется... Нам пора.
Тут кот размахнулся браунингом и швырнул его в окно, и оба стекла обрушились в нем.
— До свидания, — сказал кот и плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, взбросив жаркую волну до самого потолка.
Загорелось как-то необыкновенно и сильно. Сейчас же задымились обои, вспыхнула сорванная гардина на полу, начали тлеть рамы в разбитом окне. Кот спружинился, перемахнул с карниза зеркала на подоконник и скрылся вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице, уходящей на крышу, на уровне окон ювелирши, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, а оттуда к водосточной угловой трубе дома, построенного покоем.
На крыше также безрезультатно в него стреляла охрана у дымохода. Кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город.
В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами и в пламени на том месте, где валялся кот, симулируя тяжкое ранение, из воздуха сгустился труп барона Майгеля с задранным кверху подбородком, со стеклянными глазами.
Вытащить его уже не было возможности. Прыгая по горящим шашкам паркета, хлюпая ладонями по дымящимся гимнастеркам, бывшие в гостиной выбежали в кабинет, оттуда в переднюю.
Те, что были в столовой и спальне, спаслись через коридор. Кто-то успел набрать номер пожарной части в передней, коротко крикнул:
— Садовая, 302-бис!
Гостиная горела, дым, пламя выбивало в кабинет и переднюю. Из разбитого окна повалил дым.
Во дворе и в квартирах слышались отчаянные человеческие вопли:
— Пожар! Горим!
В пламени из столовой в гостиную прошли к окну трое мужчин. Первый рослый темный в плаще, второй

клетчатый, третий прихрамывающий и одна нагая женщина. Они появились поочередно на подоконнике, были обстреляны и растаяли в воздухе.

Воланд, нанявший у Никанора Ивановича квартиру в четверг, в субботу на закате покинул ее вместе со своей свитой.



# КОММЕНТАРИИ

# ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР

## Никогда не разговаривайте с неизвестными

Стр. 25. *Никогда не разговаривайте с неизвестными...* — это более позднее название главы, сначала она имела другое название — «Первые жертвы». Перемена в названии, видимо, связана с нежеланием автора «с порога» раскрывать основную идею романа.

Интересные сведения о выборе *Патриарших прудов* как начального места действия в романе находим в воспоминаниях Елены Сергеевны Булгаковой. В феврале 1961 года она писала своему брату: «На днях будет еще один 32-летний юбилей — день моего знакомства с Мишей. Это было на масляной, у одних общих знакомых... Словом, мы встречались каждый день и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в девять часов. Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону... Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова... Под Оленькино ворчанье я оделась... и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко, Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молчание...»

*...Михаил Александрович Берлиоз...* — В настоящей и в других редакциях этот герой романа именуется также Мир-

цевым, Крицким, Цыганским... Михаилом Яковлевичем, Антоном Антоновичем, Антоном Мироновичем, Владимиром Антоновичем, Владимиром Мироновичем, Марком Антоновичем, Борисом Петровичем, Григорием Александровичем... При доработке последней редакции Булгаков даже пытался именовать этого героя... Чайковским... Но все-таки самое первое наименование героя — Берлиоз — оказалось и самым прочным: в последние месяцы жизни писатель вернулся вновь к нему. Безусловно, не случайно совпадение фамилии героя романа с фамилией композитора Гектора Берлиоза. Последний прославился своей «Фантастической симфонией», в которой тема адского шабаша раскрыта с исключительной выразительностью.

Высказывается множество предположений относительно прототипа этого героя. Следует заметить, что таковых слишком много, ибо в те времена «богоборцы» в сфере культуры доминировали. Можно лишь назвать наиболее «выдающихся» представителей из этой когорты, которые были помечены Булгаковым в его «списке врагов». Это — Авербах Л. Л., Блюм В. И., Кольцов М. Е.

Зловещий образ Берлиоза незначительно изменялся в процессе работы над романом.

*...Всемиописа...* — Писательское объединение именуется в романе и всемирным, и всесоюзным, и московским... Сокращения его также разнообразны: Всемиопис, Вседрупис, Миолит, Массолит...

*...Иван Николаевич Попов... под псевдонимом Бездомный.* — Он же — Безродный, Беспризорный, Покинутый, Понырев, Тешкин... Собирательный образ, хотя в первых редакциях романа явно просматриваются черты Демьяна Бедного. (См.: Н. Кузякина. Михаил Булгаков и Демьян Бедный. В сб.: М. А. Булгаков — драматург и художественная культура его времени. М., 1988, с. 392—410.)

*...В Цыганские Грузины...* — район Большой и Малой Грузинских улиц.

Стр. 27. *...большую антирелигиозную поэму...* — Антирелигиозная пропаганда, которая велась средствами массовой информации в 20-е гг., вызывала у Булгакова чувство негодования и брезгливости к ее инициаторам и исполнителям. Можно себе представить, какое чувство вызвало у Булгакова появление в печати весной 1925 года («Правда», апрель—май)

«Нового завета без изъяна евангелиста Демьяна». Иисус Христос в этом опусе Бедного предстал человеком от рождения неполноценным, наделенным многими пороками. А заканчивался он так:

Точное суждение о Новом завете:
Иисуса Христа никогда не было на свете.
Так что некому было умирать и воскресать,
Не о ком было Евангелия писать.

Несомненно, «Евангелие от Демьяна» послужило, в ряду прочих причин, толчком к написанию романа о дьяволе. И, видимо, не без удовольствия Булгаков записал в своем дневнике «информацию» о придворном поэте: «...Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал: «Моя мать была блядь...»

Мысли Булгакова о Демьяне Бедном перекликались с мыслями Сергея Есенина, который в «Послании «евангелисту» Демьяну Бедному» писал:

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало...
Разбойник был, Иуда был,
Тебя лишь только не хватало...

Ты сгустки крови у Креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

Стр. 28. *И тут-то в аллею и вышел человек.* — В одном из черновых набросков главы «Консультант с копытом» Воланд появляется на Патриарших прудах после следующей реплики Иванушки:

« — В самом деле, если бог вездесущ, то, спрашивается, зачем Моисею понадобилось на гору лезть, чтобы с ним беседовать? Превосходнейшим образом он мог с ним и внизу поговорить!»

Далее следовало:

«В это время и показался в аллее гражданин. Откуда он вышел? В этом-то весь и вопрос. Но и я на него ответить не могу...»

Стр. 32. *...Аннушка уже купила постное масло...* — Прототипом легендарной Аннушки, многократно встречающейся в

произведениях Булгакова, послужила соседка Булгаковых, проживавшая с ними в доме на Садовой улице. Видимо, обитателям квартиры она доставляла много неприятных минут, потому и надолго запомнилась писателю. Упоминается она и в его дневнике. Так, 29 октября 1923 года Булгаков записал: «Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру».

*...мания фурибунда... — неистовая, яростная мания (лат.).*

Стр. 35. *...я с ним лично встречался...* — В следующей рукописной редакции: «— Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Был на балконе у Понтия Пилата и на лифостротоне, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что, пожалуйста, — никому ни слова и полнейший секрет!»

*...у Понтия Пилата...* — Пятый римский прокуратор, управлявший Иудеей с 26 по 36 г. н. э. По Евангелиям и апокрифам, был вынужден против своей воли дать согласие на казнь Иисуса Христа. В коптских и эфиопских святцах 25 июня значится как день св. Понтия Пилата.

Стр. 36. *...поверьте мне, что дьявол существует...* — В следующей рукописной редакции после этих слов: «Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство!»

## Погоня

Стр. 40. *...к Ермолаевскому переулку...* — Ермолаевский переулок в 1961 г. был переименован в ул. Жолтовского.

Стр. 43. *...в Савеловском переулке...* — С 1922 г. переулок стал называться Савельевским.

*Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть...* — Один из самых близких друзей Булгакова — Николай Николаевич Лямин (1892—1941), филолог, жил в Савеловском пер. в доме № 12, в большой коммунальной квартире. Эту квартиру Булгаков прекрасно знал, поскольку здесь он читал друзьям почти все свои произведения: «Белую гвардию», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Кабалу святош».

К Лямину Булгаков многие годы ходил играть в шахматы.

Боря — вероятно, Борис Валентинович Шапошников (1890—1956), художник, познакомился с Булгаковым у Лямина в 1925 году и с тех пор дружил с писателем многие годы.

Стр. 44. *Тогда Иван решил свечку присвоить...* — В следующей рукописной редакции:

«Через секунду он был уже в кухне. Там никого не было. В окно светил фонарь и луна. На необъятной плите стояли примусы и керосинки. Иван понял, что преступник ушел на черный ход.

Он сел, чтобы отдышаться, на табурет, и тут ему особенно ясно стало, что, пожалуй, обыкновенным способом такого, как этот иностранец, не поймаешь.

Сообразив это, он решил вооружиться свечечкой и иконкой. Пришло это ему в голову потому, что фонарь осветил как раз тот угол, где висела забытая в пыли и паутине икона в окладе, из-за которой высовывались концы двух венчальных свечей, расписанные золотыми колечками. Под большой иконой помещалась маленькая бумажная, изображающая Христа. Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку, нашарил замок в двери и вышел на черный ход, оттуда в огромный двор, и опять в переулок.

Новая особенность теперь появилась у Ивана Николаевича: он начал соображать необыкновенно быстро. Так, например, выйдя в переулок и видя, что беглеца нету, Иван тотчас же вскричал: «А! Стало быть, он на Москве-реке! Вперед!» Хотя почему на Москве-реке, стало быть, нужно было бы спросить у Ивана? Спросить, однако, было некому, тротуары были пустынны, и Иван побежал по лабиринту переулков и тупиков, стремясь к реке».

Стр. 46. *...оставлена была лишь стеариновая свеча.* — В следующей рукописной редакции: «Из вещей, принадлежащих Ивану, некурящий похититель оставил лишь свечу, иконку и спички».

*В Кремль, вот куда!* — В следующей рукописной редакции: « — К Грибоедову, вот куда, — хрипло сказал Иван, — убежден, что он там! — и тронулся дальше».

## Дело было в Грибоедове

Стр. 46. *...в так называемом доме Грибоедова...* — Имеется в виду Дом Герцена (Тверской бул., 25). До 1933 г. в нем размещались Всероссийский Союз писателей и различные литературные организации, затем — Литературный институт им. А. М. Горького.

*Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью.* — Видимо, Булгакову доставляло удовольствие поиздеваться над писательским цехом. В черновых тетрадях писателя сохранился небольшой отрывок на эту тему из главы, которая была уничтожена:

«— Дант?! Да что же это такое, товарищи дорогие?! Кто? Дант! Ка-ккая Дант! Товарищи! Безобразие! Мы не допустим!

Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог.

В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых исступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая...

Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.

— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот. — Я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тридцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет, не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире. И я! Я! Не попала в список! Товарищи!

Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.

— Я! И кто же? Кто? Дант. Учившаяся на зубоврачебных курсах. Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых. Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!

И тут такое случилось, чего не бывало ни на одном собрании никогда. Товарищ Караулина, детская писательница, закусив кисть правой руки, на коей сверкало обручальное кольцо, завалилась набок и покатилась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы.

Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул:

— Вон из списка!

— Вон! Вон! — загремел зал так страшно, что у председателя застыла в жилах кровь.

— Вон! В Гепеу этот список! — взмыл тенор.

— В Эркаи!

Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. И он же облил Караулиной кофточку, пытаясь ее напоить.

— Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла.

— Организованно, — продолжал голос.

Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в седьмом ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет.

— Товарищ председатель, — играя змеиными переливами, заговорил бузотер, — не откажите информировать собрание: к какой писательской организации принадлежит гражданка Беатриче Григорьевна Дант? Р-раз. Какие произведения написала упомянутая Дант? Два. Где означенные произведения напечатаны? Три. И каким образом она попала в список?

«Говорил я Перштейну, что этому сукиному сыну надо дать комнату», — тоскливо подумал председатель.

Вслух же спросил бодро:

— Все? — и неизвестно зачем позвонил в колокольчик.

— Товарищ Беатриче Григорьевна Дант, — продолжал он, — долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова.

Зал ответил на это сатанинским хохотом.

— Товарищи! — продолжал председатель, — будьте же сознательны! — Он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что те его предали.

— Покажите хоть эту Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться!

— Вот она, — глухо сказал председатель и ткнул пальцем в воздух.

И тут многие встали и увидели в первом ряду необыкновенной красоты женщину. Змеиные косы были уложены корзинкой на царственной голове. Профиль у нее был античный, так же как и фас. Цвет кожи был смертельно бледный. Глаза были открыты, как черные цветы. Платье — кисейное желтое. Руки ее дрожали.

— Товарищ Дант, товарищи, — говорил председатель, — входит в одно из прямых колен известного писателя Данте, и тут же подумал: «Господи, что же это я отмочил такое?!»

Вой, грохот потряс зал. Что-нибудь разобрать было трудно, кроме того, что Данте не Григорий, какие-то мерзости про колено и один вопль:

— Издевательство!

И крик:

— В Италию!!

— Товарищи! — закричал председатель, когда волна откатилась. — Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье!

— Вон!

— Товарищи! — кричал председатель безумно. — Будьте благоразумны. Она — беременна!

И почувствовал, что и сам утонул, и Беатриче утопил.

Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так странен, что на несколько мгновений зал закоченел с открытыми ртами. Но только на мгновения.

А затем — вой звериный:

— В родильный дом!

Тогда председатель понял, что не миновать открыть козырную карту.

— Товарищи! — вскричал он. — Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию.

— Вот как! — прокричал кто-то...»

Стр. 47. *И часы эти показали...* — В этом месте вырван лист. В следующей рукописной редакции далее следовало:

«Сильнее закурили. Кто-то зевал. Человек во френче и фрачных брюках рассказал, чтобы развлечь публику, анекдот, начинающийся словами: «Приходит Карл Радек в кабинет к...». Анекдоту посмеялись, но в границах приличия, ибо анекдот был несколько вольного содержания. Один лишь

Бескудников даже не ухмыльнулся и глядел в окно такими отсутствующими глазами, что нельзя было поручиться, рассказал он этот анекдот или нет.

Рассказы про Радека, как известно, заразительны, и маленький подвижный скетчист Ахилл рассказал, в свою очередь, о другом каком-то приключении Радека, но происшедшем уже не в кабинете, а на вокзале. Однако этому рассказу посмеялись уж совсем мало и тут же начали звонить по телефону».

Карл Радек принадлежал к тому ряду лиц (Троцкий, Ягода и прочие), к которым Булгаков испытывал особое чувство ненависти и презрения. Кроме того, Радек участвовал в травле писателя. Это хорошо видно из воспоминаний В.С. Ардова, который писал: «Роман («Белая гвардия») был встречен несправедливой бранью... Особенно усердствовал в осуждении «Дней Турбиных» театральный критик В.И. Блюм. Он занимал должность начальника отдела драматических театров Реперткома. По его протесту и обрушились на спектакль критики и начальники разных рангов. Театр апеллировал в ЦК партии.

Помню, я был в зале МХАТ на том закрытом спектакле, когда специальная комиссия, выделенная ЦК, смотрела «Дни Турбиных». Помню, как в антракте Карл Радек — член этой комиссии — говорил кому-то из своих друзей, делая неправильные ударения почти во всяком слове — так говорят по-русски уроженцы Галиции:

— Я счи́таю, что це́нзура пра́ва!»

Стр. 48. *Писательский ресторан...* — О писательском ресторане написано много злых слов (достаточно вспомнить стихотворение В. В. Маяковского «Дом Герцена»). Мы же приведем фрагмент из пародии сатирика Арго (А.М. Гольденберг) «Сон Татьяны» («Вечерняя Москва», 30 декабря 1928 г.). Эта пародия была вырезана Булгаковым из газеты и подклеена в специальный альбом. Вот эти строки:

Татьяна дух перевела
И — делать нечего — вошла.
Опомнилась, глядит Татьяна
Медведя нет — она в сенях.
За дверью крик и треск стакана,
«Как на больших похоронах» <...>
И перед взорами Татьяны,
Как будто по команде «пли»

Литературные смутьяны
Предстали. Соль родной земли
Рассыпана по коридорам;
Здесь на ходу летучий кворум,
Там кто-то сочинил романс, —
Тут кто-то требует аванс, —
Одни едят, другие платят,
(Внизу — в подвальном кабаке)
Иной с бумажкою в руке
Чистосердечно плагиатит
Чужое скудное вранье —
Но все кричат:
«Мое, мое!»
Ну что ни рожа — то спасибо —
Посмотришь — так бросает в пот...

Стр. 49. *...кто-то спел «Аллилуйя»...* — Фокстрот «Аллилуйя!» был написан американским композитором Винсентом Юмансом как кощунственная пародия на христианское богослужение. Не случайно Булгаков заставил эту музыку звучать в самый разгар «сатанинского» веселья.

## Степа Лиходеев

Стр. 51. *Степа Бомбеев был красным директором...* — В последующих редакциях слово «красный» было Булгаковым изъято, фамилия Бомбеев изменена на Лиходеева.

Стр. 52. *...опять-таки ночью, и увезли с собой и Де-Фужере, и Анфису...* — В следующей рукописной редакции:

«Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил и машина никакая не выезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре. Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно она звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась четырнадцать лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила, все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду — опять-таки постный день — Анна Францевна вышла

из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, ненужное Анне Францевне, и не вернулась».

В этом эпизоде легко просматриваются реальные события из жизни Булгакова — майско-июньские 1934 года, когда писателем было подано «прошение о двухмесячной заграничной поездке» вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой. В данном тексте есть, на наш взгляд, одно важное место, которое раскрывает одну из главных причин стремления Булгакова побывать в Париже. В 1934 году исполнилось 14 лет, как Булгаков последний раз видел своих младших братьев — Николая и Ивана, совсем еще юнцами попавших в Добровольческую армию и вместе с ее частями прошедших весь путь отступления и эмиграции. После труднейших испытаний обосновались в Париже, не имея ни малейшей возможности для встречи с родными. Мысли об их судьбе, пока не были получены известия от них, наверное, были тревожны и мучительны, а желание увидеть — огромно. Многократные попытки Булгакова «прорвать блокаду» были безуспешны...

Стр. 56. *Доктор Воланд...* — Исследователи-булгаковеды полагают, что имя «Воланд» взято Булгаковым из «Вальпургиевой ночи» Гёте (из возгласа Мефистофеля: «Junker Voland commt»). Но у Булгакова Воланд не «слуга великого Люцифера», каковым является Мефистофель, но сам Люцифер, занимающий самую высокую ступень в иерархии сил ада. Некоторые исследователи считают, что образ Воланда закодирован Булгаковым дважды: первый раз — «еврейско-сатанинским» кодом, второй раз — западноевропейским, «фаустовским», носящим откровенно маскировочный характер (М. Золотоносов. «Сатана в нестерпимом блеске...» — Литературное обозрение, 1991, № 5, с. 107).

*...специалист по белой магии...* — В следующей рукописной редакции: « — Профессор черной магии Фаланд, — представился он...»

Стр. 61. *Это — город Владикавказ.* — Во Владикавказе Степа оказался не случайно. В жизни Булгакова этот город сыграл особую роль: здесь он оказался после разгрома белогвардейских частей на Кубани и Северном Кавказе, здесь он провалялся несколько месяцев в тяжелом тифу, здесь началась его литературная и театральная деятельность. И позже, живя в Москве, Булгаков навещал этот город —

слишком многое с ним было связано. И тем более не случайно название горы — Столовая. «Столовая гора» — так назывался роман Ю. Слезкина (1922, другое название — «Девушка с гор»). Булгаков познакомился с Ю. Л. Слезкиным, к тому времени уже довольно известным писателем, в 1920 году, во Владикавказе, еще при белых. Затем, при советской власти, они сотрудничали в подотделе искусств. В романе «Столовая гора» Слезкин не только отразил владикавказские события, но и вывел Булгакова в образе писателя Алексея Васильевича.

## Волшебные деньги

Стр. 62. *Вы кто такой будете.* — В следующей рукописной редакции: «Вы лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — воскликнул задушевно неизвестный гражданин, — что такое «официальный» и «неофициальный»! Все это условно и зыбко, все зависит от того, с какой точки зрения смотреть...»

Стр. 63. *...скажем... Коровьев.* — О происхождении имени этого героя написано очень много, но к единому мнению исследователи так и не пришли. Заслуживает внимания точка зрения И. Кузякиной. Она пишет: «Должно быть, номера «Безбожника» за 1925 год неоднократно шокировали Булгакова. Первый номер назывался «Безбожник. Коровий». И редакция объясняла: «Журнал наш — журнал крестьянский. Прежде всего хотим, чтоб был он для крестьян полезен и интересен... Поэтому и пишем мы в этом номере «Безбожника» и о коровьем здоровье, и о том, как знахари и попы людей морочат и скот губят...» И вполне можно предположить, что потрясение Булгакова «коровьим» «Безбожником» отразилось впоследствии в фамилии Фагот-Коровьев». (Указ. соч., с. 406).

Фагот — помимо названия музыкального инструмента означает также на французском языке «нелепость», а на итальянском — «неуклюжий человек». Булгаков его еще называет гаером, шутом и т.д.

Некоторые исследователи предполагают, что в образе Коровьева-Фагота мог быть запечатлен и Данте Алигьери, который в начале 34-й песни «Ада» (первый стих) использовал текст католического «Гимна кресту» («Vexilla regis prodeunt», т.е. «Близятся знамена владыки»), но добавил к

нему одно слово — inferni (ада), и в результате этой «шутки» получилось как бы издевательство над церковным гимном. Булгаков, прекрасно знавший творчество Данте, не мог не заметить, как он «пошутил», а также реакцию на это богословов. (См.: А. Маргулов. «Товарищ Дант и бывший регент». — Литературное обозрение, 1991, № 5, с. 70—74.)

Стр. 66. *Алло! Говорит секретарь Жакта...* — В следующей рукописной редакции:

«Переводчик отправился в переднюю, навертел номер и начал говорить почему-то плаксиво:

— Алё? Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома № 302-бис по Садовой... спекулирует валютой... Говорит жилец означенного дома в квартире № 11 Тимофей Кондратьевич Перелыгин. Но заклинаю держать в тайне имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку, подлец.

— Этот вульгарный человек больше не придет, мессир, клянусь в том вашими золотыми шпорами, — доложил Коровьев или регент, или черт знает кто такой, подойдя к дверям спальни.

— Дорогой Фагот, — ответили из спальни, — но при чем же здесь Перелыгин? Не причинил бы ты ему хлопот?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — ответил Фагот этот, или Коровьев, — эти хлопоты будут ему чрезвычайно полезны. Тоже негодяй. У него есть манера подсматривать в замочную скважину.

— А, — ответили из спальни...»

*Идем завтракать, Азазелло...* — Азазел — у древних евреев дух пустыни. В Талмуде Азазел — падший ангел, у некоторых христианских сект — имя сатаны, у мусульман — злого духа. В некоторых ранних редакциях Булгаков этим именем называл Воланда, а затем дал это имя другому персонажу — Фиелло. В рабочей тетради писателя записано: «Азазел — демон безводных мест».

*...Прокопа Ивановича.* — Он же Никанор Иванович, Никифор Иванович Босой.

## Белая магия и ее разоблачение

Стр. 78. *...семья Риббп...* — В последующих редакциях семья Джулли. Возможно, прототипом послужила семья

циркачей-велофигуристов Подрезковых, выступавших под псевдонимом Польди.

Стр. 81. *Это был конферансье Мелузи.* — Он же Мелунчи, Чембукчи, Жорж Бенгальский.

*...знаменитый немецкий маг Воланд.* — В рукописной редакции под названием «Князь тьмы»: «...знаменитый иностранный маг герр Фаланд».

*Скажи мне, рыцарь...* — В более поздних редакциях Воланд обращается к своему ассистенту — «любезный Фагот».

Стр. 87. *Милосердие еще не вовсе вытравлено из их сердец...* — В последующих редакциях Булгаков несколько смягчает «резюме» Воланда о «московском народонаселении». Приведем варианты этой реплики Воланда.

« — Ну что же, все в порядке, — тихо проговорил замаскированный, — узнаю их! И алчны, и легкомысленны, но милосердие все-таки стучится в их сердце...»

« — Ну что ж, — задумчиво и тихо отозвался тот, — я считаю твои опыты интересными. По-моему, они люди, как люди. Любят деньги, что всегда, впрочем, отличало человечество...»

Стр. 88. *Будьте покойны...* — Далее текст уничтожен.

## Поцелуй Внучаты

Стр. 90. *Поцелуй Внучаты.* — В последующих редакциях: «Бойтесь возвращающихся», «Слава петуху!». Внучата — он же Варенуха.

*Человеческая рука повернула выключатель...* — Во второй полной рукописной редакции (1937 г.) глава «Слава петуху!» начиналась так:

«В то время как вдали за городом гость рассказывал поэту свою несчастную повесть, Григорий Данилович Римский находился в ужаснейшем настроении духа.

Представление, если, конечно, представлением можно назвать все безобразие, которое совершилось в театре Варьете, только что закончилось, и две с половиной тысячи народу вытекали из узких выходов здания в великом возбуждении.

Созерцать почтенного Аркадия Аполлоновича с громаднейшей шишкой на лбу, присутствовать при неприятном скандальном протоколе, слушать глупые вопли супруги Ар-

кадия Аполлоновича и дерзкой его племянницы было настолько страшно и мучительно, что Григорий Данилович бежал в свой кабинет.

Дело было, натурально, не в одном избиении Семплеярова, представляющем лишь звено в цепи пакостей сегодняшнего дня и вечера. Римский прекрасно соображал, что завтра придется отчитываться по поводу совершенно невероятного спектакля, учиненного в Варьете страннейшей группой артистов.

Первая мысль Римского была, естественно, о том, насколько он сам защищен в этом вопросе. Внешне, казалось бы, достаточно. Заведующий программами в отделе театральных площадок Ласточкин утвердил программу, афиша была проверена и надлежащим образом подписана; наконец, приглашал этого Воланда все тот же проклятый Степа, бич и мучение театра. Все это было так, но тем не менее то ярость, то ужас поражали душу финдиректора. Он был опытным человеком и понимал превосходно, что завтра, не позже, ему придется расхлебывать жуткое месиво, несмотря на то, что по форме все было соблюдено как следует.

И говорящий на человеческом языке кот был далеко не самым страшным во всем этом! Чего стоило исчезновение Лиходеева, затем исчезновение Варенухи! Боже мой! А переодевание публики на сцене, а денежные бумажки? А драка на галерке? Семплеяров, лица милиции, дикое и никем не разоблаченное оторвание головы у конферансье, которого пришлось отправить в психиатрическую лечебницу! Что же это такое? Но это далеко не все. Римский сам видел, как публика расходилась с этими червонцами в руках. Они и на пороге здания ничуть не превращались в дым или еще во что бы то ни было! Фокус этот можно было считать переходящим всякие границы дозволенного. А ну как публика начнет испытывать... Римский побледнел.

А что он мог сделать? Войдите в его положение! Прервать представление? Как? Каким способом? А завтра что будет? Боже мой! Завтра!

Финдиректор хорошо знал театральное дело. Он знал, что эти две с половиной тысячи человек сегодня же ночью распустят по всей Москве такие рассказы о сегодняшнем небывалом представлении, что... ужас, ужас!

И завтра с десяти утра, нет, не с десяти, а с восьми... да, черт возьми, с шести! на Садовой к кассе Варьете станет в очередь две тысячи человек, да не две, а пять тысяч! Он сам

видел, как возбужденные люди барабанили кулаками в закрытое окно кассы, как они спрашивали у дурацки-растерянно улыбающихся капельдинеров, в котором часу завтра откроется касса. Он сам, пробираясь в кипящей толпе расходящихся к своему кабинету, видел уже четырех барышников, которые как коршуны прилетели к ночи в театр, узнав о том, что в нем творится. И даже если представить себе, что все, собственно, благополучно и представление завтра состоится, то первое и основное, что должен он сделать, это сейчас же связаться с милицией...»

Стр. 93. *Пришлю к тебе гонца, — сказала дальняя женщина, — берегись, Римский, чтобы он не поцеловал тебя!* — В другом варианте этой же редакции:

«Голос женский хриплый развратный и веселый ответил директору:

— С каким наслаждением, о Римский, я поцеловала бы тебя в твои тонкие и бледные уста! Пусть мой гонец передаст тебе этот поцелуй!»

В следующей редакции:

«Тихий и в одно время и вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубке:

— Не звони, Римский, худо будет».

Стр. 96. *...Барзак...* — По-видимому, речь об этом персонаже шла в уничтоженных черновиках. Нигде более Булгаков к этой фамилии не возвращается.

## Иванушка в лечебнице

Стр. 99. *...и внезапными вспышками буйства...* — Начало главы (несколько листов) уничтожено автором.

*...специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса.* — Исследователи предполагают, что Булгаков описывает больницу железнодорожников в Покровском-Стрешневе. В уничтоженном автором черновике романа (глава «Доказательство инженера») сохранилась часть фразы о лечебнице, в которую попал Иванушка: «...психиатрическая лечебница имени товарища Семашко».

## **Золотое копье** (Евангелие от Воланда)

Стр. 110. *Перистиль...* — прямоугольный двор, окруженный с четырех сторон крытой колоннадой. Перистильный двор служил составной частью многих античных жилых и общественных зданий.

*Прокуратор* — заведующий доходами в императорской провинции. Прокуратор римской провинции Иудеи, в состав которой входили собственно Иудея, Самария и Идумея, назначался самим императором, но находился в подчинении наместника Сирии.

Стр. 111. *Кордегардия* — помещение для военного караула, а также для содержания арестованных под стражей.

*Легион* — военный отряд первоначально из 6 тысяч, а позже из 3600 солдат. Состоял из десяти когорт, что равнялось 30 манипулам или 60 центуриям.

*Манипул* — отряд солдат, состоящий из двух центурий, что составляло 120 человек, если отряд состоял из велитов (легковооруженных воинов), или гастатов (копьеносцев), или принципов (тяжеловооруженных бойцов), и 60 человек, если состоял из триариев (самых опытных солдат).

*Таллиф* — особая белая одежда, имеющая вид продолговатого четырехугольного платка, с круглым прорезом в середине для головы.

Стр. 112. *Кентурион* (центурион) — командующий кентурией (центурией) — отрядом солдат из 100 человек, а впоследствии из 60.

*Игемон* — дословно по-гречески — вождь, предводитель. Употреблялось в те времена в значении «правитель», «господин».

Стр. 113. *Левий Матвей* — один из 12-ти апостолов, в прошлом мытарь (сборщик податей и пошлин). До разрушения римлянами Иерусалима (70 г. н.э.) проповедовал в Палестине, а затем — в Эфиопии, Малой Азии, Македонии. Принял мученическую смерть в Гиераполе во Фригии, по другой версии — в Персии. Гиерапольский епископ Папий (ум. ок. 165 г.) в своей работе «Изъяснение изречений Господа» отмечал, что при жизни Иисуса Христа за ним записывал

лишь апостол Матфей. Позже эти записи с арамейского языка переводили кто как мог.

*Ешуа* (в других редакциях Иешуа) — сокращенная форма имени Иегошуа, которое означает «Яхве есть спасение». Иисус — грецизированная форма имени Иешуа.

*Из Эн-Назира...* — Булгаков почерпнул эти сведения из книги английского историка и богослова Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Сохранилась короткая выписка: «Назарет.//«Этот городок есть Эн-Назира, Назарет...» (Фаррар, стр. 80)». Галилейский город Назарет не упоминается ни в Ветхом завете, ни в сочинениях Иосифа Флавия. Поэтому некоторые исследователи считают, что Назарет не упоминался в названных источниках, поскольку во времена Христа был небольшим поселением.

Стр. 114. *Я — сириец.* — Галилею нередко в просторечии называли «языческой», т.к. население ее было не чисто иудейским, а смешанным, и около половины всех городских жителей составляли греки, сирийцы, римляне.

Стр. 115. *...пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии.* — В 36 г. Понтий Пилат по жалобе самарян был отозван сирийским легатом Вителлием и послан в Рим для суда. Затем Пилат был сослан в заточение в Виенну (Галлия), где лишил себя жизни в царствование Калигулы (37—41 гг.). Но Иешуа намекает и о внеземных несчастьях для Пилата.

Стр. 116. *Ты был в Египте?* — В Талмуде рассказывается, что Иешуа Назарет и Иешуа бен Перахая ездили вместе в Александрию Египетскую, где Иешуа Назарет якобы научился колдовству и, вернувшись в Иудею, «свел Израиля с пути».

*...не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами.* — В Нагорной проповеди Христа говорится: «Еще слышали вы, что сказано древним: «Не преступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; Ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово

ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх того, то от лукавого». (Матфей, 5:33—37).

Стр. 117. *...в бою при Идиставизо.* — В долине Идиставизо в 16 г. н.э. римский полководец Германик (племянник императора Тиберия) нанес поражение германским племенам херусков, возглавляемых Арминием.

*Синедрион* — совет старейшин в Иерусалиме, высшее государственное учреждение и судилище евреев в 3—1 вв. до н.э.; в период римского господства — верховный суд Иудеи. Состоял из 71 члена, включая главу Синедриона — первосвященника. Римляне ограничили власть Синедриона, отобрав право меча и право смерти: Синедрион мог выносить смертные приговоры, но для их исполнения требовалось утверждение римского наместника.

*...по имени Иуда, он из Кериота...* — Иуда из Кериота (Искариот) — прозвище Иуды чаще всего объясняется как Иш-Кариот — «человек из Кариота» или Кериота. Но так как ни города, ни местности с таким названием нет, то Кариот отождествляют с Кириафом, городом в колене Иудином, находящимся к северо-западу от Иерусалима, по дороге в Лидду.

Стр. 118. *...лицо арестанта исчезло и заменилось другим...* — Имеется в виду Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до н.э. — 37 г. н. э.), пасынок Августа, римский император с 14 г. н.э., отличавшийся мнительностью и жестокостью. Уже с 15 г. н.э. в Риме начинаются процессы об оскорблении величества, участившиеся после 23 г. н.э., а после разгрома заговора Сеяна (31 г.) последовала волна террора, продолжавшаяся до конца правления Тиберия. Известно, что Тиберий неоднократно судил наместников, злоупотреблявших в провинциях своей властью.

*...возникла каприйская зелень в саду...* — Островок Капреи (соврем. Капри) в южной части Неаполитанского залива был любимым местом пребывания императора Тиберия. За свое пристрастие к острову был прозван Капринеем. Страдал проказой.

Стр. 119. *...помутил разум Каиафы.* — Иосиф Каиафа — первосвященник с 18 г. н.э. (по другим сведениям с 25 г. н.э.). В 36 г. н.э. смещен с должности сирийским легатом Вителлием.

Стр. 120. *Лифостротон* — каменный помост, возвышение. По-еврейски — гаввафа.

*...двое — за Синедрионом — Варраван Иисус...* — Варраван Иисус — в Евангелиях упоминается как Варавва, что в переводе с арамейского означает «сын Отца» — один из мессианских титулов. Не случайно совпадение имени Христа и Вараввы — Иисус. По-видимому, Варавва провозгласил себя Мессией и призывал к мятежу против римской власти. «Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство» (Лука 23:19). В Евангелии от Матфея он назван «известным узником» (27:16). Выбирая, кого из двух «мессий» предать казни, Синедрион, зная, что идеи — самое сильное оружие, счел Христа с его мирной проповедью более опасным, чем бунтовщик и убийца Варавва.

## Дядя и буфетчик

Стр. 123. *...гражданином Латунским...* — В следующих редакциях — Радужный, а в последней редакции — Поплавский.

Стр. 132. *...поворачивал над огнем шпагу с нанизанными на нее кусками...* — В этом месте лист с продолжением текста вырван. В следующей рукописной редакции: «Перед камином на тигровой шкуре сидел, жмурясь на огонь, черный котище. В стороне стоял стол, покрытый церковною парчой и установленный бутылками, большею частью пузатыми, заплесневевшими и пыльными... У камина маленький рыжий с ножом за поясом на длинной стальной шпаге жарил куски баранины, и сок капал на огонь, в дымоход уходил дым... Неприятнейшим образом пораженный церковным покровом на обеденном столе, буфетчик... услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

И тотчас буфетчик обнаружил хозяина квартиры.

Тот раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли.

— Да, так чем же я могу вам быть полезен? — повторил артист.

— Я, — растерянно заговорил буфетчик, — являясь заведующим буфетом театра «Варьете»...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверка-

ли камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром...»

Стр. 134. *Вы человек бедный...* — В следующей рукописной редакции далее:

«— Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, — отозвался из соседней комнаты трескучий голос, — и дома под полом сто золотых десяток.

Буфетчик так и замер на своей табуретке.

— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?

Тут буфетчик возмутился.

— Это никому неизвестно и никого не касается, — ответил он.

— Ну да, неизвестно, — послышался тот же дрянной голос за дверью, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ.

Буфетчик стал желт лицом, в глазах у него выразился ужас, он повернул голову к двери, потом глянул на кота. Тот, мирно дремавший до сих пор, открыл глаза, с любопытством поглядел на буфетчика.

— Гм, девять месяцев, — задумчиво сообразил Воланд, — двести сорок девять тысяч... Гм... это выходит двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей в периоде, в месяц?..»

Как известно, 666 — число зверя.

## Маргарита

Стр. 136. *Лишь только в Москве растаял и исчез снег...* — Булгаков многократно переписывал эту главу. В одном из вариантов данной редакции она начиналась так: «В Москве не бывает весны. Человек, который занят чем-нибудь всю зиму, так и не заметит, что весна пришла. Разве что потянет иногда гниловатым воздухом в форточку».

Во второй полной редакции начало иное, близкое к последнему варианту: «Нет, нет, она не забыла его, как говорил он ночью в клинике бедному Ивану. Кто скажет, что нет на свете настоящей любви? Пусть отрежут лгуну его гнусный язык! Нет, она его не забыла».

И лишь незадолго перед смертью Булгаков продиктовал Елене Сергеевне новые начальные строки главы, которые знакомы сейчас всему читающему миру. На обороте машинописного текста Елена Сергеевна записала красивым и ясным почерком:

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!

Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла».

*По ночам ей стали сниться грозные и мутные воды...* — В следующей редакции содержание и характер снов Маргариты изменяются, наполняясь бурной радостью от встреч с любимым. «Ей стал сниться юг, и был он очень странен, и не бывает такого юга ни на Кавказе, ни в Крыму. Чудо заключалось в том, что этот юг находился в полутора часах езды от Москвы и попасть туда было чрезвычайно легко, и лишь ленивые или лишенные фантазии люди не догадывались отправиться туда.

Полтора часа езды, а во сне и еще меньше, это ли не счастье, ах, это ли не восторг?

Второе, что поражало на этом юге, это что солнце не ходило по небу, а вечно стояло над головой в полдне, заливая светом море. И солнце это не изливало жары, нет, оно давало ровное тепло, всегда одинаковое тепло, и так же, как солнце, была тепла морская вода.

Да, как бы ни были прекрасны земные моря, а сонные еще прекраснее. Вода в них синего цвета, а дно — золотого песку, песчинка к песчинке.

Сонное море не глубоко, в нем можно по дну идти и плыть в нем легко. По морю во сне можно плыть в лодке без весел и паруса и с быстротою автомобиля. На этом море не бывает волнений и над ним не бегут облака.

Итак, всякую ночь Маргарита Николаевна, задыхаясь в волнении, неслась в этой лодке, чертящей кормою стеклянную воду, ловко лавируя между бесчисленными островами. Она хохотала во сне от счастья и, если островок был маленький, просто поднимала лодку в воздух и перелетала через камни, лежащие меж деревьями. Если же остров был велик,

стоило пожелать, и море подходило к ней само. Не бурными валами, не с белой пеной, а тихой, не обрывающейся, не растекающейся все тою же массой своею жидкого синего стекла.

Вдоволь накатавшись, наплававшись, Маргарита гнала лодку к земле. Никто из москвичей, очевидно, не знал о существовании этого близкого юга, и белые домики были свободны. Можно было нанять любую комнату, раскрыть в ней окно, сесть на подоконнике и срывать вишни с ветвей, лезущих в комнату.

И наконец последняя и величайшая прелесть юга была в том, что туда, к белым домикам и островам, приезжал он.

Он приезжал в трамвае, ведь полтора часа езды! И она его поджидала. Вот он выехал, он едет. В мгновение истекали эти полтора часа, и он уже идет от станции вниз, а станция тут же, и вот, он подходит. Тогда Маргарита Николаевна начинала смеяться и он смеялся ей в ответ, и глаза его были сини, а одежда бела.

А Маргарита кричала ему беззвучно:

— Ну вот, все эти ужасы кончились! Кончились! Ведь я говорила тебе, что выманю тебя на юг!

Оба они, перегоняя друг друга, в двух легких лодочках скользили по воде и смеялись. Маргарита от того, что вышло по ее, что кончились ужасы. Да, смеялась Маргарита во сне, и за это, проснувшись, платила частым тихим и тайным плачем.

Положение ее было ужасно. Она не знала теперь, кого она любит — живого или мертвого, и чаще, и упорнее ей приходила в серых сумерках наяву мысль, что связана она с мертвым. Это с мертвым она летит в сонной лодке, с ним она плывет!

Вывод не трудно было сделать. Нужно было или забыть его, или самой умереть. Влачить такую жизнь нельзя! Забыть его, забыть! Но он не забывается!

Нередко, оставшись одна зимою, а Маргарита пользовалась каждым случаем, чтобы остаться одной, она, сидя у огня возле печки, в память того огня, что горел, когда писался Понтий Пилат, отдавала себя на растерзание себе самой. Ах, как легко это было сделать! Стоило только сравнить ей себя с Левием Матвеем, хорошо ей известным и памятным, и мучения Маргариты становились жгучими. Запустив пальцы в волосы или сжав голову, она покачивалась у огня и бормотала:

— Да, да, да, такая же самая ошибка... Зачем, зачем я тогда ушла ночью от него? Зачем? Безумство! Я вернулась на другой день, но было поздно. Я вернулась, как несчастный Левий, слишком поздно.

В таких бесполезных размышлениях о Левии Матвее, в таких мучениях прожила Маргарита Николаевна полтора года».

При перепечатке этого текста в мае—июне 1938 года Булгаков внес в него следующее дополнение: «Чтобы еще больше растерзать себя, Маргарита до мельчайших подробностей вспоминала то утро, как она, оставив записку своему мужу, кинулась в переулок, в подвальные комнаты. Его уже не было. Он бесследно исчез. И перед глазами Маргариты вставал кабинет мужа, и она видела, как будто это происходило сейчас, что она рвет бесполезную написанную ею записку».

Стр. 136. *Она просыпалась разбитой, осунувшейся и, как ей казалось, старой.* — В следующей редакции: «...Маргарита проснулась около одиннадцати часов утра в своей спальне, выходящей фонарем в башню причудливой архитектуры особняка в одном из переулков Арбата.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, что бывало очень часто. Она проснулась с предчувствием, что сегодня произойдет что-то, наконец что-то произойдет.

Лишь только Маргарита ощутила это предчувствие, она стала подогревать и растить его в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно, — я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Да, я лгала и обманывала, но нельзя же наказывать так жестоко. Произойдет что-то непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. Кроме того, сон был вещий, за что я ручаюсь!

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед большим зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился Маргарите, был необычен. Отсутствовала в нем летающая лодка и мелководное море с золотым дном. Приснилось странное, темного дуба помещение, какая-то комната, почему-то очень душная. Вдруг дверь раскрылась и она увидела мастера. Он не был в белой

одежде. Он был оборван, обросший бородою, босой. Но глаза были очень живые, решительные, к чему-то призывающие. И он, поманив пальцем Маргариту, тотчас скрылся. Маргарита побежала за ним и выбежала на крыльцо, увидела оголенную рощу и над нею беспокойную стаю грачей. Поняла, что это ранняя весна где-то далеко в деревне, в глуши. Вон и мостик через узенькую речушку. Тут дунуло волнующим ветром, мастера она потеряла и проснулась.

— Сон этот может значить только одно из двух, — рассуждала Маргарита Николаевна, — если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мной и я скоро умру. Это хорошо. Мучениям пришел тогда конец. Или он жив и напоминает мне о себе. Значит, мы еще увидимся. Увидимся скоро, непременно увидимся.

Итак, сегодня я не имею права мечтать о том, чтобы забыть его, а наоборот, весь сегодняшний день посвятить воспоминанию о нем, потому что сегодняшний день — день годовщины. Встретились мы как раз в этот день». (При перепечатке этого текста Булгаков изменил концовку, написав: «Как раз в этот день мы встретились с ним тогда, когда я несла в руке свой желтый знак тоски».)

Стр. 137 *...бросились бы в особняк на... и поселились, и сочли бы себя счастливейшими в мире...* — Булгаков не указал в данном случае место расположения особняка, оставив свободное место. Но последующий текст он (если, конечно, это сделал сам Булгаков?!) уничтожил. В тетради вырезано восемнадцать (!) страниц текста. В результате читатели, очевидно, никогда не узнают историю любви Мастера и Маргариты и те сложности, которые пришлось им преодолеть. Характерно, что в последующих редакциях Булгаков не возвращается к этому вопросу и лишь незадолго перед смертью продиктовал Елене Сергеевне не очень большой кусок текста, начинающийся словами: «Прежде всего откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке...»

*...Первыми из-за обнаженных деревьев показались мальчишки, идущие задом...* — В следующей рукописной редакции:

«Первым показался шагом едущий мимо решетки сада конный милиционер, за ним шлемы двух пеших. За сим — грузовик, набитый стоящими музыкантами, частью одетыми в гимнастерки, частью в штатское. Далее — крайне медленно

двигающаяся похоронная открытая машина. На ней гроб в венках, а по углам площадки — четыре стоящих человека: трое мужчин, одна женщина. Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица, обращенные к решетке, были растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоящей в левом заднем углу автодрог. Толстые серые щеки гражданки в модной кокетливой шляпке в виде петушьего гребешка распирало как будто изнутри какою-то пикантной тайной, в заплывших глазках бродили двусмысленные огоньки, а губы складывались против воли, по-видимому, в столь же двусмысленную улыбочку. Казалось, что вот еще немного и она подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-нибудь подобное? Прямо мистика!»

В задней части дрог на подставке стояли в горшках цветы, и Маргарита тотчас разглядела четыре бледно-фиолетовых гиацинта. «Те самые...» — подумала она. Немедленно за сим она увидела и двух покупателей гиацинтов... Они оба шли в первом ряду непосредственно за машиной. Потекли за ними и другие граждане, тоже в чинных рядах, все без кепок и шляп. И все они старались иметь вид печальный, приличествующий случаю, вид многозначительный и солидный, и у всех на лицах и даже в походке чувствовалось недоумение, смущение и неуверенность».

Сцене похоронного шествия в рукописной редакции предшествовал следующий эпизод:

«В Охотном ряду Маргарита поднялась, чтобы выйти, но судьба на некоторое время связала ее с парочкой граждан. Они тоже снялись в Охотном и направились туда же, куда и Маргарита, к цветочной лавке. Покупка Маргариты была скромная и дешевая. В память мастера и встречи с ним она купила два букетика фиалок, завернутых в зеленые листья. «Один — мне, другой — ему...» — думала Маргарита. Но ей мешали сосредоточиться две спины, которые все время толкались перед нею; одна — широкая, другая — щуплая, с выпирающими из-под ткани толстовки лопатками. Шептуны приценивались к горшкам с бледно-фиолетовыми гиацинтами. Наконец Маргарита покинула лавку, но, обернувшись, видела, как двое суетились у приступочки автобуса, хватаясь одной рукой за поручень, а другой прижимая к животу по два горшка с тощими гиацинтами».

Стр. 138. *...голову ему пришлось пришивать.* — В следующей рукописной редакции:

— Да, изволите ли видеть, — охотно пояснил гнусавящий рыжий сосед, — голову у покойника сегодня утром стащили из гроба в грибоедовском зале.

— Как же это может быть? — невольно спросила Маргарита, вспомнив в то же время шептание в троллейбусе.

— Черт его знает! — развязно ответил рыжий, — Бегемота бы спросить надо об этом. Все было в полном порядке. Утром сегодня подвалили еще венков. Ну стали их перекладывать, устанавливать как покрасивее, — глядят — шея есть, в черном платке, а голова исчезла! То есть вы не можете себе представить, что получилось. Буквально все остолбенели. И главное, ничего понять нельзя! Кому нужна голова? Да и кто и как ее мог вытащить из гроба, пришита она была хорошо. И такое гадкое, скандальное положение... Кругом одни литераторы...

— Почему литераторы? — спросила Маргарита, и глаза ее загорелись, — позвольте. Позвольте... Это который под трамвай попал?

— Он, он, — ласково улыбнувшись, подтвердил неизвестный.

— Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? — спросила Маргарита, привстав и оскалившись.

— Как же, как же.

Маргарита, не заметив, что упал на землю и второй букетик, стояла и не спускала глаз с процессии, которая в это время колыхнулась и тронулась.

— Скажите, — наконец выговорила она сквозь зубы, — вы их, по-видимому, знаете, нет ли среди них Латунского, критика?

— Будьте любезны, — охотно отозвался сосед и привстал, — вон он, с краю... в четвертом ряду, с этим длинным как жердь, рядом... Вон он!

— Блондин? — глухо спросила Маргарита.

— Пепельного цвета... видите, глаза вознес к небу...

— На патера похож?

— Вот, вот...

— Ага, ага, — ответила Маргарита и перевела дыхание, — а Аримана не видите?

— Ариман с другой стороны... вон мелькает лысина.. кругленькая лысина...

— Плохо видно, — шепнула Маргарита, поднимаясь на цыпочки, и еще спросила: — Еще двое меня интересуют... Где Мстислав Лавровский?

— Лавровского вы сейчас увидите, он в машине едет сзади... Вот пройдут пешие...

— Скажите, хотя, впрочем, это вы наверное не знаете... Кто подписывается — «З.М.»?

— Чего ж тут не знать! Зиновий Мышьяк. Он, и никто иной.

— Так, — сказала Маргарита, — так...

За пешими потянулся ряд машин. Среди них было несколько пустых таксомоторов с поваленными набок флажками на счетчиках, один открытый «линкольн», в котором сидел в одиночестве плотный, плечистый мужчина в гимнастерке.

— Это Поплавский, который теперь будет секретарем вместо покойника, — объяснил рыжий, указывая рукою на «линкольн», — он старается сделать непромокаемое лицо, но сами понимаете... его положение с этой головой... А! — вскричал рыжий, — вон, вон, видите... Вон Лавровский!

Маргарита напряглась, в медленно движущемся стекле мелькнуло широкое лицо и белый китель. Но машина прошла, а затем наступил и конец процессии, и не было уже слышно буханья турецкого барабана.

Маргарита подняла фиалки и села на скамейку.

— А вы, как я вижу, не любите этих четырех до ужаса, — сообщил, улыбаясь, разговорчивый сосед.

Маргарита на это ничего не ответила, лишь скользнула взглядом по своему вульгарно и цветисто одетому соседу. Но глаза ее как будто бы выцвели на время, и в лице она изменилась.

— Да-с, — продолжал занимать беседой Маргариту Николаевну гражданин в котелке, — возни с покойником не оберешься. Сейчас, значит, повезли его в крематорий. Там Поплавскому речь говорить. А какую он речь скажет, предоставляю вам судить, после этой истерики с головой, когда у него в голове все вверх тормашками. А потом с урной на кладбище... Там опять речь... И вообще я многого не понимаю... Зачем, к примеру, гиацинты? В чем дело? Почему? Почему понаставили в машину эти вазоны? С таким же успехом клубнику можно было бы положить или еще что-нибудь... Наивно все это как-то, Маргарита Николаевна!

Маргарита вздрогнула, повернулась».

Стр. 138. *«Глаза умные, рыжих люблю»...* — В следующей рукописной редакции: «Совершенно разбойничья рожа, —

подумала Маргарита, вглядываясь в неизвестного и убеждаясь, что он, в довершение всего, и веснушками утыкан, и глаз у него правый не то с бельмом, не то вообще какой-то испорченный глаз».

## Губная помада и крем

Стр. 142. *С наступлением весны по вечерам...* — В следующей рукописной редакции:

«Вечер настал не жаркий, не душный, а редкий для Москвы — настоящий весенний, волнующий вечер.

Луна висела в чистом небе полная, разрисованная таинственным рисунком, и настолько залила сад, в котором был особняк, что отчетливо были видны кирпичики дорожки, ведущей к воротам. Липы, клены, акации разрисовали землю сложными переплетами пятен. Загадочные тени чередовались с полями зеленого света, разбросанными под деревьями.

Трехстворчатое окно в фанере, открытое и задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом.

В комнате Маргариты Николаевны горели все лампы, какие только можно было зажечь. Под потолком люстры, на трюмо у зеркального триптиха два трехсвечия, два кенкета по бокам шкафа, ночная лампочка на столике у кровати...»

Стр. 147. *...Маргарита покинула Арбат и повернула в Плотников переулок. Здесь...* — В этом месте вырвано пять листов (десять страниц) с текстом. Очевидно, это было сделано Булгаковым по причине слишком откровенных и активных действий Маргариты по отношению к врагам своего возлюбленного. Но и в следующей рукописной редакции полет Маргариты над Арбатом описан весьма откровенно, с прозрачными намеками на преследователей мастера. Поэтому при подготовке окончательного варианта текста автор внес в него существенные изменения, сгладив многие острые углы. Мы же этот значительный неопубликованный кусок текста из второй рукописной редакции включили в «Приложения» (см. главу «Полет», с. 342), тем самым восполнив уничтоженный автором фрагмент из первой рукописной редакции.

## Шабаш

Стр. 152. *Отвратительный климат в вашем городе...* — Булгаков и в этом эпизоде остается верен себе, обыгрывая одну из частых тем бесед в семье и в кругу друзей. Это — московский климат. За многие годы пребывания в Москве он так и не смог привыкнуть к нему. Осень и зима 1933 года была особенно неприятной, к тому же Булгаков часто болел. Приведем несколько записей в дневнике Елены Сергеевны за то время, когда Булгаков работал над главой «Шабаш»: 8 ноября: «...Холодно... Вьюга». 17 ноября: «Мороз. С трудом уговорили шофера подвезти...» 4 декабря: «У Миши внезапная боль в груди...» 7 декабря: «Вечером у нас доктор... Нашел у М. А. сильнейшее переутомление». 12 декабря: «Днем попытались с Мишей выйти на лыжах. Прошли поперек пруда у Ново-Девичьего и вернулись — дикий ледяной ветер». 15 декабря: «Большой мороз. Но пошла проводила М. А. в Театр...» А в письме к В. В. Вересаеву 6 марта 1934 года Булгаков жаловался: «Господи! Хоть бы скорее весна. О, какая длинная, утомительная была эта зима... Устал, устал я».

— *Это великая честь для меня...* — В этом месте вырван лист с очень важным текстом, поскольку после беседы Маргариты с Воландом начинался суд над покойниками. Но как Иванушка ослеп и перешел в иной мир — мы не знаем. И был ли Иванушка первым у Воланда — тоже неизвестно. Но совершенно ясно, что Булгаков вырывал и уничтожал наиболее острые места в тексте. Елена Сергеевна фиксировала иногда в дневнике факты уничтожения Булгаковым частей рукописи. Так, 12 октября 1933 года она записала: «Утром звонок Оли (Бокшанской. — *В. Л.*): арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорят, что за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился... Ночью М. А. сжег часть своего романа».

Стр. 153. *...на тысячу первый раз... я открою тебе глаза...* — В этом эпизоде Булгаков подтверждает одну из своих главных мыслей: слепота вследствие невежества не может служить оправданием неправедным поступкам. Лишенный истинного знания в детстве и в юношестве, ослепленный берлиозами, он тем не менее подвергается суровому наказанию.

*...на блюде оказалась мертвая голова с косым шрамом... в запекшейся крови на шее...* — Далее несколько листов вырвано, вновь, видимо, с чрезвычайно острым содержанием.

*...а курьершу все-таки грызть не следовало...* — Возможно был еще один вариант данной главы, где Внучата проявил свои гнусные наклонности.

*...в городе имеется один человек, который... стремится стать покойником вне очереди... Некий... фон Майзен.* — Если предположить (а для этого есть все основания), что прототипом фон Майзена является бывший барон Б. С. Штейгер, то выясняется любопытная ситуация: Булгаков 30 декабря 1933 года как бы предрешил судьбу бывшего барона, «зарезав» его на одной из страниц своего романа. Б. С. Штейгер состоял в те годы на службе в коллегии Наркомпроса РСФСР по внешним связям и подчинялся непосредственно небезызвестному деятелю — Авелю Сафроновичу Енукидзе, члену этой коллегии. Бывший барон, выходец из Швейцарии, прекрасно знал иностранные языки и принимал участие в обслуживании дипломатического корпуса и иностранных гостей. Булгаков же его именовал в романе «служащим коллегии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы».

Вероятно, Булгаков был хорошо осведомлен о «деликатной» деятельности барона, поскольку достаточно часто соприкасался с А. С. Енукидзе, возглавлявшим комиссию по руководству Художественным и Большим театрами и решавшим многие театральные дела, в том числе касавшиеся писателя (разрешение или запрещение булгаковских пьес, рассмотрение заявлений писателя на выезд за границу и т.д.). Во всяком случае, едва ли писатель стал бы в романе выносить смертный приговор человеку, которого плохо знал.

«Казнив» барона в романе, Булгаков затем часто встречался с ним на приемах в американском посольстве, в ресторанах и других местах. Это видно и из записей в дневнике Е. С. Булгаковой. 23 апреля 1935 года: «С нами в машину сел (при отъезде из американского посольства. — *В. Л.*) незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывший среди иностранцев — кажется, Штейгер. Он — с шофером, мы — сзади». 3 мая: «У Уайли (сотрудница американского посольства. — *В. Л.*) было человек тридцать, среди них турецкий посол, какой-то французский писатель... и, конечно, Штейгер». Запись того же дня: «Вчера днем заходил Жухо-

вицкий (журналист, тоже занимавшийся «обслуживанием» иностранцев. — *В. Л.*)... Очень плохо отзывался о Штейгере, сказал, что ни за что не хотел бы с ним встретиться у нас». 18 октября: «...Позвонили из американского посольства, зовут на... прием у Буллита... Пришли... Посол необыкновенно приветлив. Мы поздоровались. Миша отошел к роялю. Буллит подошел к нему и очень долго с ним разговаривал... К ним подходил Афиногенов. Только двое и было русских. Впрочем, еще Штейгер. Тот проявлял величайшее беспокойство, но околачивался вдали...» 7 января 1936 года: «После театра... поехали в шашлычную... Там были американцы и, конечно, неизбежный барон Ш/тейгер/...»

О реальной смерти барона Штейгера Булгаков мог узнать 20 декабря 1937 года. В этот день в прессе был опубликован приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР по делу об измене Родине и шпионаже в пользу одного из иностранных государств. Обвинялись — А. С. Енукидзе, Л. М. Карахан, другие высокопоставленные лица и... Б. С. Штейгер. Все были приговорены к расстрелу. Сообщалось, что приговор приведен в исполнение.

После столь трагической развязки у писателя была возможность изменить свое суровое решение, ибо основная работа над романом была еще впереди. Но Булгаков оставил свой «приговор» в силе, изменив лишь способ смертной казни: вместо ножа барон получил пулю.

Впрочем, некоторые исследователи полагают, что прототипами барона фон Майзена (фон Майгель — в последней редакции) могли быть и другие личности. Представляет интерес мнение М. Золотоносова, который считает, что за образом фон Майгеля скрывается известный в те годы литературовед М. Г. Майзель. «В сочинениях... М. Г. Майзеля, — пишет М. Золотоносов, — Булгаков неизменно характеризовался как представитель «новобуржуазного направления», художественного «шульгинизма». Именно М. Г. Майзель использовал применительно к Булгакову слово «апология» («апология чистой белогвардейщины»)... Возможно, что писатель что-то знал о доносительстве (в прямом смысле слова) Майзеля, если назначил на роль доносчика именно его... Знал, вероятно, Булгаков и об аресте Майзеля в период «большого террора» (убит 4 ноября 1937 года)».

Что ж, не исключено, что в бароне фон Майзене (фон Майгеле) нашли отражение черты нескольких ненавистных писателю лиц.

Стр. 154. *...и комната преобразилась в гостиную...* — Уже в этих преображениях просматривается будущий «Великий бал у сатаны».

Стр. 155. *...барон Маргарите был известен...* — Еще одно свидетельство, подтверждающее, что прототипом фон Майзена был Б.С. Штейгер, как, впрочем, и замечание, что «деток никогда у барона не было».

Стр. 156. *...милый барон, скажите...* — Отточие авторское. Видимо, в вопросе Воланда подразумевался интерес к «специальности» барона. Далее часть текста уничтожена.

*...и еще раз все преобра...* — В этом месте вырван лист с текстом.

— *А за...* — Обрыв текста.

Стр. 157. *Тут Фие...* — И вновь обрыв текста, в котором описывалось вызволение поэта из мест не столь отдаленных.

*Весь в грязи, руки изранены...* — В последующих редакциях мастер появляется не из заключения, а из психиатрической лечебницы.

## С примусом по Москве

Стр. 163. *...в большом магазине Торгсина...* — В начале тридцатых годов были открыты специальные магазины для торговли на иностранную валюту, боны, драгоценности. Торгсин — сокращение, означающее «торговля с иностранцами». Булгаковы иногда пользовались этими магазинами. Вот некоторые записи из дневника Е.С. Булгаковой. 29 марта 1935 года: «Во время нашего отсутствия принесли конверт из американского посольства. Приглашает нас посол на 23 апреля. Приписка внизу золотообрезного картона: фрак или черный пиджак. Надо будет заказать М.А. черный костюм, у него нет. Какой уж фрак». Запись следующего дня: «Сегодня с М.А. ... пошли в Торгсин. Купили английскую хорошую материю по восемь рублей золотом метр. Приказчик уверял — фрачный материал... Купили черные туфли, черные шелковые носки». Так что Булгаков описывал торгсины «с натуры».

Стр. 166. *...крича: «Пожар!»...* — Этот фрагмент текста Булгаков писал 1 февраля 1934 года. А вот что произошло у

Булгаковых за несколько дней до этого. Запись Елены Сергеевны от 23 января 1934 года: «Ну и ночь была. М. А. нездоровилось. Он, лежа, диктовал мне главу из романа — пожар в Берлиозовой квартире. Диктовка закончилась во втором часу ночи. Я пошла в кухню — насчет ужина, Маша стирала. Была злая и очень рванула таз с керосинки, та полетела со стола, в угол, где стоял бидон и четверть с керосином — не закрытые. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!!» Он, как был, в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, так как у нее в подушке были зашиты деньги!..

Я разбудила Сережку, одела его и вывела во двор, вернее — выставила окно и выпрыгнула, и взяла его. Потом вернулась домой. М. А., стоя по щиколотки в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь все, что мог: одеяла, подушки и все выстиранное белье. В конце концов он остановил пожар. Но был момент, когда и у него поколебалась уверенность и он крикнул мне: «Вызывай пожарных!»

Пожарные приехали, когда дело было кончено. С ними — милиция. Составили протокол. Пожарные предлагали: давайте из шланга польем всю квартиру! Миша, прижимая руку к груди, отказывался».

Стр. 167. *...Ленинград, июль, 1934 г. ...* — Перерыв в работе над романом оказался вынужденным. Переезд на новую квартиру, болезнь Елены Сергеевны, срочная работа над комедией «Блаженство», а затем — подготовка к поездке за границу — все это заставило Булгакова отложить рукопись романа о дьяволе до лучших времен. Возобновил он работу в тяжелом состоянии, когда нервное и физическое переутомление достигло предела. В это время, 11 июля, он писал В. Вересаеву: «Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях... Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной... Послал... Первое известие: «Заявление передано в ЦК». 17 мая... Звонок по телефону: «Вы подавали? Поезжайте... Заполняйте анкету Вашу и Вашей жены». К четырем часам дня анкеты были заполнены... Наступило состояние блаженства... Вы верите ли, я сел размечать главы книги!.. 19-го паспортов нет. 23-го — на 25-е, 25-го — на 27-е... Ждем терпеливо... Самые трезвые люди на свете, это наши мхатчики... Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. Значит же, дело серьезно! Настолько

уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта... включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился... Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М. А. Булгакову отказано... Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда... Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня... 13 июня я все бросил и уехал в Ленинград...»

Елена Сергеевна описывает это событие проще, без какой-либо иронии. Вот ее запись в дневнике от 20 июля:

«Семнадцатого мы вернулись из Ленинграда, где прожили больше месяца в «Астории».

За это время многое, конечно, произошло, но я не записывала ни там, ни здесь. Что я помню? Седьмого июня мы ждали в МХАТе вместе с другими Ивана Сергеевича, который поехал за паспортами. Он вернулся с целой грудой их, раздал всем, а нам — последним — белые бумажки — отказ. Мы вышли. На улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом его довела до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу — нет ли такси? Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около нее Безыменский. Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону.

У М. А. очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, пространства.

Дня через три (числа 10—11) М. А. написал письмо обо всем этом Сталину, я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было».

*...попали в пустынное учреждение...* — Возможно, имеется в виду здание ОГПУ на Лубянской площади, недалеко от Мясницкой. Весьма символичен маршрут Коровьева и Бегемота, задумавших осуществить поджог Москвы: Торгсин, ОГПУ, дом Грибоедова...

Стр. 169. *Сейчас в Гнездниковском загорится!..* — В начале 20-х годов в этом переулке, в доме Нирнзее, находилась московская редакция газеты «Накануне» (главная редакция была в Берлине), потом там размещался уголовный розыск.

## Пора! Пора!

Стр. 170. *На плоской террасе здания...* — Перед текстом Булгаков сделал обширные прочерки, поскольку несколько предыдущих глав он уничтожил.

Булгаков описывает знаменитый «Дом Пашкова», построенный в 1784—1786 годах выдающимся русским архитектором В. И. Баженовым. В 1862—1925 годах в нем размещался Румянцевский музей, а ныне — отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

*До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима.* — Имеется в виду грандиозный пожар Рима в 64 г. н. э. Из 13 районов города уцелело только 3. По наиболее правдоподобной версии город был подожжен по приказу императора Нерона (правил 54—68 гг. н. э.). Пожар Москвы Булгаков обозначал сначала 1943-м, а затем 1945 годом. В рабочей тетради писателя есть интересная запись: «Нострадамус Михаил, род. 1503 г. Конец света 1943 г.».

*...в Ваганьковский переулок...* — с 1922 года — Староваганьковский, а с 1926 года — часть улицы Маркса и Энгельса.

## Он покидает Москву

Стр. 173. *...в огромнейший трехсветный зал...* — Имеется в виду Общий читальный зал. Булгаков прекрасно ориентировался в помещениях дома Пашкова, ибо часто посещал его в качестве читателя в конце двадцатых — начале тридцатых годов. В его архиве сохранились читательские билеты на посещение библиотеки.

## На здоровье!

Стр. 175. *...я сумасшедший?* — В следующей рукописной редакции:

— «Кончено, — горестно сказал мастер, — теперь налицо вместо одного сумасшедшего — двое. И муж, и жена!

Он приподнялся, возвел руки к небу и закричал:

— Черт знает что такое!

Вместо ответа Маргарита захохотала, болтая босыми ногами, потом закричала:

— Ты посмотри, на что ты похож. Ой, не могу!

Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной.

— Ты сейчас сказал правду невольно, — заговорила она, — черт знает что такое, и все устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и прокричала: — О, как я счастлива! О, как я счастлива! О, дьявол! Милый Воланд!

После этого она кинулась к мастеру и, обхватив его руками за шею, стала целовать его в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных волос прыгали у того на лбу и щеки загорались под поцелуями.

— Ты — ведьма! — сказал отдышавшись мастер.

— А я и не отрицаю, — ответила Маргарита, — я — ведьма и очень этим довольна».

Стр. 176. *Маргарита прижалась к нему и заговорила нежно.* — В следующей рукописной редакции:

«Когда она утихла, она заговорила серьезно, и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, заговорила, обнимая колени.

— О, как ты страдал! Как ты страдал, мой бедный. Смотри, у тебя седые нити и вечная складка у губ. Не думай, не думай ни о чем! Я умоляю тебя! И я ручаюсь тебе, что все будет ослепительно хорошо! Все. Верь мне!

— Я ничего не боюсь, пойми, — ответил ей шепотом мастер, — потому что я все уже испытал. Меня ничем не могут напугать, но мне жалко тебя, моя Марго, вот почему я и говорю о том, что будет... Твоя жизнь... Ты разобьешь ее со мною, больным и нищим... Вернись к себе... Жалею тебя, потому это и говорю...

— Ах, ты, ты, — качая растрепанной головой, шептала Маргарита, — ах ты несчастный маловер!.. Я из-за тебя нагая всю ночь тряслась, глядя на удавленных, зарезанных, я летала вчера, я полтора года сидела в темной каморке, читала только одно — про грозу над Ершалаимом, плакала полтора года, и вот, как собаку, когда пришло твое счастье, ты меня гонишь? Я уйду, но знай, что все равно я всю жизнь буду думать только о тебе и о Понтии Пилате... Жестокий ты человек, — она говорила сурово, но в глазах ее было страдание.

Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и, неизвестно почему, он заплакал, уткнувшись в волосы Маргари-

ты. И она, плача, шептала ему, и пальцы ее бродили по вискам мастера.

— Нити, нити! На моих глазах покрывается серебром голова, ах, моя, моя много страдавшая голова!.. Глаза, видевшие пустыню, плечи с бременем... Искалечили, искалечили, — ее речь становилась бессвязной, она содрогалась от плача.

Луч ушел из комнаты, оба любовника, наплакавшись, замолчали.

Потом мастер поднял с колен Маргариту, сам встал и сказал твердо:

— Довольно! Я никогда больше не вернусь к этому, будь спокойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни или жертвы каких-то необыкновенных гипнотизеров. Но довольно, пусть будет, что будет!

Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала:

— Клянусь тебе жизнью твоею, клянусь тебе копьем сына звездочета, тобою найденного, тобою угаданного, твой заступник — Воланд! Все будет хорошо.

— Ну и ладно! — отозвался мастер, но все-таки добавил: — Конечно, когда люди так несчастны, как мы, они ищут спасения у трансцендентной силы...»

Последняя фраза мастера многозначительна. Она еще более откровенно звучит в последней редакции романа: «...Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что ж, согласен искать там».

Трудно сказать, был ли знаком Булгаков с содержанием многочисленных оккультных романов В. И. Крыжановской, но в данном случае мысль мастера полностью совпадает с лукавой «проповедью» демона ада Сармиэля (роман «Маги», 1910), обосновывающего притягательность идей сил зла под видом добра. Приведем наиболее характерные фрагменты из этой «проповеди»:

«Измученное человечество плачет от сознания своего невежества, дрожит и изнывает... Охваченные ужасом, люди протирают коленами плиты в храмах, призывая неведомого Бога, прося у него пощады и милосердия; а он с насмешкой, полютее нашей, которую прозвали «сатанинской», отвечает: «Живите по установленному Мною незыблемому закону. А закон этот воспрещает пользоваться вложенными мною в ваши души инстинктами...» Кто знает Бога? Кому ведомо, что Он — такое?.. Туманное обещание непонятного счастья,

да еще в месте, которое так трудно найти на географической карте неба... Мы преимущественно покровительствуем тем, чьи желания страстней, кто смелее во зле и более озлоблен: так как для нашей армии нужны такие, которых жизнь раздавила или задушила в своих когтях и которые были достаточно незаслуженно мучимы и презираемы, чтобы получить полнейшее отвращение ко всяким великодушным порывам и стремлению к небу... «Почему?!» — в отчаянии кричит род людской. Но всюду ему встречается молчание... П о к и н у т ы е  н е б о м,  о н и  и щ у т  п о м о щ и  у  а д а...» (Выделено мною. — *В. Л.*)

## Гонец

Стр. 178. *Между ...* — В этом месте обрыв текста. Очевидно, вырваны листы, содержащие картины пожара в Москве.

*...и фиолетовый всадник соскочил...* — В следующей рукописной редакции этот важнейший эпизод опущен автором. При перепечатке текста в 1936 году эпизод был восстановлен в следующей редакции:

«Опять наступило молчание, и оба находящиеся на террасе Воланд и Азазелло глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиною к закату.

Через некоторое время послышался шорох как бы летящих крыльев и на террасу высадился неизвестный вестник в темном и беззвучно подошел к Воланду. Азазелло отступил. Вестник что-то сказал Воланду, на что тот ответил, улыбнувшись:

— Передай, что я с удовольствием это исполню.

Вестник после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло и приказал ему:

— Лети к ним и все устрой».

В мае 1939 года Булгаков внес коренные изменения в этот эпизод: перед Воландом появляется Левий Матвей с просьбой Иешуа о том, чтобы сатана «взял с собой мастера и наградил его покоем». Таким образом, Булгаков в более поздней редакции отходит от концепции подчиненности «царства тьмы» «царству света» и делает их, по крайней мере, равноправными.

## Они пьют

Стр. 179. — *Мир вам, — сказал гнусавый голос.* — Здесь Азазелло кощунственно обыгрывает слова воскресшего Иисуса Христа, произнесенные им перед апостолами: «Мир вам» (Лука, 24:36). Более того, в следующей рукописной редакции Азазелло, увидев обрадовавшуюся ему голую Наташу, стал раскланиваться и повторять: «Мир вам!»

*...но даже дам с содранной кожей...* — Булгаков, видимо, намекает на страшный киевский период 1918—1919 годов, когда он был очевидцем подобных редчайших зверств, которые творили сменявшие друг друга власти.

Стр. 180. — *Просят вас...* — В следующей полной рукописной редакции этому прямому предложению предшествует беседа:

«— Мессир передавал вам привет, — говорил Азазелло, поворачиваясь к Маргарите.

— Передайте ему великую мою благодарность!

Мастер поклонился ему, а Азазелло высоко поднял стопку, до краев полную водкой, негромко воскликнул:

— Мессир!

Маргарита поняла, что этот тост торжественный, так же как понял и мастер; и все сделали так же, как и Азазелло, — сплеснули несколько капель на кровавое мясо ростбифа, и оно от этого задымилось. Причем ловчее всех это сделала Наташа.

Спирт ли, выпитый мастером, появление ли Азазелло, но что-то, словом, было причиной изменения настроения духа мастера и его мыслей.

Он почувствовал, что становится весел и бесстрашен, а подумал так: «Нет, Маргарита права... Конечно, передо мной сидит посланец дьявола... Да, ведь я же сам не далее как ночью позавчера говорил Ивану Бездомному о том, что встреченный им именно дьявол. А теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях! Да какие же, к черту, они гипнотизеры! Дьявол, дьявол!»

Он присматривался к Азазелло и понял, что в глазах у того есть нечто принужденное, какая-то мысль, которую тот пока не выдает.

«Он не просто с визитом, — подумал мастер, — он приехал с поручением».

— *С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.* — Эту главу романа Булгаков писал в сентябре 1934 года, когда свежи еще были в памяти печальные события лета — отказ властей в поездке за границу. На Булгаковых отказ произвел сильнейшее впечатление, и они долго после этого не могли оправиться. Характерно, что Булгаков настаивал на совместной с Еленой Сергеевной поездке. В жалобе на имя Сталина, написанной после отказа 10 июня 1934 года, Булгаков мотивировал совместную поездку тем, что страдает истощением нервной системы и боязнью одиночества, и это полностью соответствовало действительности. Но был и другой принципиальный момент — Булгаков хотел знать, доверяют ли ему или по-прежнему считают человеком неблагонадежным. Об этом запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 3 января 1934 года:

«...М. А., при бешеном ликовании Жуховицкого, подписал соглашение на Турбиных с Лайонсом (американский журналист. — *В. Л.*).

— Вот поедете за границу, — возбужденно стал говорить Жуховицкий. — Только без Елены Сергеевны!..

— Вот крест! — тут Миша истово перекрестился — почему-то католическим крестом, — что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне в руки паспорт вложат.

— Но почему?!

— Потому что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложников за себя».

## Милосердия! Милосердия!

Стр. 183. *Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке* — Волхонка — улица, на которой был расположен грандиозный Храм Христа Спасителя, взорванный в декабре 1931 года.

Стр. 184. *...бледнея от злобы, поднял...* — В этом месте вырваны листы. Вероятно, текст был впечатляющим.

Стр. 185. — *Я уж давно жду этого восклицания, мастер.* — Впервые за семь лет работы над романом его главный герой назван «мастером».

## Ссора на Воробьевых горах

Стр. 186. *Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся.* — В следующей рукописной редакции:

«Воланд сделал повелительный жест, и свита отошла.

— Ну что же, — спросил Воланд у мастера, — вы все еще продолжаете считать меня гипнотизером, а себя жертвой галлюцинации?

— О, нет, — ответил мастер.

— Так в путь! — негромко сказал Воланд.

И тогда черные кони обрушились на террасу, ломая копытами плиты».

Стр. 188. *И кони тут же снялись и скачками понеслись...* — Иной конец главы в машинописной редакции романа 1938 года, резко отличающийся от более ранних рукописных редакций и последнего варианта. Вот этот текст:

«— Ну что же, обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счета оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело.

Тут вдалеке за городом возникла темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. Два-три мгновения, точка эта сверкнула, начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух.

— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротою точку и добавил: — У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело (выделено мною. — *В. Л.*), и вообще все кончено здесь. Нам пора!»

Кстати, этот отрывок текста не был изменен или изъят автором и при доработке последней редакции, поэтому остается загадкой, кто же вместо Булгакова написал концовку этой главы при издании романа в шестидесятые годы.

## Ночь

Стр. 189. *Кони рвались...* — В следующей рукописной редакции начало главы уже близко к последней редакции.

«Боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотом, как загадочны леса.

Кто много страдал, кто летал над этой землей, кто бремя нес на себе, тот это знает».

Стр. 190. *Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ.* — Сравним с фразой из письма Булгакова к Сталину от 30 мая 1931 года: «...мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного».

*...над гигантским городом.* — Возможно, это Париж — город, в который Булгаков стремился много лет, а в 1934 году цель была совсем близка... Писатель приводит весьма характерную деталь — «прямые, как стрелы, бульвары». На одном из таких бульваров жил его брат — Николай Афанасьевич.

Стр. 191. *...после рязанских страданий...* — Сначала в тексте было «ваших страданий». Но затем Булгаков зачеркнул слово «ваших» и надписал сверху «рязанских». Поэтому весьма сомнительным представляется комментарий Л. М. Яновской к этой коровьевской фразе. Она пишет: «В мае того же 1934 года был арестован и выслан в Чердынь, а потом в Воронеж Осип Мандельштам, сосед Булгакова по дому в Нащокинском переулке. Может быть, «Рязань» — здесь псевдоним мандельштамова Воронежа?» (Октябрь, 1991, № 5, с. 185). Булгаков, естественно, остро переживал повальные писательские аресты, но в данном случае «рязанские страдания» — образное и ироническое выражение, символизирующее его собственные страдания.

Стр. 192. — *А здесь вы не собираетесь быть?.. — В свое время навестим.* — Весьма многозначительный вопрос и не менее интересный ответ. Возможно, по мысли писателя, отлично понимавшего ту зловещую роль, которую сыграли внешние силы в подготовке и осуществлении «социальной революции» в России, возмездие наступит и для них.

*Тут последовало преображение...* — Булгаков постоянно искал более точные штрихи к изображению Воланда и его спутников в их подлинном обличье. Вот как это сделано писателем в следующей рукописной редакции:

«Когда же из-за края леса под ногами ее начала выходить

полная луна, обманы исчезли, свалились в болота, утонула в туманах мишурная колдовская одежда.

Тот, кто был Коровьевым-Фаготом, самозваным переводчиком таинственного и не нуждающегося в переводах иностранца, теперь не был бы узнан никем из тех, с кем, на беду их, он встречался в Москве.

По левую руку от Маргариты скакал, звеня золотой цепью, темный рыцарь с мрачным лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он думал о чем-то, летя за своим повелителем, он, вовсе не склонный к шуткам, в своем настоящем виде, он — ангел бездны, темный Абадонна.

Ночь оторвала пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть, расшвыряла ее в клочья. Тот, кто был котом, потешавшим мессира, оказался худеньким юношей, демоном-пажем, летящим, подставив свое лицо луне.

Азазелло летел, блистая сталью доспехов. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый, безобразный клык, кривоглазие оказалось фальшивым. Летел Азазелло — демон безводной пустыни, демон-убийца.

Геллу ночь закутала в плащ так, что ничего не было видно, кроме белой кисти, державшей повод. Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь.

Себя Маргарита не могла увидеть, но она хорошо видела, что сильнее всех изменился мастер.

Волосы его, забранные в косу, покрывала треугольная шляпа. Маргарита видела, как сверкали стремена, когда по ним пробегал встречный лунный луч, и звездочки шпор на ботфортах. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, улыбался ей, что-то бормотал.

Впереди кавалькады скакал Воланд, принявший свое настоящее обличье. Повод его коня был сделан из лунных цепей, конь его был глыбой мрака, грива тучей, шпоры звездами».

Кстати, только в этой редакции в данном месте текста присутствует Гелла. В последующих редакциях ее нет, она «исчезла»! Елена Сергеевна полагала, что Булгаков при перепечатке романа в 1938 году «забыл» Геллу. Едва ли это объяснение правильно. Очевидно, Булгаков предусмотрел ее место в дальнейших сюжетных вариантах, но не успел это сделать.

### Последний путь

Стр. 196. — *Велено унести вас...* — В данной редакции романа явно просматривается стремление автора подчинить «царство тьмы» «царству света».

## ЧЕРНЫЙ МАГ

Стр. 199. *Черновики романа. Тетрадь 1. 1928—1929 гг.* — Роман начинался с предисловия, имеющего несколько вариантов. Сохранилась часть первого слова из названия предисловия — «Божеств/енная/... (может быть, следующее слово — «комедия»?). Рассказ ведется от первого лица и начинается словами: «Клянусь честью...» Из обрывков текста можно понять, что автора заставило взяться за перо какое-то чудовищное происшествие и связано оно с посещением красной столицы (а в другом варианте текста — и других городов Союза республик, в том числе Ленинграда) «гражданином Азазелло».

Глава первая имела несколько названий: «Шестое доказательство», «Доказательство /инженера/», «Пролог»... По содержанию похожа на будущую главу «Никогда не разговаривайте с неизвестными», но насыщена многими подробностями, которые были в дальнейшем опущены. Например, указано время действия — июнь 1935 года. Детально описаны внешность, приметы и одежда героев — Берлиоза и Иванушки, что имеет немаловажное значение для установления их прототипов. Очень подробно рассказано о журнале «Богоборец» и о материалах, помещаемых в нем. Видимо, для Булгакова это было столь важно, что он в мельчайших подробностях описал жуткий карикатурный рисунок на Иисуса Христа, «к каковому... Берлиоз и просил Безродного приписать антирелигиозные стишки». Описание появившегося «незнакомца» взято автором повествования из следственного дела «115-го /отделения/ рабоче-крестьянской милиции», в котором была рубрика «Приметы». И приметы эти составляют 15 (!) страниц булгаковского текста. Любопытно также, что «незнакомец», прежде чем подойти к беседующей паре, покатался по воде на лодочке. Текст главы реконструировать полностью невозможно, поскольку десять листов подрезано под корешок тетради.

Вторую главу принято называть «Евангелие от Воланда»,

но это не точное название. В разметке первых глав, помещенной на одной из страниц, записано: «Евангелие от д/ьявола/». Но и это не первое название главы. Установить полностью название главы трудно, поскольку сохранилось лишь его последнее слово: «... ниссане...», крупно написанное красными чернилами, так же как и следующая глава. Сохранились и кусочки текста из плана этой главы: «**История** у /Каиафы/ в ночь с 25 на 2/6/... 1) Разбудили Каи/афу/... 2) У Каиа/фы/... 3) Утро...» Характерно, что над всем этим текстом Булгаков крупными буквами написал: «Delatores — доносчики».

Глава начинается с рассказа «незнакомца», который «прищурившись... вспоминал», как Иисуса Христа привели «прямо к Анне́» (Анна́ — тесть Каиафы, низложенный ранее первосвященник, фактически обладавший реальной властью. — *В.Л.*). По обрывкам слов можно понять, что Иисус подвергся допросу, при этом его обвиняли в самозванстве. В ответ Иисус улыбался... Затем состоялось заседание Синедриона, но в этом месте пять листов с убористым текстом обрезаны почти под корешок. Можно лишь предположить, что этот текст имел чрезвычайно важное значение для понимания реальной обстановки, сложившейся вокруг писателя в конце двадцатых годов, поскольку «исторические» главы прежде всего и имели скрытый подтекст. Видимо, в уничтоженном тексте просматривались реальные фигуры того времени.

Перед самым обрывом текста легко прочитывается фраза: «Я его ненавижу...» Скорее всего эти слова принадлежат Иванушке, выразившему (скорее всего мысленно) свое отношение к незнакомцу, ведущему рассказ. Что же касается реакции Берлиоза на рассказ и Воланда, то он «не сводя /взора с иностранца, спросил/ вежливо: — Ну-с... поволокли его...»

Из текста, следующего после обрыва листов, можно легко разобрать, что Синедрион принял решение казнить самозванца, а убийцу Вараввана выпустить на свободу. Это свое решение Синедрион и препроводил Пилату.

Реакция Пилата была ужасной. Воланд продолжал свой рассказ внимательным слушателям.

«Впервые в жизни... я видел, как надменный прокуратор /Пилат/ не сумел... сдержать себя... /Он/ резко двинул рукой... /и опроки/нул чашу с ордин/арным вином. Вино/ при

этом расхле/сталось по полу, чаша разбилась/ вдребезги и руки /Пилата обагрились/...

— Ага-а, — про/говорил/... Берлиоз, с велич/айшим/ вниманием слуша/вший/ этот/ рассказ.

— Да-с, — продол/жал/... незнакомец. — Я слышал, к/ак Пилат/ прошипел:

— О, gens scele/ratissi/ma, taeterrima/gens!/* Затем повернулся /лицом к/ Иешуа и сказал, /гневно сверк/нув глазами:

— /Благодари т/вой язык, друг, а /не ужасного/ человека председа/теля Синедриона/ Иосифа Каиафу...»

Далее описывалась известная сцена вынесения Пилатом приговора Иешуа. Воланд резюмировал это трагическое событие так:

«Таким образом, Пилат /вынес/ себе ужасающий пр/иговор/...

— Я содрогнулся, — пр/одолжал незнакомец/... все покатилось...»

Далее Воланд поведал о Веронике, которая пыталась во время тяжкого шествия на Лысый Череп утереть лицо Христу, и о сапожнике, помогавшем Иисусу нести тяжелый крест, и о самой казни. То есть во второй главе первой редакции сконцентрированы все те события, которые впоследствии были «разнесены» автором по нескольким «историческим» главам. В более поздние редакции романа не вошли ряд важных эпизодов главы (заседание Синедриона, шествие Иисуса Христа на казнь и некоторые другие).

Глава третья имеет четкое название — «Доказательство инженера». В ней наконец иностранец представляется друзьям-писателям, назвав себя профессором Вельяром Вельяровичем Воландом. Действует он по-прежнему в одиночестве, без помощников. Выступая как дьявол-искуситель, он своими провокационными выпадами против наивного Иванушки доводит последнего до состояния безумия, и тот разметает им же нарисованное на песке изображение Христа. Но Воланд тем самым испытывал не столько Иванушку, сколько Берлиоза, которого и призывал остановить своего приятеля от безумного действия. Но Берлиоз, понимавший суть происходящего, уклонился от вмешательства и позволил Иванушке совершить роковой шаг. За что, собственно, и поплатился. Смерть Берлиоза описана в деталях, с жуткими

* О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! *(лат.)*

подробностями. Не мог Булгаков простить лидерам писательского мира их полного духовного падения.

Четвертая и пятая главы в названии имели первым словом «Интермедия...» В разметке глав — «Интермедия в...» (возможно, в «Шалаше» или в «Хижине»). Но для четвертой главы более подходит название «На вед/ьминой квартире/, которое дано автором в подзаголовке. В этой небольшой главе рассказывается о некоей поэтессе Степаниде Афанасьевне, которая все свое время делила «между ложем и телефоном» и разносила по Москве всевозможные небылицы и сплетни. Именно она распространила весть о гибели Берлиоза и о сумасшествии Иванушки. Исследователи, очевидно, справедливо полагают, что Булгаков намечал «разместить» Воланда именно в квартире Степаниды Афанасьевны, поэтому и глава названа «На ведьминой квартире». Но затем творческий замысел писателя несколько изменился, в результате чего и сама глава бесследно исчезла.

Пятая же глава, которую условно можно назвать «Интермедия в Шалаше Грибоедова», по содержанию незначительно отличается от последующих редакций. Но совершенно иной в первой редакции финал главы. Дежурившие в больнице санитары заметили убегающего черного пуделя «в шесть аршин». Это был Иванушка Бездомный. Более подробно с содержанием этих двух глав можно ознакомиться в «Литературном обозрении» № 5 за 1991 год, где читателям предложена попытка реконструкции их текста, подготовленная М. О. Чудаковой.

Следующая шестая глава «Марш фюнебров» больше не встречается в других редакциях, хотя в ней рассказывается о довольно значительном событии — похоронах Берлиоза. Бежавший из больницы Иванушка появляется на процессии в виде трубочиста, внеся в ее ряды дикую сумятицу. Затем, овладев повозкой и телом друга, он мчится по Москве, сея вокруг ужас и панику. От такой езды покойник «вылез из гроба», и у очевидцев сложилось впечатление, что он «управляет колесницей». В конечном итоге колесница вместе с гробом сваливается на Крымском мосту в Москву-реку, но Иванушка чудом остается жив, упав до этого с козел. В мозгу у Ивана смешивается реальная действительность с рассказанными Воландом событиями, из его уст то и дело выскакивают мудреные словечки: «Понтийский Пилат», «синедрион»... Как выяснится в других главах, Иванушку вновь водворяют в лечебницу.

Главы седьмая—десятая соответствуют будущим главам «Волшебные деньги», «Степа Лиходеев», «В кабинете Римского» и «Белая магия и ее разоблачение». Правда, от потусторонней силы по-прежнему выступает один Воланд, а действующие герои имеют иные имена. Так, председателем жилищного товарищества является Никодим Гаврилыч Поротый, Варьете возглавляет Гарася Педулаев, его помощниками выступают Цупилиоти и Нютон, а Воланд отрывает голову Осипу Григорьевичу Благовесту. Весьма примечательны и некоторые читаемые фразы. Так, Воланд именует Гарасю Педулаева «алмазнейшим», а когда тот, вытаращив глаза, не может сообразить, кто же все-таки перед ним, заявляет: «Я — Воланд!.. Воланд я!..» Но неискушенный в литературе и мистике Гарася так и не может распознать своего собеседника. Кое-что он, видимо, начал соображать, когда вдруг оказался над крышей своего дома, а через мгновение очутился во Владикавказе.

Весьма важное значение имеет глава одиннадцатая, которая, к сожалению, плохо прочитывается, поскольку многие листы в ней обрезаны под корешок. Видимо, все же это было сделано не автором, а в значительно более позднее время. Главный герой этой главы некий специалист по демонологии Феся, плохо говоривший по-русски, но владевший имением в Подмосковье. После революции этот специалист многие годы читал лекции в Художественных мастерских до того момента, пока в одной из газетных статей не появилось сообщение о том, что Феся в бытность свою помещиком измывался над мужиками в имении. Феся опроверг это сообщение довольно убедительно, заявив, что русского мужика он ни разу не видел в глаза. Сохранился полностью кусочек конца главы. Приводим его ниже:

«...в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатления зверя.

Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужика, правда, без треуха. Подпись под стариком была такая: «Граф Лев Николаевич Толстой».

Феся был потрясен.

— Клянусь Мадонной, — заметил он, — Россия необыкновенная страна! Графы в ней — вылитые мужики!

Таким образом, Феся не солгал».

К сожалению, развития этот многообещающий образ в последующих редакциях не получил. Правда, большая часть

второй редакции была уничтожена автором, и поэтому мы не можем сказать, включалась в нее эта глава или нет.

О следующих четырех заключительных главах редакции, почти полностью сохранившихся, можно лишь сказать, что они не являются центральными и, возможно, поэтому остались нетронутыми. Содержание их мы не передаем, поскольку они публикуются в данном издании. Отметим лишь одну важную деталь: в главе тринадцатой «Якобы деньги» в окружении Воланда появляются новые персонажи — рожа с вытекшим глазом и провалившимся носом, маленький человечишко в черном берете, рыжая голая девица, два кота... Намечалась их грандиозная деятельность в «красной столице».

Стр. 199. *...гражданин Поротый...* — Он же Никанор Иванович Босой.

Стр. 201. *...на углу Триумфальной и Тверской...* — Булгаков имеет в виду бывшую площадь Ст. Триумфальных Ворот, находившуюся на пересечении Тверской и Садовой-Триумфальной улиц. В 1920 году она была переименована в пл. Янышева, а в 1935 году получила имя Маяковского.

Стр. 203. *...троцкистских прокламаций самого омерзительного содержания.* — Писатель иронизирует по поводу бушевавшей тогда «борьбы с троцкизмом», но заодно пользуется случаем еще раз нелестно высказаться в адрес некогда грозного пролетарского вождя.

Стр. 204. *Второй кот оказался в странном месте...* — Второй кот появляется и в следующей редакции романа. Видимо, писатель предполагал расширить свиту Воланда, включив в нее еще одного кота, но впоследствии отказался от этого замысла.

*...на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами.* — Перевернутый крест — кощунственное отношение к распятию — символизирует радость дьявола.

Стр. 205. *...и нос вынужден был заткнуть...* — На этом слове текст обрывается. Следующий лист оборван наполовину. Из сохранившегося текста можно понять, что Воланд выразил свое неудовольствие по поводу несвежей осетрины. Буфетчика же волновало другое — фальшивые деньги, он пытался выразить свои претензии по этому поводу. В ответ послышался возглас Воланда: «Бегемот!» — и далее по тексту.

Стр. 210. *Тут Суковский и Нютон...* — Суковский — он же Библейский, Робинский, Близнецов, Римский.

Нютон — он же Нутон, Благовест, Внучата, Варенуха.

Стр. 211. *...отравил жизнь Осипу Григорьевичу...* — В последующих редакциях в этой роли выступал конферансье Мелунчи, он же — Чембукчи, Жорж Бенгальский.

Стр. 212. *...Аполлона Павловича выбросили...* — В следующих редакциях — Аркадий Аполлонович Семплеяров.

*...Педулаев...* — В следующих редакциях — Степа Лиходеев.

Стр. 214. *«...черные скалы, вот мой покой...»* — Близко к тексту романса Шуберта «Приют» на слова Рельштаба.

## КОПЫТО ИНЖЕНЕРА

Стр. 216. *(Черновики романа. Тетрадь 2. 1928—1929 гг.)* — Глава первая — «Пристают на Патриарш/их/», — к сожалению, не сохранила ни одного целого листа с текстом — все оборваны. Но из оставшихся обрывков видно, что это — расширенный вариант той же главы первой редакции, но без предисловия. Вновь повествование идет от имени автора, пускающегося иногда в любопытнейшие сравнения. Так, записанные в деле № 7001 отделения рабоче-крестьянской милиции «приметы» появившегося на прудах «иностранца» («нос обыкновенный... далее — особых /примет нет/...») никак не удовлетворяют рассказчика и он начинает обыгрывать свои «особые» приметы и своих друзей («У меня, у Николая /Николаевича/, у Павла Сергеевича...»), которые, конечно, отличаются «необыкновенностью». Вероятно, при прочтении этих мест романа в кругу близких знакомых на Пречистенке они вызывали веселье, и особенно у друзей писателя — Николая Николаевича Лямина и Павла Сергеевича Попова, подвергшихся столь пристальному изучению на предмет выявления у них «особых примет». Заметим попутно, что этот кусочек текста мгновенно воскрешает в памяти «особые приметы» главного героя пьесы Булгакова «Батум», поступившие из учреждения розыска: «Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка... Наружность... никакого впечатления не производит...».

Появление «незнакомца» на Патриарших прудах совпало

с моментом ехидного обсуждения писателями изображения Иисуса Христа, нарисованного Иванушкой. Вышел незнакомец из Ермолаевского переулка... И «нос у него был... все-таки горбатый». Рассказ Воланда о давно происшедших событиях начинается в этой же главе, причем особый интерес у незнакомца вызвал Иванушкин рисунок...

Глава вторая названия не сохранила: первый лист с текстом обрезан под корешок. К счастью, значительная часть листов этой главы остались целыми полностью. Из сохранившегося текста можно понять, что глава начинается с рассказа Воланда о заседании Синедриона. Мелькают имена Каиафы, Иуды, Иоанна. Иуда Искариот совершает предательство. Каиафа благодарит Иуду за «предупреждение» и предостерегает его — «бойся Толмая». Примечательно, что сначала было написано «бойся фурибунды», но затем Булгаков зачеркнул слово «фурибунда» и написал сверху «Толмая». Значит, судьба предателя Иуды была предрешена писателем уже в начале работы над романом.

Из других частей полууничтоженного текста можно воспроизвести сцену движения процессии на Лысый Череп. Булгаков, создавая эту картину, как бы перебрасывал мостик к современности, показывая, что человек, выбравший путь справедливости, всегда подвергается гонениям. Замученный вконец под тяжестью креста Иешуа упал, а упав, «зажмурился», ожидая, что его начнут бить. Но «взводный» (!), шедший рядом, «покосился на упавшего» и молвил: «Сел, брат?»

Подробно описывается сцена с Вероникой, которая, воспользовавшись оплошностью охранников, подбежала к Иешуа с кувшином, разжала «пальцами его рот» и напоила водой.

В заключение своего рассказа о страданиях Иешуа Воланд, обращаясь к писателям и указывая на изображение Иисуса Христа, говорит с иронией: «Вот этот са/мый/... но без пенсне...»

Следует заметить, что некоторые фрагменты текста, даже не оборванного, расшифровываются с трудом, ибо правлены они автором многократно, в результате чего стали «трехслойными». Но зато расшифровка зачеркнутых строк иногда позволяет прочитать любопытнейшие тексты. В свое время я высказывал предположение, что в первых редакциях романа в образе Пилата проявились некоторые черты Сталина. Дело в том, что вождь, навещая Художественный театр, иногда в беседах с его руководством сетовал, что ему трудно сдержи-

вать натиск ортодоксальных революционеров и деятелей пролетарской культуры, выступающих против МХАТа и его авторов. Речь прежде всего шла о Булгакове, которому, разумеется, содержание бесед передавалось. Возникали некоторые иллюзии, которые стали рассеиваться позже. Так вот, ряд зачеркнутых фрагментов и отдельные фразы подтверждают, что Булгаков действительно верил в снисходительное отношение к нему со стороны вождя. Приведем наиболее характерные куски восстановленного авторского текста: «Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня... Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другую вещь, покажи, как ты выберешься из петли, потому что, сколько бы я ни тянул тебя за ноги из нее — такого идиота — я не сумею этого сделать, потому что объем моей власти ограничен. Ограничен, как все на свете... Ограничен!! — истерически кричал Пилат».

Очевидно, понимая, что такой текст слишком откровенно звучит, Булгаков подредактировал его, несколько сглаживая острые углы, но сохраняя основную мысль о зависимости правителя от внешней среды.

Таким образом, вторая глава существенно переработана автором в сравнении с ее первым вариантом. Но, к сожалению, название ее так и не удалось выяснить.

Название третьей главы сохранилось — «Шестое доказательство» (по-видимому, «цензоров» этот заголовок удовлетворил). Эта глава менее других подверглась уничтожению, но все же в нескольких местах листы вырваны. К сожалению, почти под корешок обрезаны листы, рассказывающие о действиях Толмая по заданию Пилата. Но даже по небольшим обрывкам текста можно понять, что Толмай не смог предотвратить «несчастье» — «не уберег» Иуду.

Представляют немалый интерес некоторые зачеркнутые автором фразы. Так, в том месте, когда Воланд рассуждает о толпе, сравнивая ее с чернью, Булгаков зачеркнул следующие его слова: «Единственный вид шума толпы, который признавал Пилат, это крики: «Да здравствует император!» Это был серьезный мужчина, уверяю вас». Тут же напрашивается сопоставление этой фразы Воланда с другой, сказанной им перед оставлением «красной столицы» (из последней редакции): «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам пора!» Эта загадочная реплика Воланда, видимо, относилась к правите-

лю той страны, которую он покидал. Из уст сатаны она приобретала особый смысл. Следует заметить, что этот фрагмент текста до настоящего времени так и не вошел ни в одну публикацию романа, в том числе и в пятитомник собрания сочинений Булгакова.

К сожалению, конец главы также оборван, но лишь наполовину, поэтому смысл написанного достаточно легко воспроизвести. Весьма любопытно поведение Воланда после гибели Берлиоза (в других редакциях этот текст уже не повторяется). Его глумление над обезумевшим от ужаса и горя Иванушкой, кажется, не имеет предела.

«— Ай, яй, яй, — вскричал /Воланд, увидев/ Иванушку, — Иван Николаевич, такой ужас!..

— Нет, — прерывисто /заговорил Иванушка/ — нет! Нет... стойте...»

Воланд выразил на лице притворное удивление. Иванушка же, придя в бешенство, стал обвинять иностранца в причастности к убийству Берлиоза и вопил: «Признавайтесь!» В ответ Воланд предложил Иванушке выпить валерьяновых капель и, продолжая издеваться, проговорил:

«— Горе помутило /ваш разум/, пролетарский поэт... У меня слабость... Не могу выносить... ауфвиедерзеен.

— /Зло/дей, /вот/ кто ты! — глухо и /злобно прохрипел Иванушка/ ... К Кондрату /Васильевичу вас следует отправить/. Там разберут, /будь/ покоен!

— /Какой/ ужас, — беспомощно... и плаксиво заныл Воланд ... Молодой человек ... некому даже /сообщить/, не разбираю здесь...»

И тогда Иванушка бросился на Воланда, чтобы сдать его в ГПУ.

«Тот тяжелой рукой /сдавил/ Иванушкину кисть и... он попал как бы в /капкан/, рука стала наливаться... /об/висла, колени /задрожали/...

— Брысь, брысь отс/юда, — проговорил/ Воланд, да и... чего ты торчишь здесь... Не подают здесь... Божий человек... /В голове/ завертелось от таких /слов у/ Иванушки и он сел... И представились ему вокруг пальмы...»

Четвертая глава «Мания фурибунда» представляет собой отредактированный вариант главы «Интермедия в Шалаше Грибоедова» из первой редакции. Булгаков подготовил эту главу для публикации в редакции сборников «Недра» и сдал ее 8 мая 1929 года. Это единственная точная дата, помогаю-

щая установить приблизительно время работы над двумя первыми редакциями романа.

Сохранилось также окончание седьмой главы (обрывки листов с текстом), которая в первой редакции называлась «Разговор по душам».

Можно с уверенностью сказать, что вторая редакция включала по крайней мере еще одну тетрадь с текстом, поскольку чудом сохранились узкие обрывки листов, среди которых есть начало главы пятнадцатой, называвшейся «Иснализуч...». Следовательно, были и другие главы. Видимо, именно эти тетради и были сожжены Булгаковым в марте 1930 года.

Стр. 216. */Евангелие от Воланда/* — Условное название второй главы второй черновой редакции романа, поскольку лист текста с названием главы вырезан ножницами.

*— Гм, — сказал секретарь.* — С этой фразы начинается текст второй главы романа. До этого, как видно из сохранившихся обрывков вырванных листов, описывалось заседание Синедриона, на котором Иуда давал показания против Иешуа. Вероятно, Булгаков использовал при этом различные исторические источники, но из рабочих материалов сохранились лишь отдельные записи. Очевидно, они были уничтожены вместе с рукописями. Но существуют более поздние записи писателя, касающиеся заседания Синедриона, решавшего судьбу Иешуа. «...был приведен в Синедрион, но не в Великий, а в **Малый**, состоявший из 23 членов, где председательствовал первосвященник Иосиф Каиафа». Эта выписка была сделана Булгаковым из книги Г. Древса «История евреев от древнейших времен до настоящего». Т. 4, Одесса, 1905, с. 226.

*Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски.* — Смысл вопроса соответствует евангельским повествованиям. «Иисус же стал перед правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский?» (Матфей, 27 : 11). Согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Иисус Христос на допросе Пилата молчал. Однако в повествованиях Евангелия от Иоанна Иисус Христос отвечал на вопросы Пилата. Булгаков при описании данного сюжета взял за основу именно Евангелие от Иоанна, но трактовал его вольно, сообразуясь со своими творческими идеями.

*Слова он знал плохо.* — Добиваясь точности в изложении исторических деталей, Булгаков уделяет большое внимание

языкам, на которых говорили в те времена в Иудее. В черновых материалах можно прочесть, например, такие записи: «Какими языками владел Иешуа?», «Спаситель, вероятно, говорил на греческом языке...» (Фаррар, с. 111), «Мало также вероятно, что Иисус знал по-гречески» (Ренан Ж. И., с. 88), «На Востоке роль распространителя алфавита играл арамейский язык...», «Арамейский язык... во времена Христа был народным языком, и на нем были написаны некоторые отрывки из Библии...». Поскольку официальным языком в римских провинциях была латынь, Пилат (речь идет о ранней редакции романа, когда Булгаков, возможно, полагал, что Иисус плохо знал греческий и латынь) начинает допрос на латыни, однако, убедившись, что Иисус плохо владеет ею, переходит на греческий, который также использовался римскими чиновниками в Иудее. В позднейших редакциях романа Пилат, выясняя грамотность арестованного, обращается к нему сначала на арамейском, через некоторое время переходит на греческий и, наконец, убедившись в блестящей эрудиции допрашиваемого, использует и латынь.

*...тысяча девятьсот лет пройдет...* — В следующей редакции: «...две тысячи лет пройдет, ранее... (он подумал еще), да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной». В последней редакции: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время».

*...ходит он с записной книжкой и пишет... этот симпатичный...* — В материалах к роману есть весьма любопытная выписка: «Левий Матвей и Мария. Так же последователем был богатый мытарь, которого источники называют то Матфеем, то Леви, и в доме которого Иешуа постоянно жил и вернулся с товарищами из самого презренного класса. К его последователям принадлежали и женщины сомнительной репутации, из которых наиболее известна Мария Магдалина (из города Магдалы — Торихен близ Тивериады)... Гретц, История евреев. Том IV, с. 217».

Стр. 219. *Супруга его превосходительства Клавдия Прокула...* — В Евангелии от Матфея: «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (27 : 19). За ходатайство перед судом прокуратора Клавдия Прокула была причислена греческой, коптской и эфиопской церквами к лику святых.

*...и вам, ротмистр, следует знать...* — Ротмистр — офицерское звание в дореволюционной русской кавалерии, соответствовало званию капитана в пехоте. Разумеется, Булгаков записал это звание условно.

*...в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора...* — Кесария Филиппова — город на севере Палестины, в тетрархии Ирода Филиппа, который построил его в честь кесаря Тиберия. О Кесарии Филипповой в Евангелии от Матфея сказано: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (16:13).

Если в 1929 году Булгаков полагал, что резиденция Пилата находилась в Кесарии Филипповой, то в последующие годы он стал сомневаться в этом, о чем есть следующая запись в тетради: «В какой Кесарии жил прокуратор? Отнюдь не в Кесарии Филипповой, а в Кесарии Палестинской или Кесарии со Стратоновой башней, на берегу Средиземного моря». И в окончательной редакции романа Пилат уже говорит о «Кесарии Стратоновой на Средиземном море».

Стр. 220. *«Корван, корван»...* — Очевидно, имеется в виду иудейский термин «корвана» — один из видов жертвоприношения, по-арамейски «жертвенный дар».

Стр. 222. *...в двадцать пять лет такое легкомыслие!* — В рукописи-автографе было сначала «тридцать лет». В Евангелии от Луки говорится: «Иисус, начиная *Свое служение*, был лет тридцати...» (3:23). В последней редакции романа Иисусу Христу двадцать семь лет.

Стр. 224. *...страшный ниссан выдался...* — Нисанну, нисан — по вавилонскому календарю, которым пользовались тогда в Палестине, весенний месяц, соответствующий марту—апрелю.

Стр. 226. *...не выйду на гаввафу.* — Гаввафа — еврейское название лифостротона.

Стр. 228. *...и в нем пропал.*— В этом месте вырвано шесть листов с текстом. По сохранившимся «корешкам» с текстом можно установить, что далее описывается путь Иешуа на Лысый Череп.

Стр. 230. *...маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу...* — Череп или Лысый Череп — Голгофа, что значит по-арамейски «череп». Латинское название «кальва-

риум» происходит от слова calvus («лысый»). Голгофа — гора к северо-западу от Иерусалима. В рабочей тетради Булгакова замечено: «**Лысая Гора,** Череп, к северо-западу от Ершалаима. Будем считать в расстоянии 10 стадий от Ершалаима. Стадия! 200 стадий — 36 километров».

Стр. 231. ...*травильный дог Бангá*... — Л. Е. Белозерская в своих воспоминаниях пишет, что своего домашнего пса они называли Бангóй.

Стр. 232. — *Здравствуйте, Толмай*... — В последующих редакциях — Афраний.

Стр. 234. ...*у подножия Иродова дворца*... — дворец в Иерусалиме, построенный Иродом Великим на западной границе города. Был вместе с тем и сильной крепостью.

...*Владимир Миронович*... — он же Михаил Александрович Берлиоз.

Стр. 235. — *Кстати, некоторые главы из вашего Евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»*... — Такого журнала не существовало, но Союз воинствующих безбожников, образовавшийся в 1925 году, имел такие периодические издания, как газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Безбожник у станка», «Деревенский безбожник», «Юные безбожники» и др.

Стр. 240. ...*и дочь ночи Мойра допряла свою нить*. — В древнегреческой мифологии Мойры — три богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды (в мифах архаической эпохи считались дочерьми богини Ночи). Клото пряла нить жизни, Лахесис определяла судьбы людей, Атропос в назначенный час обрезала жизненную нить.

Стр. 241. — *Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин*... — В послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козме с братией, написанном по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами, есть слова: «Есть у вас Анна́ и Каиафа — Шереметев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое». Шереметев и Хабаров — опальные бояре, Варлаам — в миру окольничий (2-й чин Боярской Думы) Собакин Василий Меньшой Степанович.

Стр. 242. *...а из храма выходил страшный грешный человек — исполу — царь, исполу — монах.* — Иван Васильевич Грозный (1530—1584), с 1533 года — великий князь, с 1547 года — царь.

## ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ К ГЛАВАМ РОМАНА, НАПИСАННЫЕ В 1929—1931 гг.

Стр. 247. *... гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский...* — В одном из черновиков читаем: «Сад молчал, и молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский — в позапрошлом году полетевший в Кисловодск на аэроплане и разбившийся над Ростовом».

Стр. 248. *... в первую из цепи страшных московских ночей, я видел ад.* — Сохранилось несколько вариантов описания «адских плясок» в писательском ресторане. Приводим один из самых ранних:

«В аду плясали. Пар, дым плыли под потолком. Плясал Прусевич, Куплиянов, Лучесов, Эндузизи, плясал самородок Евпл Бошкадиларский из Таганрога, плясали Карма, Картояк, Крупилина-Краснопальцева, плясал нотариус, плясали одинокие женщины в платьях с хвостами, плясал один в косоворотке, плясал художник Рогуля с женой, бывший регент Пороков, плясали молодые люди без фамилий, не художники и не писатели, не нотариусы и не адвокаты, в хороших костюмах, чисто бритые, с очень страдальческими глазами, плясали женщины на потолке и пели «Аллилуйя!». Плясала полная, лет шестидесяти, Секлетея Гиацинтовна Непременова, некогда богатейшая купеческая внучка, ныне драматургесса, подписывающая свои полные огня произведения псевдонимом «Жорж-Матрос».

И был час десятый».

*И родилось видение... прошел человек во фраке...* — По мнению некоторых исследователей-булгаковедов (Б. С. Мягкова и других), прототипом Арчибальда Арчибальдовича послужил директор писательского ресторана в «Доме Герцена» Яков Данилович Розенталь — фигура колоритная, привлекавшая внимание посетителей этого заведения.

Стр. 249. *Поэт же Рюхин...* — Персонаж, вобравший в себя черты многих писателей и поэтов, занимавшихся подхалимской писаниной.

*...впал в правый уклон.* — В конце двадцатых годов

Булгаков оказался одной из жертв кампании против правого уклона в искусстве и литературе. «В области театра у нас налицо правая опасность, — отмечалось в редакционной статье журнала «Новый зритель» 25 ноября 1928 года. — Под этим знаком мы боролись... против чеховского большинства в МХТ-II, против «Дней Турбиных»... Ближайшие месяцы несомненно пройдут под знаком контрнаступления левого сектора в театре». В феврале 1929 года один из руководителей Главреперткома В. И. Блюм выступил со статьей «Правая опасность и театр», которая почти полностью была посвящена разбору пьесы «Дни Трубиных» как наиболее яркому и «опасному» произведению, проповедующему идеи побежденного класса, то есть буржуазии (См.: «Экран», 17 февраля 1929 г.). В первом номере журнала «Советский театр» за 1930 год имя Булгакова вновь склоняется в связи с борьбой против правого уклона. «Именно театр, — подчеркивалось в передовой статье, — оказался наиболее удобной позицией для обстрела политических и культурных завоеваний рабочего класса. Злобные политические памфлеты и пародии на пролетарскую революцию прежде всего нашли свое место на театральных подмостках («Зойкина квартира», «Багровый остров»). Именно на театр направлено главное внимание врагов». А в статье «Начало итогов» (автор — Р. Пикель) прямо отмечалось, что важнейшим фактором, «подтверждающим укрепление классовых позиций на театре, является очищение репертуара от булгаковских пьес».

*... не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб.* — Писатель в данном случае обыгрывает текст статьи «Искусство и правый уклон», помещенной в газете «Вечерняя Москва» от 2 марта 1929 года. В ней говорилось: «Никто /из комсомольцев/ не спорил по существу — о правом уклоне в художественной литературе... Следовало бы, пожалуй, говорить не только о правом, но о левом уклоне в области художественной политики... О «левом» вывихе докладчик почему-то умолчал».

Стр. 252. — *Нет, не помилую...* — В первой редакции:

«— Бейте, граждане, арамея! — вдруг взвыл Иванушка и высоко поднял левой рукой четверговую свечечку, правой засветил неповинному... чудовищную плюху...

Вот тогда только на Иванушку догадались броситься... Воинственный Иванушка забился в руках.

— Антисемит! — истерически прокричал кто-то.

— Да что вы, — возразил другой, — разве не видите, в каком состоянии человек! Какой он антисемит! С ума сошел человек!

— В психиатрическую скорей звоните! — кричали всюду».

## ГЛАВЫ РОМАНА, ДОПИСАННЫЕ И ПЕРЕПИСАННЫЕ В 1934—1936 гг.

Стр. 284. *Белая магия и ее разоблачение.* — Написана в ноябре 1934 года, о чем есть запись в дневниках Е. С. Булгаковой от 8 ноября: «М. А. диктовал мне роман — сцену в кабаре».

Стр. 293. *И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.* — За фигурой Семплеярова угадывается А. С. Енукидзе. Хотя фамилия Семплеярова как предполагаемого персонажа романа упоминается в черновиках 1931 года, в качестве действующего лица введена в конце 1934 года. И это не случайно. Как мы уже отмечали, в июне этого года Булгакову было отказано в поездке в Париж и Рим. Заявление же на выезд писатель подавал через Енукидзе. Видимо, Булгаков полагал, что Енукидзе не оказал, в лучшем случае, необходимую помощь в этом деле. Во всяком случае, любопытны следующие записи в дневнике Е. С. Булгаковой.

«1 мая... Прошение о двухмесячной поездке за границу отдано Якову Л/еонтьеву/ для передачи Енукидзе. Ольга (Бокшанская — сестра Е. С. — *В. Л.*), читавшая заявление, раздраженно критиковала текст...

— С какой стати Маке (домашнее имя Булгакова. — *В. Л.*) должны дать паспорт? Дают таким писателям, которые заведомо напишут книгу, нужную для Союза. А разве Мака показал чем-нибудь после звонка Сталина, что он изменил свои взгляды?

4 мая... А сегодня М. А. узнал от Якова Леонтьева, что Енукидзе наложил резолюцию на заявлении М. А.: «Направить в ЦК».

Результаты рассмотрения в ЦК мы уже знаем.

Следует заметить, что в отношении Енукидзе Булгаков оказался провидцем: через полгода, 7 июня 1935 года, А. С. Енукидзе был исключен из партии, ему инкриминировали «политическое и бытовое разложение».

Стр. 296. ... *про солнечный размах... писали?* — Булгаков вновь возвращается к одной из центральных тем романа — к призванию писателя. Лицемерие и фальшь в писательском деле он рассматривал как духовное падение человека, не имеющее оправдания. Наиболее ярко эту мысль Булгаков выразил в образе писателя Пончика-Непобеды (пьеса «Адам и Ева»). Приведем ниже фрагмент из знаменитого монолога Пончика-Непобеды:

«Господи! Господи!.. Прости меня за то, что я сотрудничал в «Безбожнике». Прости, дорогой Господи! Перед людьми я мог бы отпереться, так как подписывался псевдонимом, но тебе не совру — это был именно я! Я сотрудничал в «Безбожнике» по легкомыслию... Матерь Божия, но на колхозы ты не в претензии?.. Ну что особенного? Ну мужики были порознь, ну а теперь будут вместе. Какая разница, Господи? Не пропадут они, окаянные! Воззри, о Господи, на погибающего раба твоего Пончика-Непобеду, спаси его! Я православный, Господи, и дед мой служил в консистории...»

Стр. 296. ... *Иван этого не поймет.* — В следующей рукописной редакции («Князь тьмы»): «Гость сказал, что охотно объяснил бы Ивану сразу и тут же, но не сделает это только потому, что боится потрясти Ивана, а тот, как бы там ни было, психически явно ущербен».

Стр.297. — *Я — мастер.* — В 1937—1938 годах Булгаков возвращается к теме глав «Гроза и радуга» и «Полночное явление». См. «Приложения», с. 329, глава «Явление героя».

... *не успел он дописать свой роман до половины, как...* Далее идет авторское многоточие. Эту часть текста Булгаков дописал во второй полной редакции (предыдущее примечание).

Стр. 298. *Настал самый мучительный час шестой.* — В последующих редакциях: «Солнце уже снижалось над Лысой Горой...» В публикуемой редакции Булгаков придерживается евангельского повествования.

Стр. 299. ... *громадный щит с надписью на ... языке «Разбойники»...* — Булгаков не написал, на каком языке. Видимо, еще размышлял и не пришел к определенному решению. В следующей редакции: «...ехала повозка, нагруженная тремя дубовыми столбами с перекладинами, веревками и таблица-

ми с надписями на трех языках — латинском, греческом и еврейском». То есть Булгаков повторил то, что записано в Евангелиях от Луки (23:38) и от Иоанна (19:20). Однако в последней редакции писатель вновь отошел от евангельских повествований и изменил текст. Теперь он звучал так: «...ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках — арамейском и греческом».

Стр. 302. ... *и поднял с земли нож. Но он не успел ударить себя*. В следующей редакции безумное отчаяние Левия Матвея доведено писателем до крайней точки. Несомненно, на тексте отразилось и нарастающее год от года бессильное отчаяние самого автора. В этой, пока не опубликованной, редакции далее следовало:

«Осипшим звериным голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не будет.

— Бог, ты глух! — рычал Левий Матвей, — а если ты не глух, услышь меня и убей тут же! Ну, убей!

И жмурясь, Левий ждал огня, который упадет на него с неба.

Этого не случилось, и бывший сборщик податей в остервенении и затемнении ума решил продолжать бой с Богом.

По-прежнему не разжимая век, не видя окружающего, он кричал язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, чтобы человек с такими ясными глазами, как Иешуа, великий и добрый, в позоре был сжигаем солнцем на столбе.

— Я ошибался, — кричал охрипший Левий Матвей, — ты Бог зла, только Бог зла мог допустить такой позор! О, чистые, как небо Галилеи, глаза! Неужто ты не разглядел их? Или твои глаза закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать кроме трубных звуков священников? Ты Бог глухой, слепой, не всемогущий. Бог зла, ты черный Бог! Проклинаю тебя! Бог разбойников, их покровитель и душа! Проклинаю!

Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику и зашелестело под ногами. Дунуло еще раз, и тогда Левий, открыв глаза, увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу других причин, изменилось. Солнце исчезло; не дойдя до моря, в котором тонуло каждый вечер. По небу с запада поднималась грозно и неуклонно, стерев солнце, гро-

зовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча рычала, огненные нити вываливались из нее. По дороге, ведшей к Ершалаиму, гонимые внезапно поднявшимся ветром летели, вертясь, пыльные столбы.

Левий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Ершалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, чертившие под тучей, решил просить у Бога, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В испуге и отчаянии глянул на небо, в котором стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, в испуге подумал, что поспешил с проклятиями и заклинаниями, и Бог не послушает его.

Повернулся к дороге, ведущей на холм, и, забыв про тучу и молнию, приковался взором к тому месту, где стоял эскадрон. Да, там были изменения. Левий сверху отчетливо видел, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы, бежа рысцой, вели к дороге лошадей.

Эскадрон снимался, это было ясно. Левий моргал напряженными глазами, защищаясь от пыли рукой, старался сообразить, что может значить то, что кавалерия собирается уходить?

Он перевел взгляд повыше и разглядел издали маленькую фигурку в багряной военной хламиде, поднимающуюся к площадке казни. И тут от предчувствия конца похолодело сердце бывшего сборщика. Забыв, что он только что совершил непростительный грех, проклиная создателя вселенной, он мысленно вскричал: «Боже, дай ему конец!», но и тут не забыл про свою таблицу. Он присел на корточки, осыпаемый пылью, достал из-под камня таблицу, стал чертить слова.

Поднимающийся на гору в четвертом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший с солдатом, у которого на поводу была лошадь без всадника».

*На третьем кресте шевеления не было.* — В следующей редакции: «Счастливее других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме».

Стр. 308. *Что снилось Босому.* — Эта глава имела несколько названий: «Разговор по душам», «Необыкновенные приключения Босого», «Московские ночи». В последней редакции — «Сон Никанора Ивановича».

Стр. 309. *Сдавайте валюту!* — Некоторые исследователи полагают, что у описанной Булгаковым сцены вымогательства валюты был «литературный прототип». Так, Г. Лескис в комментарии к этой главе (М. А. Булгаков. Собр. соч., т. 5, с. 652) пишет: «... у этой неправдоподобной сцены был литературный прототип — книга немецкого писателя-антифашиста Л. Фейхтвангера «Москва. 1937»... В этой книге описывался инсценированный Сталиным судебный процесс над Радеком, Пятаковым и др. ...Фейхтвангер пытался уверить весь мир, будто обвиняемые... действительно совершали те преступления, в которых их обвиняли, а все это «походило больше на дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди..». Но следует заметить, что Булгаков, отрицательно относившийся к данному произведению Л. Фейхтвангера, главу «Что снилось Босому» написал в 1933—1935 годах! Как раз в это время заканчивалась вторая волна по насильственному изъятию валюты у населения. Кстати, Булгаков по этому поводу (противозаконному, естественно) особых печальных чувств не испытывал.

Стр. 311. *...Сергея Герардовича...*— Сначала в тексте было «Сергея Бухарыча», а затем Булгаков исправил на Герардовича, но не везде.

Стр. 313. *И опять наступил антракт, ознаменов...* — В этом месте вырван лист с текстом.

Стр. 315. — *Пречистенка, 2-й Лимонный...* — Лимонный переулок выдуман писателем. По-видимому, подразумевался Померанцев пер., соединявший Пречистенку с Остоженкой. Померанец — горький апельсин, дерево из группы цитрусовых. Переулок был переименован в 1922 году из Троицкого в Померанцев в честь одного из участников Октябрьских боев в Москве — А. А. Померанцева. Возможно, Булгаков, игнорировавший переименования улиц, в данном случае обыгрывает это новое наименование.

Стр. 318. *История костюма и прочее.* — Другие названия главы: «Странный день», «Безумный день».

Стр. 321. *Блистающая красотой женщина...* — В следующей редакции: «... красавица Сусанна Ричардовна Брокар». В последней редакции — «Анна Ричардовна».

Стр. 327. — *Ты награжден. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа...* — В следующей полной рукопис-

ной редакции Булгаков вновь переписывает конец романа.

«Человек кинулся по лунной ленте и исчез в ней вместе с верным и единственным спутником Бангой.

— Он пошел на соединение с ним, — сказал Воланд, — и, полагаю, найдет наконец покой. Идите же и вы к нему! Вот дорога, скачите по ней вдвоем, с вашей верной подругой, и к утру воскресенья вы, романтический мастер, вы будете на своем месте. Там вы найдете дом, увитый плющом, сады в цвету и тихую реку.

Днем вы будете сидеть над своими ретортами и колбами, и, может, вам удастся создать гомункула.

А ночью при свечах вы будете слушать, как играют квартеты кавалеры. Там вы найдете покой! Прощайте! Я рад!

С последними словами Воланда Ершалаим ушел в бездну, а вслед за ним в ту же черную бездну кинулся Воланд, а за ним его свита.

Остался только мастер и подруга его на освещенном луною каменистом пике и один черный конь».

## Главы из второй полной рукописной редакции (1937—1938 гг.)

Стр. 331. — *Это опасный переулок... здесь может проехать машина, а в ней человек...* — Вероятно, речь идет о Л. П. Берии, особняк которого находился невдалеке от Тверской улицы. О «шалостях» наркома внутренних дел Булгаковы, видимо, прекрасно знали.

Стр. 333. ... *в нем оказалось пять экземпляров романа.* — Еще одно признание автора о том, что существовал машинописный вариант романа о дьяволе.

Стр. 334. ... *критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.* — Следует заметить, что Булгаков не оставлял без внимания ни одной критической статьи в свой адрес. Он вырезал их из газет и журналов, надписывал и вклеивал в альбом, который со временем превратился в толстенную книгу. Кроме того, он составлял список авторов этих статей. Так, один из списков имеет следующий заголовок: «Список врагов М. Булгакова по «Турбиным». Среди десятков фамилий — известные имена: А. В. Луначарский, Ф. Ф. Раскольников, М. Е. Кольцов, В. М. Киршон, А. А. Фадеев, А. Безыменский, В. В. Алперс, Р. Пикель и многие другие.

За фигурами критиков Аримана и Латунского узнаются активнейшие гонители Булгакова Л. Л. Авербах (1903—1939) — генеральный секретарь пресловутого РАППа, редактор ряда журналов, критик и публицист, и О. С. Литовский (1892—1971) — председатель Главреперткома, театральный критик и драматург. А за именем Мстислава Лавровича просматривается Всеволод Вишневский, нередко обрушивавшийся с критикой на произведения Булгакова.

Стр. 335. ... *сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.* — Во многих «ругательных» статьях Л. Л. Авербаха и других критиков, направленных против «Дней Турбиных» и «Бега», употреблялись подобные выражения, только речь шла не о религии, а о белом движении. Так, в статье И. Бачелиса «Бег назад должен быть приостановлен» (Комсомольская правда, 23 октября 1928 г.) говорилось, что МХАТ делает «попытку протащить **булгаковскую апологию белогвардейщины** в советский театр, на советскую сцену, показать эту, написанную **посредственным богомазом** (выделено мною. — *В. Л.*), икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю».

... *крепко ударить по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал ее протащить...* — В конце двадцатых годов в газетах нередко мелькали такие заголовки: «Ударим по булгаковщине!», «На посту против булгаковщины», «Против булгаковщины» и т.п. «Булгаковщина всех видов или полнокровная советская тематика? — так станет вопрос перед МХТ сегодня, в день его тридцатилетней годовщины», — писал О. С. Литовский в «Комсомольской правде» 27 октября 1928 года.

... *называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец».* — Этим названием Булгаков как бы обобщил совокупность лживых статей, которых были десятки. Так, Р. Пикель в статье «Начало итогов» (Советский театр, 1930, №1) писал: «Имя Булгакова было синонимом неприкрытого сменовеховства, устряловщины и мелкобуржуазной политической реакции на театре и одновременно знаменем и целой программой для ретроградных и консервативных группировок...»

Стр. 338. — *Я тебя вылечу, не дам тебе сдаться...* — Здесь Булгаков воспроизводит слова Елены Сергеевны, часто произносимые ею в тяжелые для писателя времена. 14 января

1933 года Михаил Афанасьевич писал своему брату Николаю в Париж: «Силы мои истощились... Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее».

Стр. 342. ... *кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки...* — Н. Шапошникова в очерке «Булгаков и пречистенцы» (Архитектура и строительство Москвы, 1990, № 5, с. 23) пишет: «Не существовало химчисток, прачечных в том смысле слова, в каком мы привыкли понимать теперь... Шерстяные вещи... мыли в «бензине» — специальной жидкости, продававшейся в керосиновых лавках — прежних хозяйственных магазинах — Булгаков именует их «нефтелавками» на более старинный лад». В данном случае Булгаков, по всей видимости, упоминает нефтелавку, которая находилась в доме № 22 по Сивцеву Вражку.

Стр. 344. *Приятно разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в человеке исступленный восторг.* — Писал эти строки Булгаков в 1937 году, и понятно, что в последующих редакциях они были сняты автором.

*Царствую над улицей! — прокричала Маргарита...* — Булгаков развивает все тот же мотив безнаказанного самовластия... И эти слова, естественно, были исключены автором при корректировке текста.

Стр. 358. *...про кровавую свадьбу какого-то своего друга Гессара...* — Речь идет о свадьбе Маргариты Валуа, дочери французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, с Генрихом Наваррским, закончившейся величайшим кровопролитием — Варфоломеевской ночью. На свадьбу в Париж съехались гугенотская аристократия и рядовые дворяне из южных провинций. 18 августа 1572 года была отпразднована свадьба, в ночь на 24 августа, в канун дня св. Варфоломея, ударил набат, и началась резня гугенотов. В рабочих материалах к роману имеется такая запись: «**Маргарита** Валуа (1553—1615). Варфоломеевская ночь, кровавая свадьба». Имя «Маргарита» Булгаков жирно подчеркнул чернилами и красным карандашом.

Гессар — издатель писем Маргариты Валуа в 1842 году в Париже.

Стр. 360. *...на каком-то кладбище в районе Дорогомило-*

*ва.* — Одно из старых кладбищ, которое было ликвидировано при застройке Москвы.

Стр. 361. *...на цыпочках подошел к перилам, глянул вниз.* — В дневнике Е. С. Булгаковой (в первой неопубликованной редакции) есть любопытная запись от 8 ноября 1935 года: «...решили идти в «Националь»... Сидим. Еда вкусная. Вдруг молодой человек, дурно одетый, вошел как к себе домой, пошептался с нашим официантом, спросил бутылку пива, но пить ее не стал, сидел, не спуская с нас глаз. Миша говорит: «по мою душу». И вдруг нас осенило. Шофер сказал, что отвезет, этот не сводит глаз, — конечно, за Мишей следят. Дальше лучше. Я доедаю мороженое, молодой человек спросил счет. Мы стали выходить. Оборачиваемся на лестнице, видим — молодой человек, свесившись, стоит на верхней площадке и совершенно уж беззастенчиво следит за нами. Мы на улицу, он без шапки, без пальто мимо нас, мимо швейцара, шепнув ему что-то. Сообразили — вышел смотреть, не сядем ли мы в какую-нибудь иностранную машину. Ехали в метро, хохотали».

Стр. 364. *...весенним балом полнолуния...* — Не исключено, что мысли о весеннем бале полнолуния были навеяны во время посещений Булгаковыми американского посольства весной 1935 года и присутствием на фантастических по богатству балах (об этом подробнее см. в комментариях к главе «Великий бал у сатаны»).

Стр. 366. *Воланд сидел... в одной ночной рубашке, грязной...* — Об одеяниях персонажей из царства тьмы см.: М. А. Орлов. История сношений человека с дьяволом. Спб, 1904, с. 32).

Стр. 367. *...разглядела... жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке.* — Скарабей — языческий амулет в Древнем Египте, символизировавший зло, порождавшее добро.

*...окаянный Ганс!* — Здесь — «дурак» или «дурачок» от нем. die Gans.

Стр. 369. *...такие знатоки, как Секст Эмпирик, Мартиан Капелла...* — Секст Эмпирик (кон. II — нач. III в.) — древнегреческий философ и ученый, представитель скептицизма, историк логики.

Марциал Капелла (V в.) — африканский неоплатоник,

писатель, автор энциклопедии, написанной в форме романа.

*...неслышно вскользнул тот траурный... Абадонна.* — В Апокалипсисе упомянут ангел бездны, имя которого по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион (губитель). В рабочей тетради писателя помечено: «Абадонна — ангел смерти». В романе «Белая гвардия» Аваддоном назван Л. Д. Троцкий.

— *Я знаком с королевой...* — См. комментарий к стр. 358.

Стр. 372. *...боль в колене оставлена мне... ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах...* — Броккен — самая высокая гора в горной цепи Гарц (Северная Германия), на которой, по преданиям, в Вальпургиеву ночь (ночь на первое мая) устраивался бесовский шабаш. Это же место использовано Гёте в «Фаусте» при описании Вальпургиевой ночи.

Стр. 373. *Там началась война.* — По описаниям страны («квадратный кусок, бок которого моет океан»...) можно предположить, что речь идет об Испании.

Стр. 374. *...результат для обеих сторон бывает одинаков.* — Булгаков вновь высказывает свое резко отрицательное отношение к войнам. Наиболее емко этот вопрос отражен в его пьесе «Адам и Ева».

Стр. 377. — *Бал! — пронзительно взвизгнул кот...* — Булгаков и в более ранних редакциях пытался превратить сцену «шабаша» в более грандиозное зрелище. В этом намерении ему помогли посещения американского посольства в Москве в 1935 году. В особенности яркое впечатление произвел на писателя колоссальный бал, устроенный американским послом В. Буллитом 22 апреля 1935 года. Очень интересно сравнить записи в дневнике Елены Сергеевны, сделанные на следующий день после этого события, с некоторыми эпизодами «великого бала у сатаны»: «Бал у американского посла. М. А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к двенадцати часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков... В зале с колоннами танцуют, с хор — прожектора разноцветные. За сеткой — птицы — масса — порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера — до пят.

Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углу столовой — выгоны небольшие, на них — козлята, овечки, медвежата. По стенкам — клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники и петухи запели. Стиль рюсс.

Масса тюльпанов, роз — из Голландии.

В верхнем этаже — шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу — всюду шампанское, сигареты.

Хотели уехать часа в три, американцы не пустили — и секретари, и Файмонвилл (атташе), и Уорд все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский «кадиллак» и поехали домой. Привезла домой громадный букет тюльпанов от Боолена».

Не менее интересны записи в дневнике от того же числа, которые Елена Сергеевна опустила в дальнейшем при редактировании. «Я никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей... Ужинали в зале, где стол с блюдами был затянут прозрачной зеленой материей и освещен изнутри... Нас принимали очень приветливо, я танцевала со многими знакомыми. Отношение к Мише очень лестное...»

Стр. 378. *...Вьетану за первым пультом!..* — Вьётан Анри (1820—1881) — бельгийский скрипач, композитор и педагог. В середине XIX века концертировал и преподавал в России.

Далее перечисляются известные скрипачи, композиторы и дирижеры разных стран и времен.

— *Иоганн Штраус!..* — Запись в рабочей тетради Булгакова: «Штраус Иоганн (1825—1899). Король вальсов. «An der schönen blauen Dunai» («На прекрасном голубом Дунае» — нем.). И тут же вторая запись: «Лист Ференц... Мефисто-вальс».

Видимо, Ференц Лист был второй кандидатурой на «роль» дирижера оркестра.

Стр. 381. — *Господин Жак Ле-Кёр с супругой...* — Жак ле Кёр (1400—1456) — купец из Буржа, казначей французского короля Карла VII. В рабочей тетради писателя отмечено: «Фальшивомонетчик, алхимик и государственный изменник. Интереснейшая личность. Отравил королевскую любовницу». С небольшими изменениями Булгаков вкладывает эту характеристику Ле Кёра в уста Коровьева. Королевская любовница — Агнесса Сорель, фаворитка Карла VII в 1444—1450 годах.

— *Граф Роберт Лейчестер...* — Роберт Дэдли Лестер (1532—1588) — был любовником английской королевы Елизаветы I, подозревался в отравлении своей жены.

Стр. 382. *...госпожа Тофана.* — В рабочей тетради Булгакова имеется список (предварительный) участников великого бала у сатаны, в котором упоминается «Аква Тофана».

Стр. 383. — *Как рады мы, граф!..* — Запись в рабочей тетради писателя: «Калиостро, 1743—1795, родился в Палермо. Граф Александр Иосиф Бальзалло Калиостро-Феникс».

Стр. 385. — *Фрида...* — Исследователи установили, что история Фриды взята Булгаковым из книги швейцарского психиатра О. Фореля «Половой вопрос...» (1905). Подтверждением тому является следующая запись писателя в рабочей тетради: «Дело Фриды Келлер (Форель, с. 421)».

*Маркиза де Бренвилье... Отравила отца... Господин де Годен...* — Это страшное злодеяние маркиза де Бренвилье осуществила вместе со своим любовником Жаном-Батистом де Годеном де Сен-Круа.

Стр. 386. *Госпожа Минкина...* — Минкина Настасья Федоровна — фаворитка графа А. А. Аракчеева, известна своей жестокостью, доходившей до садизма, по отношению к прислуге и дворовым. Убита в 1825 году при таинственных обстоятельствах.

*...вот и император Рудольф...* — Речь идет о Рудольфе II (1552—1612), императоре Священной Римской империи в 1576—1612 гг. Отличался последовательностью в насаждении католицизма на обширной территории империи. Был склонен к наукам, занимался алхимией.

Стр. 387. *...Гай Цезарь Калигула...* — Римский император (37—41 гг. н.э.), вошел в историю под прозвищем Калигула. Его жестокость не знала пределов. Римский историк Светоний пишет, что проницательный император Тиберий «не раз предсказывал, что Калигула живет на погибель себе и всем и что в его лице вскармливается змея для римского народа и для всего мира».

*...Мессалина...* — Валерия Мессалина — третья жена римского императора Клавдия. Отличалась столь фантастически развратным поведением, что ее имя стало нарицательным. Убита в 48 году н.э.

Стр. 388. *...эмпузы, мормолика...*— Среди мифических существ, которыми греки пугали своих детей, были Емпуса (страшное привидение) и Мормо (или Мормон, от греч. мормоликетон — страшилище, пугало).

*...господина Гёте и... господина Шарля Гуно...* — Присутствие этих персонажей на балу объясняется тем, что первый создал трагедию «Фауст», а второй написал музыку к одноименной опере. Булгаков подчеркивает их особое положение на балу.

Стр. 389. — *Новый знакомый... он велел своему секретарю обрызгать стены кабинета... ядом.* — Новые знакомые на балу — бывший нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода и его личный секретарь Павел Буланов, расстрелянные по приговору Военной коллегии Верховного суда 15 марта 1938 года. В газете «Правда» от 30 марта 1938 года было опубликовано заключение медицинской экспертизы по делу об отравлении Н. И. Ежова. В нем говорилось: «На основании предъявленных материалов химических анализов ковра, гардин, обивки мебели и воздуха рабочего кабинета тов. Н. И. Ежова... следует считать абсолютно доказанным, что было организовано и выполнено отравление тов. Н. И. Ежова ртутью через дыхательные пути...» А вот признание Павла Буланова: «Когда он (Ягода. — *В.Л.*) был снят с должности наркома внутренних дел, он предпринял уже прямое отравление кабинета <...> Он дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой... Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов... было произведено Саволайненом в присутствии меня и Ягоды...» (Судебный отчет по делу антисоветского «правотроцкистского блока». М., 1938, с. 241).

Стр. 394. *Александр Александрович...* — Берлиоз.

Стр. 397. ... — *сказал Воланд, погля...* — Небольшой обрыв текста.

Стр. 398. *...огонек сем... еще раз благод...* — Тот же обрыв текста (оборотная сторона листа).

Стр. 399. *...вранье это от первого до последнего слова...* — В письме к Е. С. Булгаковой от 22 июня 1938 года Булгаков, отвечая на ее вопрос о достоверности фактов, приводимых

О. С. Бокшанской в письмах к Елене Сергеевне, полушутливо заметил: «Ты недоумеваешь — когда S (то есть сестра. — *В.Л.*) говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды. // В частном данном случае вранье заключается в письмах. Причем это вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от первого до последнего слова».

Стр. 407. *...на толстой пачке рукописей в нескольких экземплярах.* — Булгаков вновь подчеркивает, что существовал роман о дьяволе (или о Понтии Пилате) в завершенном виде.

Стр. 413. *— Поплавского до смерти я напугал...* — Поплавский — он же Римский.

Стр. 415. *...и страшные безглазые золотые статуи простирали к черному вареву руки... Гроза переходила в ураган.* — 19 июня 1938 года Булгаков писал Елене Сергеевне в Лебедянь: «По числу на открытке твоей установил, что ты наблюдала грозу, как раз в то время, как я диктовал о золотых статуях. Пишется 26 глава (Низа, убийство в саду)». Таким совпадениям писатель придавал большое значение. Так, например, почти каждое чтение Булгаковым пьесы «Батум» летом 1939 года сопровождалось мощной грозой, о чем свидетельствуют дневники Е. С. Булгаковой.

Стр. 416. *Ала* — конный отряд внеиталийских союзников в 500—1000 человек.

*...к крепости Антония.* — Крепость Антония была построена царем из династии Маккавеев Иоанном Гирканом и называлась Варисом. Позже перестроена Иродом Великим и названа в честь его покровителя Марка Антония. Находилась с северной стороны храма. Подземный ход соединял крепость с восточными воротами храма, над выходом из подземелья была воздвигнута высокая башня. Во времена Иисуса Христа в крепости квартировала римская воинская часть.

Стр. 418. *...Фалерно? ... Цекуба...* — Фалернское вино — одно из лучших вин в Италии. Фалернская область находится в северо-восточной части Кампании. Знаменитое цекубское вино (правильно — Цекуб, а не Цекуба) делалось из винограда, выращиваемого в болотистой области южной Латии.

Стр. 419. *...когорта Громоносного легиона...* — Когорта составляла одну десятую легиона и состояла из трех манипулов или шести центурий. В последней редакции упомянут Молниеносный легион (или легион Fulminata, от латинского fulminatio — молния, a fulminator — громовержец). Сведения эти Булгаков почерпнул из книги Э. Ренана «Антихрист», в XIX главе которой говорится: «Тит выехал из Александрии, высадился в Кесарии и отсюда двинулся на Иерусалим во главе грозной армии. С ним были 4 легиона: пятый Македонский, десятый Фретенский, двенадцатый Fulminata, пятнадцатый Апполинарийский...» (Э. Ренан. Антихрист. Спб., 1906, с. 255). Эти названия Булгаков неоднократно использовал в разных редакциях.

*...клянусь пиром двенадцати богов, ларами клянусь...* — Двенадцать главных греческих богов-олимпийцев: Зевс, Гера, Посейдон, Гестия, Деметра, Аполлон, Арес, Гермес, Гефест, Афина, Афродита, Артемида. У римлян соответственно: Юпитер, Юнона, Нептун, Веста, Церера, Аполлон, Марс, Меркурий, Вулкан, Минерва, Венера, Диана.

Лары — в древнеримской религии добрые духи, охранявшие дом и семью.

Стр. 420. *...Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить.* — По иудейскому обычаю осужденным предлагалось выпить напиток, заглушающий несколько боли. «Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» (Матф. 27:34). «И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял» (Марк. 15:23).

*...в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.* — Это обвинение относится не только к Пилату. Вспомним хотя бы письмо Булгакова к своему другу и биографу П. С. Попову (4 апреля 1932 г.), в котором он признавался: «В прошлом я совершил пять роковых ошибок... Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».

О «двух припадках робости» можно сказать лишь предположительно. Первый — это разговор со Сталиным, когда Булгаков не сумел сказать ему что-то очень важное, о чем жалел всю жизнь. Второй — это разрыв с Еленой Сергеевной

Шиловской в 1931 году, который казался Булгакову окончательным.

Стр. 422. *Страсть имеет ли какую-нибудь? — Влюблен.* — В окончательной редакции: «У него есть одна страсть, прокуратор... — Страсть к деньгам».

Стр. 423. *Иудейская власть и их церковники, как видите, навязали нам неприятное дело об оскорблении величества...* — Эта фраза в окончательной редакции была снята автором.

Стр. 425. *...вымазав полы палюдаментума...* — Палюдаментум — военный плащ полководца.

Стр. 426. *...в Нижнем Городе...* — По описанию Иерусалима Иосифом Флавием в 4-й главе пятой книги «Иудейских древностей» город был расположен на двух противолежащих холмах (один на западе, другой на востоке), разделенных долиной. На более высоком западном холме (Сионе) находился Верхний город, на восточном холме (Акре) — Нижний город.

Стр. 428. — *В масличное имение, в Гефсиманию за Кедрон...* — Гефсимания находилась на северо-восточной окраине Иерусалима на западной стороне Елеонской (Масличной) горы. Название происходит от еврейских слов «гет шемет», что значит — масличное точило. Во времена Христа там был сад маслин.

Кедрон — небольшой поток на восточной границе Иерусалима. Протекал по долине, находившейся между Елеонской горой и городом. Переводится с еврейского как «черный», «мутный».

Стр. 429. *Как-то сразу Иуда понял, что погиб...* — В следующей машинописной редакции: «...Иуда шарахнулся назад и слабо вскрикнул:

— Ах!

Второй человек сзади преградил ему путь. Первый, что был впереди, торопливо спросил Иуду:

— Деньги, которые получил от Каифы, с тобою? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Иуда закричал отчаянно, но не громко:

— Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Все, что получил, с собою. Вот деньги! Берите, но отдайте жизнь!»

Стр. 430. *...перекрестили веревкой.* — Почти в каждую фразу этой главы заложен глубокий смысл. Убийцы «перекрестили» кошель веревкой для того, чтобы напомнить пер-

восвященнику Каиафе, что он повинен не только в крови Иуды, но прежде всего в гибели распятого на кресте.

*В тени оно представилось ему белым как мел и неземной красоты.* — В следующей машинописной редакции: «...представилось смотрящему белым как мел и каким-то одухотворенно красивым».

Стр. 431. *...человек в хламиде...* — Хламида — короткий плащ, надевавшийся поверх хитона.

— *Он встанет <...> когда прозвучит над ним труба Мессии, но не раньше...* — В последующих редакциях Низа исчезает из сада еще до убийства Иуды. В связи с этим был изъят и значительный кусок текста. Но мысль о возможном «воскрешении» Иуды была сохранена писателем. Только с вопросом о «чистоте» выполненного убийства к Афранию обращается уже не Низа, а сам Пилат. И ответ Афрания на вопрос Пилата («— Так что он, конечно, не встанет?») приобретает оттенок более выраженной зловещей иронии.

« — Нет, прокуратор, он встанет, — ответил, улыбаясь философски, Афраний, — когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет!»

*Над городом висела неподвижная полная луна, горевшая ярче светильников.* — Эту картину великого праздника в Ершалаиме под знаком грядущей беды писатель в последующих редакциях не только усилил, но и спроецировал на другое время и на другое место: на город, в котором создавался великий роман: «...всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам Нижнего Города, направляясь к Антониевой башне, изредка поглядывая на нигде не виданные в мире пятисвечия, пылающие над храмом, или на луну, которая висела еще выше пятисвечий».

Стр. 434. *...калиги...* — Сапоги.

Стр. 435. *...еще при Валерии Грате...* — Валерий Грат — четвертый прокуратор Иудеи, управлял провинцией с 15 по 26 гг. н.э.

Стр. 437. *...не покончил ли он сам с собою?* — Писатель высказывает предположение, как могла родиться легенда о самоубийстве Иуды. Тем самым Булгаков не следует евангельским повествованиям о смерти Иуды, согласно которым Иуда раскаялся, возвратил Синедриону деньги и повесился.

И это не случайно. Убийство Иуды Булгаков задумал сразу, в первой же редакции романа. По мысли писателя, человек, совершивший такое преступление, едва ли способен на раскаяние, но от сурового возмездия он не может уйти.

Стр. 441. *...несколько далее... «кристалл».* — В последней редакции: «Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «...бóльшего порока... трусость». Вина Пилата в поздних редакциях подчеркивается писателем.

Стр. 442. — *Нет, потому что ты будешь меня бояться.* — В последней редакции далее следовало: «Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил». Только здесь писатель столь категоричен в определении вины Пилата.

— *Не будь ревнив ... ты один, один ученик у него!* — В последней редакции: «...я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя». И так уже сурово «приговоренный» писателем прокуратор еще более усугубляет свою вину, признаваясь Левию, что личность Иешуа была ему симпатична. Несомненно также, что Булгаков перебрасывает через тысячелетия едва различимый мостик к другому властелину, не скрывавшему, что высоко ценит талант писателя. В последние годы своей жизни Булгаков все более ощущал трагизм своего положения. И когда после запрета «Батума» писатель тяжело заболел, он однажды ночью сказал Елене Сергеевне, что «он», Сталин, убил его.

Стр. 446. *...Ласточкин...* — В последней редакции — Китайцев.

*...Поплавского...* — Он же Римский.

Стр. 452. *...очутился на берегу Терека во Владикавказе...* — В последней редакции: «...ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров». Булгаков изымает из текста всякое упоминание о Владикавказе, что противоречило первоначальному замыслу, ибо этот город вписался в его судьбу суровой и яркой строкой.

*В. Лосев*

# СОДЕРЖАНИЕ

**Булгаков М. А.**

**Б 90** Великий канцлер. — Предисл. и коммент. В. Лосева. — М.: Изд-во «Новости», 1992. — 544 с.

«Великий канцлер» — первая полная рукописная редакция романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Помимо этого в книгу включены и другие черновые варианты «закатного романа» Мастера. За исключением черновиков 1928—1929 годов все материалы публикуются впервые.

**ISBN 5—7020—0468—X**

**Б** $\frac{\textbf{4702010200}}{\textbf{067 (02)—92}}$ **Без объявл.** **ББК 84 Р7**

**Михаил Афанасьевич Булгаков**
**ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР**

**Редактор *Н. Б. Мордвинцева***
**Младший редактор *Е. Б. Тарасова***
**Художественный редактор *С. М. Уездин***
**Технические редакторы *Е. А. Дронова, Н. М. Ладик***
**Корректор *Л. П. Агафонова***
**Технолог *С. Г. Володина***

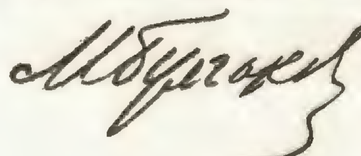
**ИБ 10544**

Сдано в набор 26.08.92. Подписано в печать 28.01.92. Формат издания 84×108/32. Бумага офсетная 70 г/м². Гарнитура таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 28.7. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1174. Изд. № 8989.

Издательство «Новости»
107082. Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Отпечатано в Московской типографии № 5
Министерства печати и информации Российской Федерации
129243. Москва, ул. Маломосковская, 21.





Михаил БУЛГАКОВ

# ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР

Так уж случилось, что читатели мало знают о первоначальном авторском замысле романа «Мастер и Маргарита». Да и родилось-то это название перед самым завершением работы — в конце 1937 года. До этого роман имел несколько своеобразных названий, но сам Булгаков чаще всего именовал его просто «романом о дьяволе». И это действительно соответствовало содержанию произведения, ибо все происходящее в нем так или иначе было связано с появлением в «красной столице» в высшей степени странного «незнакомца».

Булгаков работал над своим «закатным романом» более 12 лет, неоднократно его переписывал. Многие черновики, к сожалению, безвозвратно утрачены, но оставшийся архив писателя — огромное рукописное богатство. Первые наброски, варианты и редакции романа представляют огромный интерес. Самые первые рукописи более созвучны авторскому замыслу, поскольку они не были еще подвержены самоцензуре — ни первичной, ни последующей.

Для восполнения пробела в публикациях творческого наследия Булгакова и подготовлена эта книга. В нее вошла первая полная рукописная редакция «романа о дьяволе» — «Великий канцлер» и другие черновые варианты. Почти все материалы публикуются впервые.

